

К Станислову



Константин Михайлович Станюкович

Том 7. Рассказы и повести. Жрецы

(Собрание сочинений в десяти томах #7)

Константин Михайлович Станюкович — талантливый и умный, хорошо знающий жизнь и удивительно работоспособный писатель, создал множество произведений, среди которых романы, повести и пьесы, отличительные очерки и новеллы. Произведения его отличаются высоким гражданским чувством, прямо и остро решают вопросы морали, порядочности, честности, принципиальности.

В седьмой том вошли рассказы и повести: «Матроска», «Побег», «Максимка», «„Глупая“ причина», «Одно мгновение», «Два моряка», «Васька», и роман «Жрецы».

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Рассказы и повести	0005
Матроска *	0005
Побег	0120
Максимка	0163
«Глупая» причина	0223
Одно мгновение *	0252
Два моряка	0265
Васька	0302
Жрецы	0349
Комментарии	0835

**Константин Михайлович
Станюкович
Собрание сочинений в
десяти томах
Том 7. Рассказы и повести.
Жрецы**

Рассказы и повести

Матроска*

I

Жадно, бывало, заглядывались матросы, возвращаясь небольшими кучками с работ в военной гавани, на молодую, пригожую и свежую, как вешнее утро, жену рулевого Кислицына, Груню.

При встречах с нею почти у каждого из них точно светлело на душе, радостней билось сердце, и невольная ласковая улыбка озаряла лицо.

И когда она, степенная, сосредоточенная и серьезная, проходила мимо, не удостоив никого даже взглядом, многие с чувством обиды и в то же время восхищения смотрели вслед на крепкую и гибкую, хорошо сложенную маленькую фигурку матроски, которая быстро шагала, слегка повиливая бедрами.

И нередко кто-нибудь восторженно замечал:

— И что за славная эта Груня!

— Д-да, братец ты мой, баба! — сочувственно протягивал другой. — Но только ее не облестишь... Ни боже ни! — не то с досадой, не то с почтением прибавлял матрос... — Матроска правильная... честная... Не похожа на наших кронштадтских... Она кому угодно в ухо съездит.

— Прошлым летом одного лейтенанта так угостила, что морду-то у его ажно вздуло! — со смехом проговорил кто-то.

— За что это она?

— А вздумал, значит, лейтенант ее под микитки... Черт!

— Вот так ловко! Ай да молодец Грунька! — раздавались одобрительные восклицания.

Действительно, в Груне было что-то особенно привлекательное.

Даже кронштадтские писаря, подшкиперы и баталеры, любители и поклонники главным образом адмиральских нянек и горничных, понимающих деликатное обращение и щеголявших в шляпках и кринолинах, — и те не оставались к ней презрительно равнодушны. Победоносно закручивая усы, пялили они

глаза на эту бедно одетую матроску с приподнятым подолом затасканной юбки, открывавшим ноги, обутые в грубые высокие сапоги, в старом шерстяном платке на голове, из-под которого выбивались на белый лоб прядки светло-русых волнистых волос.

Но все как-то необыкновенно ловко сидело на Груне. В щепетильной опрятности ее бедного костюма чувствовалась инстинктивная кокетливость женщины, сознающей свою красоту.

При виде хорошенькой матроски, господ «чиновники», как зовут матросы писарей и разных нестроевых унтер-офицеров, отпускали ей комплименты и, шествуя за ней, громко выражали мнение, что такой, можно сказать, Красавине по-настоящему следовало бы ходить в шляпке и бурнусе, а не то что чумичкой... Только пожелай...

— Как вы полагаете, мадам? Вы кто такие будете: мадам или мамзель?

— Не угодно ли зайти в трактир?.. Мы вас угостим... Любите мадеру?

Вместо ответа матроска показывала кулак, и господ «чиновники», несколько шокиро-

ванные таким грубым ответом, пускали ей
вслед:

— Экая мужичка необразованная... Как
есть деревня!

Не оставляли Груню своим благосклонным
вниманием, случалось, и молодые мичмана.

Запуская на матроску «глазенапы», они
при удобном случае преследовали ее и спра-
шивали, где живет такая хорошенькая бабен-
ка? Чем она занимается? Можно бы ей приис-
кать хорошее место. Отличное! Например, не
хочет ли она поступить к ним в экономки?..
Их всего трое...

— Что ты на это скажешь, красавица?

— Тебя как зовут?.. Куда ты идешь?

— Прелесть какая ты хорошенькая!.. Без
шутки, поступай к нам в экономки... хоть се-
годня... сейчас... И кто из нас тебе понравится,
тот может тебя целовать сколько угодно... Со-
гласна?

— Да ты что же, немая, что ли?

Матроска делала вид, что ничего не слы-
шит, и прибавляла шагу. И только ее белое
красивое лицо, с прямым, слегка приподня-
тым носом, высоким лбом и строго сжатыми

губами, алело от приливавшего румянца, и порой в ее серых строгих глазах мелькала улыбка.

Ей втайне было приятно, что на нее, простую бедную матроску, обращают внимание даже и господа.

Обыкновенно Груня не отвечала ни на какие вопросы и предложения уличных ухаживателей.

«Пускай себе брешут, ровно собака на ветер!» — думала она и, не поворачивая головы, шла себе своей дорогой. Но если уж к ней очень приставали, она внезапно останавливалась и, прямо и смело глядя в глаза обидчикам, строго и властно, с какою-то подкупающею искренностью простоты, говорила своим резким, низким голосом:

— Да отвяжитесь, бесстыдники! Ведь я мужняя законная жена!

И, невольно смущенные этим открытым, честным взглядом, полным негодования, бесстыдники поворачивали оглобли, рискуя в противном случае познакомиться с самыми отборными и язвительными ругательствами, а то и с силой руки недоступной матроски.

Через год после того, как Груня приехала из деревни к мужу в Кронштадт, уже все искатели уличных приключений знали тщету своих ухаживаний и оставили матроску в покое.

II

В это майское погожее утро Груня возвращалась домой с узлом грязного белья, только что взятого ею от одной барыни, на семью которой она постоянно стирала. Узел был большой, а дорога — не близкая. Несколько утомившаяся после быстрой ходьбы, матроска свернула в глухой переулок и остановилась передохнуть. Опустив узел наземь, она помахала вытянутой затекшей рукой и затем стала оправлять сбившийся на голове платок, как к ней совсем неожиданно приблизился, семеня ногами и стараясь выпятить грудь колесом, старый, высокий и худой адмирал.

Это был адмирал Гвоздев, свершавший обычную свою утреннюю прогулку, известный под кличкой «генерал-арестант». Так звали его и матросы и офицеры за его жестокое обращение с людьми, обращавшее на себя внимание даже и в те жестокие времена. Кро-

ме жестокости, Гвоздев был известен и своим развратом, и об его неразборчивых уличных похождениях, об его часто меняющихся экономках ходило в Кронштадте много анекдотов. Он был вдовец, и никто из детей не жил с ним. Все разбежались.

Пораженный красотой матроски, адмирал как-то значительно крякнул и, озираясь по сторонам, спросил:

— Ты, милая, кто такая?

— Матроска, ваше превосходительство! — строго отвечала Груня, поднимая узел.

— Г-гм... матроска? Прехорошенькая ты матроска. Как тебя звать?

— Аграфеной люди зовут, — еще строже промолвила Груня.

— Ты что же это с узлом? Белье стираешь, что ли?

— Точно так...

— А какого экипажа твой муж?

— Двенадцатого...

— Моей, значит, дивизии... Ты приходи-ка, Груня, к своему начальнику... Знаешь, где адмирал Гвоздев живет? Тебе всякий покажет. Ты будешь стирать мое белье. Так приходи се-

годня же... слышишь?.. Останешься довольна, красавица! — продолжал старик, многозначительно понижая голос. — Да ты что букой смотришь? Сробела, что ли? Ишь ведь какая ты вся бяляночка!.. Какие у плутовки свежие щечки... А шея просто сливочная!

И, впившись жадным, похотливым взглядом своих замаслившихся маленьких темных глаз, которые на своем веку видели немало запоротых людей, на крепкую высокую грудь матроски, поднимавшуюся под тонким ситцем платья, адмирал протянул свою старческую, костлявую и сморщенную руку и длинными вздрагивающими пальцами ухватил за подбородок матроски.

Резким движением Груня отдернула голову и гневно проговорила:

— Рукам воли не давай, ваше превосходительство!

И с этими словами двинулась.

Адмирал понял это как хитрый маневр лукавой бабенки и, стараясь нагнать матроску, говорил:

— Ишь какая сердитая... скажи пожалуйста... Да ты постой, не уходи, глупая... Слы-

пишь, остановись... Что я тебе скажу...

И матроска вдруг остановилась, полная какой-то внезапно охватившей ее решимости. Остановилась и глядела адмиралу прямо в глаза.

Должно быть, старик не обратил внимания на выражение ее лица, потому что, обрадованный, взволнованно шептал ей:

— Ты будь поласковее, глупая матроска!.. Ты мне очень понравилась, слышишь?.. Я и твою судьбу устрою и твоего мужа не забуду... Поступай ко мне в прачки!.. У меня будешь жить... И стирать не заставлю... Понимаешь... Одну тебя как кралю... и награжу... Согласна?

Адмирал почти не сомневался, что столь блестящие для матроски предложения будут приняты.

Но вместо согласия Аграфена гордо приподняла голову и негодуяще проговорила вздрагивающим от волнения голосом:

— Тебе бы богу молиться, тиранство свое над людьми замаливать, а не за бабами бегать!.. Песок сыплется, а он на грех облепцать... Стыда в тебе нет, старый пес... Тьфу!

Она плюнула и, бросив на адмирала уничижающий, полный ненависти и презрения взгляд, пошла прочь.

На мгновение старый адмирал ошалел — до того неожиданны были для него дерзкие речи. Сообразив, наконец, их значение, он побагровел и, сжимая кулаки, задышающимся голосом прохрипел обычный свой окрик, разрешавший все его недоразумения:

— Запорю!

Но, поняв в ту же минуту, что запороть эту матроску никак нельзя, он в бессильной ярости выругал ее площадными словами и тихо поплелся назад, как-то беспомощно и растерянно поводя губами своего беззубого рта, распаленный еще более презрительным отказом этой красивой матроски.

— Ишь ведь подлый! — повторяла взволнованная, негодующая Аграфена.

Она первый раз встретила того самого генерал-арестанта, о котором не раз слышала от мужа, знала, какую ненависть возбуждает этот начальник, и рада была, что проучила «старого пса».

«Пусть, мол, от матроски услышал то, чего

никто ему, злодею, не скажет!»

Аграфена завернула наконец в небольшой глухой Дунькин переулок, направляясь к ветхому деревянному домику, в котором квартировала, как в нескольких шагах от дома увидела откуда-то появившегося и шедшего ей навстречу, поскрипывая сапогами, молодого, пригожего и щеголеватого писаря в новеньком сюртучке, в фуражке набекрень, с бронзовой цепочкой у борта и с перстеньком на руке.

Давно уже заметила матроска этого писарька, юного, почти мальчика, черноглазого, с румяными щеками и небольшими усиками, который в последнее время что-то очень часто встречался с ней. То он появлялся на улице непременно в то время, когда она шла, и следовал за ней на почтительном расстоянии, то вдруг, обежав улицу, шел навстречу, потупляя при приближении глаза. То он поджидал ее, притаившись где-нибудь у ворот, и робко и восторженно, совсем не так, как другие, провожал ее восхищенными глазами. Когда случалось перехватывать строгий взгляд матроски, хорошенький писарек смущенно,

словно виноватый, опускал глаза и так же быстро исчезал, как и появлялся.

Груня, разумеется, понимала, что эти частые встречи не случайны, и не сердилась. Порой даже, завидя писарька, усмехалась про себя, польщенная и несколько удивленная таким упорным и деликатным ухаживанием. Этот черноволосый, кудрявый паренек казался ей тихим и робким, ровно овца. Ни разу не позволил он себе какого-нибудь охальства. Слова не вымолвил, взгляда дерзкого не кинул... Только глаза пялит.

«Пусть, глупый, шляется, коли хочет. Не гнать же его с улицы... Да и за что?» — не раз думала про себя Груня и только боялась, жалея писарька, как бы муж не поймал его около дома и, обозленный, в пылу ревности, не прибил бы. С него это станет. Бывали дела. Страх какой он ревнивый!

И теперь, бросив на писарька едва заметный быстрый взгляд, она увидела его робкое, грустное лицо. С самым серьезным видом, не обращая на него ни малейшего внимания, молодая женщина прошла мимо и невольно покраснела, чувствуя на себе горячий, ласкаю-

щий взгляд писарька.

— И впрямь дурень! — весело шепнула она, скрываясь в воротах.

А писарек из кантонистов, Васька Антонов, известный среди кронштадтских горничных как неотразимый сердцеед, победоносно закрутил свои усики и, принимая свой обычный веселый, несколько хлыщеватый вид, весело зашагал по улице, полный уверенности, что в конце концов, играя в любовь, он победит неприступную матроску. Только муж скорей ушел бы в море, а уж он сумеет «оболванить» эту строгую деревенщину. Тоже фордыбачится... Воображает, что если мужнина жена, так уж к ней и не подступись!

— И не таких оболванивал! — самоуверенно вымолвил хорошенький писарек и оскалил крепкие белые зубы, вспоминая свои многочисленные победы, стяжавшие ему кличку «подлеца Васьки».

III

Весь день Аграфена стирала белье на дворе, близ крыльца, с ожесточенным усердием женщины, привыкшей к работе и любящей работу. Мысли ее заняты были бельем и раз-

ными домашними делами. «Писаренок», как называла она своего робкого поклонника, промелькнул раз-другой в ее голове, возбуждая в матроске чувства жалости и опасения, как бы муж не увидел дурака мальчишку, если он повадится шататься около дома. Надо сказать, чтобы он не шатался, этот писарек... Нечего-то дурить ему!

В полдень она сделала передышку, чтобы пообедать тюрькой и куском вчерашнего мяса, и снова принялась за работу.

Убравшись с бельем, она сбегала в лавочку за колбасой и ситником, поставила самовар, собрала на стол и в ожидании мужа, усталая, присела на стул в своей небольшой комнате, которую они нанимали у старой вдовы-матроски, торговавшей на рынке.

Эта низенькая комната с русской печью, покосившимися углами и двумя окнами почти в уровень с немощенным переулком, поражала своею чистотой. Видно было, что хозяйка привыкла к опрятной домовитости и порядку и заботилась о том, чтобы придать своему скромному жилью уютный вид.

Ситцевый чистый полог разделял комнату

на две части. В одной был небольшой стол, покрытый цветным столешником, несколько стульев, шкафчик с посудой, гладильная доска и корзина с просушенным бельем. За пологом главное место занимала большая двухспальная со взбитой периной кровать, прикрытая разноцветным ватным одеялом, с горкою подушек в свежих наволочках. Большой красный сундук с бельем и платьем, запертый висячим замком, дополнял убранство спальни. Прямо против кровати, в переднем углу, была устроена божница с несколькими образами, суровые лики которых выдавали старообрядческое письмо. Перед образами теплилась лампада и стоял ряд тонких свечей желтого воска, которые зажигались по праздникам.

Покатый пол, сиявший белизной своих выскобленных и чисто вымытых досок, украшался «дорожкой» из черной смолистой пахучей пеньки. Самодельные ситцевые шторы закрывали окна от любопытных глаз, и на подоконниках красовались горшки с цветами, преимущественно геранью. А на выбеленных стенах висело несколько лубочных кар-

тин духовного содержания и — между ними — большая раскрашенная литография, изображающая грешников в аду.

В начале седьмого часа пришел Григорий, вспотевший, красный и усталый после целого дня работы в гавани, на бриге «Вихрь», на котором Кислицын был рулевым. От него сильно пахло смолой. Ею пропитаны были и его широкие жилистые руки, и его рабочая, когда-то белая парусинная голландка, и штаны.

Он был совсем невзрачен, этот приземистый, широкоплечий, совсем белобрысый человек лет тридцати, с рябоватым лицом, опущенным светлыми баками, маленьким широким носом и толстыми губами, прикрытыми жесткими рыжими усами. Вместо бровей у него были припухлые красные дуги. Ноги были слегка изогнуты.

Но и в выражении голубых серьезных глаз и скуластого круглого лица, и во всей фигуре матроса было что-то располагающее, внушающее к себе доверие, что-то сильное и вместе с тем скромное. Чувствовалось, что это — человек честный и стойкий.

Глаза его радостно сверкнули при виде же-

ны. В этом взгляде ясно светилась бесконечная любовь.

— Здорово, Груня! — ласково, почти нежно проговорил матрос.

— Здравствуй, Григорий!

Голос матроски звучал приветливо, но не радостно. Спокойный взгляд, которым она встретила мужа, не был взглядом любящей женщины.

Григорий пошел в сени мыться, затем переделся и, выйдя из-за полога в красной ситцевой рубахе и чистых штанах, присел к столу, видимо довольный, что находится дома, в этой уютной, чисто прибранной комнате, и что жена побаловала его и колбасой и ситником. И всегда так она его балует, когда он к вечеру возвращается домой. Заботливая.

Он закусывал молча и, когда они стали пить чай, сообщил ей о том, как сегодня старший офицер на бриге бесновался, полоумный, и выпорол пять человек.

— А ты, Груня, стирала?

— А то как же? Целый день стирала.

И, помолчав, прибавила:

— Давече утром, как несла белье, этот ваш

генерал-арестант в переулке пристал...

— Ишь подлая собака! — зло проговорил Григорий, и довольное выражение мигом исчезло с его лица. Он нахмурился. — Что ж он говорил тебе?

— Звал к себе жить... Ты, говорит, одному мне стирать станешь белье. Судьбу нашу с тобой обещал устроить... Останешься, говорит, довольна...

— А ты что? — нетерпеливо перебил Григорий, бросая строгий и пытливый взгляд на жену.

— Известно что! — сердито ответила Аграфена, видимо обиженная и этим вопросом и подозрительным взглядом мужа. — Небось так отчекрыжила старого дьявола, что будет помнить!

И она подробно рассказала, как «отчекрыжила».

— Ай да молодца, Груня! Так ему и надо, подлецу! И тиранство ему вспомнила?.. И старым псом назвала? Ну и смелая же ты у меня матроска! — весело и радостно говорил Григорий.

Его лицо прояснилось. Большие голубые

глаза любовно и виновато остановились на Груне.

Но прошло минут пять, и он снова нахмурился и спросил:

— А прощальщика ветрела сегодня?

— Какого такого прощальщика? — в свою очередь спросила Аграфена, поднимая на мужа холодный, усталый взгляд.

— Будто не знаешь? — продолжал матрос.

— Ты говори толком, коли хочешь человека нудить.

— Кажется, толком сказываю... Писаренок паскудный не услеживал тебя?

— А почему я знаю?.. Не видала я твоего писаренка... Отвяжись ты с ним. Чего пристал!

Раздражительный тон жены и, главное, этот равнодушно-холодный взгляд, который она кинула, заставил Григория почувствовать еще более мучительное жало внезапно охватившей его ревности.

И он значительно проговорил, отчеканивая слова:

— Я этому писаренку ноги обломаю, ежели он будет шататься около дома... Вчерась иду домой, а он тут, как бродяга какой, шляется...

Как заприметил меня, так и фукнул... А то морду его бабью своротил бы на сторону... И беспрерывно сворочу... Слышишь?

— Не глуха, слышу.

— То-то...

— Да ты чего зудишь-то? И все-то в тебе подлые мысли насчет жены... Постыдился бы... Кажется, я по совести живу... Ничего дурного не делаю... Веду себя честно, а ты ровно полоумный накидываешься... А еще говоришь: любишь. Разве такая любовь, чтобы человека мучить?

Григорий сознавал правоту этих горячих упреков. Он знал, что жена безупречна, и все-таки временами не мог отделаться от подозрительной ревности. Беспредельно любивший жену, он чувствовал, что она не так любит его, как любит ее он, чувствовал это и в ее постоянно ровном обращении и в сдержанности ее ласк, и это-то и питало его ревнивые чувства, несмотря на безукоризненное поведение жены.

Ему стало стыдно за то, что он безвинно обидел Груню, и он сказал:

— Ну, ну, не сердись, Груня... Я ведь так,

шутю... Я знаю, что ты правильная жена.

И, словно бы стыдясь обнаружить перед ней всю силу своей ревливой и страстной любви, он принял умышленно равнодушный и властный вид хозяина и примолк.

— Однако и спать пора. Завтра до свету вставать! — проговорил он, окончив чаепитие. — Спасибо, что накормила и напоила... Идем, что ли, Груня? — ласково прибавил он, вставая из-за стола.

— Ступай спи, а мне еще убираться надо.

— Уберись и приходи... Нечего-то полуночничать!

Матрос пошел спать, а матроска словно бы нарочно долго убиралась с посудой.

— Ты что ж это, Груня? Долго будешь убираться? Иди спать, коли муж приказывает. Мужа слушаться надо! — раздался нетерпеливый голос Григория.

— Иду, ну тебя!

Молодая женщина с равнодушным, усталым и покорным выражением на своем красивом лице, потушив лампу, тихо скрылась за пологом.

Скоро в полутьме комнаты, чуть-чуть освещенной

ценной мерцанием лампы перед образами, раздался громкий храп матроса.

IV

Григорий был женат около пяти лет.

Помор Архангельской губернии, он, как и большая их часть, придерживался старой веры. В церковь ходил только по обязанностям службы и втайне молился по-своему. Однако в нем не было нетерпимости раскольника-изувера, и он не гнушался есть с матросами из одного бака и не считал их погаными*. Зато не пил вина и табаком не занимался.

Исправный и добросовестный, Григорий был отличным матросом и с первого же года поступления на службу назначен был рулевым.

Еще бы!

С малых лет Григорий каждую весну отправлялся с отцом и двумя работниками на Мурман, где в одной из закрытых бухт стоял на зимовке небольшой, допотопной конструкции, палубный карбас с необходимою снастью для ловли трески. Этот карбас принадлежал отцу и составлял главный источник существования семьи. Его оснащивали,

проконопачивали, просмаливали, чинили старенькие парусишки и, помолясь богу и святым угодникам, уходили на промысел и проводили иногда в неприветном Ледовитом океане по целым неделям, не приставая к берегу.

Всего навидался и испытал Григорий в эти опасные плавания.

Случалось, и не раз, что смелые промышленники бывали на волос от смерти и уже готовились к ней, когда свирепая северная буря застигала в океане, далеко от берегов, маленькое старое суденышко с разорванными парусами и носила его, беспомощное бороться с жестоким ураганом, по седым, высоким волнам, грозившим ежеминутно поглотить маленькую скорлупку с несколькими выбивающимися из сил смелыми пловцами.

В таких случаях приходилось только надеяться на бога да на Николу-угодника, вызволяющего отважных моряков, которых нужда и бесшабашная отвага, соединенная с невежеством, выгоняют на подобных отчаянных по судинах в свирепый океан.

И старик помор, отец Григория, смело, не

теряя присутствия духа, правивший рулем, чтоб не поставить судна поперек волнения, в такие тяжкие часы становился напряженнее и бывал молчаливее и суровее, чем обыкновенно. В его красном, обветрившемся лице стояло выражение какой-то угрюмой покорности человека, готового к смерти и встречавшего ее не раз лицом к лицу. Только губы его шептали молитву Николе-угоднику, да временами смягченный взгляд его зорких глаз любовно и тоскливо останавливался на сынишке.

Много гибнет каждое лето таких поморских судов вместе с людьми, но Никола-угодник как-то вызволял из всех опасностей карбас, на котором находился Григорий. Буря затихала и давала возможность бежать к берегу под наскоро зачиненными парусами. И моряки, словно бы изумленные, что остались живы, только безмолвно крестились и снова принимались откачивать воду, набирающуюся в расшатанное бурею судно.

Случалось, что этих мореходов-мужиков, не имевших, конечно, ни морских карт, ни компаса, о которых и не слышали, а полагав-

шихся на свое морское чутье, на глаз да на милосердного бога, вместо Мурманна заносило на Новую Землю, и там, на безлюдном острове, в каком-нибудь пустом становище прежде зимовавших промышленников, приходилось зимовать, питаясь чем бог пошлет и что раздобычит ружьишко, и ждать вешнего солнышка, чтобы пуститься в обратный путь к Мурману и дать с оказией весточку домой, что, мол, живы и к осени, если бог даст, будем в деревне.

Эта суровая, полная постоянной напряженной борьбы и опасностей жизнь сделала Григория смелым моряком, приучила быть скромным и правдивым — с морем какая же может быть ложь? — закалила в нем твердый, решительный характер и развила привычку к той молчаливой созерцательности, которая нередко встречается у людей, находящихся в частом и близком общении с природой.

Правя рулем в тихую погоду, когда остальные спали в крошечной тесной каютке, пропитанной запахом трески, или сидя на отдыхе на палубе, после нескольких часов ловли

рыбы, Григорий невольно наблюдал и этот беспредельный холмистый океан с далеко раздвинувшимися рамками горизонта, и это высокое небо, и это никогда не заходящее холодное полярное солнце, и эти роскошно-яркие снопы северного сияния. И, подавленный величием и таинственностью всего окружающего, он еще более проникался весь религиозным чувством страха и почтения к творцу, и в то же время в нем появлялась какая-то пытливая мечтательность, бессознательно требовавшая и от этого океана, и от неба и солнца разрешения вопросов и сомнений, неопределенных и неясных, но назойливых и смущавших его впечатлительную душу.

В такие минуты душевной приподнятости он спрашивал себя: отчего людская неправда царит на земле, когда господь так всемогущ? Зачем он, всевидящий и милосердный, попускает насилие и зло, корысть и несправедливости?

Но тихо рокочущий океан не давал ему ответа. Не разгоняли сомнений ни солнце, ни небо...

И он уходил спать неудовлетворенный, но

с твердым намерением самому жить правильно.

Как-то шутя Григорий выучился сам читать и писать и любил особенно читать евангелие и разные духовные книги.

Когда старика отца стали одолевать ревматизмы, двадцатилетний Григорий без него ходил на Мурман и промышлял на своем суденышке, такой же смелый и хладнокровный, каким был и его отец. Возвращаясь осенью домой, он приносил всегда хорошую выручку за проданную рыбу, и старик отец особенно любил своего младшего сына.

Ему пошел двадцать четвертый год, и он еще не знал совсем женщин, сохраняя целомудрие, как однажды отец сказал ему, оставшись с ним наедине:

— Пора тебе и жениться, Гришуха. Я уж тебе и невесту высмотрел... Знаешь Марью Коновалову из Засижья?

Григорий вдруг изменился в лице и проговорил:

— Не неволь, батюшка. Нежелательна мне эта невеста.

— По какой такой причине? — спросил, на-

хмурившись, отец, привыкший к безусловно-му повиновению детей.

— Нелюба она мне, — почтительно, но твердо отвечал сын.

— Как окрутишься — полюбится. Девка молодая, чистая, ядреная... И из хорошего дому... Коноваловы, сам знаешь, первые мужики в Засижье.

— Неповадна она мне... Не по сердцу! — снова решительно заявил Григорий.

— Уж не подыскал ли ты себе сам невесты? Так сказывай, коли что... Слава богу, давно в лета вошел...

И старик пытливо заглянул в лицо своего любимца.

Ни отец, ни мать, ни сестры, ни брат, да и никто на селе не догадывался о том, что Григорий, обыкновенно застенчивый и избегавший общества баб и девок, словно бы боявшийся их, был пленен пригожей и степенной Груней, одной из дочерей бедного вдового мужика-односельчанина. И восемнадцатилетняя Груня, на руках у которой было главным образом все домашнее хозяйство, за вечными заботами да хлопотами, кажется, тоже не за-

мечала, как странно глядит на нее Григорий при встречах и как ищет их, не решаясь, однако, не только намекнуть ей о своей любви, но даже заговорить с ней. Охватила его страсть к Груне как-то внезапно, — точно ожгло всего и осветило внутри, — когда он вернулся поздней осенью с Мурмана и однажды встретил ее на улице.

Григорий признался отцу, что действительно наметил себе невесту, и прибавил:

— Ежели она согласится и ежели будет ваше с матушкой родительское благословение, то я женюсь с охоткой, батюшка.

Он проговорил эти слова, по-видимому, спокойно, но чуть вздрагивающий голос и заалевшее лицо выдавали его волнение.

— Ишь ведь скрытный какой! Никто и не приметил, как ты девку подыскал... Кто ж это твоя пава? Признавайся... Ежели девка хорошая, супротив твоего хотенья не пойду... Здешняя, что ли?

— Здешняя... Аграфена Синицына.

— Что ж, Аграфена девка правильная, работающая и рассудливая... Золото-девка, можно сказать. Только дом их вовсе бедный... Бес-

приданница твоя Аграфена, а то чем не невеста...

— Небось не в бедный дом войдет...

— Да я не перечу... Бери себе Аграфену.

Просиявший Григорий поблагодарил отца за согласие и вдруг, внезапно омрачаясь, проговорил:

— Только пойдет ли за меня?

— Отчего не пойдет? — воскликнул старик, словно бы обиженный за сына и удивленный его сомнению. — Всякая с радостью за тебя пойдет. Ты, слава богу, парень у меня не худой... Промышляешь не хуже меня... Смысленный и душевный парень... Ни табаком, ни вином не занимаешься... Не бойсь, Аграфена не дура... Должна пойти. А ежели что, отец прикажет, так не посмеет против воли... Я сам сватом пойду...

— Только силком не надо... Ежели, значит, против воли...

— Да разве ты с ней не обладил?

— То-то не решался! — застенчиво проговорил Григорий.

— Эх ты тюлень, тюлень! Всем-то ты взял, Гришуха, а вот только стыдливый какой-то...

Точно малый ребенок... Ну, ну, не сумлевайся... Сама охоткой пойдет.

Отец Аграфены с радостью принял предложение.

Не протестовала и Груня.

Хотя она и не чувствовала особенной склонности к Григорию, но он противен ей не был. И ни для кого не билось сильнее ее сердце, и ничей взгляд не смущал ее, не испытывавшей еще любви. Замуж выходить во всяком случае надо, а Григорий парень тихий, добрый, непьющий и по всему селу считается лучшим промышленником.

В тот же вечер Григорий с какою-то торжественною серьезностью спросил молодую девушку:

— Волей идешь за меня, Груня? Не принудили?

— А то как же? Неволей бы не пошла! — отвечала Груня.

Обрадованный, счастливый Григорий стал говорить ей, как любит он ее и как будет беречь свою «ласточку», и, пользуясь темнотою, порывисто привлек ее к своей груди и стал осыпать ее лицо безумными поцелуями.

Но Груня, покорно отдаваясь этим поцелуям и слушая эти застенчивые излияния, не находила отклика в своем сердце и, казалось, была более удивлена, чем счастлива.

V

Григорий прожил с молодою женой зиму и весной, по обыкновению, отправился на Мурман. Плавая на своем карбасе, он тосковал по Груне и с нетерпением ждал осени.

Пришла осень, он возвратился домой, но недолго пришлось ему наслаждаться радостью быть вместе с любимой женой.

В 1853 году пронеслась зловещая весть о войне. Приуныли в деревнях старики и старухи, приуныли молодые парни. Весть эта говорила о солдатчине с ее жестокостями того времени, о смерти, о разорении, о разлуке с близкими на целые двадцать пять лет. Человек словно бы отрывался от родины и становился чужим для нее.

Вести подтвердились. Приехал исправник и прочитал бумагу об усиленном наборе. Григория, как младшего сына, забрали и назначили матросом.

Отчаяние Григория, внезапно оторванного

от деревни, от любимого промысла, от молодой жены, было беспредельное. Старик отец не выдержал и прослезился, прощаясь с сыном навсегда. Доживет ли он до его возвращения, и возвратится ли он когда-нибудь? Мать голосила. Одно только несколько утешало Григория, — надежда выписать к себе Груню.

Прошел год службы.

Молодой матрос зарекомендовал себя опытным моряком и старался трудолюбием и исправностью избежать позорных наказаний. Он так педантично нес службу и так вел себя, что к нему не могли придрататься. Скоро он осмотрелся в новом своем положении и после года разлуки выписал наконец из деревни жену, скопив несколько деньжонок и за винные порции, которых не пил, и от получек за работу, которой он занимался в свободное от службы время. Он был недурной столяр и нередко чинил разную мебель у господ офицеров, довольствуясь тем, что дадут.

Поместил он приехавшую Груню не в казарме, где было отдельное помещение для женатых нижних чинов, а на вольной квартире, наняв комнату у одной землячки, старухи —

вдовы матроса Ивановны. Григорий ни за что не хотел жить с женою в казарме, среди шума и свар, постоянно бывших в этом длинном коридоре, по бокам которого расположены были маленькие комнаты. В каждой из них помещались иногда по две или по три семьи, и об уюте в них нечего было и думать. Да и слишком свободные нравы матросских жен пугали степенного матроса. Он был как-то дежурным в этом бабьем царстве и видел сцены пьянства, свар, разврата и драк мужей с женами и с любовниками. Лучше подальше от греха. Лучше Груне жить отдельно, тихо и спокойно, и он будет приходить по вечерам в свой угол, чистый и домовитый, будет говорить с Груней и пить чай с глаза на глаз, не чувствуя над собой чужих наблюдений и не слыша вечной соседской ругани. Содержать жену он, слава богу, сможет; не особенно много и нужно, чтобы прожить. Десять рублей они вместе заработают.

Вскоре Григорий, чинивший стул у своего экипажного командира, порекомендовал его супруге свою жену как хорошую и аккуратную прачку. Барыня согласилась попробо-

вать, осталась довольна, и Аграфена стала стирать на всю многочисленную семью экипажного командира. Затем нашелся и еще дом, где Аграфена стирала. Она не прочь была забрать и еще работы, но муж не позволял, находя, что жена и без того утомляется. Вместе с тем Григорий раз навсегда запретил Аграфене брать в стирку белье от холостых офицеров.

Через несколько времени комната Аграфены приняла тот уютный, опрятный вид, который свидетельствовал и о некотором достатке и о привычке хозяев к чистоте и порядку. Появились и занавески на окнах, и цветы, и смолистый мат, сделанный Григорием, и комод, и шкафчик его же работы. Аккуратная Аграфена, видимо, заботилась о том, чтобы комната была игрушкой.

И Григорий приходил по вечерам из казармы в эту чистую, светлую комнату, где, в ожидании его, на покрытом скатерткой столе уже стоял самовар и приготовлена закуска, радостный, счастливый и признательный к своей молодой, расторопной хозяйке, присутствие которой делало эту комнату, казалось,

еще светлее.

Григорий любил жену со всею силою своей глубокой, страстной и ревнивой натуры. Он не показывал ей этого, словно бы стыдясь своего влюбленного чувства, но эта любовь невольно светилась в его глазах и сказывалась в нежной заботливости о жене и в необыкновенно мягком отношении. Никогда он ее не ударил, никогда не поносил грубым ругательством и был ласков и кроток.

Аграфена понимала эту горячую любовь и, тронутая ею, старалась угождать мужу, уважала и ценила его, но чувствовала, что в ней нет той страсти, которою был охвачен муж. Сердце ее не трепетало при ласке мужа: она спокойно переносила разлуку с ним по летам, когда он уходил в плавание. Порой на нее нападала какая-то безотчетная грусть, какие-то неопределенные желания охватывали ее душу, и что-то захватывающее, светлое и счастливое восставало перед ней и проносилось отдаленным лучезарным призраком.

В такие минуты она испытывала неудовлетворенность своей жизни, была молчалива и холодна с мужем и находила, что низенький,

белобрысый Григорий с большой головой и красными пятнами вместо бровей совсем неказист.

И, случилось, что-то неприязненное к нему невольно закрадывалось в ее сердце.

Она гнала прочь эти мысли, как наваждение дьявола, плакала и молилась, припоминала, какой хороший человек Григорий, как он бережет и любит ее, и, полная раскаяния, старалась быть внимательнее и нежнее к мужу, который словно бы весь светлел, счастливый и радостный, при малейшем проявлении нежности своей Груни. Но и в такие минуты беспричинной тоски ничей мужской образ не являлся перед ней, и даже в мыслях она никогда не представляла себе, чтобы она, «мужняя жена», строгая раскольница, полная страха божия, могла впасть в грех.

Никого она не любила.

И Григорий подчас втайне мучился, чувствуя, что в привязанности жены нет той страсти, какую был проникнут весь он. И холод ласк и спокойное отношение к нему по временам возбуждали в нем подозрения, что жене люб кто-нибудь другой.

Тогда он, обыкновенно мягкий и кроткий, вдруг прорывался и делал резкие сцены ревности и, зная, как заглядываются на его красавицу жену мичмана, оскорблял ее с негодованием безумца, ослепленного ревностью, со страстностью горячо любящего человека, не находящего взаимной страсти.

Но спокойно-суровый отпор честной женщины, возмущенной оскорбительными подозрениями, эти ясные, светлые глаза, загоравшиеся негодованием и презрением, отрезвляли его, и он, радостный и виноватый, сам же стыдился своих подозрений. Он верил, что никто ей не люб. Он знал, что Груня слишком честна и богобоязненна, чтобы когда-нибудь «нарушить закон». Недаром же недоступность ее была известна всем в Кронштадте, и матроска Груня пользовалась общим уважением. Никто про нее не мог сказать дурного слова.

И Григорий после таких сцен старался задобрить жену, был еще кротче и нежнее и с большею страстью осыпал ее ласками, забывая в удовлетворенном чувстве мужа нравственную неудовлетворенность. Он усыплял

ее тем, что приписывал сдержанность Груни в проявлении чувства к нему не недостатку его, а свойству ее характера.

Его только огорчало, что у них нет детей.

VI

Лукавый «писаренок», избалованный своими успехами среди горничных и нянек и умевший действительно «облещивать» их, заставляя потом проливать слезы, — продолжал упорно ухаживать за Груней, разыгрывая не без искусства роль почтительного и робкого влюбленного.

Таким способом он надеялся тронуть недоступную матроску и прибавить новые лавры к своему победному венцу кронштадтского «обольстителя».

В последнее время он участил свои встречи с Аграфеной.

Он выведал, когда она ходит за бельем и когда относит его, шатался по ранним утрам на рынке и чуть ли не каждый день попадался ей на глаза.

С тонким расчетом продувной бестии, имевшей, несмотря на молодые годы, значительный опыт в любовных делах, он по-преж-

нему не позволял себе с матроской ни малейшей наглости, какую вообще отличался в отношении со своими поклонницами.

С Аграфеной, напротив, он был сама невинность. Ни разу не заговаривал с ней, не пускал ей комплиментов и только восторженно, словно бы очарованный, взглядывал на нее своими черными красивыми глазами и тотчас же смущенно опускал их, если, случалось, перехватывал ее быстрый и строгий взгляд.

Он понимал, что встречи эти не сердят матроску, но в то же время видел, что они несколько не подвигают его к цели.

Казалось, она решительно не обращала внимания на пригожего, франтоватого писарька, словно бы не замечая этих частых встреч. Ни разу не усмехнулась, не подарила сколько-нибудь обнадеживающим взглядом, так что ему не представлялось даже удобного случая огорошить матроску теми затейливыми любовными словечками, на которые он был такой мастер и которыми покорял многих горничных.

Это невнимание раздражало самолюбиво-

го, самонадеянного писарька, и он стал упорнее в своих выслеживаниях и назойливее. Случалось — когда матросы были на работе — он сторожил Аграфену в переулке и неожиданно встречал ее у самого дома, что, видимо, не нравилось матроске.

Мало ли что могут подумать соседи, заметивши писаренка?

Однажды, часу в шестом вечера, она вышла из ворот и направилась в лавочку купить кое-что для мужа, который должен был вернуться из гавани.

Возвращаясь домой с покупками, Груня чуть не столкнулась у ворот с писарьком, точно выскочившим из-под земли.

Это, наконец, озлило матроску. Неравно еще и муж увидит и подумает, что она приваживает писарька.

«Надо отвадить этого дурня раз навсегда», — решила она и, внезапно остановившись, сердито и сухо кинула ему:

— Ты чего у чужих ворот околачиваешься да в глаза тычешься?..

— Я так-с, мимо шел, прогуливался, значит, Аграфена Ивановна! — с напускною ро-

бостью отвечал Васька Антонов, снимая с пиарской галантностью фуражку и отставляя мизинец правой руки, чтобы показать аметистовый перстенок.

«Ишь и имя мое вызнал!» — подумала, невольно краснея, матроска и еще строже промолвила:

— То-то ты больно часто мимо ходишь... Ты лучше ходи другой дорогой, а то как бы тебе, пареньку, не помяли боков. Мой матрос искровянит тебя в лучшем виде...

«Васька-подлец» вскинул на Груню глаза и, понижая свой мягкий, вкрадчивый тенорок, проговорил с восторженной решимостью отважного человека, не могущего более скрывать своих чувств:

— Из-за вас, Аграфена Ивановна, я жизни готов решиться, а не то что стращать меня, с позволения сказать, боками. Никого я не боюсь, потому как, осмелюсь вам доложить, нет сил моего терпенья, чтоб не видеть вашего очаровательного лица... Только взглянуть, и я получаю блаженство очарованья... Простите мою смелость, Аграфена Ивановна, но я не могу удержать крика влюбленного сердца...

Пораженная неожиданным признанием, матроска на мгновение словно бы отдалась обаянью этих смелых речей и слушала их, точно какую-то нежную, неведомую доселе музыку, ласкающую, проникающую в самую душу и заставляющую замирать сердце.

И вдобавок, как пригож этот молодой, кудрявый писарек! Какою искреннею страстью дышат его слова! Как умоляюще и робко глядят на нее его черные, нежные глаза.

Но мгновение прошло, и Груня словно бы испугалась и устыдилась охватившего ее настроения.

Она приняла еще более суровый вид и, опуская голову, чтобы скрыть заалевшее лицо, произнесла резким голосом:

— Ты языком-то не бреши, непутевый! Не шатайся здесь, слышишь?

— Не будьте столь жестоки, Аграфена Ивановна! Позвольте хоть издали ласкать взор лицезрением вашей андельской красоты... Выслушайте, Аграфена Ивановна...

— Не мели пустого... Нечего мне дурака слушать! — строго перебила его матроска. — Говорят, не бегай за мной. Не услеживай... А

не то — смотри! — грозно прибавила Аграфена.

— Что ж, если такое будет ваше повеление, то мне остается предаться своей злосчастной судьбе! — продолжал писарь, стараясь выражаться как можно «забористее». — Прощайте, Аграфена Ивановна! Отныне исчезну я из ваших прекрасных глаз, в которых искал забвения от горестей жизни. Прощайте, жестокая!

Писарек произнес эти слова не без некоторого драматизма, свидетельствовавшего об его сценических способностях, и, бросив нежный взгляд на хорошенькую матроску, почти-тельно поклонился ей с видом человека, сраженного печалью, и быстро отошел, направляясь в сторону, противоположную той, откуда мог появиться муж Аграфены, встречи с которым Васька предусмотрительно избегал.

Очувтившись вне всякой опасности, угрожающей целости его красивой физиономии, Васька замедлил шаг и, не совсем довольный результатами своего любовного красноречия, все-таки, улыбаясь, проговорил вслух:

— Небось восчувствуешь!..

И в тот же вечер хвастливо говорил в ка-

зарме своему приятелю, угреватому и неказистому писарю Иванову:

— А матроску эту самую сегодня я, братец ты мой, пригвоздил!..

— В каких это смыслах понимать? — не без тайной зависти спросил Иванов.

— Объяснился, значит. Так, мол, и так... Одним словом, огорошил в лучшем виде.

— А в морду не получил?

— В морду? Это которые ежели дураки пусть в морду от баб получают, а я, слава богу, понятие насчет их имею! — не без хлыщеватого апломба проговорил Васька и самоуверенно закрутил усики.

— А за матроской небось два месяца зря околачиваешься?

— Уж больно занозиста бабенка, а главная причина: в задор вошел, вот что я тебе скажу. Можешь ты это понять? А горничные эти все да куфарки — надоели. Ты им одну любовную штучку загнешь, а уж они, подлые, и льнут... Выбирай — не хочу. А такой добиться, как Грунька, лестно и стоит побегать...

— Так и добьешься! — почему-то противоречил, и даже с чувством злобы, приятель.

— Дай, брат, срок... Небось ей лестно было слушать, как я ей сегодня любовные слова говорил.

— Не очень-то, я думаю, слушала...

— Врать не стану... быдто и не очень. «Не бреши, говорит, писаренок... Не смей, говорит, услезивать за мной...» А все-таки загвоздка вышла! — уверенно прибавил Васька.

— Никакой загвоздки не вышло. Лучше не срамись, брось!.. Эта Грунька и мичманов отчесывала... Не облестить тебе матроски...

— Бросить? Нет, брат, бросить теперь никак невозможно...

— Да ты сдурел, что ли, по матроске?..

— То-то понравилась... Теперь, значит, самая настоящая игра начинается, а ты вдруг: брось! Нет, я не брошу... Не отстану, хочь она и грозит, что муж бока намнет... Это один разговор... а с ней, братец ты мой, совсем особенную линию надо вести. Другую обнял, да и «айда, мадам!», а с ней так нельзя... Она — баба строгая, норовистая. Ее, значит, надо облещивать по всей форме, не торопясь... Небось, братец, я знаю, как...

— И хвастаешь ты только, Васька! Никогда

не облестить тебе Груньки. Не по твоему рылу!

— Дай только мужу уйти в море, так увидишь...

— Ловок ты, Вась, насчет женского ведомства, что и говорить, но только тут как есть тебе крышка. Останешься в дураках!

— Я-то? Давай на парей! — задорно предложил Васька.

— Продуешь парей-то!

— Давай, говорю!

— С превеликим моим удовольствием. На что?

— На три пары пива. Идет?

— Хоть на всю дюжину. Не мне платить!

— Заплатишь!

— А какой, значит, срок?

— Через месяц Грунька не устоит против меня! — самоуверенно воскликнул писарек.

— И все-то ты врешь... все-то ты врешь, подлец! — с ожесточением проговорил Иванов и в эту минуту ненавидел от всей души своего приятеля, желая ему потерпеть неудачу и после зло посмеяться над ним.

«Не думай, дескать, что уж ты такой лов-

кач, черт бы тебя взял!»

VII

Аграфена вошла к себе сердитая, словно бы чем-то недовольная и несколько взволнованная.

«Ишь тоже с чем пристал!» — порывисто проговорила она и с каким-то ожесточением принялась вдруг чистить самовар, хотя он и без того был достаточно чист.

Вычистивши самовар, она его поставила, затем с тою же порывистостью собрала на стол, расставила тарелки со снедью и, так как больше нечего было делать, присела на стул и старалась думать о том, как придет муж и обрадуется, что все у нее готово.

«Небось голодный. Намаялся день на работе!»

Но вместе с мыслью о муже в голову ее лезли мысли о писарьке, который так складно говорил о том, как он ее любит и готов из-за нее решиться жизни. И ничего ему дурного не нужно, — не то что другим мужчинам, — только издали на нее глядеть.

Так с ней никто никогда не говорил.

«Жестокая!» — пронеслись в голове слова

писаренка, и она пожалела, что так сурово обошлась с ним.

И как он заробел, бедный!.. Какой ушел тоскливый!

Сама того не замечая, Аграфена, тронутая этим страстным призывом любви, отдавалась мечтам о писарьке. И они уносили ее далеко-далеко из этой комнаты... И муж казался ей таким постылым.

Какое-то неведомое, сладкое и в то же время жуткое чувство охватило матроску. Ей чего-то хотелось, душа куда-то рвалась, потребность ласки и любви сказывалась в этом замирании сердца, в какой-то жгучей истоме.

И пригожий, кудрявый, черноглазый писарек, нежный и робкий, стоял тут, перед ней, и словно манил ее к себе, суля ей любовь и счастье. Его ласковые слова так и звучали в ее ушах, и ей хотелось бы слушать их без конца, слушать и целовать эти очи, целовать эти уста, отдаваясь его горячим ласкам...

Матроска поймала себя на таких мыслях и вдруг ужаснулась.

О господи! О чем она сейчас думала, она — честная, верная жена?!

Суеверный страх, стыд и раскаяние овладели Груней. Ее честная натура возмущалась против таких помыслов. Ничего подобного никогда с ней не было, а теперь? Это дьявол смущает ее!

И, полная ужаса, она бросилась за полог и, опустившись на колени перед образами, горячо молилась о том, чтобы пресвятая богородица простила ее, великую грешницу.

Молитва несколько успокоила Груню.

Писаренок казался ей теперь ненавистным, как виновник ее преступления. Попадись только он ей на глаза — она на него и не взглянет, на подлого, а если он опять начнет услезивать — плюнет ему в морду. Не смей, мол, бегать за мужниной женой!

«И как только могли прийти ей в голову такие подлые мысли?» — думала она, полная стыда и негодования, и вспоминала, какой у нее хороший и добрый Григорий. И как он ее бережет, как любит, как всегда ласков с ней!..

И, когда в седьмом часу явился Григорий и положил ей на стол сверток с пряниками, Груня как-то особенно приветно и ласково встретила мужа.

Она видела, как от ее ласковых слов светлело лицо Григория и его добрые глаза еще нежнее и любовнее смотрели на нее, и она, словно бы чувствуя потребность загладить вину, заботливее угощала его, и ей казалось в эти минуты, что Григорий ей мил и дорог и что она его очень любит.

Груня спрашивала его о делах на бригае, между прочим, осведомилась, скоро ли они уйдут в море.

— Завтра вытянемся на рейд и ден через пять уйдем...

— Я тебе рубаху сошью.

— Спасибо, Груня...

— А заходить в Кронштадт будете?

— То-то неизвестно... А ты разве будешь скучать по муже?

— А то как же? Нешто одной весело?

— А уже как мне тошно будет целое лето без тебя, Груня!.. Если бы еще зашли в Кронштадт летом, а то, может, и не зайдем... Будем, говорят, в Балтийском море клейсеровать да когда в порты заходить.

— На берег съезжать будешь?

— Что на берегу делать? Я по кабакам не

хожу да за девками не гоняюсь, как другие-прочие матросы...

— И женатые?

— А ты думала как? Это редко какой человек понимает, что ежели он в законе, то соблюдать себя должен не хуже жены. По мне, так это грех, а матрос не считает грехом... Ему, мол, ничего... Зато и матроски, нечего тоже сказать... рады, как мужья-то уйдут... Небось сама видала, какие здесь матроски?.. А ежели по совести-то рассудить, то и мужья виноваты... Сами закон не исполняют, так разве можно с жены требовать?

Григорий любовно смотрел на жену и, полный счастья, продолжал:

— Вот мы с тобой, Груня, не такие... Мы бога-то помним... закон исполняем... Живем, слава богу, по совести... Уйду я в море, и сердце у меня спокойно... Знаю, что ты верная мне жена...

— И я стыд-то, кажется, имею! — проговорила, вся вспыхивая, Груня...

— То-то и есть. И ни на кого меня не променяешь?.. Любишь мужа-то?

— Как же мужа не любить!.. И на кого же

мужа менять? — горячо сказала Груня.

— И за меня можешь не сумлеваться, Груня, — продолжал Григорий, радостный от этих слов и чувствовавший потребность излить свои чувства перед любимой женой, — я тоже стыд имею... Ты вот год в деревне жила, и ни на кого я не смотрел... Ни одной бабы не знал... хучь бы их и не было... А уж теперь и подавно... Одна ты в мыслях...

«Ишь как он меня любит!» — подумала тронутая матроска и чувствовала себя бесконечно виноватой перед мужем, вспомнив, что несколько минут назад она считала его постылым.

Ей хотелось чем-нибудь доказать ему свою привязанность и ответить ласковым словом.

И она сказала:

— И у меня, кроме тебя, никого нет на мыслях, Григорий.

Сказала, и краска залила ее щеки от лжи.

А Григорий понял это как проявление страсти в жене и, необыкновенно счастливый, что она его любит, прошептал:

— Славная ты у меня, Груня!

Они долго просидели этот вечер за столом.

Следующий день было воскресенье, и Григорию не нужно было идти в гавань. Они разговаривали о разных делах, о том, как Груня будет жить лето. Он наказывал ей не утруждать себя работой и не брать много стирки. У них, слава богу, есть двадцать рублей, прикопленных на черный день; можно из этих денег тратить, в случае чего. И пусть она не отказывает себе в пище, пусть ест хорошо, да когда побалуется ягодами да пряниками, а он за лето скопит деньжонок за винную порцию.

— А я тебе весточки о себе давать буду, Груня.

— Жалко, я не умею... А то бы я тебе отписала... Разве попросить кого написать?..

— Нет, уж кого просить!.. — не согласился на это ревнивый матрос и прибавил: — Даст бог, и придется повидаться летом... Наш капитан тоже женатый... И ему лестно навестить супружницу...

Через пять дней, рано утром, Аграфена провожала мужа до Купеческой гавани, где стоял баркас, готовый отвезти на бриг отпущенных на ночь женатых матросов.

На людях они простились без особых неж-

ностей. Только Груня как-то особенно сильно и горячо пожала мужу руку. Ей почему-то вдруг сделалось страшно, что он уходит и она остается одна, и слезы показались на ее глазах.

— Ну, полно, Груня... Не плачь... Лето скоро пройдет...

— Смотри, Гриша... давай о себе весточки... И почаще!.. — говорила, всхлипывая, Груня.

— Вались на баркас, ребята! — крикнул унтер-офицер. — Сейчас отваливаем!

— Прощай, Груня...

— Прощай, Гриша...

Смех и говор провожавших баб затих.

Скоро баркас был полон матросами и отвалил от пристани.

В восьмом часу утра Аграфена пошла на стену Купеческой гавани и видела, как двухмачтовый красивый бриг «Вихрь», поставив все паруса, слегка накренившись, уходил от Малого кронштадтского рейда.

Она возвращалась домой, по обыкновению, степенная и серьезная, ни на кого не глядя и не обращая внимания на похвалы, порой раздававшиеся ей вслед.

О писаренке она почти забыла. Он исполнил обещание и со времени последней встречи ни разу не показывался на глаза.

VIII

Прошла неделя с тех пор, как Григорий ушел на «Вихре» в плавание. Одна знакомая матроска сказывала, что «Вихрь» во все лето ни разу не зайдет в Кронштадт. Ей один писарь старый говорил, который «все знает».

Писаренок точно в воду канул.

Это показалось Аграфене чем-то странным, ей как будто было даже обидно, что он так добросовестно исполнил ее же приказание: «не услезживать».

Если писаренок не «брехал» тогда зря, то мог бы раз-другой как будто ненароком встретиться.

А то бегал-бегал два месяца, пялил глаза, да и был таков! Какая же это любовь?

«Уж не случилось ли чего с ним?» — беспокоилась порой Груня.

И во время своих выходов на улицу она нет-нет да украдкой и взглядывала: не идет ли навстречу этот пригожий, аккуратный, молодой писарек?

И матроска досадливо отворачивала взор, не встречая своего поклонника ни на улицах, ни на рынке.

«А может, его назначили на какой-нибудь корабль и его нет в Кронштадте?»

Так порой думала матроска, но думы о писарьке не были продолжительными и не переходили в греховные мечты, как было раз. Дьявольского наваждения, слава богу, не было, и Груне не в чем было каяться.

Просто ей жаль этого робкого паренька, которого она так строго «отчекрыжила», вот и все. Что может быть другого? Не льститесь же она, в самом деле, на хорошенького писаренка? Она и по имени его даже не знает. Она, слава богу, любит и почитает своего матроса и помнит, что мужняя жена. Небось закон соблюдает, и ни в чем ее упрекнуть нельзя.

Подобными объяснениями она успокоивала себя, когда замечала, что в голову ее подчас являлись мысли о писаре. Ей казалось, что она вовсе забыла о нем думать — мало ли этих прощелыжников-писарей в Кронштадте, — а он нет-нет да и вспомнится, и словно бы от этого воспоминания и тепло и грустно

на душе.

Почти уверенная, что поклонник ее в море, матроска чуть не ахнула, когда однажды, часу в восьмом утра, отправившись на рынок, она увидела этого самого писаренка, шедшего навстречу.

Сердце ее забилося радостно и тревожно. Она чувствовала, что лицо ее заливаается румянцем. Ей вдруг сделалось весело, и погожий июньский день ей показался еще светлей и погожей.

И он шел не спеша, с опущенной вниз головой, точно подавленный каким-то горем, и не поднимал глаз.

Стараясь скрыть охватившее ее радостное волнение, Аграфена приняла строгий вид, опустила глаза и прибавила шаг. Вот-вот они сейчас сойдутся и разойдутся, — он на нее и не взглянет.

«Видно, и забыл обо мне!» — подумала задетая за живое матроска, исподлобья взглядывая на писарька.

Но в ту же минуту он быстро поднял голову и, встретив ее взгляд восторженным взглядом, весь словно бы просиявший от счастья,

снял фуражку и проговорил:

— Мое навеки вам низжайшее почтение, Аграфена Ивановна! Дозвольте умолить вас выслушать одно мое слово...

— Ну, здравствуй... Чего тебе надо еще? — строго промолвила Груня чуть-чуть дрожавшим голосом.

Она приостановилась и вопросительно смотрела на этого хорошенького, свежего и румяного, щегольски одетого писарька. Его большие черные глаза так и впились в ее лицо и точно ласкали своим нежным взглядом и говорили о любви.

— Как вам угодно будет, Аграфена Ивановна, но только я не могу, — начал он мягким нежным тенорком.

— Чего ты не можешь? говори толком.

— Не могу исполнить вашего повеления, чтобы не видать вас. Терпел две недели и... нет больше сил моих... Не будьте столь ко мне жестоки... Позвольте хоть издали любоваться на вас, Аграфена Ивановна...

— Опять замолол! Не мели пустяков! — промолвила Груня, продолжая путь.

— Для вас пустяки, а для меня, может быть,

решается судьба жизни! — продолжал Васька, идя рядом с Аграфеной... — Не берите на душу греха в погибели человека...

— Отстань... Что еще выдумал?

— Вовсе не выдумал, Аграфена Ивановна... Я целых две недели, можно сказать, был в непрерывной тоске и в непрерывных мечтаниях о вас... Ни сна не было, ни аппетита. Так только поддерживал свое существование... Отмените ваше приказание... насчет моего обожания. А не то... без лицемерия вашего лица мне лучше не жить.

— Сдурел ты, что ли?..

— Помрачение форменное, Аграфена Ивановна. Первый раз в жизни почувствовал, что значит, когда обожаешь всеми нервами своего существования по гроб жизни. Дозвольте встречаться, а не то в отчаянности я могу решить себя жизни...

— Что ты? Что ты? — испуганно проговорила матроска, останавливаясь и с участием взглядывая на писарька, лицо которого в эту минуту имело самое трагическое выражение. — Как тебя звать-то? — прибавила она.

— Василием! — мрачно проговорил пи-

сарь.

— Опомнись, Василий! Не говори таких слов. Грех, большой грех!

— Вовсе я в беспамятстве от чрезмерной любви к вам, Аграфена Ивановна.

— Глупый! Разве можно любить чужих жен? Я — в законе. А ты заведи свою, да и люби... Мало ли девушек в Кронштадте.

Васька горько усмехнулся.

— Эх, Аграфена Ивановна! Может, и много их, да вы-то одни!

— Отвяжись... Не болтай... Иди, иди прочь!.. Люди увидят.

И матроска, вся взволнованная, пошла, ускоряя шаги.

— Так это последнее ваше слово, Аграфена Ивановна?

— Да чего ты от меня хочешь?

— Видеть вас, только видеть и знать, что вы не сердитесь на несчастнейшего человека!

— Да как я могу запретить дураку смотреть на себя?.. Пяль глаза, коли тебе охота... Только смотри, около дома не ходи!..

— Чувствительно благодарен вам и за то... Пречувствительно. Вы, можно сказать, верну-

ли меня к жизни.

И с этими словами Васька взял руку Аграфены и крепко-крепко пожал ее.

— Сегодняшний день — для меня незабвенный! — прибавил он и шепнул: — Прощай, любовь моя!.. Прощай, андел души моей!

И, приподняв фуражку, обогнал матроску и еще долго оглядывался, словно бы не мог от нее оторваться.

— Глупый! — шепнула матроска.

На душе у нее была радость. Эта любовь невольно находила отклик, и она вдруг почувствовала, что писарек ей необыкновенно мил и дорог.

IX

Молодая, впервые загоревшаяся страсть охватила молодую женщину, пробудив в ней дремавшие инстинкты. Напрасно боролась она с ней. Напрасно прибегала к заступничеству пресвятой владычицы и Николе-угоднику. Ни горячие молитвы, ни слезы, ни усердные поклоны, ни воспоминания о добром, хорошем Григорье не помогали теперь. Этот красивый писарек овладел всеми ее думами. Бессонные летние ночи были полны грез о

нем. И каких грешных грез!.. И она отдавалась им в какой-то истоме, отдавалась, радостная и трепещущая, горячим поцелуям и наутро, со стыдом вспоминая о грешных снах, снова молилась.

Выходя на улицу, она теперь тщательнее заботилась о своем туалете и старалась одеться к лицу. Встреч она ждала с нетерпением, и сердце ее сильнее билось, когда писарек появлялся на дороге. И ей было грустно, когда он ее не встречал.

Но она старалась не показывать вида, что он ей так люб, и таила про себя свою любовь. По-прежнему она была серьезна и даже сурова при встречах и не допускала никакой короткости.

«Услеживая» матроску, Васька дарил ее пронзительными взглядами и при удобном случае отпускал ей чувствительные комплименты и говорил о своей любви.

— Не брешь... Не годится мне слушать! — сурово останавливала его матроска.

Но Васька видел, как краснела она от удовольствия, и решил, что пора действовать более энергично.

И вот однажды днем, часу во втором, когда квартирная хозяйка Груни сидела у своего ларька на рынке и почти все обитатели переулка дремали после обеда, Васька осторожно вошел во двор и тихо отворил двери комнаты.

После утра, проведенного в стирке, Груня тоже прилегла, но сна не было. Мысли ее были заняты писарьком. Сегодня на рынке она не видала его. Отчего это он не пришел?

— Кто там?.. Это ты, Ивановна? — окликнула Груня, заслышав шаги в комнате.

Ответа не было.

Тогда она вскочила с постели и, наскоро застегивая раскрытый воротник платья, вышла за полог.

Краска залила ей лицо при виде писарька, о котором она только что думала.

— Ты зачем? Нешто тебя звали? — сурово проговорила Аграфена, стараясь принять строгий вид и в то же время оправляя свои сбившиеся волосы.

— Простите мое дерзновение, Аграфена Ивановна, — робко проговорил, почтительно кланяясь, Васька, — я на один секунд... Шел

мимо — уморился от жары и осмелился зайти... Попрошу, мол, напиться... И как же хорошо здесь у вас, Аграфена Ивановна!.. Точно в раю небесном! — прибавил Васька, озирая опрятную, чистую комнату.

Стараясь скрыть охватившее ее волнение, при виде этого нежданного, но желанного гостя, матроска торопливо прошла своими маленькими босыми ногами за двери и, вернувшись оттуда с ковшиком, протянула его писарьку и сердито сказала:

— На, пей и проваливай!

Пальцы их встретились. Васька будто нечаянно придержал руку Груни в своей руке, когда брал ковшик.

— Бери, что ли, коли пить зашел! — смущенно промолвила Груня, отдергивая руку.

— Чувствительнейше благодарен, Аграфена Ивановна, что дозволили утолить жажду, — позвольте пожать вашу белую ручку...

И, не дожидаясь ее согласия, он крепко пожал ей руку.

— А ковшик я сам отнесу на место.

Он вышел за двери и, возвращаясь, незаметно запер их на крючок.

— Ты зачем же вернулся? Напился и уходи с богом! — взволнованно произнесла Груня, увидав снова писарька.

— Дозвольте присесть хучь на минутку, Аграфена Ивановна. Ужаси как устал... Такая, можно сказать, угнетательная жара! — продолжал раскрасневшийся писаренок, лаская Груню загоревшимся взором. — А тут у вас такая прохлада.

— Отдыхай где-нибудь в другом месте...

— Одну минуточку...

— Уходи... уходи!.. Что люди скажут, увидавши, что ты здесь...

— И никто не увидит... Хозяйка ваша на рынке... Народ спит... А вы все: «люди»! Эх, Аграфена Ивановна! Вам, видно, нисколько не жаль человека?..

— Чего тебя жалеть-то?

— За мою такую несчастную любовь нельзя даже и секунд один побыть у вас... поглядеть на ваши чудные глазки, на ваши сахарные уста. За один поцелуй умер бы сейчас на месте, вот что... А вы столь жестоки, Аграфена Ивановна! Положим, я вам вовсе ненавистен, я это довольно даже хорошо понимаю, но

неужели ненавистность так велика, что нельзя и минутки посидеть?..

Он говорил тихим, вкрадчивым голосом, не спуская с нее глаз, полных мольбы и страсти.

И красивое лицо Груни алеет все более и более. Высокая грудь тревожнее дышит из-под тонкой ткани ситца. Глаза ее уже не строго, а смущенно и испуганно смотрят на писаренка и светятся лаской.

— Глупый! С чего ты взял, что ненавистен? — как-то помимо воли ее вырвались эти слова. — Но ты уходи, слышишь, уходи!

Но Васька шел к ней.

— Уходи, говорят! — в страхе прошептала Груня, отступая назад и чувствуя, как трепещет ее сердце.

— Груня... Ненаглядная!.. Помру без тебя!

— Уходи, уходи!

В голосе ее звучала уже не угроза, а мольба.

— Ты гонишь, жестокая! А я должен страдать... Груня... Груня! — говорил он прерывающимся голосом.

И, весь охваченный страстью, он уже был

около матроски...

— Голубка моя... Радость жизни!..

— Уйди... Уйди! — повторяла она.

Но вместо того чтоб оттолкнуть его, она вдруг порывисто и страстно обвила его шею и крепко прильнула к устам писаренка.

Слезы лились из ее глаз, и она, забыв все на свете, шептала:

— Вася... Голубчик!.. Желанный ты мой...

Х

Месяц пролетел для Груни словно бы в каком-то счастливом сне.

Эта первая настоящая любовь совсем захватила молодую женщину, и она беззаветно отдалась ей со всею силою своей страстной натуры. Она безумно привязалась к Ваське, который в ее ослепленных глазах был и красавцем, и умным, и добрым. Это было какое-то обожание впервые влюбленной женщины, рабское поклонение кумиру. Он казался ей высшим существом и все в нем необыкновенно милым.

Богобоязненная и сдержанная прежде, она теперь словно бы хотела себя вознаградить за прежнюю жизнь без любви. Она, казалось, за-

была и о грехе и о муже, ни о чем не думая, ничего не пугаясь, — один Вася был для нее источником жизни и радости. Они виделись часто: позднею ночью тихо стучал он в окно, и Груня отворяла его, впуская писарька.

Она глядела ему в глаза и, казалось, готова была на все для него. Васька видел, что она «втемяшилась», как он выражался, и пользовался своим положением. В скором времени Груня передала ему все деньги, которые у нее были, и заложила все свои вещи. Она притихала, когда Васька был не в духе, и терпеливо сносила его ломание. А он таки ломался над любящей женщиной, и ему доставляло какое-то удовольствие дразнить ее, возбуждая ее ревность.

И Груня по целым дням плакала, когда, случалось, Васька не приходил. Но стоило ему прийти, стоило сказать ласковое слово — и она вся светлела и спрашивала:

— Любишь ты меня?

— Не любил бы, небось не ходил... А ты думала как? — прибавлял насмешливо писарек, сам увлеченный страстью красавицы матроски.

Но скоро увлечение его стало проходить. Он все реже и реже стал заходить к Груне и, когда та начинала упрекать, отвечал:

— Хочу — пришел, хочу — нет... Я — вольная птица...

— Так-то любишь?.. А что говорил?

— Мало ли что скажешь бабе... Не всякому слову верь...

— Вася! Да бог-то у тебя есть?

— Слава богу, крещеный...

Груня горько плакала. Тогда он утешал ее ласками, брал последние деньги и уходил...

Наступил август месяц, и Васька совсем перестал ходить к Груне. Во-первых, боялся он, что скоро вернется муж и как бы ему не попало от него, а во-вторых, он и охладел к своей любовнице, — слишком уж она «всерьез» к нему была «привержена», и это его пугало. Вдобавок он уже начал приударивать за франтоватой горничной из Петербурга, поступившей к одному адмиралу и успевшей уже обратить на себя внимание господ писарей и своим задорным личиком, и фасонистыми костюмами, и шляпкой с цветами, и высокомерным отношением к ухаживателям.

«Дескать, я на всех вас ноль внимания!»

В качестве кронштадтского «сердцееда», Васька перенести этого не мог и принялся бомбардировать адмиральскую горничную своими любовными словечками.

Груня загрустила. Почуяло ее сердце, что Васька разлюбил ее, и она первые дни ходила как потерянная. Неужли так и бросил, не простившись даже? И она жадно искала с ним встреч. Но он и не глядел на нее, раз даже, проходя под руку с расфуфыренной чернявой горничной, усмехнулся и что-то прошептал своей спутнице на ухо, показывая на Груню.

Глубоко оскорбленная вернулась Груня домой, и ей все еще не верилось, что можно быть таким бессовестным человеком.

— За что? За что? — шептала она, и горькие слезы катились по ее щекам.

На следующий день, отправляясь за бельем, она встретила Ваську.

— Вася! — позвала она.

— Ну, что тебе? — нетерпеливо проговорил Васька.

— И тебе не стыдно? — кротко спросила матроска.

— Чего стыдиться-то? И вовсе мне не стыдно! — нахально проговорил он, улыбаясь глазами.

— Зачем же ты облещивал?.. Говорил, что жисти решишься... Значит, все врал?..

— А ты, деревня, и поверила?.. Думала, я и взаправду из-за тебя жизни решусь... Держи карман...

Груня стала белее полотна и наивно спросила:

— Зачем же ты врал?

— Известно зачем... Чтоб облестить... Ты такая недотрога была... Фу ты на... Не подходит... А я, значит, и подошел... Поняла теперь?.. А затем имею честь кланяться, мадам, мне не по пути!..

Груня вернулась домой, но не могла приняться за обычную работу.

Точно завеса спала с ее глаз, точно она очнулась от сна, когда припомнила все случившееся. На нее напал ужас. Господи! Что она сделала? Из-за кого приняла столько греха? И оскорбление поруганной любви, и презрение к себе, и стыд перед мужем, и страх перед гре-

ХОМ — все это слилось в одно чувство беспредельного отчаяния, охватившего холодом ее душу.

Как нарочно в голову ей приходили мысли о муже. Так-то она отплатила за его любовь, за его нежные заботы. Только теперь, при сравнении с этим «подлецом», поняла она, как Григорий ее любит и какое для него предстоит горе. Как она взглянет Григорию в глаза, когда он вернется? Что скажет ему? Она, мужняя жена, она, до сих пор соблюдавшая себя, могла сделаться поллюбовницей!..

О господи, какая она великая грешница, и нет ей прощения!

И она с искаженным страданиями, побледневшим лицом поднялась и, пройдя за полог, с воплем тяжкого горя пала ниц перед образами.

Тщетно искала в молитве успокоения бедная женщина. Беспросветный душевный мрак охватил матроску, имевшую несчастье искренне увлечься.

XI

— Что ж, Иванов, припас деньги на пиво-то? — весело спрашивал Васька своего

приятеля, гуляя с ним вскоре после разрыва с Груней в Кронштадтском летнем саду.

— Какое пиво?

— Забыл, что ли, уговор насчет Груньки?

— Да ты нешто выиграл парей? — проговорил, зеленея от завистливой злобы, неказистый и худой белобрысый писарь.

Васька протяжно свистнул.

— Еще когда... Куда раньше срока...

— Что ж ты раньше не хвастал и не требовал парей? — недоверчиво спросил Иванов.

— Нашел желторотого галчонка! Разве мне неизвестна завистливая твоя душа? Беспременно ты подстроил бы мне какую-нибудь пакость. Пошел бы к ней и начал бы стращать, чтобы самому попользоваться... Ты на это ловок, дьявол... Пакостил мне не раз... Научил, слава богу...

— А теперь не боишься?

— Сделай ваше одолжение. Можешь теперь застрашивать сколько угодно матроску... Месяц почти с ней путался, с меня довольно. Надоела! — небрежно проговорил Васька и даже зевнул для большего эффекта, считая это почему-то необходимым для тако-

го неотразимого обольстителя. — Теперь, братец мой, я новую горничную адмирала Рябчикова обхаживаю... Видал, что ли, эту пронзительную брюнетку? Тоже, я тебе скажу, занозистая мамзеля. Так по-французски и сыплет... Ну да я ее скоро укрощу... шельму! — с невозмутимым нахальным апломбом прибавил Васька и прищурил глаза, оглядывая проходивших горничных.

— И все-то ты врешь, все-то ты врешь, подлец, насчет Груньки! — каким-то сдавленным голосом прохрипел Иванов.

— Смотри не подавись от злости... Небось завидно? — рассмеялся Васька, привыкший к этим выходкам Иванова. — А пиво все-таки ставь!

— Чем же ты докажешь, что не врешь?

— Охота мне перед тобой врать — скажите пожалуйста!..

— А все врешь! — настойчиво и злобно повторил Иванов, хотя в душе и уверен был, что подлец Васька не врет. — Докажи, тогда поставлю пиво.

— Да вот спроси хоть Федосеева. Он как-то запопал меня, как я от Груньки в окно под

утро лез... Тогда поверишь?..

— И спрошу... Эка бесстыжий ты дьявол!.. Облестил честную бабу и бросил!.. И за что только такого подлеца бабы любят! — с негодованием воскликнул Иванов.

— Небось ты бы не облестил?.. Ходу только нет при твоей уксусной харе, ты и урчишь на других...

— И попадет же тебе когда-нибудь, Васька. Здорово попадет! Муж-то этой Груньки ревнивый и отчаянный, я тебе скажу, матрос. Он не стерпит!

Васька, видимо, струсил, судя по мгновенно изменившемуся выражению лица.

— Почем он узнает?

— Небось найдутся подлые люди, которые скажут! — значительно протянул Иванов.

— Да брось ты каркать, воронья душа... Я знать ничего не знаю и никакой, мол, Груньки не касался... отверчусь в случае, ежели, какая дрязга выйдет. Валим, брат, лучше пиво пить, коли ты при деньгах. А брунетка, видно, не придет... Обещалась быть в саду, и нет ее! Должно, задержало что.

Иванов согласился поставить в счет проиг-

ранного пари несколько бутылок пива, и, когда Васька подпил, он с каким-то болезненным развращенным любопытством расспрашивал о подробностях его отношений с матроской и хотя злился, слушая о том, как привязана была Груня и какая она, можно сказать, «огонь-женщина», но все-таки не переставал расспрашивать, полный злобы и зависти к этому «подлецу Ваське», пользующемуся жизнью, веселому и довольному, тогда как сам он ни разу не испытал расположения ни одной женщины — напротив, только возбуждал одно отвращение.

На другой же день Иванов выследил Груню, когда она вышла из дома, и пристал к ней.

— Напрасно вы о Ваське-подлеце сокрушаетесь... Он забыл и думать о вас, Аграфена Ивановна, — говорил он своим скрипучим, точно сдавленным голосом, следуя за матроской. — А я бы вас, значит, любил по-настоящему... Что вы на это скажете?

Груня только побледнела и шла, не отвечая ни слова.

— Какой же ваш будет ответ?.. Позвольте

придти к вам с визитом... Не откажите... Я болтать не буду, не то что Васька, никто не узнает!.. Вы даже и отвечать не хотите?.. Так, может, вам лучше ответить и согласиться... Право... хуть одно свидание назначьте! — продолжал писарь, оглядывая стройную фигурку матроски своими маленькими подслеповатыми жадными глазками. — А не то можно и мужу вашему объяснить, как вы Ваську по ночам в окна пускали... Небошь попадет вам в таком случае... и Ваське будет! Так какое ваше решение? Когда прикажете придти?..

Матроска вдруг обернулась и, вся бледная от негодования, оглядела тщедушного, неказистого писаря таким презрительным, уничтожающим взглядом, что тот весь как-то съежился, и его прыщеватое, землистого цвета лицо с уродливо большим носом, нависшим над вздутыми губами, покрылось красными пятнами.

— Отстань! Не то плюну в твою поганую харю, — проговорила матроска и, отвернувшись, пошла далее.

Писарь не решился более преследовать

матроску. Он только в бессильной злобе крикнул ей вслед позорное ругательство и потом шепнул, словно утешая себя:

— Попомнишь ты поганую харю! Попомните вы оба с Васькой!

На другой же день, сидя за столиком в экипажной канцелярии, он писал своим четким красивым писарским почерком письмо Григорию, в котором от имени доброжелателя извещал о том, что «его супруга находилась в любовной связи с писарем 12-го флотского экипажа Васькой Антоновым в течение месяца и продолжала бы оную, если бы Васька не бросил Аграфену Ивановну, обобравши от нее все деньги, которые мог выманить по своей подлости. И многие вещи, как-то: два новых платья и шубка супруги вашей заложены для своего милого дружка, заслужившего такую любовную приверженность, что они принимали Ваську почитай что каждую ночь у себя на квартире, впуская и выпуская счастливого полюбовника в окно. Все сие доподлинно верно и сообщается вам, Григорий Федорович, дабы вы знали, как верна вам ваша неблагодарная супруга и какой подлый соблазнитель

есть писарь 12-го флотского экипажа Васька Антонов».

Иванов писал это письмо с злобным удовольствием мелкой душонки, готовой мстить другим за свое ничтожество и за свои житейские неудачи. С таким же чувством удовлетворенного автора он перечел свое анонимное произведение и, вложив его в конверт, крупными буквами надписал: «На бриг „Вихрь“, старшему рулевому Григорию Федоровичу Кислицыну».

Оставалось узнать, где в настоящее время находится «Вихрь» и в какой порт нужно адресовать, чтобы письмо скорее дошло, и Иванов, отпросившись у письмоводителя отлучиться на полчаса, сбегал в штаб и там от знакомого писаря узнал, что «Вихрь» скоро зайдет в Гельсингфорс и простоит в этом порте неделю.

Письмо было в тот же день сдано в штаб для отправки, после чего Иванов почувствовал себя в хорошем и веселом настроении человека, свершившего какое-нибудь доброе дело. И вечером в казарме он был необыкновенно оживлен и даже добродушен, дружески бе-

седуя со своим приятелем Васькой. Он обещал поставить ему остальные три бутылки проигранного пари завтра и вообще выказывал ему самое приятельское расположение: хвалил его, что не зевает с «бабами», и удивлялся разнообразию его талантов. Он и на гармонии отлично играет, и «романцы жестокие» отлично поет, и умеет, шельма, к начальству подольститься и лодырничать, когда другие должны работать.

— Одно слово, счастливчик ты, Вася! — весело и добродушно говорил Иванов, распивая с приятелем чай.

— Да что это ты нонче такой веселый, Иванов? ан где с матроской стоворился?

— Ну ее, твою матроску!.. Не с моей физиономией... Да я и не льщусь... Больно угрюмистого характера... Ну и муж у нее пресердитый.

— Так кухарчонку какую заметил?

— И куфарчонки, Вася, никакой не заметил, а так, значит, нашла веселая линия... Не все же скучать... Так-то, Вася...

И Иванов рассмеялся, показывая ряд черных гнилых зубов, а в голове его пронеслась

МЫСЛЬ:

«Ужо будет тебе от матроса. И не ждешь, как он твою смазливую рожу на сторону свернет!»

И он снова рассмеялся и стал представлять, как у них в канцелярии ругался сегодня письмоводитель.

XII

Благодаря хвастовству Васьки и злостным сплетням его приятеля слухи о связи Аграфены Кислицыной с писарьком быстро распространились по казармам и на рынке.

Все злорадствовали, особенно гулящие матроски и торговки рынка. Все словно бы торжествовали, что Грунька, считавшаяся недоступной, свихнулась.

— Вот тебе и верная мужняя жена! Такою тихоней представлялась, а поди ж ты!..

— А гордячка какая была! Я, мол, в законе... Ко мне, мол, не приставай... А сама такая же, как и другие. Чего только фордыбачилась! Точно цаца какая!

— Крепилась, носилась со своей славой и... «мое вам почтенье!»

— Это подлец Васька ее облестил...

— Кому же другому? Против этого лукавого писаренка ни одной бабе не сустоять. Слова у него против баб есть... Одурманивает, шельма!

Подобные восклицания раздавались на рынке, как только донеслась туда весть об этой истории. Первым вестовщиком был Иванов. Все торговки интересовались этой новостью, все спрашивали одна другую, каждая прибавляла что-нибудь свое, и в конце концов о матроске сложилась целая легенда. Она-де, тихоня, мало того что принимала к себе Ваську в окно, еще бегала к нему в казармы, бесстыжая... Насилу Васька от нее отвязался. Как только Ивановна ничего не примечала?

Ивановна, вдова-матроска, имевшая ларек на рынке, умная и добрая старуха, искренне расположенная к Груне и ее мужу, горячо защищала свою жиличку, когда при ней ее бранили, хотя и догадывалась, что с Груней случилось что-то недоброе. Недаром она так изменилась в последнее время — затосковала.

— Все-то этот поганый писаришка врет! Долго ли на бабу наплести? А вы и рады зубы

скалить да языком брехать! — горячилась Ивановна, защищая Аграфену от общих нападок и глумления.

— Видели, Ивановна, люди видели, как Васька-подлец от Груньки из окна вылезал! — с какою-то страстностью говорили торговки.

— Кто видел?! Врете вы все, злыни! И тот, кто говорит, что видел, брешет как пес! Слава богу, я знаю Груньку. Она баба совестная, правильная... Она и генерал-арестанту и прочим офицерам на их подлости отказывала, а не то что связаться с щенком... Она не чета каким другим-прочим.

— Ты, Ивановна, от старости, видно, ничего не видела, а Федосеев-писарь — зрячий, он небось сам видел, как Васька лез. Твоя Грунька почище других-прочих будет... Другие-прочие начистоту, а Грунька тишком да из себя быдто неприступную валяет, фальшит, значит... А ты не фальшь! Известно, без мужа летом молодой бабе скучно!.. Так ли я говорю, бабочки? — с циничным смехом заметила толстая, белотелая, вся в веснушках, «рыжая Анка», матроска-торговка, известная разнообразием и обилием своих любовных авантюр.

— Это верно, Анка!

— Матросы по портам гуляют, а матроскам нешто убиваться из-за них...

— Жирно будет!

И среди этих восклицаний раздался веселый смех молодых баб.

— Вас не перекричишь! Больно горласты! Тьфу!

И Ивановна с сердцем плюнула и, сердитая, примолкла, отвернувшись к своему ларьку.

Груня скоро почувствовала перемену отношений к себе.

Вскоре после оскорбительного предложения Иванова ей делались и другими лицами такие же оскорбительные предложения, и к ней на улицах стали снова приставать, и уже гораздо нахальнее, с разными двусмысленными шуточками, которые явно намекали на писарька. На рынке ее встречали насмешливыми улыбками и при появлении шушукались. Даже в доме у экипажного командира, где барыня обыкновенно особенно ласково говорила с матроской и всегда приказывала пить ее чаем, и там, казалось Груне, на нее

смотрели как-то иначе, и барыня как будто стала суше.

И бедная матроска и сама ниже опустила голову, и уж не смотрела, как прежде, прямо и смело всем в глаза, и избегала выходить на улицу без крайности. День-деньской она стирала, а к вечеру, усталая, горячо молилась и ложилась спать.

Но сон не скоро смежал ее глаза. Самые безотрадные мысли приходили к ней в голову, молитва не успокаивала ее смятенной души, полной отчаяния, и она считала себя великой грешницей, которой нет прощенья.

XIII

В один из таких вечеров, когда Аграфена сидела со своими печальными думами за столом, лениво отхлебывая из блюдечка чай, в комнату к ней вошла Ивановна.

Это была высокая рябоватая старуха с зоркими, умными и добродушными глазами, придававшими ее красноватому от загара и покрытому морщинами лицу выражение чего-то значительного, умного и приятного. Сразу чувствовалось, что эта старуха, проживши долгий век, не растеряла сердечной добро-

ты и в то же время должна была хорошо понимать людей.

— Чай да сахар, Груня! — проговорила она, входя в комнату и крестясь по направлению к образам. — Вот я опять пришла проведать тебя, милая... Одной-то в своей клетушке будто и скучно...

— Спасибо, Ивановна... Чаю выкушай...

— Пила, милая, только что пила, как с рынка вернулась...

— Чашечку?

— Ну, разве чашечку... для компании.

Несколько времени обе женщины молча отхлебывали чай.

Старушка Ивановна несколько раз взглядывала с выражением ласки и участия на грустное, словно бы закаменевшее лицо Аграфены, похудевшее и осунувшееся точно после тяжкой болезни, и, поставив на стол выпитую чашку и категорически отказавшись от другой, проговорила своим старческим, несколько певучим и тихим голосом:

— А я тебе, старая старуха, знаешь что скажу, Груня?.. Напрасно ты так уж убиваешься в своей отчаянности. А отчаянность — грех и

на беду натолкнет... вот что. Изведешь ты себя, болезная. И то, на что ты стала похожа?

— Тяжко, Ивановна...

— А ты богу молись.

— Молюсь, а все нет покою... Стыдно и вспомнить, что я натворила... Сама знаешь. Видно, господь прощения не дает такой грешнице...

— И не таких грешниц господь прощает... Он, батюшка, милосердный... это ты напрасно говоришь... И не такая ты грешная, как о себе полагаешь... Совесть-то в тебе совестливая — ты и изводишься да думы думаешь... Эх, Груня, Груня! Кто из баб-то в грех не впадал!.. Ты вот от своей вины всю душу свою измотала, а другая нагрешит и забыла... В том-то и горе твое, милая... Ну, спокаялась — и будет... Господь-то тебя десять раз простил, потому и вина-то твоя, ежели правильно судить, небольшая...

Аграфена удивленно подняла на Ивановну свои грустные серые глаза, точно не понимая, как это такая почтенная старуха может говорить, что ее вина небольшая.

— Ты что так смотришь?.. И вовсе даже

небольшая, — продолжала Ивановна с каким-то подкупающим спокойствием, — ведь ты этого самого подлеца, что тебя облестил своими подлыми словами и потом же, мерзавец, ославил по всему городу, наверно, любила ровно бы как обезумевшая... Так ли я говорю?

— Так, Ивановна! — прошептала, краснея от стыда, Груня.

— И допречь того ни к кому такой приверженности не имела!

— Нет...

— То-то оно и есть... А выдали тебя, глупую девку, за Григория, и не было к нему никакой сердечной горячности... Что за Ивана, что за Петра, все равно тебе было. Так ли понять надо!

— Так, Ивановна...

— Я небось все вокруг примечаю... Видела, как вы живете... Почитать-то ты почитала Григория, угождала ему — человек-то он хороший, — ну и, как правильная баба, закон свой исполняла... А все-таки душа твоя ровно тосковала... Силком ведь не полюбишь хоть самого распрекрасного что ни есть человека... И

жила ты, я тебе скажу, без смуты, пока сердце твое не захотело любви и молодая кровь не взбунтовалась... Тут уж, милуша, редкая баба сустоит... Всякой пожить хоть минутку в охотку... Ты не от озорства на грех пошла, а от кипучего сердца... Так какая ж твоя большая вина?.. Коли и была вина против «закона», ты избыла вину-то... И всякий человек с рассудком, который бабу понимает, должен простить... Так-то, Груня!.. Брось, милая, изводиться!.. Поверь, я правильно тебе говорю! — заключила старуха, ласково улыбаясь своею широкою, доброю улыбкой.

Однако эти утешающие слова не внесли в сердце Груни примирения, и она промолвила:

— Спасибо на ласковом слове, Ивановна... Добрая ты... не осуждаешь, а сама небось так, как я, не поступала...

— Эх, Груня, один бог без греха! — протянула как-то загадочно старая Ивановна. — Может, я хуже тебя грешила... Тоже не по воле замуж выдали... Тоже кипучее сердце было... Ну, да что вспоминать!.. Что было, то было... Забудь и ты...

— То-то не забыть, Ивановна... А главное,

как я на Григория взгляну! Сама знаешь, как он меня любит... Что с ним-то будет, как он узнает?

— А зачем ему знать?

— Как зачем?.. Должна же я ему открыться...

— И вовсе не должна! — горячо возразила Ивановна. — Почему должна? Чтоб разверить человека, да еще такого карактерного, как Григорий?.. Ты свою вину ему выложишь, тебе, положим, легче, а ему-то каково?.. Еще добро бы ты продолжала хороветься, а то все кончено, отгуляла и отмучилась, подлеца вовсе забыла, стала еще более почитать мужа и... на-кось, съешь: чего, мол, я набедокурила на твою голову! Терзайся, мол, любезный супруг... Кушайте на здоровье!.. А ведь мужчина за бабий грех зол... Он тут и рассудок весь свой мужчинский теряет из-за своей обиды... Как, мол, я неугоден бабе-то? И как она смела, такая-сякая?.. С такими долго ли до греха... Положим, коли любит — простит, а всячески в ем эта самая память, что ты его обескуражила, навек останется... И пойдет расстройство. И он завсегда в сумлений, а ты, права — не пра-

ва, а завсегда виновата... Особенно, когда муж ревнивый... Тогда не дай бог! Нет, Груня, боже тебя сохрани... Лучше молчи, а не кайся... Богу покаялась, и довольно... Нечего зря мужа нудить!..

Старуха произнесла эту тираду с каким-то особенным одушевлением и с тою убежденностью, которая будто бы намекала, что Ивановна по собственному опыту знает, как неудобно каяться мужу в своих грехах.

По-видимому, и эти веские доводы не вполне убедили Груню. Она хоть и молчала, не желая противоречить старухе, но душа ее протестовала против лжи.

Ивановна заметила тщету своих уверений и, искренне желая спасти и Груню от будущей «расстройки», неминуемой, по ее мнению, в случае признания такому характерному и ревнивому мужу, как Григорий, и самого Григория от горя и обиды, которые могли довести его бог знает до какой беды, — самоотверженно решила, в виде последнего аргумента, припомнить давно прошедший эпизод из ее собственной супружеской жизни.

— Ты, как посмотрю я, не веришь стару-

хе? — возбужденно проговорила Ивановна. — Так погляди!

И с этими словами она сдернула с головы платок и, нагнув свою заседевшую голову и приподняв жидковатую прядку волос, показала большой и глубокий белеющий шрам недалеко от виска.

— Видела? — спросила она, снова надевая платок.

— Видела.

— Что, небось ловко съезжено?.. Еще слава богу, что жива осталась. Два месяца в госпитале пролежала. Дохтура говорили, что черепу повреждение вышло... Если бы, говорят, еще чуточку, то сразу дух вон...

— Кто ж это тебя, Ивановна?

— Известно кто! Муж, царствие ему небесное! — с чувством проговорила Ивановна и набожно перекрестилась.

— За что же это он тебя? — спрашивала Груня, все еще не догадывавшаяся, какое отношение имеет этот шрам к ее собственному положению.

— А за свое же безумство, за свое, милая... Тоже была в твоих, примерно, годах за матро-

сом и тоже была замуж отдана, как и ты, безо всякой приверженности. Однако себя соблюдала до поры до времени... А пришла пора, мой-то ушел в плавание, а тут подвернись такой же подлец, вроде Васьки... «Агаша да Агашенька... андел...» ну, одним словом, все эти мужчинские подлости свои повторял. Я и развесь уши... И показался он мне в те поры самым желанным человеком на свете, этот унтерцер. Ну и втюрилась... Не ем, не сплю, только бы его увидеть... Известно, наша сестра если втюрится, то лишится всякого рассудка... Души в ем не чаю... И не было бы ничего, если б этот подлец отстал... Проплакала бы я глаза и шабаш... Так нет! И он свою линию вел... знал, чем облестить... Тоже прикинулся, что в отчаянности... Я и пожалей... А коли наша сестра втюрится да пожалеет... известно, что выйдет... Ну и вышло. Хороводились мы так лето, унтерцер и отстал... А тут муж вернулся... Я сгоряча бух ему в ноги. «Так и так, мол, виновата я была, закон нарушила... Простите, говорю. Больше не буду». А он, толком не выслушавши, хватъ кочергу да со всей мочи... Потом бегал в госпиталь, каялся и про-

щал — только, говорит, поправляйся... Но с тех пор — на что верна была я жена, а мой матрос — царство ему небесное! — чуть что, сейчас драться... И такая расстройка пошла, что не дай бог. Натерпелась я, пока мы оба в лета не вошли. И еще сам меня виноватил. «Ты, говорит, дура, чего мне винилась! Нешто, говорит, лестно мне знать, как мою да законную супругу чужой человек в уста целовал?.. Нешто, говорит, легко мне было свою жену да убить? Дура, говорит, и есть...» И впрямь дура была! Нет, Груня, милая, не вились лучше Григорию. Коли себя не жалеешь, его-то пожалей. Жисть евойную не рушь, — закончила свой рассказ Ивановна.

— А если он стороной узнает?.. Даже один писарь грозился, что отпишет мужу...

— Это подлюга Иванов? Да Григорий не поверит подметному письму... Мало ли можно набрехать на человека... А ты отрекайся... Поверь, это мужчине приятней... Может, первое время он и будет в сумлений, а потом, как увидит, что ты ведешь себя честно да правильно, — и сумление пройдет. И будете вы жить в ладе да в мире... Так-то, Грунюшка...

Посмекни-ка, что тебе старуха советует... Ну, однако, и наговорила я тебе... Пора старым костям и на покой. Мне-то рано вставать... Прощай!.. Христос с тобой... Спи, милая, хорошо да не нудь себя думами. Все перемелется, мука будет!

— Ах, Ивановна, что-то сдается мне — не будет! — тоскливо проговорила Груня, провожая старуху.

— Будет, говорю тебе, будет... Духом-то не падай... Жизнь-то у тебя, у молодки, вся впереди... Живи только!

Ивановна вышла от жилички и перед тем, что лечь спать в своей крохотной каморке, помолилась богу за «рабу Божию Аграфену» и искренне пожалела ее, уверенная, что Груня за стеной не спит, а мучается и что слова ее несколько не подбодрили молодой женщиной.

— Совесть-то в ей больно назойливая! — проговорила вслух Ивановна и решила на следующий вечер опять посидеть с Груней, чтоб не оставлять ее, болезную, одну-одинешеньку с ее кручиной.

После долгого и утомительного крейсерства в Балтийском море «Вихрь», к общему удовольствию матросов и офицеров, целый месяц не бывавших на берегу и питавшихся солониной и сухарями, в девятом часу хмурого августовского утра подходил к Гельсингфорсу.

Ветер был довольно свежий и попутный. Слегка накренившись, «Вихрь» быстро несся под всеми своими парусами на двух высоких мачтах, держа курс на проход между скалами двух островов, на которых расположены укрепления Свеаборга — крепости, защищающей вход на гельсингфорский рейд.

Проход между островами был неширок. При малейшей оплошности рулевых, при отсутствии у капитана глазомера, при недостатке находчивости возможно было со всего разбега налететь на одну из гранитных глыб и разбиться вдребезги.

Но командир брига, молодой еще капитан-лейтенант, три года командовавший судном и знавший все его качества несравненно лучше и тоньше, чем качества своей молодой жены, разумеется, и не думал уменьшать па-

русов.

Он считал бы это позором, и его бы засмеяли потом товарищи-моряки, а матросы смотрели бы как на труса.

В те времена и большие трехдечные корабли*, управляемые лихими капитанами (тогда еще ценза не было, и капитаны могли основательно изучать свои суда, долго ими командуя), влетали под брамселями и бом-брамселями (самые верхние паруса) в еще более узкие ворота кронштадтской стенки или револьской гавани, — так с маленьким бригом и подавно было бы стыдно струсить.

И капитан совершенно спокойно стоял на мостике, смеривая зорким глазом расстояние до прохода, чтобы в необходимый момент слегка привести к ветру и влететь в середину, вполне уверенный в своем старшем рулевом Кислицыне, который стоял на штурвале вместе с тремя своими подручными.

Несколько напряженный и сосредоточенный, держа твердыми руками ручки штурвала, и Григорий, сильно загоревший, с надувшимися жилами красной шеи, оголенной из-под широкого воротника синей фланелевой

рубахи, впился своими загоревшимися голубыми глазами вперед, на бугшприт брига, и с чувством удовлетворенности мастера своего дела видел, что нос судна несется по одному направлению, не уклоняясь от румба.

Он так же, как и капитан, знал до тонкости все достоинства и недостатки «Вихря» относительно послушливости его рулю и, не любивший службы и тяготившийся ею, тем не менее любил этот бриг, движение которого направлял. Любил и относился к нему почти как к живому существу, одухотворяя его качества, и порою хвалил его, а порою сердился на него.

Он изучил его в течение нескольких лет службы своей рулевым. Он знал, при каких условиях «Вихрь» артачится и рыскает по сторонам, словно бы чем-то недовольный, и тогда бранил его мысленно, ворочая штурвалом; знал, когда он так и норовит носом кинуться к ветру, чтобы заполоскали кливера, и тогда надо было не зевать и не пускать его шалить, держа руль немного на ветре; знал, наконец, когда «Вихрь» послушлив, как смышленное существо, и при малейшем дви-

жении руля нос его покорно катится в ту или другую сторону.

И тогда на некрасивом скуластом лице Григория светилась довольная улыбка, и он мысленно одобрял «доброе» судно...

Уж эти серые скалы были совсем близко под носом.

«Пора бы и спускаться!» — подумал Григорий, цепко ухватившись за штурвал и готовый немедленно, по команде, повернуть его.

Но молодой капитан медлил, словно наслаждаясь видом своего брига, несущегося прямо на скалу острова, и с приподнятыми нервами дожидался последнего момента, после которого уже не было спасения.

И тогда, когда этот момент наступил, когда бугшприт «Вихря» был в нескольких саженях от острова, он нервно и громче, чем бы следовало, скомандовал, внезапно охваченный жутким чувством опасности:

— Право! Больше право!

Григорий в то же мгновение завертел штурвалом изо всей мочи.

И «Вихрь», немедленно быстро покотившись носом влево, пронесся между островов,

по самой середине прохода, и, салютуя из своих маленьких пушек контр-адмиральскому флагу, раздувававшемуся на верхушке мачты, вошел на гельсингфорский рейд и стал на якорь вблизи от эскадры, стоявшей там.

Григорий закрепил штурвал руля, вычистил медь на нем, вытер его, потом навел glance на компас и, справивши все свои дела, пошел на бак.

Притулившись у борта, он посматривал на город, на корабли и мысленно перенесся в Кронштадт.

«Что-то Груня? Как она поживает, родная? Чай, скучает одна, бедная!» — думал Григорий.

Он нередко тосковал по жене и с самого выхода из Кронштадта не имел о ней никаких известий. Бриг не заходил ни в один из портов, и нельзя было спросить о ней у матросов с тех кораблей, которые побывали в Кронштадте. И ему ни разу не пришлось написать ей.

Тем временем капитанский вельбот, на котором командир ходил на флагманский корабль с рапортом к адмиралу, вернулся, и

гребцы, явившись на баке, рассказывали, что эскадра только вчера как пришла из Кронштадта. Пять ден там стояла. Вот так счастливые матросики, которые побывали в Кронштадте, не то что они с «Вихря».

— Ни тебе в баню, ни погулять! — жаловались гребцы.

— Ну, а Кронштадт, братцы, на своем месте стоит! — говорил молодой, здоровый вельботный старшина. — Бабы все знакомые заскучили по нас и велят всем кланяться! — прибавил со смехом матрос, обращаясь к толпившейся кучке.

— А про мою матроску ничего не слыхал, Чекалкин? Жива? Здорова? — как будто спокойно спросил, подходя к Чекалкину, Григорий и считая ниже своего достоинства обнаружить перед товарищами свое душевное волнение.

Молодой матрос как-то смущенно отвел глаза и проговорил:

— Как же, слыхал... Здорова... Матросы видели ее на рынке... — и как-то неловко замолчал.

Григорий заметил это смущение, и сердце

в нем так и екнуло.

Однако он не показал и вида, что заметил что-то странное и в глазах и в тоне Чекалкина, и отошел прочь.

«Что это значит? Уж не пустили ли про Груню какие-нибудь подлые слухи? От подлых кронштадтских баб это станет. Злятся на Груню, что на их не похожа!» — думал Григорий и решил, как отпустят на берег, повидать одного старого знакомого матроса с корабля и дознаться от него, в чем дело.

Несколько взволнованный, Григорий хотел было спуститься вниз, чтоб приняться за письмо к Груне, как его нагнал судовой писарь и, подавая ему конверт, проговорил:

— Вместе с казенными пакетами с флагманского корабля и тебе пакетец есть, Кислицын. Верно, от дражайшей супруги!

— Должно быть! — смущенно ответил Григорий, обрадованный и вместе с тем изумленный письму от жены, которого не ждал, так как не хотел, чтоб кто-нибудь посторонний был посредником между ними.

Сама Груня кое-как читала, но писать не умела.

Григорий спустился вниз на кубрик и, усевшись на рундуке, вскрыл конверт, и едва только прочел первые строки анонимного произведения Иванова, как сердце упало в нем и лицо его исказилось выражением ужаса, злобы и страдания.

Он дочитал внимательно это письмо, столь обстоятельное и подробное, упоминавшее даже о заложенных двух платьях и шубке, спрятал его в карман, и на него словно бы напал столбняк. Он стоял недвижно, с застывшим, помутившимся взглядом, с беспомощно опущенными руками.

Появление какого-то матроса заставило его прийти в себя, почувствовать прилив бешеной ревности и сознать, что какое-то ужасное, тяжкое горе внезапно мучительно обрушилось на него, и в то же время какая-то смутная надежда, что все, что написано, неправда, клевета, мгновениями проникала в его душу и несколько облегчала его.

Он был словно в каком-то тумане и чувствовал только, что ему больно, невыносимо больно и что надо узнать поскорей всю правду.

Переживая эти страдания глубоко любящего и ревнивого человека, Григорий, однако, имел мужество скрывать их от посторонних глаз. Лицо его было только напряженнее и суровее и глаза возбужденнее.

В душевных страданиях, то веря, то не веря тому, что написано о жене, то готовый перервать горло подлему писаришке, то с презрением отгонявший мысль, будто он мог быть любовником жены, провел Григорий утро, и когда после пополудня команду отпустили на берег, он тотчас нанял финку и поехал на корабль, где служил его знакомый старый матрос.

Через полчаса Григорий вернулся на брига мрачнее ночи.

Старый матрос подтвердил, что слухи о подлеце Ваське ходили и что он видел Аграфену, сильно заскучившую и исхудавшую.

XV

На бриге все скоро заметили, что Кислицын осунулся и сделался мрачен и неразговорчив, и догадывались о причине. Вся команда уж знала, что Кислицына Грунька «связалась» с писарем, и все матросы, любившие

и уважавшие Григория, жалели его, хотя в то же время и осуждали за то, что он, кажется, умственный матрос, а так убивается из-за бабы.

— Из-за их не стоит убиваться-то. Потому, известно, баба — самая обманная тварь, какая только есть на свете! — авторитетно говорил по этому поводу пожилой матрос Гайка, жена которого действительно могла внушить ему такие нелестные понятия о женщинах вообще. — Скажем теперь так: ты из-за нее убиваешься, а она в тую ж пору перед кем-нибудь зенками, подлая, вертит или подолом, вроде как угорь, повиливает... А по-моему, братцы, так: чуть начала пошалить — избежь ты ее до последнего дрызга и плюнь...

— Грунька Кислицына не такая... За ей прежде ничего не было слышно худого... Правильная была матроска... — заступился тот самый вельботный старшина Чекалкин, который первый привез на бриг известие о том, что Аграфена «свихнулась».

— Не такая? — повторил черный, как жук, Гайка, глядя насмешливыми маленькими умными черными глазами из-под взъерошен-

ных бровей на молодого матроса. — А ты лазил, что ли, ей в душу? Бабья душа известно, что бездонная прорва... Угляди-ка, что в ей! Может, песок, а может, с позволения сказать, и грязь... Не такая?! Все они, братец ты мой, такие! Одного шитья. Недаром-то бог бабу всего-то из одного ребра сотворил... Другого материалу она и не стоит... Не то в ей звание — шалишь! Адам был сотворен по образу и по подобию божию, а она прямо-таки из ребра... Понял ты разницу, братец ты мой?..

— Все это, может, и верно, но только Грунька Кислицына совестливая матроска... Это впервые грех с ней случился, коли правда, что Васька-писарь ее облестил! — снова горячо вступился Чекалкин.

— Все они впервые!.. Моя матроска так каждый раз, когда после лета вернешься в Кронштадт, говорит, что впервые... Вот теперь, как вернемся в Кронштадт, она, наверно, бою от меня ждет, — со смехом заметил Гайка.

— Что ж, ты и будешь бить? — спросил кто-то.

— А то как же? это уж такие правила... А я

бы еще из-за такой убивался!.. Давно уж меня и звания бы не было. А мое дело: вернулся в Кронштадт и избил ее как следует по всей форме... Смотришь, на следующий день — как встрепанная кошка... И жареное, и вареное, и водка на столе... Так и ублажает! Как есть самая увертливая тварь. А Кислицын из-за такой твари как сыч какой ходит... Вовсе даже довольно глупо!

— И попадет же теперь бедной Груньке! — участливо вымолвил Чекалкин, давно уж равнодушный к красавице матроске.

— Это как пить. Первым делом. Однако до настоящего боя не доведет! — заметил не без сожаления Гайка.

— Почему?

— Добер он слишком к своей бабе. Обожа-ет!

«Вихрь» простоял в Гельсингфорсе неделю и неожиданно получил от адмирала приказание идти за почтой в Кронштадт.

Все обрадовались.

Только Григорий, казалось, не только не обрадовался, а, напротив, как будто сделался еще угрюмее и угнетеннее.

— Что с тобой, Кислицын? — спросил капитан, останавливаясь у штурвала, у которого стоял Григорий и правил рулем, направляя «Вихрь» к Кронштадту. — Ты здоров?

— Точно так, вашескородие!

— А мне показалось, что ты нездоров? Такой мрачный стоишь, вместо того чтобы радоваться, что завтра увидишь свою Аграфену. Небось рад? — говорил капитан, знавший, какие примерные супруги были Кислицыны.

— Точно так, вашескородие! — отвечал Григорий. Но лицо его не выразило ни малейшей радости.

Капитан пристально взглянул на своего любимца рулевого и поднялся наверх.

На другой день, после полудня, открылся Толбухин маяк. Ветер чуть засвежел, и «Вихрь» ходко приближался к Кронштадту.

Григорий, стоя у руля, с каким-то страхом ожидал прихода на рейд и съезда на берег.

XVI

— Груня, а Груня... ты дома?

Ответа не было.

И Ивановна, удивленная, что Груня не откликается, прошла за полог.

Распростертая на полу, матроска молилась перед образами, у которых горели свечи.

— Груня! — окликнула громче старуха.

Та поднялась бледная, совсем исхудавшая за последние дни, с большими, ввалившимися, кроткими и потухшими глазами. Ее красивое лицо стало еще красивее и словно бы одухотвореннее и светилось выражением какого-то удовлетворенного тихого покоя.

Казалось, что Груню уж не тяготят никакие скорбные думы, не мучат никакие сомнения и она, примиренная, нашла выход из того мрака, которым окутана была ее душа.

— И что это ты, Груня, все молишься да молишься? Кажется, давно уж замолила все грехи! — ласково упрекнула Ивановна. — Я окликала тебя, а ты и не слыхала... А двери-то отперты, того и гляди обкрадут... А я нарочно к тебе с рынка прибежала... Сейчас матросик с брандвахты был, сказывал, что «Вихрь» с моря в Кронштадт идет... Готовься мужа принимать... Вечор будет.

Груня вздрогнула.

— Будет? — переспросила она.

— То-то будет... Готовь закуску какую да

шти, что ли, свари, да чтобы чай с булками, одним словом, что следует, чтобы честь-честью принять мужа... Да есть ли у тебя деньги?.. А то возьми у меня...

— Спасибо, Ивановна... Не надо мне денег...

— Ну, а я опять к ларьку... Ужо раньше приду... Да смотри, Груня, помни, что я тебе говорила... Нишкни! А уж если ты так хочешь, я с мужем обо всем поговорю...

— Спасибо, Ивановна, за ласку! — дрогнувшим голосом промолвила Груня. — Ты ему, милая, все, все скажи, а я говорить не буду... Скажи, какая я великая грешница, как я мучилась, как молилась, как жалела, что огорчила его, доброго, хорошего... Все скажи... Он, наверно, простит... Он поймет...

И с этими словами Груня крепко поцеловала Ивановну.

— Да ты что ж это... словно опять замучилась, голубка?

— Нет, Ивановна, конец мучениям!

— И слава богу!.. Ну, прощай пока, ласточка!

— Прощай!

Как только что старуха ушла, Груня надела платок на голову, заперла двери на замок, положив ключ на полку в прихожей, куда всегда его клала, когда уходила и думала, что в ее отсутствие придет муж, и, поклонившись на крыльцо, твердой походкой пошла к Купеческой гавани.

День стоял мрачный. Ветер так и завывал, проносясь по улицам и поднимая пыль.

На Господской улице кто-то сзади окликнул Груню. Она обернулась, увидела Ваську, и по лицу ее пробежала судорога.

Она продолжала идти, но Васька догнал ее и сказал:

— Смотри, Груня, мужу ни слова, а то — крышка и мне и тебе!

Она ни слова не ответила и только прибавила шаг.

Навстречу шла кучка матросов. Поравнявшись с нею, матросы хихикнули.

Она слышала, как кто-то сказал:

— Матроса своего бежит встречать да виниться! Лето-то гуляла с писарьком! А небось форсила... Я-де мужняя жена...

Еще какой-то офицер пристал было к ней,

но, не получив никакого ответа, пустил ей вслед:

— Писарей, видно, любишь, а офицеров нет!

Она только ежилась от этих оскорблений и шла все скорей и скорей.

Вот и стенка. Она поднялась на деревянную стенку, отделяющую гавань от рейдов, и пошла по ней, придерживая руками раздувающееся платье.

Дойдя до угла у Малого рейда, она остановилась и взглянула на море. Знакомый ей «Вихрь» быстро приближался к рейду... Она видела, как убрали паруса и бриг стал на якорь. Она заглянула вниз. Свинцовые волны с шумом разбивались о стенку и обдавали брызгами матроску. Ей сделалось холодно, и тоска охватила все ее существо. Тоска и отчаяние. Но лицо ее по-прежнему было спокойно и полно решимости.

Она взглянула на серое небо. В одно мгновение перед ней пронеслась вся ее жизнь, чистая и безупречная до последнего времени... Потом она вспомнила Ваську, позор, грех, мужа — и совсем подвинулась к краю стенки.

«Господи, прости!» — прошептали ее уста.

И, перекрестившись, она с жалобным тихим криком бросилась в море.

Какой-то матросик, проходивший мимо, увидел ее падение и побежал на брандвахту.

Послали шлюпку, но тела не нашли.

XVII

В седьмом часу вечера Григорий пришел домой и, увидав, что дверь на замке, бросился к Ивановне.

— Где Аграфена? — спросил он.

Ивановна, вся в слезах, молчала.

— Где, говорю, жена? сказывай! Или она совсем к любовнику сбежала? Говори, старая!

— Бога в тебе нет, Григорий!.. Сбежала... Она к богу сбежала, голубка... Она утопилась в море сегодня... Вот где твоя жена!

Григорий рыдал, как малый ребенок.

Ивановна, всхлипывая от слез, подробно рассказала ему все, что случилось, как подлый писарек ее облестил, как она мучилась, каялась и как сегодня еще утром просила передать мужу, чтоб он ее простил...

— А мне и невдомек, что она уж даве ре-

шилась извести себя, бедная... Совесть-то, совесть ее замучила!..

Григорий всю ночь просидел у себя в комнате, не смыкая глаз.

Наутро он оделся и вместо того, чтобы отправиться на бриг, пошел в казарму, где жили писаря.

Когда Васька увидел Григория, медленно подходившего к нему, он мгновенно понял весь ужас своего положения и хотел было бежать, но Григорий загородил выход. Страх несчастного животного искажил красивые черты писарька. С каким-то недоумевающим, растерянным и умоляющим взглядом широко раскрытых глаз смотрел он в спокойное и неумолимое лицо матроса и только слабо ахнул, когда Григорий всадил ему в грудь свой матросский нож по самую рукоятку.

Затем Григорий вышел из казармы и, явившись в свой экипаж, доложил, что убил писаря Василия Антонова...

Побег

I

Солнце быстро поднималось в бирюзовую свысь безоблачного неба, обещая жаркий день.

Оно заливало ярким блеском и эти зеркальные, совсем заштилевшие, приглубые севавтопольские бухты, далеко врезавшиеся в берега, и стоявшие на рейде многочисленные военные корабли, фрегаты, бриги, шхуны и тендера прежнего Черноморского флота, и красавец Севастополь, поднимавшийся над морем в виде амфитеатра и сверкавший своими фортами, церквями, домами и домиками слободок среди зеленых куп садов, бульваров и окрестных хуторов.

Был шестой час на исходе прелестного августовского утра.

На кораблях давно уже кипела работа.

К подъему флагов, то есть к восьми часам, все суда приводили в тот обычный щегольской вид умопомрачающей чистоты и безукоризненного порядка, каким вообще отличались суда Черноморского флота.

С раннего утра тысячи матросских рук терли, мыли, скоблили, оттирали или, по выражению матросов, наводили чистоту на палубы, на пушки, на медь — словом, на все, что было на палубах и под ними, — до самого трюма.

Давно работали в доках, адмиралтействе, и разных портовых мастерских, расположенных на берегу. Среди грохота молотков и лязга пил порою раздавалась дружная «Дубинушка», при которой русские люди как-то скорее поднимают тяжести и ворочают громадные бревна.

Опустели и мрачные блокшивы, стоявшие на мертвых якорях и, словно прокаженные, вдали от других судов, в самой глубине корабельной бухты.

Это — плавучие «мертвые дома».

Подневольные жильцы их, арестанты военно-арестантских рот, с четырех часов уже разведены по разным работам.

В толстых холщовых рубахах и таких же штанах, в уродливых серых шапках на бритых головах, они прошли, звякая кандалами, несколькими партиями, в сопровождении

конвойных солдат, по пустым еще улицам и возвратятся домой только вечером, когда наступит прохлада и весь город высыплет на бульвары и Графскую пристань.

И тогда во мраке чудной южной ночи эти блокшивы замигают огоньками фонарей, и среди тишины бухты раздадутся протяжные оклики часовых, каждые пять минут один за другим выкрикивающих: «Слушай!»

Проснулись и слободки, окаймлявшие город, с их маленькими, белыми, похожими на мазанки, домами, населенными преимущественно семьями отставных и служащих матросов, артиллерийских солдат, казенных мастеровых и вообще бедным, рабочим людом.

Рынок — этот клуб большинства населения, расположенный у артиллерийской бухты, — давно кишел народом.

Шумные и оживленные кучки толкались между ларьками, среди мясных, телячьих и бараньих туш, кур, уток и разной дичи, среди массы зелени и разнообразных овощей юга, гор арбузов и пахучих дынь и множества фруктов, привезенных из ближних садов. Торговали, кричали и сердились. Тут же дели-

лись последними новостями и сбывали поношенное платье и старую обувь.

У самого берега бухты стояли рыбацьи суда соседнего городка Балаклавы со свежеею рыбой. Какой только не было! И камбала, и скумбрия, и жирная кефаль, и бычки, и маленькая золотистая султанка, которую лакомки считают за самую вкусную рыбу Черного моря. Только что наловленные устрицы лежали в корзинах и предлагались поварам и кухаркам.

Тут же, рядом с рыбным рынком, в прозрачной, словно хрусталь, воде заливы бухты, отливавшей изумрудом, купалась толпа мальчишек. С веселым смехом бросались они в воду, плескались, обдавали один другого брызгами, плавали и ныряли, словно утки, соревнуясь в своем искусстве друг перед другом и перед глазающей публикой.

Над рынком, залитым блеском веселого южного солнца, стоял непрерывный говор толпы. Речь изобиловала неправильностями языка южных городов и звучала мягким тоном малороссийского акцента. Среди этой речи порой выделялось торопливое, громкое и в

то же время вкрадчивое сюсюканье продавцов рыбы и устриц, халвы и рахат-лукума — этих увлекающихся балаклавских греков, с их смуглыми, мясистыми лицами, горбатыми носами, черными с поволокой глазами, напоминающими крупные маслины, и с быстрыми жестами оголенных мускулистых рук цвета темной бронзы. Слышались и гортанные звуки татар, сидевших на корточках у корзин с грушами, виноградом и яблоками, с выражением горделивого бесстрастия на своих красивых лицах с классическими чертами, напоминающими о чистой арийской крови их предков — генуэзцев и греков, когда-то живших в Крыму. Порой разносились, покрывая говор толпы, отчаянные клятвы «дам рынка» — бойких, задорных торговок-матросок — и их энергичная брань, приправленная самыми великорусскими импровизациями, которым мог бы позавидовать любой боцман, и вызывавшими громкий и сочувственный смех рыночной публики.

Все здесь жило полной жизнью большого и оживленного морского города.

Никто, разумеется, в этой шумной толпе и

не предвидел, что скоро Севастополь будет в развалинах, и что эти прелестные и оживленные бухты опустеют, и на поверхности рейда, где стоит теперь Черноморский флот, будут торчать, словно кресты над могилами, верхушки мачт потопленных кораблей.

II

В начале восьмого часа этого веселого, светлого утра, в детской большого казенного дома командира порта и севастопольского военного губернатора худенький мальчик, лет восьми или десяти, с необыкновенно подвижным лицом и бойкими карими глазами, торопливо оканчивал свой туалет при помощи старой няни Агафьи.

— Да ну же, скорей, няня! Ты всегда копаешься! — нетерпеливо и властно говорил мальчик в то время, как низенькая и коренастая Агафья расчесывала, не спеша, его кудрявые, непокорные густые каштановые волосы.

— Ишь ведь, попрыгун!.. Ни минуты не стоит смирно. Всегда торопится точно на пожар, — ворчала няня, любовно посматривая в то же время на своего любимца. — Да не вертись же, говорят. Так тебя и не причесать. Бу-

дешь нечесанный, как уличный мальчишка.

Но мальчик, видимо, не особенно тронутый такими замечаниями и испытывающий неодолимую тоску от долгого чесания, когда солнце так весело играет в комнате и в растворенное окно врывается струя свежего воздуха вместе с ароматом цветов сада, уже выдернул не вполне причесанную кудрявую голову из рук няни и, улыбающийся, жизнерадостный и веселый, стал быстро надевать курточку.

— Дай хоть пригладить вихры, Васенька.

— И так хорошо, няня.

— Нечего сказать: хорошо!.. Адмиральский сын, и торчат вихры. Небось, папенька заметит — не похвалит.

Вася уже не слышал последних слов няни Агафьи, которую любил и не ставил ни в грош, зная, что она вполне в его руках и исполнит все его прихоти. Он выскочил из детской, на ходу застегивая курточку, и, пробежав анфиладу комнат, остановился у закрытых дверей кабинета.

Веселое лицо мальчика тотчас же приняло тревожное выражение. Он несколько секунд

простоял у дверей, не решаясь войти, и в голове его пробежала обычная мысль о том, что ходить каждое утро к отцу для того, чтобы пожелать ему доброго утра, — весьма неприятная обязанность, без которой можно бы и обойтись.

«А все-таки нужно», — мысленно проговорил он и, тихо приотворив двери, вошел.

В большом кабинете у письменного стола сидел, опустив глаза на бумаги, худощавый, высокий старик в летнем халате, с гладко выбритыми морщинистыми щеками, отливавшими здоровым румянцем, причесанный по старинному, с высоким коком темных, чуть-чуть седеющих волос, который возвышался посредине головы вроде петушиного гребня. Короткие подстриженные седые усы торчали щетинкой.

Эти колючие «тараканьи» усы всегда особенно пугали мальчика, наводя на него трепет, когда они нервно и быстро двигались, обнаруживая вместе с подергиванием плеч и движением скул дурное расположение духа сурового и непреклонного адмирала, которого решительно все в доме, начиная с адми-

ральши, боялись как огня.

— Доброго утра, папенька! — тихо, совсем тихо проговорил дрогнувшим от волнения голосом Вася, приблизившись к письменному столу и не спуская с отца замирающего, словно бы очарованного взгляда, полного того выражения, какое бывает в глазах у маленькой птички, увидавшей перед собой ястреба.

Слышал ли отец приветствие сына и нарочно, как это случалось не раз, не обращал на него ни малейшего внимания, заставляя мальчика недвижно стоять у стола бесконечную минуту-другую, или, занятый бумагами, действительно не замечал Васи, — трудно было решить, но он не поворачивал головы.

Так прошло несколько долгих секунд.

А в раскрытые окна кабинета, полного прохлады, глядели густые акации и тенистые раскидистые орешники, не пропускавшие лучей солнца, с крупными грецкими орехами в зеленой скорлупе, и невольно напоминали Васе о том, что там, в верхнем саду, вдали от дома, его ждут многие удовольствия, радости и приятные встречи, о которых никто из домашних и не догадывался.

А усы отца стояли неподвижно, и скулы морщинистых щек не двигались.

И мальчик, ощутив прилив мужества, решился снова проговорить, несколько повышая свой мягкий высокий тенорок:

— Доброго утра, папенька!

Быстрым, энергичным движением адмирал вскинул голову и остановил серьезный, сосредоточенный и, казалось, недовольный взгляд на своем младшем сыне.

И что-то мягкое и даже нежное на мгновение смягчило эти суровые черты и засветилось в этих маленьких серых глазах, властных и острых, сохранивших, несмотря на то, что адмиралу было шестьдесят лет, живость, энергию и блеск молодости.

— Здравствуй! — отрывисто и резко проговорил адмирал.

И, против обыкновения, вместо того, чтобы кивнуть головой, давая этим знать, что мальчик может уйти, он сегодня потрепал своей костлявой рукой по заалевшей щеке сына и продолжал тем же резким повелительным тоном:

— Здоров, конечно? Скоро в Одессу...

учиться. Первого сентября поедешь на пароходе. Ну, ступай!

Вася не заставил себя ждать.

Он быстро исчез из кабинета и облегченно и радостно вздохнул, точно освободившись от какой-то тяжести, когда очутился в диванной, рядом с спальней матери, которая, как и сестры, еще спала.

Наскоро выпив стакан молока, приготовленный няней Агафьей, он сунул в карман незаметно от няньки несколько кусков сахара и бросился в сад.

Миновав цветники, оранжереи и теплицы нижнего сада, он торопливо перепрыгивал ступеньки небольших лестниц, отделявших террасу от огромного сада, длинные аллеи которого окаймлялись густыми шпалерами винограда, а на грядах, расположенных по самой середине террас и обложенных красиво дерном, росли правильными рядами всевозможные фруктовые деревья, полные крупных пушистых персиков, сочных груш, больших желтых и зеленых слив, янтарных ранетов, миндаля, грецких орехов и белой и красной шелковицы.

Этот громадный, возвышавшийся террасами сад, выходивший на три улицы и обнесенный вокруг каменной стеной, с его роскошными цветниками у дома, с оранжереями, теплицами, с его беседками, обвитыми пахучими цветами, и большим деревянным бельведером, откуда открывался чудный вид на Севастополь и его окрестности и откуда год спустя Вася в подзорную трубу смотрел, как двигались французские войска длинной синеющей лентой через Инкерманскую долину, направляясь к южной стороне города, — этот сад содержался в образцовом порядке и сиял чистотой, пленяя глаза, главным образом, благодаря работе арестантов.

Партия их, человек в двенадцать — пятнадцать, ранним утром, как только солнце поднималось над городом, входила в большую калитку верхнего сада с задней улицы и работала в нем часов до трех или до четырех, пока двое конвойных солдатиков дремали, опершись на ружья, у калитки или где-нибудь в саду.

Арестанты, приходившие ежедневно, кроме праздников, на работу в сад командира

порта, обыкновенно были одни и те же. Они таскали откуда-то ушаты с водой, поливали цветники и гряды, пололи траву, подстригали деревья, мели дорожки, посыпали аллеи свежим гравием и потом утрамбовывали их, — одним словом, делали все, что приказывал главный садовник, вольнонаемный немец, аккуратный Карл Карлович.

Работа была не из тяжелых, и арестанты, по-видимому, были довольны, что им приходилось заниматься садом, и старались изо всех сил.

Вот к этим людям, отбывающим суровое наказание за свои вины, и торопился Вася.

III

Несмотря на суровое приказание матери и сестер не только не разговаривать с этими отверженными людьми, но даже и не подходить к ним близко, мальчик весело взбегал с террасы на террасу и окидывал зорким взглядом длинные аллеи, предвкушая удовольствие поболтать с арестантами и попользоваться частью их завтрака — хорошим куском красного сочного арбуза, заедая его, как арестанты, ломтем черного хлеба, круто по-

сыпанного солью. И тем и другим они радушно делились с барчуком, наперебой угощая его.

Он находил этот завтрак самым лучшим на свете — куда вкуснее всяких изысканных блюд, подаваемых у них за обедом, — а в компании этих бритых людей, позвякивающих кандалами, чувствовал себя несравненно приятнее, веселее и свободнее, чем дома, особенно во время обедов, когда все домашние сидели молчаливые и подавленные, а он сам насильно глотал ложки противного супа, чтобы не навлечь гнева почти всегда сурового отца, и с нетерпением ждал конца обеда безмолвный, не смея шевельнуться.

Познакомился он и сошелся с арестантами только нынешним летом, благодаря тому, что бегал в сад один и что вообще за ним не было никакого надзора. До этого времени он их очень боялся и, забегая в верхний сад, чтобы полакомиться фруктами, старался прошмыгнуть мимо них в почтительном отдалении и обязательно бегом. Тогда он считал всех этих людей в серых шапках, роющих в саду землю или развозящих в тачках песок, способными

на всякие злодейства, готовыми даже, как уверяла его еще давно няня Агафья, когда он капризничал, унести мальчика и потом его зажарить и съесть, хотя бы он был и адмиральский сын. Эти слова няни в свое время произвели глубокое впечатление на Васю, несмотря на то, что другие лица, как, например, мать, сестры и братья, не заходили в своих обвинениях так далеко. По крайней мере, он ни от кого не слышал подтверждения Агафьиных слов. Но во всяком случае отзывы, которые иногда, как бы мимоходом, бросались при мальчишке об арестантах, не оставляли ни малейшего сомнения в том, что эти люди совмещают в себе столько пороков, что и не сосчитать, и если бы их выпустить на волю, то они дали бы себя знать! Недаром же им бреют головы и держат в кандалах.

Так однажды говорил старичок генерал, приехавший с визитом к матери Васи, возмущенный по поводу какой-то жалобы, поданной арестантами на то, что их плохо кормят и не дают всего, что им по закону полагается. Этот старичок, прикосновенный, кажется, к делу о растрате арестантских сумм, понимает-

ся, и не думал, что в скором времени, когда Севастополь будет в опасности перед неприятелем, всех этих арестантов выпустят на волю и снимут с них кандалы, они сделаются такими же доблестными защитниками осажденного города, как и остальные.

Все эти рассказы еще сильнее подстрекали любопытство мальчика, и, несмотря на страх, внушаемый ему этими ужасными людьми, он, однако, иногда решался наблюдать их, но, разумеется, на таком расстоянии, чтобы, в случае какой-либо опасности, дать немедленно тягу.

Их разговоры самого мирного характера, долетавшие до ушей Васи, добродушное мурлыканье какой-нибудь песенки во время работы и, наконец, многие другие наблюдения совсем не соответствовали тому представлению об арестантах, которое имел мальчик с чужих слов, и несколько поколебали его веру в справедливость показаний няни Агафьи.

Особенно поразили его два факта.

Однажды весной он увидел, как один из арестантов, пожилой, высокий брюнет с сердитым взглядом больших глубоко сидящих

глаз, с нависшими черными всклокоченными бровями, которого Вася считал самым страшным и боялся более других, заметив выпавшего из гнезда крошечного воробышка, тотчас же подошел к нему, взял его и, бережно зажав в руке, полез на дерево и положил на место, к радости беспокойно вертевшейся около и тревожно чирикавшей воробьихи. И когда он слез с дерева и принялся снова насыпать из тачки на аллею песок, лицо его, к удивлению Васи, светилось лаской и добротой.

В другой раз арестанты нашли в саду заброшенного щенка — маленького, облезлого, худого, и отнесли к нему с большой внимательностью и даже нежностью. Вася видел, как они совали ему в рот разжеванный мякиш черного хлеба, как положили его в укромный уголок, заботливо прикрыв его какой-то тряпкой, и слышал, как они решили взять его с собой, и это решение, видимо, обрадовало всех.

— А то пропадет! — заметил тот же страшный арестант с нависшими бровями. — А я, братцы, за ним ходить буду, заместо, значит,

няньки! — прибавил он с веселым смехом.

По соображениям Васи, эти факты во всяком случае свидетельствовали, что и этим страшным людям не чужды проявления добрых чувств.

Для разрешения своих сомнений Вася вскоре обратился к старому денщику-матросу Кириле, бывшему у них в доме одним из лакеев, с вопросом: правда ли, что арестанты уносят мальчиков и потом едят их?

Вместо ответа Кирила, человек вообще солидный, серьезный и даже несколько мрачный, так громко рассмеялся, открывая свой большой рот, что Вася даже несколько сконфузился, сообразив, что попал впросак, предложивши, видимо, нелепый вопрос.

— Кто это вам сказал, барчук? — спросил наконец Кирила со смехом.

— Няня.

— Набрехала она вам, Василий Лександрыч, вроде хавроньи, а вы взяли да и поверили! Слыханное ли это дело, чтобы, с позволения сказать, ели человеков? Во всем крещеном свете нет такого положения, хоть кого угодно спросите. Есть, правда, один такой ост-

ров, далеко отсюда, за окиянами, где вовсе дикие люди живут, похожие на обезьянов, так те взаправду жрут, черти, человечье мясо. Мне один матрос сказывал, что ходил на дальнюю и везде побывал. Жрут, говорит, и крысу, и всякую насекомую, и змею, и человека, ежели чужой к ним попадетсЯ. Но, окромя этого самого острова, нигде этим не занимаются, чтобы мальчиков есть. А русский человек и подавно на это не согласится. Это вас нянька нарочно пужала. Известно — баба! Не понимает, дурья башка, что брешет дитю! — пренебрежительным тоном прибавил Кирилла.

— Да я и не поверил няне. Я сам знаю, что людей не едят! — оправдывался задетый за живое самолюбивый мальчик. — Я так только спросил. И я знаю, что арестанты вовсе не страшные! — прибавил Вася не вполне, однако, уверенным тоном, втайне желая получить на этот счет разъяснения такого знающего человека, каким он считал Кирилу.

— С чего им быть страшными? Такие же люди, как и все мы. Только незадачливые, значит, несчастные люди — вот и все.

— А за что же они, Кирила, попали в арестанты?

— А за разные дела, барчук. Они ведь все из солдат да из матросов... Долго ли до греха при строгой-то службе? Кои и за настоящие, прямо сказать, нехорошие вины... На грабеж пустился или в воровстве попался... Ну, и бывает свой грех... А кои из-за своего непокорного карахтера.

— Как так? — спросил Вася, не понимая Кирилу.

— А так. Не стерпел, значит, утеснение, взбунтовался духом от боя да порки — ну и сдерзничал начальству на службе, вот и арестантская куртка! А то и за пьянство попасть можно, всяко бывает! Ты и не ждешь, а вдруг очутишься в арестантских ротах.

— За что же?

— А за то, ежели, примерно, нравный человек да напорется на какого-нибудь зверя-командира, который порет безо всякого рассудка и за всякий, можно сказать, пустяк... Терпит-терпит человек, да наконец и не вытерпит, да от обиды в сердцах и нагрубит... Небось, расправа коротка... Проведут сквозь

строй... вынесут за мерзтво и потом в арестанты... И вы, барчук, не верьте, что про них нянька брешет... И бояться их нечего, пренебрегать ими не годится... Их жалеть надо, вот что я вам скажу, барчук.

После таких разъяснений, вполне, казалось, подтверждавших и собственные наблюдения Васи, он значительно меньше стал бояться арестантов, рисковал подходить к ним поближе и вглядывался в эти самые обыкновенные, по большей части добродушные лица, не имеющие в себе ничего злодейского. И они разговаривали, шутили и смеялись точно так, как и другие люди, а ели, — казалось Васе, — необыкновенно аппетитно и вкусно.

И однажды, когда Вася жадно глядел, как они утром уписывали, запивая водой, ломти черного хлеба, посыпанные солью, — один из арестантов с таким радушием предложил барчуку попробовать «арестантского хлебца», что Вася не отказался и с большим удовольствием съел два ломтя и пробыл в их обществе. И все смотрели на него так доброжелательно, так ласково, все так добродушно говорили с ним, что Вася очень жалел, когда ша-

баш кончился и арестанты разошлись по работам, приветливо кивая головами своему гостю.

С тех пор между адмиральским сыном и арестантами завязалось прочное знакомство, о котором Вася, разумеется, благоразумно умалчивал, зная, что дома его за это не похвалят. И чем ближе он узнавал их, тем более и более убеждался, что и няня, и мать, и сестры, и старичок генерал решительно заблуждаются, считая их ужасными людьми. Напротив, по мнению Васи, они были славные и добрые, и он только удивлялся, за что таких людей, которые так усердно работали, так хорошо к нему относились, баловали его самодельными игрушками и так гостеприимно угощали его, за что в самом деле им обрили головы и на ноги надели кандалы, лишив бедных возможности бегать, как бегают он.

Вася со всеми своими новыми знакомыми был в хороших отношениях, но более всего подружился с одним молодым, белокурым, небольшого роста, стройным арестантом, с голубыми ласковыми глазами. Он не знал, за что попал этот человек в арестанты, и не ин-

тересовался знать, решив почему-то, что, верно, не за важную вину.

Он чувствовал какую-то особенную привязанность к этому арестанту с задумчивым грустным взглядом и за то, что тот рассказывал отличные сказки, и за то, что он был часто грустен, и за его мягкий ласковый голос, и за его необыкновенно добрую и приятную улыбку, — короче, решительно за все.

Звали его Максимом. Арестанты называли его еще «соловьем», за то, что часто во время работы он пел песни и пел их замечательно хорошо.

Когда мальчик, бывало, слушал его пение, полное беспредельной тоски, невольное чувство бесконечной жалости к этому певцу в кандалах охватывало его маленькое сердце, и к горлу подступали слезы.

И нередко, нервно потрясенный, он убегал.

IV

Вася попал в сад как раз вовремя.

Арестанты только что зашабашили на полчаса и, расположившись, кто кучками, кто в одиночку, в конце одной из аллей под тенью стены, завтракали казенным черным хлебом

и купленными на свои копейки арбузами.

Вася подбежал к ним и, веселый, зарумянившийся, полный радости жизни, весело кивал головой в ответ на общие приветствия с добрым утром. С разных сторон раздавались голоса:

— Каково почивали, барчук?

— Нянька не пужала вас?

— Не угодно ли кавуна, барчук?

— У меня добрый кавун!

— Барчук с Максимкой будет завтракать.

Максимка нарочно большой кавун на рынке взял.

— А где же Максим? — спрашивал Вася, ища глазами своего приятеля.

— А вон он, от людей под виноградник забился... Идите к нему, барчук, да прикажите ему не скучить... А то он опять вовсе заскучил...

— Отчего?

— А спросите его... Видно, не привык еще к нашему арестантскому положению... тоскует, что птица в неволе.

— А вчерась дома еще от унтерцера попал! — вставил чернявый пожилой арестант с

нависшими включенными бровями, придававшими его рябоватому лицу несколько свирепый вид.

— За что попало? — поинтересовался Вася.

— А ежели по совести сказать, то вовсе здря... Не заметил Максимка унтерцера и не осторонился, а этот дьявол его в зубы... да раз, да другой... Это хучь кому, а обидно, как вы полагаете, барчук? Еще если бы за дело, а то здря! — объяснил пожилой арестант главную причину обиды.

Вася, и по собственному опыту своей недолгой еще жизни знавший, как обидно, когда, бывало, и его наказывали дома не всегда справедливо, а так, в минуты вспышки гнева отца или дурного расположения матери, поспешил согласиться, что это очень обидно и что унтер-офицер, побивший Максима, действительно дьявол, которому он охотно бы «начистил морду».

Вызвав последними словами, заимствованными им из арестантского жаргона, одобрительный смех и замечание, что «барчук рассудил правильно», Вася поспешил к своему приятелю Максиму.

— Здравствуй, Максим! — проговорил он, когда залез под виноградник и увидел молодого арестанта, около которого лежали только что нарезанные куски арбуза, и несколько ломтей черного хлеба.

— Доброго утра, паныч! — ответил Максим своим мягким голосом с сильным малороссийским акцентом. — Каково почивали? Попробуйте, какой кавунок добрый... Кушайте на здоровье!.. — прибавил он, подавая Васе кусок арбуза и ломоть хлеба и ласково улыбаясь при этом своими большими грустными глазами. — Я вас дожидался...

— Спасибо, Максим... Я присяду около тебя... Можно?

— Отчего не можно? Садитесь, паныч... Здесь хорошо.

Вася присел и, вынув из кармана несколько кусков сахара и щепотку чая, завернутого в бумажку, подал их арестанту и проговорил:

— Вот возьми... Чаю выпьешь...

— Спасибо, паныч... Добренький вы... Только как бы вам не досталось, что вы сахар да чай из дома уносите.

— Не бойся, Максим, не достанется. И ни-

кто не узнает... у нас все спят. Только папенька встал и сидит в кабинете. Да у нас чаю и сахару много! — торопливо объяснял Вася, желая успокоить Максима, и с видимым наслаждением принялся уплетать сочный арбуз, заедая его черным хлебом и не обращая большого внимания на то, что сок заливал его курточку.

Сунув чай и сахар в карман штанов, Максим тоже принялся завтракать.

— Еще, паныч! — проговорил он, заметив, что Вася уже съел один кусок.

— А тебе мало останется? — заметил мальчик, видимо, колебавшийся между желанием съесть еще кусок и не обидеть арестанта.

— Хватит... Да мне что-то и есть не хочется.

— Ну, так я еще съем кусочек.

Скоро арбуз и хлеб были покончены, и тогда Вася спросил:

— А ты что такой невеселый, Максим?

— Веселья немного, паныч, в арестантах.

— В кандалах больно?

— В неволе погано, паныч... И на службе было тошно, а в арестантах еще тошнее.

— Ты был солдатом или матросом?

— Матросом, паныч, в сорок втором экипаже служил... Может, слышали про капитана первого ранга Богатова... Он у нас был командиром корабля «Тартарархов».

— Я его знаю... Он у нас бывает... Такой толстый, с большим пузом...

— Так из-за этого самого человека я и в арестанты попал. Нехай ему на том свете помнится за то, что он меня несчастным сделал.

— Что ж ты, нагрубил ему?

— То-то... нагрубил... Я, паныч, был матрос тихий, смирный, а он довел меня до затмения... Так сек, что и не дай боже!

— За что же?

— А за все. И винно и безвинно... За флотскую часть. Два раза в гошпитале из-за его лежал... Ну, душа и не стерпела... Назвал его злодеем... Злодей и есть... И засудили меня, паныч. Гоняли сквозь строй, а потом в арестанты... Уж лучше было бы потерпеть... Может, от этого человека избавился и к другому бы попал — не такому злодею. По крайности в матросах все-таки на воле жил... А тут, сами знаете, паныч, какая есть арестантская доля...

хоть пропадай с тоски... И всякий может тобой помыкать... Известно — арестант, — прибавил с грустной усмешкой Максим.

Вася, слушавший Максима с глубоким участием, после нескольких секунд раздумья, проговорил с самым решительным видом:

— Так отчего ты, Максим, не убежишь, если тебе так нехорошо?

Радостный огонек блеснул в глазах арестанта при этих словах, и он ответил:

— А вы как думаете?.. Давно убег бы, коли б можно было, паныч... Пошел бы до своей стороны.

— А где твоя сторона?

— В Каменец-Подольской губернии... Может, слышали — город Проскуров... Так от него верстов десять наша деревня. Поглядел бы на мать да на батьку и пошел бы за австрийскую границу шукать доли! — продолжал Максим взволнованным шепотом, весь оживившийся и словно бы невольно высказывая свою давно лелеянную заветную мечту о побеге. — Только вы смотрите, паныч, никому не сказывайте насчет того, что я вам говорю, а то меня до смерти засекут! — прибавил Максим и словно

бы испугался, что поверил свою тайну барчуку. Долго ли ему разболтать?

Вася торжественно перекрестился и со слезами на глазах объявил, что ни одна душа не узнает о том, что говорил Максим. Он может быть спокоен, что за него Максима не высекут. Хоть он и маленький, а держать слово умеет.

И когда Максим, по-видимому, успокоился этим уверением, Вася, и сам внезапно увлеченный мыслью о побеге Максима за австрийскую границу, о которой, впрочем, имел очень смутное понятие, продолжал таинственно, серьезным тоном заговорщика:

— Ты говоришь, что нельзя убежать, а я думаю, что очень даже легко.

— А как же, паныч? — с ласковою улыбкой спросил Максим.

— А ты разбей здесь у нас в саду кандалы... Я тебе молоток принесу, а потом перелезешь через стену да и беги за австрийскую границу.

Максим печально усмехнулся.

— В арестантской-то одеже? Да меня зараз поймают.

— А ты ночью.

— Ночью с блокшивы не убежь... Мы за железными запорами, да и часовые пристрелят...

Возбужденное лицо Васи омрачилось... И он печально произнес:

— Значит, так и нельзя убежать?

Арестант не отвечал и как-то напряженно молчал. Казалось, будто какая-то мысль озарила его, и его худое бледное лицо вдруг стало необыкновенно возбужденным, а глаза загорелись огоньком. Он как-то пытливо и тревожно глядел на мальчика, точно хотел проникнуть в его душу, точно хотел что-то сказать и не решался.

— Что ж ты молчишь, Максим? Или боишься, что я тебя выдам? — обиженно промолвил Вася.

— Нет, паныч... Вы не обидите арестанта... В вас душа добрая! — сказал уверенно и серьезно Максим и, словно решившись на что-то очень для него важное, прибавил почти шепотом: — А насчет того, чтобы убежь, так оно можно, только не так, как вы говорите, паныч.

— А как?

— Коли б, примерно, достать платье.

— Какое?

— Женское, скажем, такое, как ваша нянька носит.

— Женское? — повторил мальчик.

— Да, и, примерно, платок бабий на голову... Тогда можно бы убечь!

Вася на секунду задумался и вслед за тем решительно проговорил:

— Я тебе принесу нянино платье и платок.

— Вы принесете... паныч?

От волнения он не мог продолжать и, вдруг схватив руку Васи, прижал ее к губам и покрыл поцелуями.

В ответ Вася крепко поцеловал арестанта.

— Как же вы это сделаете?.. А как поймут...

— Не бойся, Максим... Никто не поймают... Я ловко это сделаю, когда все будут спать. Только куда его положить?

— А сюда... под виноградник. Да накройте его листом, чтобы не видно было.

— А то не прикрыть ли землей? Как ты думаешь, Максим? — с серьезным, деловым видом спрашивал Вася.

— Нет, что уж вам трудиться, паныч; довольно и листом. Сюда никто и не заглянет.

— Ну, ладно. А я завтра рано-рано утром все сюда принесу. А то еще лучше ночью... Я не побоюсь ночью в сад идти. Чего бояться?

— Благослови вас боже, милый паныч. Я буду век за вас молиться.

— Эй! На работу! — донесся издали голос конвойного.

— Я еще к тебе прибегу, Максим. Мы ведь больше не увидимся. Завтра тебя не будет! — с грустью в голосе произнес Вася.

С этими словами он пошел в дом.

V

Целый день Вася находился в возбужденном состоянии, озабоченный предстоящим предприятием. Увлеченный этими мыслями, он даже ни разу не подумал о том, что грозит ему, если отец как-нибудь узнает об его поступке. План похищения нянина платья и молотка, который он вчера видел в комнате, поглотил его всего, и он уже сделал днем рекогносцировку в нянину комнату и увидел, где лежит молоток, и наметил платье, висевшее на гвозде. День этот тянулся для него невыно-

симо долго. Он то и дело выбегал в сад, озабоченно ходил по аллеям и часто подбегал к Максиму, когда видел его одного. Подбегал и перекидывался таинственными словами.

— Прощай, голубчик Максим... Может быть, завтра уж ты будешь далеко! — проговорил он со слезами на глазах перед тем, как арестанты собирались уходить из сада.

— Прощайте, паныч! — шепнул арестант, взглядывая на мальчика взглядом, полным неопикуемой благодарности.

Арестанты выстроились и ушли, позвякивая кандалами. Вася долго еще провожал их глазами.

По счастью, никто из домашних не обратил внимания на взволнованный вид мальчика. Правда, за обедом отец два раза бросил на него взгляд, от которого Вася замер от страха. Ему показалось, что отец прочел в душе его намерения и вот сейчас крикнет ему: «Я все знаю, негодный мальчишка!»

Но вместо этого отец только спросил:

— Отчего не ешь?

— Я ем, папенька.

— Мало. Надо есть за обедом! — крикнул

он.

И Вася, не чувствовавший ни малейшего аппетита, усердно набивал себе рот, втайне обрадованный, что отец ни о чем не догадывается.

К вечеру молоток уже лежал под кроватью Васи. Пошел он в этот день спать ранее обыкновенного, хотя за чайным столом и сидели гости и рассказывали интересные вещи.

Когда он подошел к матери, она взглянула на него и озабоченно спросила, ощупывая его голову:

— Ты, кажется, болен, Вася?.. У тебя все Лицо горит.

— Я здоров, мама... Устал, верно.

Он поцеловал ее нежную белую руку, простился с сестрами и гостями и, довольный, что отца не было дома и что не нужно было с ним прощаться, побежал в детскую.

— Няня, спать! — крикнул он.

— Что сегодня рано? Или набегался?

— Набегался... устал, няня! — говорил он, стараясь не глядеть ей в глаза и чувствуя некоторое угрызение совести перед человеком, которого собирался ограбить.

Няня раздела его и предложила ему рассказать сказку, но он отказался. Ему спать хочется. Он сейчас заснет.

— Ну, так спи, родной!

Она поцеловала Васю, перекрестила его и хотела было уходить, как Вася вдруг проговорил:

— А знаешь, няня, после моих именин я подарю тебе новое платье.

— Спасибо, голубчик. Что это тебе взбрело на ум, к чему мне платье... У меня и так много платьев.

— А сколько?

— Да шесть будет, кроме двух шерстяных.

— А! — удовлетворенно произнес мальчик и прибавил: — Так я тебе, няня, что-нибудь другое подарю... После именин у меня будет много денег...

— Ишь ты, добрый мой... Спасибо на посыле... Ну, спи, спи. И я пойду спать.

Через несколько времени Вася услышал из соседней комнаты храп няни Агафьи.

Нервы его были слишком натянуты, и он не засыпал, решивши не спать до того времени, пока не заснут все в доме и он сможет без-

опасно пробраться в сад через диванную, тихонько отворив двери в сад, которые обыкновенно запирались на ключ. Мать не услышит, а спальня отца в другом конце дома. Наконец можно выпрыгнуть и из окна — не высоко.

До него доносились звуки корабельных колоколов, каждые полчаса отбивавших склянки. Он слышал монотонное и протяжное «слушай!» перекрикивающихся в отдалении часовых и думал упорно и настойчиво о том, что он не должен заснуть и не заснет, — думал, как он отворит окно, прислушается, все ли тихо, и как пройдет к няне на цыпочках за платьем, думал о Максиме, как он завтра обрадуется и удерет на австрийскую границу. И ему там будет хорошо, и его никто не поймает. И никто не узнает, что это он, Вася, помог ему убежать. И ему приятно было сознавать, что он будет его спасителем. Эти мысли, бродившие в его возбужденной голове, сменились другими. И он убежит за австрийскую границу, если в пансионе, в Одессе, куда его отвезут в сентябре, будет нехорошо и его будут сечь. Дома сечет отец — он смеет, а другие не смеют! Непременно удерет, разыщет Мак-

сима и поселится вместе с ним. Эта мысль казалась ему соблазнительной, но еще соблазнительнее была другая, внезапно пришедшая, — как он уже большим и генералом, после долгого отсутствия, вдруг подъедет на белом красивом коне к дому и как все удивятся, что он генерал. И отец не высечет его — он уж большой, — а будет изумлен, что он такой молодой и уже генерал. А мать, и сестры, и братья — все будут удивлены и все будут поздравлять его. И он расскажет, почему он бежал и как отличился на войне.

«Хо-ро-шо!» — подумал он, потягиваясь и не сознавая ясно, бредит ли он наяву или засыпает.

— Нельзя спать! — прошептал он и тотчас же заснул. Что-то точно толкнуло его в бок, он проснулся и быстро присел на постели, испуганный, что проспал и обманул Максима, и первое мгновение не мог сообразить, сколько теперь времени. Он протер глаза и озирался вокруг. Сквозь белую штору пробивался слабый свет. Слава богу! Еще, кажется, не поздно.

Он вскочил с постели, отдернул штору и взглянул в окно. Только что рассветало, и в

саду стоял еще полумрак.

— Пора!

Едва ступая босыми ножонками, пробрался он в комнату няни, взял оттуда платье и платок, лежавший около ее постели, и вернулся к себе. Через несколько секунд он уж был одет, все похищенное свернуто в два полотенца.

Надо было решить вопрос: как пробраться в сад — через окно или идти через комнаты? Тихонько растворив окно, он заглянул вниз и отвернулся: слишком высоко! Тогда он снял с себя башмаки и в одних чулках вышел за двери.

Сердце его сильно билось, когда он, затаив дыхание, прислушиваясь к каждому шороху, пробирался по коридору, мимо комнат сестер, и наконец вошел в диванную. Вот и дверь... Осторожно повернул он ключ... раз, два... раздался шум... Он на минуту замер в страхе и со всех ног пустился в сад, перепрыгивая ступеньки лестниц. Вот и вторая терраска сверху... Стремглав добежав до конца аллеи, он положил платье в указанное место, набросал на него кучу виноградных листьев и побежал

домой.

Когда он благополучно вернулся и лег в постель, его трясло точно в лихорадке. Он был бесконечно счастлив и в то же время страшно трусил, что вдруг все откроется и отец прикажет его самого отдать в арестанты.

VI

Проснулся он на другой день поздно. Няня стояла перед ним. Он вспомнил все, что было ночью, и поглядел на нее. Ничего. Она, по обыкновению, ласковая и добрая, — видно, ни о чем не догадывается. На голове ее другой платок.

— Ишь, соня... Заспался сегодня... Вставай, уже девятый час...

Вася быстро поднялся, оделся и позволил сегодня няньке расчесать основательно свои кудри.

— А не видал ты где-нибудь, Васенька, моего платка с головы? Искала, искала — нигде не могла найти, точно сквозь землю провалился! — озабоченно проговорила она, обыскивая Васину кровать.

— Нет, няня, не видал.

— Чудное дело! — прошептала старуха.

— Да ты, няня, не тревожься. Я тебе новый платок куплю.

— Не в том дело... Не жаль платка, да куда он девался?

И когда Вася был готов, няня сказала:

— А папенька сердитый сегодня.

— Отчего?

— У нас, Васенька, беда случилась.

— Беда? Какая беда, няня?

— Один арестант из сада убежал утром.

У Васи радостно забилося сердце. Однако он постарался скрыть свое волнение и с напускным равнодушием спросил:

— Убежал? Как же он убежал?

— То-то и диво. Только что хватились... Платье свое арестантское оставил и убежал... Все дивуются, — откуда он достал платье... Не голый же ушел... Теперь идет переборка. Всех допрашивает конвойный офицер... И папеньке доложили... Прогневался... Вдруг из губернаторского сада арестант убежал!

Ни жив ни мертв явился Вася в кабинет отца. Действительно, адмирал был не в духе, и в ответ на обычное «здравствуйте, папенька» — только кивнул головой. С облегченным

сердцем ушел Вася, убедившись, что отец ничего не знает, и вскоре услышал крики отца, который распекал явившегося к нему с рапортом полицмейстера.

Вася целый день провел в тревоге, ожидая, что вот-вот его позовут на допрос к отцу.

Но никто его не звал. За обедом отец даже был в духе и соблаговолил сказать адмиральше, высокой, полной, пожилой женщине, сохранившей еще следы былой красоты:

— А ты слышала, что сегодня случилось? Каналья арестант убежал из нашего сада.

— Как же это он мог?

— Арестанты показывают, что у него с собою узелок был, когда их вели с блокшива... Верно, там платье и было... Он переоделся и убежал... Комендант совсем распустил их... Уж я ему говорил... И конвойные плохо смотрят... Ну, да недолго побегает... Сегодня или завтра, верно, поймают... Как проведут сквозь строй, не захочет бегать!

У Васи екнуло сердце. Неужели поймают?

Однако, когда через несколько дней мать спросила отца, поймали ли арестанта, тот сердито отвечал:

— Нет... Словно в воду канул, мерзавец! И никак не могли узнать, откуда он достал платье!

Когда через неделю Вася уже совсем успокоился и вышел утром в сад, пожилой арестант с включенными черными бровями, срезавший гнилые сучья с дерева, таинственно поманил мальчика к себе и, когда тот подошел к нему, осторожно, чтобы никто не видал, сунул ему в руки маленький резной крестик и проговорил:

— Максимка приказал вам передать, барчук.

И, ласково глядя на Васю, прибавил необыкновенно нежным голосом:

— Пошли вам бог всего хорошего, добрый барчук!

Максимка

Посвящается Тусику

I

Только что пробил колокол. Было шесть часов прелестного тропического утра на Атлантическом океане.

По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому и прозрачно-нежному, местами подернутому, словно белоснежным кружевом, маленькими перистыми облачками, быстро поднимается золотистый шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным блеском водяную холмистую поверхность океана. Голубые рамки далекого горизонта ограничивают его беспредельную даль.

Как-то торжественно безмолвно кругом.

Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце своими серебристыми верхушками и нагоняя одна другую, плавно переливаются с тем ласковым, почти нежным ропотом, который точно нашептывает, что в этих широтах, под тропиками, вековечный старик океан всегда находится в добром расположе-

нии духа.

Бережно, словно заботливый нежный пестун, несет он на своей исполинской груди плывущие корабли, не угрожая морякам бурями и ураганами.

Пусто вокруг!

Не видно сегодня ни одного белеющего паруса, не видно ни одного дымка на горизонте. Большая океанская дорога широка.

Изредка блеснет на солнце серебристою чешуйкой летучая рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко прореет в воздухе темный фрегат или белоснежный альбатрос, пронесется над водой маленькая серая петрель, направляясь к далеким берегам Африки или Америки, и снова пусто. снова рокочущий океан, солнце да небо, светлые, ласковые, нежные.

Слегка покачиваясь на океанской зыби, русский военный паровой клипер «Забияка» быстро идет к югу, удаляясь все дальше и дальше от севера, мрачного, угрюмого и все-таки близкого и дорогого севера.

Небольшой, весь черный, стройный и кра-

сивый со своими тремя чуть-чуть подавшимися назад высокими мачтами, сверху донизу покрытый парусами, «Забияка» с попутным и ровным, вечно дующим в одном и том же направлении северо-восточным пассатом бежит себе миль по семи — восьми в час, слегка накренившись своим подветренным бортом. Легко и грациозно поднимается «Забияка» с волны на волну, с тихим шумом пересекает их своим острым водорезом, вокруг которого пенится вода и рассыпается алмазной пылью. Волны ласково лижут бока клипера. За кормой стелется широкая серебристая лента.

На палубе и внизу идет обычная утренняя чистка и уборка клипера — подготовка к подъему флага, то есть к восьми часам утра, когда на военном судне начинается день.

Рассыпавшись по палубе в своих белых рабочих рубашках с широкими откидными синими воротами, открывающими жилистые загорелые шеи, матросы, босые, с засученными до колен штанами, моют, скребут и чистят палубу, борты, пушки и медь — словом, убирают «Забияку» с тою щепетильною внимательностью,

стью, какую отличаются моряки при уборке своего судна, где всюду, от верхушек мачт до трюма, должна быть умопомрачающая чистота и где все, доступное кирпичу, суконке и белилам, должно блестеть и сверкать.

Матросы усердно работали и весело посмеивались, когда горластый боцман Матвейч, старый служака с типичным боцманским лицом старого времени, красным и от загара и от береговых кутежей, с выкаченными серыми глазами, «чумея», как говорили матросы, во время «убирки» выпаливал какую-нибудь уж очень затейливую ругательную импровизацию, поражавшую даже привычное ухо русского матроса. Делал Матвейч это не столько для поощрения, сколько, как он выражался, «для порядка».

Никто за это не сердился на Матвейча. Все знают, что Матвейч добрый и справедливый человек, кляуз не заводит и не злоупотребляет своим положением. Все давно привыкли к тому, что он не мог произнести трех слов без ругани, и порой восхищаются его бесконечными вариациями. В этом отношении он был виртуоз.

Время от времени матросы бегали на бак, к кадке с водой и к ящику, где тлел фитиль, чтобы наскоро выкурить трубочку острой махорки и перекинуться словом. Затем снова принимались чистить и оттирать медь, наводить глянец на пушки и мыть борты, и особенно старательно, когда приближалась высокая худощавая фигура старшего офицера, с раннего утра носившегося по всему клиперу, заглядывая то туда, то сюда.

Вахтенный офицер, молодой блондин, стоявший вахту с четырех до восьми часов, уже давно разогнал дрему первого получаса вахты. Весь в белом, с расстегнутою ночной сорочкой, он ходит взад и вперед по мостику, вдыхая полной грудью свежий воздух утра, еще не накаленный жгучим солнцем. Нежный ветер приятно ласкает затылок молодого лейтенанта, когда он останавливается, чтобы взглянуть на компас — по румбу ли правят рулевые, или на паруса — хорошо ли они стоят, или на горизонт — нет ли где шквалистого облачка.

Но все хорошо, и лейтенанту почти нечего делать на вахте в благодатных тропиках.

И он снова ходит взад и вперед и слишком рано мечтает о том времени, когда вахта кончится и он выпьет стакан-другой чаю со свежими горячими булками, которые так мастерски печет офицерский кок, если только водку, которую он требует для поднятия теста, не воьет в себя.

II

Вдруг по палубе пронесся неестественно громкий и тревожный окрик часового, который, сидя на носу судна, смотрел вперед:

— Человек в море!

Матросы кинули мгновенно работы, и, удивленные и взволнованные, бросились на бак, и устремили глаза на океан.

— Где он, где? — спрашивали со всех сторон часового, молодого белобрысого матроса, лицо которого вдруг побелело как полотно.

— Вон, — указывал дрогнувшей рукой матрос. — Теперь скрылся. А сейчас видел, братцы... На мачте держался... привязан, что ли, — возбужденно говорил матрос, напрасно стараясь отыскать глазами человека, которого только что видел.

Вахтенный лейтенант вздрогнул от окрика

часового и впился глазами в бинокль, наводя его в пространство перед клипером.

Сигнальщик смотрел туда же в подозрную трубу.

— Видишь? — спросил молодой лейтенант.

— Вижу, ваше благородие... Левее извольте взять...

Но в это мгновение и офицер увидел среди волн обломок мачты и на ней человеческую фигуру.

И взвизгивающим, дрожащим голосом, торопливым и нервным, он крикнул во всю силу своих здоровых легких:

— Свистать всех наверх! Грот и фок на гитовы! Баркас к спуску!

И, обратившись к сигнальщику, возбужденно прибавил:

— Не теряй из глаз человека!

— Пошел все наверх! — рявкнул сипловатым баском боцман после свистка в дудку.

Словно бешеные, матросы бросились к своим местам.

Капитан и старший офицер уже вбегали на мостик. Полусонные, заспанные офицеры, надевая на ходу кители, поднимались по тра-

пу на палубу.

— Старший офицер принял команду, как всегда бывает при аврале, и, как только раздалась его громкие, отрывистые командные слова, матросы стали исполнять их с какою-то лихорадочною порывистостью. Все в их руках точно горело. Каждый словно бы понимал, как дорога каждая секунда.

Не прошло и семи минут, как почти все паруса, за исключением двух — трех, были убраны, «Забияка» лежал в дрейфе, недвижно покачиваясь среди океана, и баркас с шестнадцатью гребцами и офицером у руля спущен был на воду.

— С богом! — крикнул с мостика капитан на отваливший от борта баркас.

Гребцы навалились изо всех сил, торопясь спасти человека.

Но в эти семь минут, пока остановился клипер, он успел пройти больше мили, и обломка мачты с человеком не видно было в бинокль.

По компасу заметили все-таки направление, в котором находилась мачта, и по этому направлению выгребал баркас, удаляясь от

клипера.

Глаза всех моряков «Забияки» провожали баркас. Какою ничтожною скорлупою казался он, то показываясь на гребнях больших океанских волн, то скрываясь за ними.

Скоро он казался маленькой черной точкой.

III

На палубе царила тишина.

Только порой матросы, теснившиеся на юте и на шканцах, менялись между собой отрывистыми замечаниями, произносимыми вполголоса:

— Должно, какой-нибудь матросик с потопшего корабля.

— Потонуть кораблю здесь трудно. Разве вообще плохое судно.

— Нет, видно, столкнулся с каким другим ночью...

— А то и сгорел.

— И всего-то один человек остался, братцы!

— Может, другие на шлюпках спасаются, а этого забыли...

— Живой ли он?

— Вода теплая. Может, и живой.

— И как это, братцы, акул-рыба его не съела. Здесь этих самых акулов страсть!

— Ддда, милые! Опаская эта флотская служба. Ах, какая опаская! — произнес, подавляя вздох, совсем молодой чернявый матросик с серьгой, первогодок, прямо от сохи попавший в кругосветное плавание.

И с омраченным грустью лицом он снял шапку и медленно перекрестился, точно безмолвно моля бога, чтобы он сохранил его от ужасной смерти где-нибудь в океане.

Прошло три четверти часа общего томительного ожидания.

Наконец сигнальщик, не отрывавший глаза от подзорной трубы, весело крикнул:

— Баркас пошел назад!

Когда он стал приближаться, старший офицер спросил сигнальщика:

— Есть на нем спасенный?

— Не видать, ваше благородие! — уже не так весело отвечал сигнальщик.

— Видно, не нашли! — проговорил старший офицер, подходя к капитану.

Командир «Забияки», низенький, корена-

стый и крепкий брюнет пожилых лет, заросший сильно волосами, покрывавшими мясистые щеки и подбородок густою черною засевшею щетиной, с небольшими круглыми, как у ястреба, глазами, острыми и зоркими, — недовольно вздернул плечом и, видимо сдерживая раздражение, проговорил:

— Не думаю-с. На баркасе исправный офицер и не вернулся бы так скоро, если б не нашел человека-с.

— Но его не видно на баркасе.

— Быть может, внизу Лежит, потому и не видно-с... А впрочем-с, скоро узнаем...

И капитан заходил по мостику, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на приближавшийся баркас. Наконец он взглянул в бинокль и хоть не видел спасенного, но по спокойно-веселому лицу офицера, сидевшего на руле, решил, что спасенный на баркасе. И на сердитом лице капитана засветилась улыбка.

Еще несколько минут, и баркас подошел к борту и вместе с людьми был поднят на клипер.

Вслед за офицером из баркаса стали выходить гребцы, красные, вспотевшие, с трудом

переводившие дыхание от усталости. Поддерживаемый одним из гребцов, на палубу вышел и спасенный — маленький негр, лет десяти — одиннадцати, весь мокрый, в рваной рубашке, прикрывавшей небольшую часть его худого, истощенного, черного, отливавшего гляncем тела.

Он едва стоял на ногах и вздрагивал всем телом, глядя ввалившимися большими глазами с какою-то безумною радостью и в то же время недоумением, словно не веря своему спасению.

— Совсем полумертвого с мачты сняли; едва привели в чувство бедного мальчишку, — докладывал капитану офицер, ходивший на баркасе.

— Скорее его в лазарет! — приказал капитан.

Мальчика тотчас же отнесли в лазарет, вытерли насухо, уложили в койку, покрыли одеялами, и доктор начал его отхаживать, вливая в рот ему по несколько капель коньяку.

Он жадно глотал влагу и умоляюще глядел на доктора, показывая на рот.

А наверху ставили паруса, и минут через

пять «Забияка» снова шел прежним курсом, и матросы снова принялись за прерванные работы.

— Арапчонка спасли! — раздавались со всех сторон веселые матросские голоса.

— И какой же он щуплый, братцы!

Некоторые бегали в лазарет узнавать, что с арапчонком.

— Доктор отхаживает. Небось, выходит!

Через час марсовой Коршунов принес известие, что арапчонок спит крепким сном, после того как доктор дал ему несколько ложек горячего супа...

— Нарочно для арапчонка, братцы, кок суп варил; вовсе, значит, пустой, безо всего, — так, отвар быдто, — с оживлением продолжал Коршунов, довольный и тем, что ему, известному вралю, верят в данную минуту, и тем, что он на этот раз не врет, и тем, что его слушают.

И, словно бы желая воспользоваться таким исключительным для него положением, он торопливо продолжает:

— Фершал, братцы, сказывал, что этот самый арапчонок по-своему что-то лопотал, ко-

гда его кормили, просил, значит: «Дайте больше, мол, этого самого супу»... И хотел даже вырвать у доктора чашку... Однако не допустили: значит, брат, сразу нельзя... Помрет, мол.

— Что ж арапчонок?

— Ничего, покорился...

В эту минуту к кадке с водой подошел капитанский вестовой Сойкин и закурил остаток капитанской сигары. Тотчас же общее внимание было обращено на вестового, и кто-то спросил:

— А не слышно, Сойкин, куда денут потом арапчонка?

Рыжеволосый, веснушчатый, франтоватый, в собственной тонкой матросской рубаше и в парусинных башмаках, Сойкин не без достоинства пыхнул дымком сигары и авторитетным тоном человека, имеющего кое-какие сведения, проговорил:

— Куда деть? Оставят на Надежном мысу, когда, значит, придем туда.

«Надежным мысом» он называл мыс Доброй Надежды.

И, помолчав, не без пренебрежения приба-

вил:

— Да и что с им делать, с черномазой нехристью? Вовсе даже дикие люди.

— Дикие не дикие, а всё божья тварь... Пожалеть надо! — промолвил старый плотник Захарыч.

Слова Захарыча, видимо, вызвали общее сочувствие среди кучки курильщиков.

— А как же арапчонок оттель к своему месту вернется? Тоже и у его, поди, отец с матерью есть! — заметил кто-то.

— На Надежном мысу всяких арапов много. Небось, дознаются, откуда он, — ответил Сойкин и, докурив окурок, вышел из круга.

— Тоже вестовщина. Полагает о себе! — сердито пустил ему вслед старый плотник.

IV

На другой день мальчик-негр хотя и был очень слаб, но настолько оправился после нервного потрясения, что доктор, добродушный пожилой толстяк, радостно улыбаясь своею широкою улыбкою, потрепал ласково мальчика по щеке и дал ему целую чашку бульону, наблюдая, с какой жадностью глотал он жидкость и как потом благодарно взгля-

нул своими большими черными выпуклыми глазами, зрачки которых блестели среди белков.

После этого доктор захотел узнать, как мальчик очутился в океане и сколько времени он голодал, но разговор с пациентом оказался решительно невозможным, несмотря даже на выразительные пантомимы доктора. Хотя маленький негр, по-видимому, был сильнее доктора в английском языке, но так же, как и почтенный доктор, безбожно коверкал несколько десятков английских слов, которые были в его распоряжении.

Они друг друга не понимали.

Тогда доктор послал фельдшера за юным мичманом, которого все в кают-компании звали Петенькой.

— Вы, Петенька, отлично говорите по-английски, поговорите-ка с ним, а у меня что-то не выходит! — смеясь проговорил доктор. — Да скажите ему, что дня через три я его выпущу из лазарета! — прибавил доктор.

Юный мичман, присев около койки, начал свой допрос, стараясь говорить короткие фразы тихо и отдельно, и маленький негр, види-

мо, понимал, если не все, о чем спрашивал мичман, то во всяком случае кое-что, и спешил отвечать рядом слов, не заботясь об их связи, но зато подкрепляя их выразительными пантомимами.

После довольно продолжительного и трудного разговора с мальчиком-негром мичман рассказал в кают-компании более или менее верную в общих чертах историю мальчика, основанную на его ответах и мимических движениях.

Мальчик был на американском бриге «Бетси» и принадлежал капитану («большому мерзавцу», — вставил мичман), которому чистил платье, сапоги и подавал кофе с коньяком или коньяк с кофе. Капитан звал слугу своего «боем»[1], и мальчик уверен, что это его имя. Отца и матери он не знает. Капитан год тому назад купил маленького негра в Мозамбике и каждый день бил его. Бриг шел из Сенегала в Рио с грузом негров. Две ночи тому назад бриг сильно стукнуло другое судно (эту часть рассказа мичман основал на том, что маленький негр несколько раз проговорил: «кра, кра, кра» и затем слабо стукнул своим

кулачком по стенке лазаретной каютки), и бриг пошел ко дну... Мальчик очутился в воде, привязался к обломку мачты и провел на ней почти двое суток...

Но несравненно красноречивее всяких слов, если бы такие и мог сказать мальчик о своей ужасной жизни, говорило и его удивление, что с ним ласково обращаются, и забитый его вид, и эти благодарные его взгляды загнанной собачонки, которыми он смотрел на доктора, фельдшера и на мичмана, и — главное — его покрытая рубцами, блестящая черная худая спина с выдающимися ребрами.

Рассказ мичмана и показания доктора произвели сильное впечатление в кают-компании. Кто-то сказал, что необходимо поручить этого бедняжку покровительству русского консула в Каптоуне и сделать в пользу негра сбор в кают-компании.

Пожалуй, еще большее впечатление произвела история маленького негра на матросов, когда в тот же день, под вечер, молодой вестовой мичмана, Артемий Мухин — или, как все его звали, Артюшка, — передавал на баке рассказ мичмана, причем не отказал се-

бе в некотором злорадном удовольствии украсить рассказ некоторыми прибавлениями, свидетельствующими о том, какой был дьявол этот американец капитан.

— Каждый день, братцы, он мучил арапчонка. Чуть что, сейчас в зубы: раз, другой, третий, да в кровь, а затем снимет с крючка плетку, — а плетка, братцы, отчаянная, из самой толстой ремешки, — и давай лупцевать арапчонка! — говорил Артюшка, вдохновляясь собственной фантазией, вызванной желанием представить жизнь арапчонка в самом ужасном виде. — Не разбираю, анафема, что перед им безответный мальчонка, хоть и негра... У бедняги и посейчас вся спина исполосована... Доктор сказывал: страсть поглядеть! — добавил впечатлительный и увлекавшийся Артюшка.

Но матросы, сами бывшие крепостные и знавшие по собственному опыту, как еще в недавнее время «полосовали» им спины, и без Артюшкиных прикрас жалели арапчонка и посылали по адресу американского капитана самые недобрые пожелания, если только этого дьявола уже не сожрали акулы.

— Небось, у нас уж объявили волю крестьянам, а у этих мериканцев, значит, крепостные есть? — спросил какой-то пожилой матрос.

— То-то, есть!

— Чудно что-то... Вольный народ, а поди ж ты! — протянул пожилой матрос.

— У их арапы быдто вроде крепостных! — объяснял Артюшка, слыхавший кое-что об этом в кают-компании. — Из-за этого самого у их промеж себя и война идет. Одни мериканцы, значит, хотят, чтобы все арапы, что живут у их, были вольные, а другие на это никак не согласны — это те, которые имеют крепостных арапов, — ну и жарят друг дружку, страсть!.. Только господа сказывали, что которые мериканцы за арапов стоят, те одолеют! Начисто разделают помещиков мериканских! — не без удовольствия прибавил Артюшка.

— Не бойсь, господь им поможет... И арапу на воле жить хочется... И птица клетки не любит, а человек и подавно! — вставил плотник Захарыч.

Чернявый молодой матросик-первогодок,

тот самый, который находил, что флотская служба очень «опаская», С напряженным вниманием слушал разговор и, наконец, спросил:

— Теперь, значит, Артюшка, этот самый арапчонок вольный будет?

— А ты думал как? Известно, вольный! — решительно проговорил Артюшка, хотя в душе и не вполне был уверен в свободе арапчонка, не имея решительно никаких понятий об американских законах насчет прав собственности.

Но его собственные соображения решительно говорили за свободу мальчика. «Черта-хозяина» нет, к рыбам в гости пошел, так какой тут разговор!

И он прибавил:

— Теперь арапчонку только новый пачпорт выправить на Надежном мысу. Получи пачпорт, и айда на все четыре стороны.

Эта комбинация с паспортом окончательно рассеяла его сомнения.

— То-то и есть! — радостно воскликнул чернявый матросик-первогодок.

И на его добродушном румянном лице с добрыми, как у щенка, глазами засветилась ти-

хая светлая улыбка, выдававшая радость за маленького несчастного негра.

Короткие сумерки быстро сменились чудною, ласковою тропическою ночью. Небо зажглось мириадами звезд, ярко мигающих с бархатной выси. Океан потемнел вдали, сияя фосфорическим блеском у бортов клипера и за кормою.

Скоро просвистали на молитву, и затем подвахтенные, взявши койки, улеглись спать на палубе.

А вахтенные матросы коротали вахту, приулившись у снастей, и лясничали вполголоса. В эту ночь во многих кучках говорили об арапчонке.

V

Через два дня доктор, по обыкновению, пришел в лазарет в семь часов утра и, обследовав своего единственного пациента, нашел, что он поправился, может встать, выйти наверх и есть матросскую пищу. Объявил он об этом маленькому негру больше знаками, которые были на этот раз быстро поняты поправившимся и повеселевшим мальчиком, казалось, уже забывшим недавнюю близость

смерти. Он быстро вскочил с койки, обнаружив намерение идти наверх погреться на солнышке, в длинной матросской рубахе, которая сидела на нем в виде длинного мешка, но веселый смех доктора и хихиканье фельдшера при виде черненького человечка в таком костюме несколько смутили негра, и он стоял среди каюты, не зная, что ему предпринять, и не вполне понимая, к чему доктор дергает его рубаху, продолжая смеяться.

Тогда негр быстро ее снял и хотел было юркнуть в двери нагишом, но фельдшер удержал его за руку, а доктор, не переставая смеяться, повторял:

— Но, но, но...

И вслед за тем знаками приказал негру надеть свою рубашку-мешок.

— Во что бы одеть его, Филиппов? — озабоченно спрашивал доктор щеголеватого курчавого фельдшера, человека лет тридцати. — Об этом-то мы с тобой, братец, и не подумали...

— Точно так, вашескобродие, об этом мечтания не было. А ежели теперь обрезать ему, значит, рубаху примерно до колен, вашескобродие, да, с позволения сказать, перехватить

талию ремнем, то будет даже довольно «обоюдно», вашескобродие, — заключил фельдшер, имевший несчастную страсть употреблять некстати слова, когда он хотел выразиться покудрявее, или, как матросы говорили, позанозистее.

— То есть как «обоюдно»? — улыбнулся доктор.

— Да так-с... обоюдно... Кажется, всем известно, что обозначает «обоюдно», вашескобродие! — обиженно проговорил фельдшер. — Удобно и хорошо, значит.

— Едва ли это будет «обоюдно», как ты говоришь. Один смех будет, вот что, братец. А впрочем, надо же как-нибудь одеть мальчика, пока не попрошу у капитана разрешения сшить мальчику платье по мерке.

— Очень даже возможно хороший костюм сшить... На клипере есть матросы по портной части. Сошьют.

— Так устраивай свой обоюдный костюм. Но в эту минуту в двери лазаретной каюты раздался осторожный, почтительный стук.

— Кто там? Входи! — крикнул доктор.

В дверях показалось сперва красноватое,

несколько припухлое, неказистое лицо, обрамленное русыми баками, с подозрительно-го цвета носом и воспаленными живыми и добрыми глазами, а вслед за тем и вся небольшая, сухощавая, довольно ладная и крепкая фигура фор-марсового Ивана Лучкина.

Это был пожилой матрос, лет сорока, прослуживший во флоте пятнадцать лет и бывший на клипере одним из лучших матросов и отчаянных пьяниц, когда попадал на берег. Случалось, он на берегу пропивал все свое платье и являлся на клипер в одном белье, ожидая на следующее утро наказания с самым, казалось, беззаботным видом.

— Это я, вашескобродие, — проговорил Лучкин сиповатым голосом, переступая большими ступнями босых жилистых ног и теребя засмоленной шершавой рукой обтянутую штанину.

В другой руке у него был узелок.

Он глядел на доктора с тем застенчиво-виноватым выражением и в лице и в глазах, которое часто бывает у пьяниц и вообще у людей, знающих за собой порочные слабости.

— Что тебе, Лучкин?.. Заболел, что ли?

— Никак нет, вашескобродие, — я вот платье арапчонку принес... Думаю: голый, так сшил и мерку еще раньше снял. Дозвольте отдать, вашескобродие.

— Отдавай, братец... Очень рад, — говорил доктор, несколько изумленный. — Мы вот думали, во что бы одеть мальчика, а ты раньше нас подумал о нем...

— Способное время было, вашескобродие, — как бы извинялся Лучкин.

И с этими словами он вынул из ситцевого платка маленькую матросскую рубашу и такие же штаны, сшитые из холста, встряхнул их и, подавая ошалевшему мальчику, весело и уже совсем не виноватым тоном, каким говорил с доктором, сказал, ласково глядя на негра:

— Получай, Максимка! Одежда самая, братец ты мой, вери гут. Одевай да носи на здоровье, а я посмотрю, как сидит... Вали, Максимка!

— Отчего ты его Максимкой зовешь? — рассмеялся доктор.

— А как же, вашескобродие? Максимка и есть, потому как его в день святого угодника

Максима спасли, он и выходит Максимка... Опять же имени у арапчонка нет, надо же его как-нибудь звать.

Радости мальчика не было пределов, когда он облачился в новую чистую пару. Видимо, такого платья он никогда не носил.

Лучкин осмотрел свое изделие со всех сторон, обдергал и пригладил рубаху и нашел, что платье во всем аккурате.

— Ну, теперь валим наверх, Максимка... Погрейся на солнышке! Дозвольте, вашескобродие.

Доктор, сияя добродушной улыбкой, кивнул головой, и матрос, взяв за руку негра, повел его на бак и, показывая матросам, проговорил:

— Вот он и Максимка! Не бойсь, теперь забудет идола-американца, знает, что российские матросы его не забидят.

И он любовно трепал мальчика по плечу и, показывая на его курчавую голову, сказал:

— Ужо, брат, и шапку справим... И башмачки будут, дай срок!

Мальчик ничего не понимал, но чувствовал по всем этим загорелым лицам матросов,

по их улыбкам, полным участия, что его не обидят.

И он весело скалил свои ослепительно белые зубы, нежась под горячими лучами родного ему южного солнца.

С этого дня все стали его звать Максимкой.

VI

Представив матросам на баке маленького, одетого по-матросски негра, Иван Лучкин тотчас же объявил, что будет «доглядывать» за Максимкой и что берет его под свое особое покровительство, считая, что это право принадлежит исключительно ему уж в силу того, что он «обрядил мальчонка» и дал ему, как он выразился, «форменное прозвище».

О том, что этот заморенный, худой маленький негр, испытавший на заре своей жизни столько горя у капитана-американца, возбудил необыкновенную жалость в сердце одинокого как перст матроса, жизнь которого, особенно прежде, тоже была не из сладких, и вызвал желание сделать для него возможно приятными дни пребывания на клипере, — о том Лучкин не проронил ни слова. По обыкновению русских простых людей, он стыдил-

ся перед другими обнаруживать свои чувства и, вероятно, поэтому объяснил матросам желание «доглядывать» за Максимкой исключительно тем, что «арапчонок занятный, вроде облизьяны, братцы». Однако на всякий случай довольно решительно заявил, бросая внушительный взгляд на матроса Петрова, известного задиру, любившего обижать безответных и робких первоодков матросов, — что если найдется такой, «прямо сказать, подлец», который завидит сироту, то будет иметь дело с ним, с Иваном Лучкиным.

— Не бойсь, искровяню морду в самом лучшем виде! — прибавил он, словно бы в пояснение того, что значит иметь с ним дело. — Забижать дитё — самый большой грех... Какое ни на есть оно: крещеное или арапское, а все дитё... И ты его не забидь! — заключил Лучкин.

Все матросы охотно признали заявленные Лучкиным права на Максимку, хотя многие скептически отнеслись к рачительному исполнению принятой им добровольно на себя хлопотливой обязанности.

Где, мол, такому «отчаянному матросне» и

забулдыге-пьянице возиться с арапчонком?

И кто-то из старых матросов не без насмешки спросил:

— Так ты, Лучкин, значит, вроде быдто няньки будешь у Максимки?

— То-то, за няньку! — отвечал с добродушным смехом Лучкин, не обращая внимания на иронические усмешки и улыбки. — Нешто я в няньки не гожусь, братцы? Не к барчуку ведь!.. Тоже и этого черномазого надо обрядить... другую смену одежды сшить, да башмаки, да шапку справить... Дохтур исхлопочет, чтобы, значит, товар казенный выдали... Пущай Максимка добром вспомнит российских матросиков, как оставят его беспризорного на Надежном мысу. По крайности, не голый будет ходить.

— Да как же ты, Лучкин, будешь лопотать о эстим самым арапчонком? Ни ты его, ни он тебя!..

— Не бойсь, договоримся! Еще как будем-то говорить! — с какою-то непостижимой уверенностью произнес Лучкин. — Он даром что арапского звания, а понятливый... я его, братцы, скоро по-нашему выучу... Он пой-

мет...

И Лучкин ласково взглянул на маленького негра, который, притулившись к борту, любопытно озирался вокруг.

И негр, перехватив этот полный любви и ласки взгляд матроса, тоже в ответ улыбался, оскаливая зубы, широкой благодарной улыбкой, понимая без слов, что этот матрос друг ему.

Когда в половине двенадцатого часа были окончены все утренние работы, и вслед за тем вынесли на палубу ендову с водкой, и оба боцмана и восемь унтер-офицеров, ставши в кружок, засвистали призыв к водке, который матросы не без остроумия называют «соловьиным пением», — Лучкин, радостно улыбаясь, показал мальчику на свой рот, проговорив: «Сиди тут, Максимка!», и побежал на шканцы, оставив негра в некотором недоумении.

Недоумение его, впрочем, скоро разрешилось.

Острый запах водки, распространявшийся по всей палубе, и удовлетворенно-серьезные лица матросов, которые, возвращаясь со

шканцев, утирали усы своими засмоленными шершавыми руками, напомнили маленькому негру о том, что и на «Бетси» раз в неделю матросам давали по стакану рома, и о том, что капитан пил его ежедневно и, как казалось мальчику, больше, чем бы следовало.

Лучкин, уже вернувшийся к Максимке и после большой чарки водки бывший в благодушном настроении, весело трепанул мальчика по спине и, видимо, желая поделиться с ним приятными впечатлениями, проговорил:

— Бон водка! Вери гут шнапс, Максимка, я тебе скажу.

Максимка сочувственно кивнул головой и промолвил:

— Вери гут!

Это быстрое понимание привело Лучкина в восхищение, и он воскликнул:

— Ай да молодеца, Максимка! Все понимаешь... А теперь валим, мальчонка, обедать... Небось, есть хочешь?

И матрос довольно наглядно задвигал скулами, открывая рот.

И это понять было нетрудно, особенно когда мальчик увидел, как снизу один за дру-

гим выходили матросы-артельщики, имея в руках изрядные деревянные баки (мисы) со щами, от которых шел вкусный пар, приятно щекотавший обоняние.

И маленький негр довольно красноречиво замахал головой, и глаза его блеснули радостью.

— Ишь ведь, все понимает? Башковатый! — промолвил Лучкин, начинавший уже несколько пристрастно относиться и к арапчонку и к своему умению разговаривать с ним понятно, и, взяв Максимку за руку, повел его.

На палубе, прикрытой брезентами, уже расселись, поджав ноги, матросы небольшими артелями, человек по двенадцати, вокруг дымящихся баков со щами из кислой капусты, запасенной еще из Кронштадта, и молча и истово, как вообще едят простолюдины, хлебали варево, заедая его размоченными сухарями.

Осторожно ступая между обедающими, Лучкин подошел с Максимкой к своей артели, расположившейся между грот- и фок-мачтами, и проговорил, обращаясь к матросам,

еще не начинавшим, в ожидании Лучкина, обедать:

— А что, братцы, примете в артель Максимку?

— Чего спрашиваешь зря? Садись с арапчонком! — проговорил старый плотник Захарыч.

— Может, другие которые... Сказывай, ребята! — снова спросил Лучкин.

Все в один голос отвечали, что пусть арапчонок будет в их артели, и потеснились, чтобы дать им обоим место.

И со всех сторон раздались шутливые голоса:

— Не бойсь, не объест твой Максимка!

— И всю солонину не съест!

— Ему и ложка припасена, твоему арапчонку.

— Да я, братцы, по той причине, что он негра... некрещенный, значит, — промолвил Лучкин, присевши к баку и усадивши около себя Максимку. — Но только я полагаю, что у бога все равны... Всем хлебушка есть хочется...

— А то как же? Господь на земле всех тер-

пит... Не бойсь, не разбирает. Это вот разве который дурак, как вестовщина Сойкин, мелеет безо всякого рассудка об нехристях! — снова промолвил Захарыч.

Все, видимо, разделяли мнение Захарыча. Недаром же русские матросы с замечательной терпимостью относятся к людям всех рас и с исповеданий, с какими приходится им встречаться.

Артель отнеслась к Максимке с полным радушием. Один дал ему деревянную ложку, другой придвинул размоченный сухарь, и все глядели ласково на затихшего мальчика, видимо, не привыкшего к особенному вниманию со стороны людей белой кожи, и словно бы приглашали его этими взглядами не робеть.

— Однако и начинать пора, а то щи застынут! — заметил Захарыч.

Все перекрестились и начали хлебать щи.

— Ты что же не ешь, Максимка, а? Ешь, глупый! Шти, братец, скусные. Гут щи! — говорил Лучкин, показывая на ложку.

Но маленький негр, которого на бриге никогда не допускали есть вместе с белыми и

который питался объедками один, где-нибудь в темном уголке, робел, хотя и жадными глазами посматривал на щи, глотая слюну.

— Эка пужливый какой! Видно, застращал арапчонка этот самый дьявол-мериканец? — промолвил Захарыч, сидевший рядом с Максимкой.

И с этими словами старый плотник погладил курчавую голову Максимки и поднес к его рту свою ложку...

После этого Максимка перестал бояться и через несколько минут уже усердно уписывал и щи, и накрошенную потом солонину, и пшенную кашу с маслом.

А Лучкин то и дело его похваливал и повторял:

— Вот это бон, Максимка. Вери гут, братец ты мой. Кушай себе на здоровье!

VII

По всему клиперу раздается храп отдыхающих после обеда матросов. Только отделение вахтенных не спит, да кто-нибудь из хозяйственных матросов, воспользовавшись временем, тачает себе сапоги, шьет рубаху или чинит какую-нибудь принадлежность своего

КОСТЮМА.

А «Забияка» идет да идет себе с благодатным пассатом, и вахтенным решительно нечего делать, пока не набежит грозное облачко и не заставит моряков на время убрать все паруса, чтобы встретить тропический шквал с проливным дождем готовыми, то есть с оголенными мачтами, предоставляя его ярости меньшую площадь сопротивления.

Но горизонт чист. Ни с одной стороны не видно этого маленького серенького пятнышка, которое, быстро вырастая, несется громадной тучей, застилаяющей горизонт и солнце. Страшный порыв валит судно набок, страшный ливень стучит по палубе, промачивает до костей, и шквал так же быстро проносится далее, как и появляется. Он нашумел, облил дождем и исчез.

И снова ослепительное солнце, лучи которого быстро сушат и палубу, и снасти, и паруса, и матросские рубахи, и снова безоблачное голубое небо и ласковый океан, по которому бежит, снова одевшись всеми парусами, судно, подгоняемое ровным пассатом.

Благодать кругом и теперь... Тишина и на

клипере.

Команда отдыхает, и в это время нельзя без особой крайности беспокоить матросов, — такой давно установившийся обычай на судах.

Притулившись в тени у фок-мачты, не спит сегодня и Лучкин, к удивлению вахтенных, знавших, что Лучкин здоров спать.

Мурлыкая себе под нос песенку, слов которой не разобрать, Лучкин кроил из куска парусины башмаки и по временам взглядывал на растянувшегося около него, сладко спавшего Максимку и на его ноги, чернеющиеся из-за белых штанин, словно бы соображая, правильна ли мерка, которую он снял с этих ног тотчас же после обеда.

По-видимому, наблюдения вполне успокаивают матроса, и он продолжает работу, не обращая больше внимания на маленькие черные ноги.

Что-то радостное и теплое охватывает душу этого бесшабашного пропойцы при мысли о том, что он сделает «на первый сорт» башмаки этому бедному, беспризорному мальчишке и справит ему все, что надо. Вслед за

тем невольно проносится вся его матросская жизнь, воспоминание о которой представляет довольно однообразную картину бесшабашного пьянства и порок за пропитые казенные вещи.

И Лучкин не без основательности заключает, что не будь он отчаянным марсовым, бесстрашие которого приводило в восторг всех капитанов и старших офицеров, с которыми он служил, то давно бы ему быть в арестантских ротах.

— За службу жалели! — проговорил он вслух и почему-то вздохнул и прибавил: — То-то она и загвоздка!

К какому именно обстоятельству относилась эта «загвоздка»: к тому ли, что юн отчаянно пьянствовал при съездах на берег и дальше ближайшего кабака ни в одном городе (кроме Кронштадта) не бывал, или к тому, что он был лихой марсовой и потому только не попробовал арестантских рот, — решить было трудно. Но несомненным было одно: вопрос о какой-то «загвоздке» в его жизни, заставил Лучкина на несколько минут прервать мурлыканье, задуматься и в конце кон-

цов проговорить вслух.

— И хуфайку бы нужно Максимке... А то какой же человек без хуфайки?

В продолжение часа, полагавшегося на послеобеденный отдых команды, Лучкин успел скроить передки и приготовить подошвы для башмаков Максимки. Подошвы были новые, из казенного товара, приобретенные еще утром в долг у одного хозяйственного матроса, имевшего собственные сапоги, причем для верности, по предложению самого Лучкина, знавшего, как трудно у него держатся деньги, в особенности на твердой земле, уплату долга должен был произвести боцман, удержав деньги из жалованья.

Когда раздался боцманский свисток и вслед за тем команда горластого боцмана Василия Егоровича, или Егорыча, как звали его матросы, Лучкин стал будить сладко спавшего Максимку. Он хоть и пассажир, а все же должен был, по мнению Лучкина, жить по-матросски, как следует по расписанию, во избежание каких-либо неприятностей, главным образом, со стороны Егорыча. Егорыч хотя и был, по убеждению Лучкина, добер и дрался

не зря, а с «большим рассудком», а все-таки под сердитую руку мог съездить по уху и арапчонка за «непорядок». Так уж лучше и арапчонка к порядку приучать.

— Вставай, Максимка! — говорил ласковым тоном матрос, потряхивая за плечо негра.

Тот потянулся, открыл глаза и поглядел вокруг. Увидав, что все матросы встают и Лучкин собирает свою работу, Максимка торопливо вскочил на ноги и, как покорная собачонка, смотрел в глаза Лучкина.

— Да ты не бойся, Максимка... Ишь, глупый... всего боится! А это, братец, тебе будут башмаки...

Хотя негр решительно не понимал, что говорил ему Лучкин, то показывая на его ноги, то на куски скроенной парусины, тем не менее улыбался во весь свой широкий рот, чувствуя, вероятно, что ему говорят что-нибудь хорошее. Доверчиво и послушно пошел он за поманившим его Лучкиным на кубрик и там любопытно смотрел, как матрос уложил в парусиновый чемоданчик, наполненный бельем и платьем, свою работу, и снова ничего

не понимал, и только опять благодарно улыбался, когда Лучкин снял свою шапку и, показывая пальцем то на нее, то на голову маленького негра, тщетно старался объяснить и словами и знаками, что и у Максимки будет такая же шапка с белым чехлом и лентой.

Но зато негр чувствовал всем своим маленьким сердцем расположение этих белых людей, говоривших совсем не на том языке, на котором говорили белые люди на «Бетси», и особенно доброту этого матроса с красным носом, напоминавшим ему стручковый перец, и с волосами, похожими цветом на паклю, который подарил ему такое чудное платье, так хорошо угостил его вкусными яствами и так ласково смотрит на него, как никто не глядел на него во всю жизнь, кроме пары чьих-то больших черных навывкате глаз на женском чернокожем лице.

Эти глаза, добрые и нежные, жили в его памяти как далекое, смутное воспоминание, нераздельное с представлением шалашей, крытых бананами, и высоких пальм. Были ли это грезы или впечатления детства — он, конечно, не мог бы объяснить; но эти глаза, слу-

чалось, жалели его во сне. И теперь он увидал и наяву добрые, ласковые глаза.

Да и вообще эти дни пребывания на клипсере казались ему теми хорошими грезами, которые являлись только во сне, — до того они не похожи были на недавние, полные страданий и постоянного страха.

Когда Лучкин, бросив объяснения насчет шапки, достал из чемоданчика кусок сахару и дал его Максимке, мальчик был окончательно подавлен. Он схватил мозолистую, шершавую руку матроса и стал ее робко и нежно гладить, заглядывая в лицо Лучкина с трогательным выражением благодарности забитого существа, согретого лаской. Эта благодарность светилась и в глазах и в лице... Она слышалась и в дрогнувших гортанных звуках нескольких слов, порывисто и горячо произнесенных мальчиком на своем родном языке перед тем, как он засунул сахар в рот.

— Ишь ведь, ласковый! Видно, — не знал доброго слова, горемычный! — промолвил матрос с величайшей нежностью, которую только мог выразить его сиповатый голос, и потрепал Максимку по щеке. — Ешь сахар-то.

Скусный! — прибавил он.

И здесь, в этом темном уголке кубрика, после обмена признаний, закрепились, так сказать, взаимная дружба матроса с маленьким негром. Оба, казалось, были вполне довольны друг другом.

— Беспременно надо выучить тебя, Максимка, по-нашему, а то и не разобрать, что ты лопочешь, черномазый! Однако валим наверх! Сейчас артиллеринское ученье. Поглядишь!

Они вышли наверх. Скоро барабанщик пробил артиллерийскую тревогу, и Максимка, прислонившись к мачте, чтоб не быть сбитым с ног, сперва испугался при виде бегущих стремглав к орудиям матросов, но потом скоро успокоился и восхищенными глазами смотрел, как матросы откатывали большие орудия, как быстро совали в них банники и, снова выдвигая орудия за борт, недвижно замирали около них. Мальчик ждал, что будут стрелять, и недоумевал, в кого это хотят стрелять, так как на горизонте не было ни одного судна. А он уже был знаком с выстрелами и даже видел, как близко шлепнулась какая-то

штука за кормою «Бетси», когда она, пустившись по ветру, удирала во все лопатки от какого-то трехмачтового судна, которое гналось за шкуной, наполненной грузом негров. Мальчик видел испуганные лица у всех на «Бетси» и слышал, как ругался капитан, пока трехмачтовое судно не стало значительно отставать. Он не знал, конечно, что это был один из военных английских крейсеров, назначенный для ловли негропромышленников, и тоже радовался, что шкуна убежала, и таким образом его мучитель-капитан не был пойман и не вздернут на нока-рее за позорную торговлю людьми.

Но выстрелов не было, и Максимка так их и не дождался. Зато с восхищением слушал барабанную дробь и не спускал глаз с Лучкина, который стоял у бакового орудия комендором и часто нагибался, чтобы прицеливаться.

Зрелище ученья очень понравилось Максимке, но не менее понравился ему и чай, которым после ученья угостил его Лучкин. Сперва Максимка только диву давался, глядя, как все матросы дуют горячую воду из кружек, закусывая сахаром и обливаясь потом.

Но когда Лучкин дал и ему кружку и сахару, Максимка вошел во вкус и выпил две кружки.

Что же касается первого урока русского языка, начатого Лучкиным в тот же день, перед вечером, когда начала спадать жара и когда, по словам матроса, было «легче войти в понятие», то начало его — признаться — не предвещало особенных успехов и вызывало немало-таки насмешек среди матросов при виде тщетных усилий Лучкина объяснить ученику, что его зовут Максимкой, а что учителя зовут Лучкиным.

Однако Лучкин хоть и не был никогда педагогом, тем не менее обнаружил такое терпение, такую выдержку и мягкость в стремлении во что бы то ни стало заложить, так сказать, первое основание обучения, — каковым он считал знание имени, — что им могли бы позавидовать патентованные педагоги, которым, вдобавок, едва ли приходилось преодолевать трудности, представившиеся матросу.

Придумывая более или менее остроумные способы для достижения заданной себе цели, Лучкин тотчас же приводил их и в исполне-

ние.

Он тыкал в грудь маленького негра и говорил: «Максимка», затем показывал на себя и говорил: «Лучкин». Прodelав это несколько раз и не достигнув удовлетворительного результата, Лучкин отходил на несколько шагов и вскрикивал: «Максимка!» Мальчик скалил зубы, но не усваивал и этого метода. Тогда Лучкин придумал новую комбинацию. Он попросил одного матросика крикнуть: «Максимка!» — и когда матрос крикнул, Лучкин не без некоторого довольства человека, уверенного в успехе, указал пальцем на Максимку и даже для убедительности осторожно затем встряхнул его за шиворот. Увы! Максимка весело смеялся, но, очевидно, понял встряхивание за приглашение потанцевать, потому что тотчас же вскочил на ноги и стал отплясывать, к общему удовольствию собравшейся кучки матросов и самого Лучкина.

Когда танец был окончен, маленький негр отлично понял, что пляской его остались довольны, потому что многие матросы трепали его и по плечу, и по спине, и по голове и говорили, весело смеясь:

— Гут, Максимка! Молодца, Максимка!

Трудно сказать, насколько бы увенчались успехом дальнейшие попытки Лучкина познакомиться Максимку с его именем — попытки, к которым Лучкин хотел было вновь приступить, но появление на баке мичмана, говорящего по-английски, значительно упростило дело. Он объяснил мальчику, что он не «бой», а Максимка, и кстати сказал, что Максимкиного друга зовут Лучкин.

— Теперь, брат, он знает, как ты его прозвал! — проговорил, обращаясь к Лучкину, мичман.

— Премного благодарен, ваше благородие! — отвечал обрадованный Лучкин и прибавил: — А то я, ваше благородие, долго бился... Мальчонка башковатый, а никак не мог взять в толк, как его зовут.

— Теперь знает... Ну-ка, спроси.

— Максимка!

Маленький негр указал на себя.

— Вот так ловко, ваше благородие... Лучкин! — снова обратился матрос к мальчику.

Мальчик указал пальцем на матроса.

И оба они весело смеялись. Смеялись и

матросы и замечали:

— Арапчонок в науку входит...

Дальнейший урок пошел как по маслу.

Лучкин указывал на разные предметы и называл их, причем, при малейшей возможности исковеркать слово, коверкал его, говоря вместо рубаха — «рубях», вместо мачта — «мачт», уверенный, что при таком изменении слов они более похожи на иностранные и легче могут быть усвоены Максимкой.

Когда просвистали ужинать, Максимка уже мог повторять за Лучкиным несколько русских слов.

— Ай да Лучкин! Живо обучил арапчонка. Того и гляди, до Надежного мыса понимать станет по-нашему! — говорили матросы.

— Еще как поймет-то! До Надежного ходу никак не меньше двадцати ден... А Максимка понятливый!

При слове «Максимка» мальчик взглянул на Лучкина.

— Ишь, твердо знает свою кличку!.. Садись, братец, ужинать будем!

Когда после молитвы раздали койки, Лучкин уложил Максимку около себя на палубе.

Максимка, счастливый и благодарный, приятно потягивался на матросском тюфячке, с подушкой под головой и под одеялом, — все это Лучкин исхлопотал у подшкипера, отпустившего арапчонку койку со всеми принадлежностями.

— Спи, спи, Максимка! Завтра рано вставать!

Но Максимка и без того уже засыпал, проговорив довольно недурно для первого урока: «Максимка» и «Лючики», как переделал он фамилию своего пестуна.

Матрос перекрестил маленького негра и скоро уже храпел во всю ивановскую.

С полуночи он стал на вахту и вместе с фор-марсовым Леонтьевым полез на фор-марс.

Там они присели, осмотрев предварительно, все ли в порядке, и стали «лясничать», чтобы не одолевала дрема. Говорили о Кронштадте, вспоминали командиров... и смолкли.

Вдруг Лучкин спросил:

— И никогда, ты, Леонтьев, этой самой водкой не занимался?

Трезвый, степенный и исправный Леонтьев, уважавший Лучкина как знающего формарсового, работавшего на ноке, и несколько презиравший в то же время его за пьянство, — категорически ответил:

— Ни в жисть!

— Вовсе, значит, не касался?

— Разве когда стаканчик в праздник.

— То-то ты и чарки своей не пьешь, а деньги за чарки забираешь?

— Деньги-то, братец, нужнее... Вернемся в Россию, ежели выйдет отставка, при деньгах ты завсегда обернешься...

— Это что и говорить...

— Да ты к чему это, Лучкин, насчет водки?..

— А к тому, что ты, Леонтьев, задачливый матрос...

Лучкин помолчал и затем опять спросил:

— Сказывают: заговорить можно от пьянства?

— Заговаривают люди, это верно... На «Копчике» одного матроса заговорил унтерцер... Слово такое знал... И у нас есть такой человек...

— Кто?

— А плотник Захарыч... Только он в секрете держит. Не всякого уважит. А ты нешто хочешь бросить пьянство, Лучкин? — насмешливо промолвил Леонтьев.

— Бросить не бросить, а чтобы, значит, без пропою вещей...

— Попробуй пить с рассудком...

— Пробовал. Ничего не выходит, братец ты мой. Как дорвусь до винища — и пропал. Такая моя линия!

— Рассудку в тебе нет настоящего, а не линия, — внушительно заметил Леонтьев. — Каждый человек должен себя понимать... А ты все-таки поговори с Захарычем. Может, и не откажет... Только вряд ли тебя заговорит! — прибавил насмешливо Леонтьев.

— То-то и я так полагаю! Не заговорит! — вымолвил Лучкин и сам почему-то усмехнулся, точно довольный, что его не заговорить.

VIII

Прошло три недели, и хотя «Забияка» был недалеко от Каптоуна, но попасть в него не мог. Свежий противный ветер, дувший, как говорят моряки, прямо «в лоб» и по временам

доходивший до степени шторма, не позволял клиперу приблизиться к берегу; при этом ветер и волнение были так сильны, что нечего было и думать пробовать идти под парами. Даром потратили бы уголь.

И в ожидании перемены погоды «Забияка» с зарифленными марселями держался недалеко от берегов, стремительно покачиваясь на океане.

Так прошло дней шесть-семь.

Наконец ветер стих. На «Забияке» развели пары, и скоро, попыхивая дымком из своей белой трубы, клипер направился к Каптоуну.

Нечего и говорить, как рады были этому моряки.

Но был один человек на клипере, который не только не радовался, а, напротив, по мере приближения «Забияки» к порту, становился задумчивее и угрюмее.

Это был Лучкин, ожидавший разлуки с Максимкой.

За этот месяц, в который Лучкин, против ожидания матросов, не переставал пестовать Максимку, он привязался к Максимке, да и маленький негр в свою очередь привязался к

матросу. Они отлично понимали друг друга, так как и Лучкин проявил блистательные педагогические способности, и Максимка обнаружил достаточную понятливость и мог объясняться кое-как по-русски. Чем более они узнавали один другого, тем более дружили. Уж у Максимки были две смены платья, башмаки, шапка и матросский нож на ремешке. Он оказался смышленным и веселым мальчиком и давно уже сделался фаворитом всей команды. Даже и боцман Егорыч, вообще не терпевший никаких пассажиров на судне, как людей, ничего не делающих, относился весьма милостиво к Максимке, так как Максимка всегда во время работ тянул вместе с другими снасти и вообще старался чем-нибудь да помочь другим и, так сказать, не даром есть матросский паек. И по вантам взбегал, как обезьяна, и во время шторма не обнаруживал ни малейшей трусости, — одним словом, был во всех статьях «морской мальчонка».

Необыкновенно добродушный и ласковый, он нередко забавлял матросов своими танцами на баке и родными песнями, которые рас-

певал звонким голосом. Все его за это баловали, а мичманский вестовой Артюшка нередко нашивал ему остатки пирожного с кают-компанейского стола.

Нечего и прибавлять, что Максимка был предан Лучкину, как собачонка, всегда был при нем и, что называется, смотрел ему в глаза. И на марс к нему лазил, когда Лучкин бывал там во время вахты, и на носу с ним сидел на часах, и усердно старался выговаривать русские слова...

Уже обрывистые берега были хорошо видны... «Забияка» шел полным ходом. К обеду должны были стать на якорь в Каптоуне.

Невеселый был Лучкин в это славное солнечное утро и с каким-то особенным ожесточением чистил пушку. Около него стоял Максимка и тоже подсоблял ему.

— Скоро прощай, брат Максимка! — заговорил, наконец, Лучкин.

— Зачем прощай! — удивился Максимка.

— Оставят тебя на Надежном мысу... Куда тебя девать?

Мальчик, не думавший о своей будущей судьбе и не совсем понимавший, что ему го-

ворит Лучкин, тем не менее догадался по угрюмому выражению лица матроса, что сообщение его не из радостных, и подвижное лицо его, быстро отражавшее впечатления, внезапно омрачилось, и он сказал:

— Мой не понимай Лючика.

— Айда, брат, с клипера... На берегу оставят... Я уйду дальше, а Максимка здесь.

И Лучкин пантомимами старался пояснить, в чем дело.

По-видимому, маленький негр понял. Он ухватился за руку Лучкина и молящим голоском проговорил:

— Мой нет берег... Мой здесь Максимка, Лючика, Лючика, Максимка. Мой люсска матлос... Да, да, да...

И тогда внезапная мысль озарила матроса. И он спросил:

— Хочешь, Максимка, русска матрос?

— Да, да, — повторял Максимка и изо всех сил кивал головой.

— То-то бы отлично! И как это мне раньше невдомек... Надо поговорить с ребятами и просить Егорыча... Он доложит старшему офицеру...

Через несколько минут Лучкин на баке говорил собравшимся матросам:

— Братцы! Максимка желает остаться с нами. Будем просить, чтобы дозволили ему остаться... Пусть плавает на «Забияке»! Как вы об этом полагаете, братцы?

Все матросы выразили живейшее одобрение этому предложению.

Вслед за тем Лучкин пошел к боцману, и просил его доложить о просьбе команды старшему офицеру, и прибавил:

— Уж ты, Егорыч, уважь, не откажи... И попроси старшего офицера... Максимка сам, мол, желает... А то куда же бросить бесприютного сироту на Надежном мысу. И вовсе он пропасть там может, Егорыч... Жаль мальчонку... Хороший он ведь, исправный мальчонка.

— Что ж, я доложу... Максимка мальчишка аккуратный. Только как капитан... Согласится ли арапского звания негру оставить на российском корабле... Как бы не было в этом заговоздки...

— Никакой не будет заговоздки, Егорыч. Мы Максимку из арапского звания выведем.

— Как так?

— Окрестим в русскую веру, Егорыч, и будет он, значит, русского звания арап.

Эта мысль понравилась Егорычу, и он обещал немедленно доложить старшему офицеру.

Старший офицер выслушал доклад боцмана и заметил:

— Это, видно, Лучкин хлопочет.

— Вся команда тоже просит за арапчонка, ваше благородие... А то куда его бросить? Жалеют... А он бы у нас заместо юнги был, ваше благородие! Арапчонок исправный, осмелюсь доложить. И ежели его окрестить, вовсе душу, значит, можно спасти...

Старший офицер обещал доложить капитану.

К подъему флага вышел наверх капитан. Когда старший офицер передал ему просьбу команды, капитан сперва было отвечал отказом. Но, вспомнив, вероятно, своих детей, тотчас же переменял решение и сказал:

— Что ж, пусть останется. Сделаем его юнгой... А вернется в Кронштадт с нами... что-нибудь для него сделаем... В самом деле, за что его бросать, тем более что он сам этого не

хочет!.. Да пусть Лучкин останется при нем дядькой... Пьяница отчаянный этот Лучкин, а подите... эта привязанность к мальчику... Мне доктор говорил, как он одел негра.

Когда на баке было получено разрешение оставить Максимку, все матросы чрезвычайно обрадовались. Но больше всех, конечно, радовались Лучкин и Максимка.

В час дня клипер бросил якорь на Каптоунском рейде, и на другой день первая вахта была отпущена на берег. Собрался ехать и Лучкин с Максимкой.

— А ты смотри, Лучкин, не пропей Максимки-то! — смеясь, заметил Егорыч.

Это замечание, видимо, очень кольнуло Лучкина, и он ответил:

— Может, из-за Максимки я и вовсе тверезый вернусь!

Хотя Лучкин и вернулся с берега мертвецки пьяным, но, к общему удивлению, в полном одеянии. Как потом оказалось, случилось это благодаря Максимке, так как он, заметив, что его друг чересчур пьет, немедленно побежал в соседний кабак за русскими матросами, и они унесли Лучкина на пристань и по-

ложили в шлюпку, где около него безотлучно находился Максимка.

Лучкин едва вязал языком и все повторял:

— Где Максимка? Подайте мне Максимку... Я его, братцы, не пропил, Максимку... Он мне первый друг... Где Максимка?

И когда Максимка подошел к Лучкину, тот тотчас же успокоился и скоро заснул.

Через неделю «Забияка» ушел с мыса Доброй Надежды, и вскоре после выхода Максимка был не без торжественности окрещен и вторично назван Максимкой. Фамилию ему дали по имени клипера — Забиякин.

Через три года Максимка вернулся на «Забияке» в Кронштадт четырнадцатилетним подростком, умевшим отлично читать и писать по-русски благодаря мичману Петеньке, который занимался с ним.

Капитан позаботился о нем и определил его в школу фельдшерских учеников, а вышедший в отставку Лучкин остался в Кронштадте, чтобы быть около своего любимца, которому он отдал всю привязанность своего сердца и ради которого уже теперь не пропивал вещей, а пил «с рассудком».

«Глупая» причина

Рассказ старого матроса

I

— А где это вам ухо повредили, Тарасыч? На войне?

Отставной матрос Тарасыч, бывший сторожем севастопольской купальни, с которым мы частенько беседовали в ранние утренние часы, когда других купальщиков обыкновенно не было, обернулся к открытой дверке маленькой каютки, где я раздевался, и с оттенком досады проговорил:

— Вот так-то все господа любопытничают насчет уха. Скажи да скажи! Ну, я и обсказываю всем, что, мол, на войне стуцерной пулей оторвало.

— А разве не на войне?

Тарасыч после минуты колебания ответил несколько таинственно:

— То-то не на войне, вашескобродие. В севастопольскую войну господь меня вызволил. Ни одной царапинки не получил, даром что все время находился на четвертом бакстионе.

— А где же вы лишились уха?

— В Новороссийском... Вскорости после замирения мы на шкуне «Дротик» клейсеровали у Капказа, а затем непокорного черкеса в Туретчину перевозили... может, слышали об этом?

— Слышал.

— Так вот в ту самую весну, как мы перевезли одну партию черкесов и вернулись в Новороссийск, я и решился уха, вашескобродие.

— Как так?

— Да так. Вовсе, можно сказать, по глупой причине.

— По какой?

— Не стоит и объяснять. Совсем нестоящая причина, вашескобродие.

Тарасыч примолк и снова принялся снимать с перекладин сушившиеся простыни и полотенца.

Эта таинственность Тарасыча, обыкновенно словоохотливого и любившего поговорить, как он выражался, об «умственном», признаться, меня заинтриговала, и я стал его упрашивать рассказать, какая это такая

нестоящая причина.

Тарасыч наконец сдался.

— Вам, пожалуй, можно сказать, — проговорил он, приблизившись ко мне, — вы это самое дело можете взять в понятие...

И, понижая голос, хотя в купальне не было ни души, застенчиво и словно бы виновато шепнул:

— Из-за бабы, вашескобродие.

— Из-за бабы? — невольно переспросил я.

— Точно так, вашескобродие. Из-за приверженности к одной бабе. В те поры, вашескобродие, я моложе был, — словно бы извиняясь, продолжал Тарасыч, — так из-за эвтой самой бабы меня обезуродовать хотели.

— Она, значит, была черкешенка?

— Зачем черкесинка? Форменная наша российская, с Дона была приехатчи с супругом. И что это за баба была, вашескобродие! Другой такой ни раньше, ни после не видал! — прибавил горячо Тарасыч, видимо отдавшийся нахлынувшим воспоминаниям и уже не стыдившийся, а напротив, казалось, охотно готовый поговорить о них.

— Вы расскажите, Тарасыч, подробно эту

историю.

— Отчего не рассказать? Очень даже могу рассказать, потому вы, вашескобродие, не обессудите, что, примерно, матрос и, с позволения сказать, из-за женского звания без уха остался... Другому господину быдто и смешно, а вы... одним словом... можете понять... Дайте вот только простыньки приберу. А тем временем вы искупайтесь. Вода освежительная. Я уж искупался... Теперь только ранним утречком и хорошо купаться... А господа ходят все с восьми часов, когда солнышко поджаривает и вода теплая... Довольно это даже глупо, прямо-таки сказать!

С этими словами Тарасыч торопливой и легкой походкой, словно он шел по палубе военного корабля, направился на другой конец купальни снимать развешанное белье.

Я невольно любовался Тарасычем...

Несмотря на свои шестьдесят лет, этот сухощавый, крепкий, хорошо сложенный старик глядел молодцом. Его смугловатое, сохранившее еще следы былой красоты лицо — почти без морщин и отливает здоровым румянцем. Большие темные глаза, добродушно-на-

смешливые и зоркие, не потеряли блеска и порой зажигаются огоньком. Черные, слегка курчавые волосы и черная большая борода только слегка подернуты сединой. Белые, крепкие зубы так и сверкают из-под усов, когда Тарасыч улыбается или держит во рту маленькую трубчонку.

Одет он чистенько и, видимо, не без заботы о некотором щегольстве. На нем всегда белый, сшитый на матросский фасон короткий буршлатик — пальто с Георгиевским крестом в петлице и широкие парусинные штаны, а по воскресеньям парусинные башмаки. В будни он в купальне ходил босой.

Тарасыч расторопен и услужлив, но держит себя с достоинством; ни перед кем не лезет и ко всем купальщикам без различия их положений и рангов относится с одинаковой предупредительностью. Только, по старой памяти, он оказывает некоторую attention[2] морякам, и в особенности старым севастопольцам. Тарасыч всех их знает, и они все знают и уважают Тарасыча. К ним он особенно внимателен, охотно вступает в разговоры, называя по имени и отчеству даже адми-

ралов, ставит им, без напоминания, шайки с водой после купанья и, накидывая простыни, усердно трет своими большими, жилистыми и умелыми руками спины таких фаворитов-купальщиков.

Я начал пользоваться благоволением Тарасыча вскоре после приезда в Севастополь, как только он откуда-то узнал о том, что я отставной моряк и вдобавок севастопольский уроженец. Мы скоро сделались с Тарасычем приятелями, вместе ловили на заре бычков и часто, как он выражался, «балакали». Иногда, по вечерам, когда купальни запирались, Тарасыч заходил ко мне в гостиницу и охотно выпивал стакан-другой чая с коньяком, который он называл почему-то «пользительным напитком».

По-видимому, этот «пользительный напиток» значительно способствовал нашему сближению, тем более что я разбавлял чай своего гостя, нисколько не жалея коньяку.

II

— Что, вашескобродие, хорошо искупались? — весело спрашивал Тарасыч, набрасывая на меня простыню и начиная усердно рас-

тирать спину.

— Отлично, Тарасыч! — так же весело отвечал я, бодрый, жизнерадостный и словно бы окрепший после купанья.

— То-то я и говорю: у нас в Севастополе купанье первый сорт, ежели купаться с рассудком... ранним часом. Ну, теперь извольте одеваться, вашескобродие. Сейчас шаечку с водой для ног принесу.

Когда Тарасыч возвратился, я напомнил ему об обещании рассказать подробности его романической истории.

— Так вам в самом деле желательно послушать? — спросил Тарасыч, испытующе взглядывая на меня.

— Очень даже желательно, Тарасыч.

— Что ж... Я все в подробности обскажу...

— Пожалуйста.

— Вы господин с понятием, — снова повторил он, словно бы приглашая меня отнестись к его рассказу с серьезностью.

Тарасыч присел на сруб купальни, опершись на стойку, закурил трубку и, видимо несколько возбужденный, начал рассказ своим мягким, приятным голосом.

III

— Как раз в Вербное воскресенье, как теперь помню, вышли мы, вашескобродие, из Константинополя в обратную, в Новороссийск. Рассчитывали, что дня этак через три ходу будем в Новороссийском, как следует отговеем на берегу и встретим честь честью праздник. Однако расчет вышел совсем другой, вашескобродие, от господа бога... Были уж мы недалече от Новороссийского, как поднялась штурма, и не приведи бог какая... Вроде быдто боры... С берега, значит, дует... Ну, мы на шкунке на нашей маленькой поставили штормовые паруса и ждем передышки. А качка была такая, что так бортами шкунка и черпала. А машина еле действует, никакого ходу не дает... Тогда, сами знаете, машины не нынешние были. Так день, так другой ждали ослабки, а заместо того на третий день, ваше-скобродие, на самую страстную пятницу, буря вовсю разыгралась, вроде быдто светопреставления было. Кругом водяная пыль, ровно мгла, ветер ревет, и волны словно кипят. Никогда в жизни не видал я такой штурмы. Шкунку нашу ровно бы стружку кидает, и

волна так и ходит через палубу. Тяжко было, вашескобродие. И думали матросики в те поры, что не видать нам больше света божьего. Придется, мол, топнуть на Черном море. Однако командир наш, Петр Иванович Чайкин... Может, слышали?.. Он теперь в адмиралах, в Петербурге живет...

— Слышал.

— Так он, как следует ему по должности, команду подбадривает. «Ничего, говорит, ребята, сустоим!» А сам, привязавшись к мостику, чтобы волна не смыла, стоит белей рубашки и только покрикивает: «право» да «лево»! А где уж тут править! Вовсе перестала слушаться руля шкунка наша; вышла, значит, из повиновения и бунтует. Паруса все в клочьях. Машина не забирает... одно слово — беда. Сбились, значит, матросики к шканцам, как овцы, крестятся и ждут смерти. Стоит на своем месте и командир в отчаянности. Видит, ничего ему не выдумать, будь ты хоть самый форменный капитан. Стоит и для виду форцу на себя напускает и все командует: «право» да «лево»! А голос евойный так и дрожит.

Тарасыч затянулся два раза, сплюнул и

продолжал:

— А я на руле орудую с подручными — я старшим рулевым был, — гляжу во все глаза на волны и ворочаю, значит, штурвалом, чтобы шкунку поперек волны поставить... Никак не возможно! Мотает шкунку. И так это тоскливо на душе, вашескобродие, что молодому матросу и вдруг умирать. А главная причина: Глафиры жалко, этой самой из Новороссийского. Не увижу, мол, ее никогда. И вместо того чтобы о грехах вспомнить да богу молиться, все об ей думаю... Не узнает, мол, как я к ей привержен был... Не пожалеет матросика, желанная. Из-за этих дум пуще тоска. И все эта самая Глафира быдто из воды на меня, голубушка, глядит, как русалочка, строго-пре-строго... «Погибай, мол, человек, а мне тебя не жалко... Ты мне не люб!..» И как это она так меня приворожила, я и до сих пор в толк не возьму, вашескобродие. Но только доложу вам, что как в первый раз я зашел в ейную лавочку по осени — мы тогда в Новороссийском стояли — и увидал хозяйку, так ровно бы меня по башке марса-фалом съездило, и был я быдто вроде как в помрачении ума. И нико-

гда со мною допрежь не случалось такой оказии... В старину бабы мною не брезговали, вашескобродие, ну и я им спуску не давал... однако, чтобы была во мне из-за их отчаянность, этого никогда не случалось. Много, мол, этого сословия! Но как встрел я Глафиру, с того же разу стала она на свете для меня одна. На других хоть и не смотри... Так ведь заколдовала, видно, до смерти, каторжная. Поди ж ты! — воскликнул с добродушной улыбкой Тарасыч, словно бы сам недоумевая силе своей страсти, воспоминание о которой и теперь еще жило в нем.

— А хороша была эта Глафира? — спросил я.

— Как кому, а для меня лучше не было, вашескобродие! Сами изволите знать: не по хорошу мил, а по милу хорош. Другая вот и писаная красавица считается, а на ее, с позволения сказать, начхать. Сиди со своей красотой, как глупая пава, да кричи «уа!». Опять же, другая и вовсе быдто не красавица, а по твоему вкусу милей всякой красавицы... И я так полагаю, вашескобродие, что всякому человеку дадена одна настоящая, значит, желанная.

Только не всегда ты ее встретишь. Ты, примерно, в Севастополе, а она в Кронштадте. Но сердце все-таки чувствует, какая тебе назначена. И коли ты встрел такую, тут тебе и крышка. Потому против своей природы не пойдешь. Учует душа сродственную-то душу. Редко только они присоглашаются. По той причине и в законе люди неправильно живут. Грызутся да сварничают и вовсе друг дружку не любят. Каждая душа тоскует по другой душе, по желанной.

— А вы женаты, Тарасыч?

— Никак нет, вашескобродие. Остерегался.

— Отчего?

— Зачем зря жениться? После той самой я другой по сердцу не нашел... Так с тех пор побольком и доживаю век. По крайности, чужого века не заедаю и сам не терплю бабьего озорства.

— А на Глафире бы женились?

Вместо ответа Тарасыч сердито крякнул и задымил трубочкой.

— Чем же вам именно так понравилась Глафира и какая она была из себя? — предложил я вопрос, заинтересованный этими

неожиданными для меня рассуждениями Тарасыча.

Симпатичное лицо Тарасыча словно бы просветлело и помолодело, и темные ласковые глаза осветились нежным выражением, полным задумчивой, тихой скорби, когда он заговорил:

— А была она, если вам угодно знать, вашескобродие, из себя вся аккуратненькая и росту средственного. Такая сухощавенькая и пряменькая, ровно молодой тополек. Вовсе деликатного сложения, даже, можно сказать, щупленькая. И гибкая, как ивовый прутик, и на ходу легкая. Как есть перышко, вашескобродие. На руке куда вгодно донесешь. Одно слово, все в ей было одно к одному, в плепорцию пригнано и чистой отделки. А лицо у ее было чистое-пречистое и белое-пребелое. Даже загар не брал. И такого задумчивого и строгого даже, можно сказать, вида. А глаза серенькие, сторожкие, ровно бы у куличка, что на карауле стоит да озирается, умница, вокруг: нет ли где опаски? Пужливая была до людей, вашескобродие, вроде дикой козочки. Известно, какой народ в Новороссийском:

дерзкий да сбродный. Солдаты эти озорливые да наши матросы, а офицеры вовсе даже, прямо сказать, касательно женского пола бесстыдники... Ну, и она прегордо себя держала, никаких этих любезностей не допускала, ни боже ни... Так взглянет, что холод проберет... Небось умела взглянуть. Ее так и прозывали «бесчувственной» за ее, значит, неприступность гордую... А торговки иначе промеж себя не звали, как рыжей Глашкой. Из-за волос ейных золотистых, ну и опять же злились: не хороводилась она с ними и совсем не ихнего фасона была баба. Не шилохвостила подолом, не вертела зенками, не зазывала покупателей... Во все другого поведения была, вашескобродие. Правильная женщина!

Тарасыч примолк на секунду и продолжал:
— А нрава была скрытного. И горда и характерна. И никогда не оказывала себя, не то, как прочие бабы. Известно, баба сейчас себя окажет, а эта нет. Задачливая какая-то. Не раскусишь! И языком зря не молола. Смотришь, бывало, украдкой на ее и никак не высмотришь, что у ей примерно на душе: весело ли ей жить на свете или нудно? Редко когда

веселая была, больше в задумчивости... И умственная... с большим понятием... до книжек охотница, сидит это в лавке и книжку читает... Совсем особенная! Так я об ней понимаю, вашескобродие! — горячо закончил Тарасыч свою восторженную характеристику.

— Молодая она была?

— Сказывала, что тридцати годов, но только с виду ей тридцати не оказывало, вашескобродие... Так, годов двадцать можно было обозначить... И совсем на замужнюю не походила... Ровно бы девушка!.. Тонкая такая.

— А муж молодой был?

— Молодой... Одних с нею лет... Крепкий, здоровый мужчина.

— А человек каков?

Задавая этот вопрос, я почти не сомневался, что Тарасыч не особенно одобрительно отнесется к мужу женщины, которую он так безгранично любил. Но Тарасыч решительно озадачил меня, когда ответил:

— Хороший человек, вашескобродие. Стрательный и башковатый по своей части. Он прасолом был и часто в разъездах находился... Оборотистый парень. А супругу свою он,

можно сказать, вовсе обожал... Так в глаза ей и смотрел... Добер с ней был... страсть. И что она хотела, все сполнял...

— А она его любила?

— Сдавалось мне, вашескобродие, что настоящей пристрастности к ему не имела. Почитала супруга, как следует жене, соблюдала закон, а чтобы по-настоящему иметь приверженность, чтобы, значит, до помрачения... не приметно было... А по моему рассудку, вашескобродие, главная причина в том, что души их несродственные были... Из-за того и настоящей приверженности не могло быть.

— Как так?

— А так... Не пришлись они друг дружке, чтобы как, примерно сказать, при корабельной стройке: стык в стык. Он все больше о делах заботился, одно только житейское понимал. Продал да купил! И хоть жену обожал, холил ее да рядил, а души-то ее высокой не чувствовал... А Глафира одним житейским брезговала... Она любила все больше умственное... Насчет души, значит, и всего такого прочего, вашескобродие. Почему, мол, человек на свете живет и как ему по совести

жить? И где, мол, правда на свете есть? И по какой причине звездочки горят и наземь падают?.. И велик ли предел свету?.. До всего такого она очень даже была любопытна... Ну, а Григорий Григорьич, муж ейный, ничего этого не почитал... Совсем в эти понятия не входил... И выходит — сродственности не было! Беда без этого! — примолвил Тарасыч и задумался.

IV

— А как вы с ней познакомились, Тарасыч?

— Из-за эстого самого... из-за умственного разговора она и допустила к себе... Я сам, вашескобродие, грешным делом, привержен к этому... Хоть и темный человек, а все разная дума идет в голову. Так вот, как я увидал в первый раз Глафиру и пришел в безумие, можно сказать, так на другой день опять отпросился на берег и в лавочку... нитки быдто покупать. Подошел, а войти смелости нет... В груди так и колотит... И сам дивлюсь, вашескобродие, своему страху... Прежде куда вгодно входил... не боялся, а тут ровно гусенок желторотый... Однако вошел. Смотрю, вместо

хозяйки — муж. Купил ниток. Тары-бары. Скучно в лавке-то ему одному сидеть, так он балакает. Давно ли шкуна пришла? Где были? Разговорились. Все думаю: она придет. Ну, я и про Севастополь, и как раньше ходили в Средиземное, про итальянцев, про штурмы... Бурдючок выпили... А тут и она вышла... Слушает. Глаза так и впились. Любопытно, значит. А я, как увидел ее, отдал поклон, да так меня в краску и бросило. Однако виду не подаю, что оробел... Продолжаю... И чувствую, что при ей как-то складней выходит. Откуда только слова берутся... А самому лестно так, что она слушает... Так, кажется, и говорил бы целый день, только бы она слушала! Как окончил я, просят еще. «Вы, говорит, по матросской части много видели». Ну, я еще и еще... Как в Неаполе затмение солнца видели, и как гора Везувий лаву извергала... Григорий Григорьич еще вина вынес. Однако я отказался, — я всегда в плепорцию пил, вашескобродие... Взялся за шапку. А муж видит, что я матрос смирный и учливый, и сказывает: «Будем знакомы, матросик. Заходи когда». А Глафира Николаевна протянула руку и тихо-тихо

так молвила: «Счастливым вы, говорит, человек... вы свет видели, а я, говорит, ничего не видала! Послушать и то, говорит, очень даже приятно...» И как вернулся я в тот день на шкуну, так даже трудно обсказать, вашескобродие, в каком, можно сказать, смятении чувств я находился... И точно вовсе другим человеком стал... И мир-то божий лучше показался, и люди добрее... А ночь-то всю так на звезды и проглядел. И много разных дум в голове... И все об ей... Совсем, прямо сказать, вроде как обезумел, вашескобродие.

— Что ж вы, Тарасыч, сказали Глафире, что любите ее?

— Что вы, вашескобродие! — почти испуганно проговорил Тарасыч. — Как я смел, когда видел, что мной она брезговает, а не то чтоб... Я и хаживал-то редко... Придем, бывало, в Новороссийск, я забегу... так, четверть часика в лавке посижу, поговорю и айда... А самому жалко, что ушел... Но только она никогда не оставляла... А то иной раз скажет: «Уходите, Максим Тарасыч... Мне, говорит, некогда!..» Так, терпела, значит, меня, а чтоб какое-нибудь внимание, так вовсе его не бы-

ло... А я так, вашескобродие, вовсе в малодушество из-за нее вошел... Не ем, не сплю... Как клейсеровали мы, вашескобродие, — бывало, стою это на руле на вахте, правлю по компасу... Ночь-то теплая... Звездочки-то горят... И такая это тоска на душе, что слезы так и каплют... И вовсе я исхудал по ей и ничем не мог от этого избавиться...

— А она знала, что вы, Тарасыч, так ее любили?

— От бабы не укроется, ежели к ей привержены... Учует... И Глафира, надо полагать, чуяла... Только вида не показывала и все строже да строже со мной обходилась... Раз даже сказала: «Вы, говорит, очень часто в лавку-то не забегайте. Я, говорит, этого не люблю!» Со всем обескуражила...

— Что ж вы?

— Так я тайком по вечерам бегал... в окно заглядывал... И стыдно, что из-за бабы срамишься, а ничего не поделаешь. И зарок себе давал — не съезжать на берег. День-другой крепишься, сидишь на шкуне, а на третий отпросишься на берег — и туда... на край города, к лавочке, и вечером в окно глядишь, как

она в своей горнице за книжкой сидит... И пить даже стал, вашескобродие, чтобы в забывчивость прийти... Почитай три месяца пил, как последний человек... и драли меня на шкуне за это... Ничего не брало... Все эта самая Глафира в мыслях... Все она.

V

Прошла минута-другая в молчании.

Наконец я спросил, желая узнать окончание истории Тарасыча:

— Как же вы тогда отделались от шторма на шкуне?

— Господь вызволил, а то бы давно рыбы нас съели. Утишил, значит, царь небесный штурму... К полудню немножко ослобонило. Поставили стаксель да бизань и вышли на курц. Опять «Дротик» послушливый рулю стал: перестал бунтовать, и доплелись мы в Новороссийск в светлое воскресенье так после полудня, — рады-радешеньки, вашескобродие, что от смерти спаслись. Буря эта самая и там свирепствовала, так многие даже ахнули, как увидели наш «Дротик» целым. Командир порта даже сам приехал на шкунку и все капитана спрашивал и потом благо-

дарил команду. А я, вашескобродие, только и думаю, когда отпустят нас на берег и я сбегаю поздравить Глафиру. А у меня ей и гостинец припасен был из Константинополя: шелковый голубой платочек. Отдам, мол, с яичком. После обеда просвистали на берег, я, как следует, обрядился по-праздничному — и туда... Лавочка заперта, так я в ихнее помещение... окнами оно в маленькую улочку выходило... А у ворот Алимка сидит, черкес из мирных, ихний работник, отчаянная такая рожа, молодой. Сидит этто, свою какую-то песню гнусавит. «Нет, говорит, дома хозяев. Ушли». И сам на меня сердито так смотрит. Вижу: врет. Иду себе в ворота. А он сзади: «Секим башка тебе будет!» Ну, думаю, брешет себе татарва злая. И я ему «секим башку» ответил и вошел. Сидят они за чаем. «Христос воскрес!» Григорий Григорьевич обрадовался... «А в городе, говорит, думали, что вы на шкунке все потопли... буря-то какая!..» Похристосовались. А затем к Глафире Николаевне. «Христос воскрес!» И всего меня захолонуло, как я и с ей три раза похристосовался. «Так и так, говорю, позвольте предоставить гостинец». Строгая-пре-

строгая стала. «Не люблю, говорит, этого». Ну, тут муж за меня вступился. «Не обиждай, говорит, человека. Возьми. Платочек отличный». Взяла и в сторону положила. А я, вашескобродие, совсем, значит, обесконфужен от такого приема. А Григорий Григорьич велел ей наливать мне чаю, усадил и сейчас же стал спрашивать, как это мы бурю перенесли... «Очень, говорит, я жалел тебя, Максим Тарасыч... думал, и не свидимся». А Глафира сидит это нарядная в светлом платьице, такая красивая да свежая, словно вешнее утречко, а глаза строгие-престрогие. Молчит. И хоть слово бы сказала приветное, что, мол, человек жив остался. И так это обидно мне стало, вашескобродие, что и не обсказать. Плакать от обиды хочется, а не то чтобы кантовать. Тут, верно, она пожалела и ласково так сказала: «Что ж вы чаю не пьете?» И как сказала она это, то ровно бы я ожил, вашескобродие, и свет опять мне мил... Взглянул я украдкой на нее... и строгости быдто в ей меньше. Сидит, голову на ручку оперла, слушать, значит, собирается. А Григорий Григорьич пристаёт, чтобы я про бурю. Ну, я и начал. И так это я

говорил, как собирались мы умирать на шкунке-то, какого страха натерпелись, и какая эта буря была, что Глафира слушает, дух затаила. Стиснула губы и впилась в меня глазами, а как я кончил — вышла из комнаты. Муж за ей. Однако скоро вернулся и говорит: «Жалостно ты очень рассказывал, Максим. В расстройку привел Глашу...» Посидел я так час и стал прощаться. Вышла и Глафира, глаза заплаканы. Однако вид строгий. Подала руку и ни словечка. А муж объявил, что завтра уезжает на неделю в Сухум и просил навещать когда жену. Она отрезала: «Нечего, говорит, навещать. И мне дела, и Максиму Тарасычу дела». Ну, Григорий Григорьич так и оселся. Прижал хвост. А надо полагать, ваше-скобродие, что не допускала она меня к себе не со злого сердца, а из жалости ко мне же. Так после я об этом смекал, когда в разум вошел... Как вы полагаете? — неожиданно спросил Тарасыч.

И, словно бы желая пояснить свою мысль, прибавил:

— Не хотела, значит, чтобы я, видамши ее, больше да больше приходил в безумие... Она

и не полагала, что я все равно был из-за нее совсем потерянный... Ну и, как правильная женщина, не желала, как прочие другие бабы, играть с человеком.

— Пожалуй, что и так. А может быть, и вы ей нравились, Тарасыч. Только она скрывала это! — заметил я.

Тарасыч грустно усмехнулся. Скромность его и глубина чувства не допускали такого предположения.

— Ни на эстолько, вашескобродие! — проговорил Тарасыч, показывая на кончик мизинца. — Небось сердце мое учуяло бы. Чем-нибудь Глафира оказала бы, даром что скрытная. Глянула когда бы ласково... слово кинула сердечное... Уважать меня уважала за умственность, но только никакой приверженности не было.

— Ну, рассказывайте далее, Тарасыч.

— А далее много не придется сказывать, вашескобродие. Как она обескуражила меня на светлое воскресенье, я три дня со шкуны не сходил... На четвертый не сустерпел. Отпросился под вечер на берег — и айда. Вечер-то темный... пробрался я в глухую улочку

и к окну... Гляжу в щелинку у ставни на Глафиру. А волосы у ей распущенные — видно, из бани вернулась, сидит одна-одинешенька и такая, я вам скажу, печальная, такая сиротливая, что сердце во мне вовсе замерло. И так это жалко ее, и так самому тоскливо. И не знаю, что бы я дал, только бы она, родненькая, не кручинилась? И с чего это она? О чем думы думает, голубенькая? Так это я раздумываю и сам тоскую, как вдруг около меня тень, а затем что-то блеснуло и полоснуло по уху. Гляжу: Алимка, этот самый черкес, с кинжалом... «Я тебе и нос отрежу... будешь ходить сюда». Я увернулся — и на его. Сцепились. Наконец повалил я его и спрашиваю: «По какой причине ты, собака, на меня?» — «И ханым и тебе секим башка... Зачем ханым ходишь...» — «А тебе что?» — «Ханым меня не любит, а я ханым люблю, стерегу». Приревновал, значит, дьявол. А Глафира-то на этого черкеса никакого внимания не обращала... И рожа, если б вы знали, какая... Так он со злобы, черт... что выдумал!.. Стараюсь я это кинжал отнять, а он опять пырнул в руку. Тут уж я озверел... душу его за горло... Хрипит. А в это

самое время Глафира с фонарем... «Вы что тут делаете? Как вы тут оказались, Максим Тарасыч?»

Я встал, молчу... Поднялся и черкес, сердито глядит так... А кинжал евойный у меня... Я глаз с черкеса не спускаю. А Глафира ему что-то по-татарски... и так это, должно, что-нибудь очень обидное... Он это вырвал кинжал у меня и к ей... к Глафире-то. Я мигом очутился между ими, и кинжал пришелся мне в плечо. Но уж после эстого я этого черкеса раз да другой по уху и сшиб его с ног... Держу за шиворот. А он, собака, мне шепчет: «Драка была. Ханым не видал. И ты говори: драка была, ханым не видал». Путать, значит, ее не хотел... Поди ж ты! Тут Глафира велела тащить черкеса в сарай, и я запер его на ключ. «А завтра, говорит, в полицию отведут». — «Зачем, говорю... не надо», — и стал было прощаться. А она как подняла фонарь да увидала, что и лицо у меня в крови и на плече сквозь рубашку кровь, — так и ахнула. И, словно бы виноватая, вся затихла и на меня так жалостно смотрит. «Идемте, говорит, в горницу... Обмойтесь

и раны перевяжите. Я вам тряпок дам...» Ну, я пришел, обмылся — полуха, гляжу, нет. Перевязал тряпками и прощаюсь... «Спасибо, говорит, вам, спасли от черкеса... Только напрасно!» Тут уж я не утерпел, слезы градом, и я вон... А она вдогонку: «Прощайте, Максим Тарасыч... Не ходите ко мне. Лучше для вас будет. Я людям горе одно приношу...» Ну, явился я на шкуну. Все: «как да как?» Обсказываю, что с черкесом в драке дрался. Увели меня в лазарет, и там я с неделю пролежал. Ухо да плечо залечивали, а я, вашескобродие, всю эту неделю в тоске был... В конце недели навестил меня Григорий Григорьевич и сказал, что Алимка-подлец из полиции убежал в горы — и след его простыл... Дело это кончилось, и никто не знал, из-за чего все это вышло... Так вот, вашескобродие, как я уха-то решился! — заключил Тарасыч.

— А Глафиру вы больше не видали?

— Видел... Как поправился, заходил в лавку попрощаться... Черкеса опять перевозить начали в Константинополь, а отсюда велено нам было идти в Одесту.

— Что ж, как она вас встретила?

— В строгости, вашескобродие. Быдто и никакого кровопролития не было. Но только, как я стал уходить, видно, пожалела опять. Крепко так руку пожала и говорит: «Не поминайте меня лихом... Бесталанная я...» А я уж тут открылся вовсе и сказал: «Век вас буду помнить, потому дороже вас нет и не будет мне человека на свете!» С тем и ушел. Вскоро-сти мы пошли в море... А мне хоть на свет не гляди... Так прошло года три... Наконец я опять попал в Новороссийск. Сошел на берег, ног под собой не чувствую... бегу к лавочке... А там Григорий... Постарел... осунулся... Увидел меня, сперва обрадовался, да потом как заплачет... «Что с тобой, Григорий Григорыч?» Тут он и объяснил мне, что Глаша год тому назад уехала в Иерусалим и отписала ему, чтобы больше не ждал ее... Просила прощения... и объясняла, что странницей делается, божьей правды искать будет... «И тебя, Максим, вспомнила. Прислала крестик и велела тебе отдать...» Вот он, вашескобродие, — заключил Тарасыч, открывая ворот рубахи и показывая маленький кипарисовый крест. — С им и умру! — прибавил он и поцеловал

крест.

— И ничего вы с тех пор не слышали о Глафире?

— Ничего... И муж не знает, где она... Успокой, господи, ее смуту душевную! — как-то умиленно проговорил Тарасыч и перекрестился.

В эту минуту явился какой-то купальщик, и я простился с Тарасычем.

Одно мгновение*

I

Однажды чудным тропическим вечером, когда корвет «Витязь» шел себе под всеми парусами узлов по восьми, направляясь в Рио-Жанейро, в кают-компании за чаем зашел разговор о самоубийстве.

Поводом к такой редкой среди моряков беседе послужил рассказ одного лейтенанта о своем товарище, который два года тому назад застрелился от несчастной любви к одной замужней женщине.

Рассказчик назвал эту женщину. Ее многие знали в Кронштадте. Это была жена одного инженера, изящная блондинка с рыжева-

тыми волосами, умная, милая и обворожительная, казавшаяся молодой, несмотря на свои тридцать девять лет.

Большинство моряков не выразило ни малейшего сочувствия самоубийце. Почти все находили, что стреляться из-за женщины глупо.

А пожилой старший штурманский офицер, отличный и неустрашимый моряк, и в то же время, как все знали, настолько трусовивший своей высокой, полнотелой жены, бойкой и сварливой, что даже сам просился в дальнее плаванье, желая избавиться от домашних сцен, не без авторитетности произнес:

— Самое последнее дело пропадать из-за женского ведомства. Только шалые юнцы на это способны. Получил ассаже — инженерша дама строгая — и ба-бац! Думал, что эта самая инженерша только единственная на свете... В те поры не соображал, что есть и другие дамы. В затмении был...

Все принимавшие участие в разговоре согласились со штурманом и вообще не одобряли самоубийства от каких бы то ни было причин. Многие находили, что самовольное ли-

шение жизни обличает трусливую душу и, во всяком случае, эгоиста, не думающего о страдании, которое он причиняет другим. Человек с характером и в здравом уме никогда не пойдет на самоубийство.

— Это все равно, что бросить судно в минуту опасности! — с убежденным спокойствием проговорил старший офицер, капитан-лейтенант лет под сорок, с Георгием в петлице белого кителя, прежний черноморец, пробывший всю севастопольскую осаду на четвертом бастионе и раненный во время последнего штурма. — Ни один порядочный моряк это не сделает за совесть, а не за страх ответственности. Надо бороться до последнего издыхания. Не правда ли?

Все согласились, что правда.

Только один из присутствующих в кают-компании не ответил на вопрос старшего офицера.

Он не принимал участия в разговоре и, словно бы нисколько не интересуясь им, молча отхлебывал чай, нервно выкуривая папироску за папироской.

Это был мичман Стоянов, смугловатый

брюнет лет двадцати пяти, с курчавыми черными волосами и шелковистыми усами, небольшого роста, сухощавый, серьезный, с тонкими чертами красивого, мужественного и умного лица, в выражении которого сразу чувствовалась сила воли недюжинного характера. В задумчивом взгляде темных глаз, опущенных длинными ресницами, было что-то смелое, открытое и несколько надменное, словно во взгляде молодого орла.

Много читавший, независимый в своих суждениях, нередко расходившийся во взглядах с сослуживцами, Стоянов держался особняком, не подчеркивая, впрочем, этого, и ни с кем особенно близко не сходиллся. И несмотря на это Стоянова все уважали за его прямой рыцарский характер, полный благородства и чуткой деликатности, за соответствие его слов с делом, за ум и добросовестное отношение к служебным обязанностям. Он считался всеми лихим морским офицером и лучшим вахтенным начальником. В то же время он был ревизором[3], аккуратность и щепетильная честность которого были вне всяких сомнений!

Матросы тоже уважали Стоянова, но едва ли понимали и любили этого странного, по тогдашним временам, морского офицера.

Хотя никогда он никого не наказывал, не дрался и даже не ругался, был ровен, мягок и справедлив, тем не менее матросы словно бы чувствовали в нем совсем чужого человека. Он никогда не разговаривал с матросами, не шутил с ними и, казалось даже, как будто брезгал ими. Он не искал популярности среди них, как делали многие другие, и точно конфузился, попадая в матросскую толпу; и в то же время был самым горячим представителем за них.

Никто и не знал, сколько он избавлял от позорных телесных наказаний, до которых старший офицер был большой охотник, убеждая, упрашивая, умоляя сурового моряка пожалеть людей и не унижать их человеческого достоинства. Ведь скоро телесные наказания будут отменены официально. Об этом уже писали в «Морском сборнике».

И старший офицер, с которым Стоянов обыкновенно в таких случаях говорил глаза-глаза в его каюте, нередко снисходил к

просьбам молодого мичмана, невольно поддаваясь обаянию его страстной речи, заменял порку каким-нибудь другим наказанием и — сам в сущности не злой человек — в душе питал благодарное чувство к Стоянову, останавливавшему его от жестокостей.

И старшего офицера команда любила, а Стоянова нет.

Он это чувствовал, он видел, что и в кают-компании он далеко не любим. Он понимал, что стоит только несколько приспособиться к людям — и все изменится, но он чуждался такой фальши, не менял своих отношений и по-прежнему был одинок.

Со дня выхода из Шербурга Стоянов стал искать еще большего одиночества и, казалось, чуждался всех. В нем заметна была какая-то перемена. Несмотря на его спокойствие на людях, многие замечали, что Стоянов часто бывал мрачен и видимо что-то угнетало его.

Приписывали это разлуке с невестой. Многим было известно, что Стоянов любит и горячо любим этой прелестной девушкой, приехавшей на корвет в день ухода его из Крон-

штадта.

— А вы что ни слова не скажете, Борис Сергеич? — обратился к Стоянову старший офицер.

— Я слушал, Иван Николаич.

— Вы, по обыкновению, не согласны с общим мнением?

— Не согласен, Иван Николаич.

— И оправдываете самоубийство?

— Вполне.

— Из-за какой-нибудь несчастной любви? Вы, Борис Сергеич?

— Из-за любви нет. Но бывают такие случаи в жизни, после которых жить нельзя! — Как-то решительно и вместе с тем грустно проговорил Стоянов.

— Например?

— После какой-нибудь подлости... после позора...

— А искупить его лучшей жизнью разве нельзя?.. Человек, сознающий весь ужас позора, уже наполовину исправившийся человек.

— Люби кататься, люби и саночки возить. Сделал пакость, так имей характер и отдуться

за нее! — вставил штурман.

— Все это легко говорить, а пережить позор, я думаю, невозможно! Лучше смерть!

— Ну и самому прописать себе отпуск на тот свет тоже не особенно легко, Борис Сергеевич! В ошалелом состоянии, из-за любви, как это ни глупо, а еще можно понять самоубийство, но чтобы покончить с собой сознательно, обдумавши...

— Я только и понимаю такое самоубийство.

— А расстаться с жизнью разве так легко, вы думаете? Нет, батенька, не легко. Я испытал это раз, когда мы на «Змейке» наскочили на камни и думали, что всем нам тут крышка. Ох, и как же жутко было! — заметил старший офицер.

— Не спорю, что легко... Но...

Стоянов запнулся, точно у него что-то застряло в горле, и через секунду с каким-то убеждающим спокойствием в тоне продолжал:

— Но ведь это одно мгновение... Одно только мгновение! — повторил он.

И смолк, видимо не желая продолжать

этот разговор.

Через несколько минут он вышел наверх и стал у борта. Он смотрел то на чудное, усеянное звездами небо, то на тихо рокочущий сонный океан, волны которого ласково лизали бока корвета, отсвечивая фосфорическим блеском.

Он долго стоял наверху, и слезы лились из его глаз.

— Всего одно мгновенье! — чуть слышно произнес он и спустился вниз, в свою маленькую опрятную каюту, где над койкой висела большая фотография прелестной девушки.

Он сел к письменному столику, подписал какие-то две ведомости, предварительно проверив их, написал своим мелким четким почерком рапорт командиру и стал писать письмо невесте.

Когда, в исходе четвертого часа, рассыльный пришел в каюту будить мичмана на вахту, Стоянов уже окончил письмо и вложил его в конверт. Затем он сложил аккуратно рапорт, запер шифоньерку на ключ и с последним ударом колокола, отбивавшего восемь склянок, выбежал наверх и принял вахту.

Стоянов мерно шагал по мостику, жадно вдыхая свежий воздух моря. Он поглядывал на паруса, подходил к компасу взглянуть, по румбу ли правят рулевые, спускался на палубу проверить часовых на баке и снова ходил своей обычной легкой и грациозной походкой.

Когда солнце, медленно освобождаясь от своих пурпурно-золотистых риз, поднялось над горизонтом, Стоянов жадно устремил глаза на горизонт, любуясь прелестью восхода. Лицо его было мертвенно-бледно и решительно-спокойно. Только в его прекрасных глазах стояло выражение мучительной тоски.

Он еще раз обвел этим тоскливым жадным взглядом и чудное бирюзовое небо, и далеко раскинувшийся океан, сверкавший под лучами ослепительного солнца, и палубу корвета со спавшими на ней матросами, и все это казалось ему чем-то особенным, новым, имеющим невыразимую прелесть. И жажда жизни охватила все его молодое существо, и слезы брызнули из глаз.

— Пора! — прошептал он.

И с усилием, словно бы еще борясь с самим собой, наконец произнес:

— Сигнальщик!

Подремывавший матросик явился к нему.

— Поди... разбуди мичмана Варламова...

Скажи, что я болен... прошу сменить меня.

Он говорил прерывисто, словно бы не находил слов.

И когда сигнальщик пошел исполнять приказание, ему хотелось вернуть его и в то же время он обрадовался, что сигнальщик уже исчез.

Через пять минут явился заспанный, недовольный Варламов.

— Извините, Андрей Андреич... Я болен... Примите от меня вахту... Я должен уйти...

Варламов взглянул на Стоянова и был поражен каким-то страшным спокойствием его осунувшегося мертвенного лица.

— Идите, идите, Борис Сергеич... Что с вами?

— Скоро узнаете... Прощайте, Андрей Андреич.

Он крепко стиснул руку мичмана, как-то жалобно заглянул ему в глаза и произнес:

— Еще раз простите, что обеспокоил.

— Помилуйте... какие извинения!.. Идите скорей... Вы совсем больны, Борис Сергеич.

— Иду... иду... Ведь одно мгновенье...

И с этими словами он занес за перила мостика ноги и бросился в океан.

Мичман ахнул. Ахнули и матросы, видевшие падение. Кто-то успел бросить спасательный круг.

— Фок и грот на гитовы! Марса-фалы отдать! — командовал отчаянным голосом мичман.

Через минуту капитан и старший офицер были наверху.

— Что случилось?

— Стоянов бросился за борт!

И капитан и старший офицер были поражены.

Минут через пять корвет лежал на дрейфе, и баркас отправился на поиски.

Все офицеры и матросы выскочили на палубу. Все со страхом ждали возвращения баркаса, предчувствуя, что он вернется без Стоянова.

И через час баркас вернулся; бывший на

нем офицер рассказал, что видел, как Стоянов утонул, хотя спасательный круг и был вблизи. Но мичман не хотел его взять.

Корвет снова пошел далее, и все разошлись угрюмые.

Старший офицер утирал слезы.

III

Через четверть часа капитан, взволнованный, со слезами на глазах, пришел в кают-компанию и проговорил:

— Вот рапорт Бориса Сергеевича... Прочтите, господа. А я снова читать не могу...

С этими словами он торопливо ушел.

И старший офицер прочел рапорт следующего содержания:

«Честь имею донести вашему высокоблагородию, что я совершил поступок, недостойный честного человека. В Шербурге я проиграл пятьсот рублей казенных денег. Хотя я пополнил часть их причитающимся мне за месяц жалованьем и столовыми, а остальная часть будет пополнена товарищем, которому я написал из Шербурга, тем не менее после такого позора я жить не могу. Могли не узнать о

моей растрате товарищи, но я-то ее знал и следовательно не считал себя в праве воровски пользоваться общим уважением и оставаться жить на свете.

Донося об этом вашему высокоблагородию, прошу переслать прилагаемое письмо по адресу».

Старший офицер потрясенный ушел к себе в каюту. У всех на глазах стояли слезы.

Два моряка

I

Отставной вице-адмирал Максим Иванович Волынцев только что поднялся с жестковатого дивана, проспавши свой положенный час после обеда.

Откашлявшись, Максим Иванович снял халат, бережно повесил его в шкаф и облекся в старенький, но опрятный сюртук с адмиральскими поперечными, как у отставных, погонами, прошелся щеткой по седой, коротко стриженной голове, расчесал белую пушистую бороду и усы, закурил толстую папиросу и присел в плетеное кресло у письменно-

го небольшого стола.

Не спеша вынул он из футляра очки и взял со стола аккуратно сложенную газету.

Несмотря на потертую обивку старомодной мебели и старенькие вещи, бывшие в кабинете, все в этой небольшой комнате имело необыкновенно опрятный и даже приветливый вид, сияя тою умопомрачающею чистотой, какая только бывает на военных кораблях.

Пол сверкал, точно зеркало. Дверные ручки, оконные задвижки и медные кнопки гвоздиков, на которых висели, занимая сплошь всю стену, фотографии в черных простых рамках, — блестели под лучами редкого петербургского солнца, светившего в течение целого августовского дня. Занавески на окнах были ослепительной белизны: фикусы, аралии и пальмочки вымыты и выхолены — одним словом, решительно все в комнате свидетельствовало о привычке хозяина к порядку и щепетильной чистоте, и все, казалось, дышало приветливостью.

Даже хорошенькая «Верушка», как звал Максим Иванович маленькую канарейку, и

та, заливавшаяся во все горло, казалась необыкновенно чистенькой и веселой, а клетка, которую адмирал собственноручно чистил два раза в день, просторная, белая клетка, усыпанная песком, содержалась в безукоризненном порядке.

Кабинет напоминал каюту, и в нем даже пахло немного кораблем от острого смолистого запаха мата, лежавшего вместо коврика под ногами адмирала.

И сам он своим внешним видом производил впечатление той же опрятности и приветливости, которыми отличались кабинет и вся скромная его обстановка.

Это был небольшого роста, сутуловатый и сухощавый старик лет шестидесяти, крепкий и бодрый на вид. Вся его небольшая фигура с первого же раза внушала к себе невольную симпатию. И в выражении его старого, морщинистого лица, отливавшего здоровым румянцем, и особенно в выражении небольших, еще живых и острых темных глаз было что-то необыкновенно хорошее: доброе и ласковое и в то же время застенчивое, говорящее о душевной чистоте и о честно прожитой жизни.

И действительно, вся его жизнь была лямкой добросовестного морского служаки, который даже и в прежние суровые времена отличался добротой и был любим матросами за то, что обращался с ними по-человечески. Честный до щепетильности, он никогда не пользовался казенной копейкой, никогда не подлаживался к начальству, не знал протекции и, считаясь одним из лучших моряков, много плавал, но особенной карьеры не сделал. Напротив, испортил ее своею независимостью, принужденный выйти в отставку уже контр-адмиралом вследствие того, что не поладил с высшим морским начальством. Он, конечно, ничего не имел и скромно жил с семьей на скромную пенсию.

Максим Иванович принялся за газетный фельетон, чтение которого он всегда откладывал до вечера. Утром адмирал прочитывал все остальные отделы и читал их сплошь, от первой строки до последней, начиная с передовой статьи.

Это был один из тех редких читателей, которые не пропускают ни одного известия и не просто читают, а, так сказать, священнодей-

ствуют.

Максим Иванович привык к своей газете, но не верил ей безусловно и частенько-таки не соглашался с ее мнениями. Прочитывая иногда в передовой статье о том, что «Россия не допустит» того-то и того-то, и, вникая в смысл вымышленных quasi!^[4] — патристических фраз, полных бесшабашного шовинизма, старый адмирал, пробывший всю осаду Севастополя на одном из бастионов и получивший за храбрость еще в лейтенантском чине Георгиевский крест, белевший в петлице его сюртука, неодобрительно покачивал головой и, случалось, говорил вслух:

— Тоже пишет! Молода, во Саксонин не была! Послать бы тебя, строкулиста, самого на войну!

Но особенно старика возмущало, когда газета, не жалея красок, восхваляла какого-нибудь вновь назначенного сановника.

И тогда его обыкновенно добродушное лицо выражало нескрываемое презрение, и он приговаривал, обращаясь, по-видимому, к автору хвалебной статейки:

— И кто тебя, льстеца, за язык дергает? Ра-

ненько, брат, хвалишь... Нехорошо!..

Зато, если Максиму Ивановичу статейка нравилась и он находил мысли ее «правильными и благородными», он с увлечением прочитывал вслух особенно понравившиеся ему выражения и восклицал:

— Ай да молодчага! Ловко!.. Так и надо писать, коли бог тебе талант дал!..

И, случалось, писал в редакцию газеты письмо, в котором выражал благодарность неизвестному автору статьи за доставленное им удовольствие.

За завтраком Максим Иванович обыкновенно передавал в более или менее коротких извлечениях все интересное, прочитанное в газете, своей жене и дочери.

И хотя и жена и дочь сами уже прочли после адмирала газету, но обе они, обожавшие старика, внимательно слушали, пока он не спохватывался и не говорил со своею добродушною улыбкой:

— Да вы уж читали...

— Ничего, ничего, рассказывай...

Но Максим Иванович не продолжал, а переходил к обсуждению прочитанного и

нередко критиковал газету.

Сегодня адмиралу, по-видимому, не понравился фельетон. Во время чтения он дергал плечами и наконец проговорил:

— Тоже фанаберия... Скажи пожалуйста! А у самого-то на грош амуниции!

В эту минуту в кабинет вошла легкой, слегка плывущей походкой, с подносом в руках, дочь адмирала Наташа, или, как звал ее отец, Нита, высокая и худощавая, стройная и грациозная в своих движениях блондинка, лет двадцати пяти, с большими ясными серыми глазами. В ее лице, светившемся умом и тою одухотворенною красотою, какую можно встретить лишь у избранных натур, было то же выражение душевной чистоты и мягкости, что и у отца, но лицом она совсем на него не походила. Одета она была очень скромно, но с тем изяществом, которое свидетельствовало о вкусе не одной только портнихи. На ней была шерстяная черная юбка, открывавшая маленькие ноги, и светло-серый лиф с высоким воротником, закрывавшим шею. И все это на ней сидело так ловко и так шло к ее свежему лицу молочной белизны с нежным

румянцем. Ни серег в ее маленьких ушах, ни колец на ее красивых, тонких руках с длинными породистыми пальцами не было. Только маленькая брошка с тремя брильянтиками — подарок отца — блестела у шеи.

— Ты кого это, папа? — спросила она, улыбаясь, когда поставила на стол стакан чая и блюдечко с вареньем.

— Да этого «Виго»... Не люблю я его... Ломается... Читала сегодняшней фельетон?

— Читала, папа.

— И тебе не нравится?

— Не нравится.

— У нас с тобой одинаковые вкусы, Ниточка! — проговорил отец и взглянул на дочь взглядом, полным любви и обожания.

Вместо ответа Нита поцеловала старика.

— Славная ты моя! — промолвил умиленно старик. — Скоро вот и другой наш славный вернется, — оживленно прибавил Максим Иванович.

— А когда?

— Дня через три, я думаю, они придут в Кронштадт, если ничто их не задержит. В море ведь нельзя, Ниточка, точно рассчитывать.

Верно, Сережа протелеграфирует о выходе из Копенгагена, а из Кронштадта мне дадут знать телеграммой, как только «Витязь» покажется у Толбухина маяка. Уж я просил об этом... Мы все и поедем встречать Сережу... Ведь я голубчика шесть лет не видал! — прибавил Максим Иванович.

Действительно, отец в последний раз видел сына перед выпуском его из корпуса, семнадцатилетним юношей, и, назначенный начальником эскадры Тихого океана, уехал на три года, а когда вернулся в Россию, не застал сына. Тот ушел в дальнее плавание.

Старик помолчал и прибавил:

— Надеюсь, Сережа бравый морской офицер и не забыл советов отца, как надо служить. Он ведь славный мальчик всегда был, только Морской корпус его несколько портил. Нынче там больше на манеры обращают внимание... Это тщеславие... Эта дружба с богатынькими князьками... Помнишь, как мы ссорились с ним из-за этого?.. Но да тогда он был юнцом, и все это, конечно, прошло с годами... Он ведь умный и честный мальчик! — горячо прибавил старик.

— Еще бы! — так же горячо воскликнула Нита и, словно бы чем-то обеспокоенная, порывисто прибавила: — Но только знаешь ли что, папа?

— Что, Нита?

— Сережа иногда напускает на себя больше фатовства, а он не такой. И ты не обращай на это внимания, если тебе покажется в нем что-нибудь такое... наносное...

Она старалась заранее приготовить отца к тому, что он увидит. Письма, которые она изредка получала от брата, не нравились ей; в них чувствовалось что-то такое, что глубоко огорчало ее и, конечно, огорчит старика. Да и раньше жизнь брата в отсутствие отца не отвечала ее вкусам, а — главное — его взгляды, его убеждения казались ей такими несимпатичными. И Нита, любившая своего единственного брата до безумия, не раз горячо с ним спорила, стараясь переубедить его.

И теперь, при мысли о скорой встрече брата с этим честным, безупречным отцом, предчувствие чего-то тяжелого невольно закрадывалось в ее сердце. О, как ей хотелось, чтобы предчувствие это оказалось ложным и чтобы

Сереза не был таким практическим человеком, каким выставлял себя в письмах.

— Ну, конечно, наносное... Нынче это в моде. И моряки щеголяют тем, чего мы в молодые годы стыдились... Такой уж дух нынче во флоте, к сожалению... Идеал гроша царит... Какое-то торгашество... Да, Ниточка, моряки теперь не те, что были прежде! Прежде мы не думали поражать франтовством да по модным ресторанам шататься... Прежде мы были хоть и замухрышками, но зато, знаешь ли, на сделки разные с совестью не пускались, по передним у начальства не торчали, к тетенькам за протекцией не ездили, а тянули себе лямку по совести... А теперь... Ну, да что говорить... Я уверен только, что наш Сереза — сын своего отца и никогда не заставит его краснеть за себя... Не так ли, моя голубушка?.. Ты ведь у меня славная девочка и умница!

Нита поспешила согласиться с отцом, но, когда пришла в свою маленькую светлую комнатку, мысли о Серезе заставили ее снова задуматься. И ей было почему-то бесконечно жаль отца.

— Анна Васильевна! Нита! Готовы ли вы? Через четверть часа пора ехать, чтоб успеть на пароход! — говорил, стуча в начале девятого часа утра поочередно в двери комнат жены и дочери, веселый и радостный старик, бодрый и свежий, приодевшийся в новый сюртук и надевший на шею большой крест Владимира второй степени, спрятавшийся под густою бородой адмирала.

Он то и дело посматривал на свои старинные золотые часы и, никогда не опаздывавший в своей жизни, за пять минут до отъезда снова стучался в комнаты своих.

Дамы были готовы; два извозчика уже стояли у подъезда, и вся семья за десять минут до девяти часов была на кронштадтском пароходе.

Утро стояло хорошее, солнечное и теплое, и Волынцевы сидели на палубе, радостно взволнованные в ожидании свидания с Сережей.

Наконец и Кронштадт.

Волынцевы с пристани отправились в Купеческую гавань, и там адмирал нанял ялик до Малого рейда.

— А не страшно на ялике, Максим Иванович? — спрашивала адмиральша, женщина лет пятидесяти, высокая и статная, сохранившая еще в своем лице остатки былой красоты, боязливо поглядывая на маленький ялик.

— Не извольте беспокоиться, барыня. И в погоду ездим, а не то что в тишь, как теперь! — проговорил старик яличник.

— Садись, садись, Анна Васильевна, не бойся! — успокаивал адмирал. — Ты привыкла все на катерах ездить, да на больших, ну а теперь мы в отставке, катеров нам не полагается! — шутливо прибавил адмирал.

— Сережа мог бы прислать за нами катер! — заметила адмиральша, усевшись при помощи мужа в ялик.

— Почему он знает, что мы с первым парходом едем к нему. Он, быть может, и не ждет нас... Эка погода-то славная!.. Хорошо сегодня на море! — воскликнул адмирал, вдыхая полной грудью свежий морской воздух.

Действительно, было хорошо. Стоял мертвый штиль, и море расстилалось зеленоватой гладью. С безоблачного неба весело глядело солнце.

Вдали, на Большом рейде, виделось несколько броненосцев, грозных, но неуклюжих, а поближе, на Среднем рейде, стоял крейсер «Витязь», весь черный и красивый со своими высокими тремя мачтами, паутиной снастей и с двумя белыми дымовыми трубами.

Ялик ходко шел, приближаясь к «Витязю».

Адмирал так и впился в него своими зоркими глазами лихого моряка, гордившегося, бывало, образцовым порядком и щегольским видом судов, которыми он командовал в течение своей службы, и тою любовью, какую питали к нему матросы и офицеры. Он любил и эту службу, полную борьбы и опасностей, любил и эти дальние плаванья на океанском просторе, любил и матросов, этих славных, добрых тружеников моря, готовых из кожи лезть, если только с ними обращаются по-человечески и признают в них людей, а не одну только рабочую силу. И Максим Иванович пожалел, что он в отставке и уже не в той родной среде, с которою так сжился. Но не он виноват, что его удалили из флота... Он слишком ценит чувство человеческого достоин-

ства, чтобы оставаться во флоте ценою подлаживания к высшему начальству.

По-видимому, Максим Иванович остался доволен внешним видом «Витязя». Рангоут выправлен безукоризненно, реи тоже. Посадка судна превосходная.

— Славное суденышко, молодцом глядит! — нежно, почти любовно, произнес старый моряк. — Полюбуйся-ка, Нита.

— Уж я и то люблюсь, папочка!

— Я рад, что Сережа сделал кругосветное плавание не на броненосце, а на крейсере. По крайней мере, знает, как ходят под парусами, а то теперь молодые офицеры совсем не знают парусов... Все только под парами гуляют!

Чем ближе подходил ялик к крейсеру, тем нетерпеливее становились пассажиры ялика.

Еще несколько минут, и ялик пристал к парадному трапу «Витязя». Фалгребные матросы в синих рубахах с откидными воротниками, открывавшими загорелые шеи, стояли по бокам трапа, отдавая честь отставному адмиралу.

Молодой вахтенный мичман встретил прибывших у входа на палубу.

— Я хотел бы видеть лейтенанта...

Но старик не закончил.

Лейтенант, которого он так страстно хотел видеть, уже целовал руки и лицо матери, а Анна Васильевна, вся всхлипывая, осыпала поцелуями коротко остриженную белокурую голову и молодое красивое лицо, которое в первое мгновение показалось Максиму Ивановичу незнакомым, чужим, — до того оно возмужало и мало напоминало то нежное, безбородое лицо юнца, какое помнил отец.

Еще минута, и Сережа, осторожно освободившись из объятий матери, целовался с отцом и потом с сестрой... У всех на глазах сверкали слезы...

Всем хотелось говорить, и все говорили не то, что хотелось.

— Здесь у нас еще идет чистка, папа. Пойдем лучше в каюту! — проговорил наконец Сережа низким приятным баритоном, бросая быстрый взгляд на костюм Ниты и отводя глаза с довольным выражением.

— Веди куда хочешь, Сережа! — взволнованно отвечал отец.

— Вот наш капитан, папа... Позволь тебе

его представить.

И, не дожидаясь согласия отца, он подвел капитана, пожилого приземистого брюнета, заросшего волосами, и представил его отцу, матери и сестре.

После нескольких минут разговора, в котором капитан очень хвалил молодого лейтенанта, все спустились в кают-компанию. Офицеры, сидевшие там, встали и поклонились. Сережа опять представил своим двух молодых офицеров, в том числе одного с княжеской фамилией.

— Познакомь уж со всеми, Сережа! — проговорил тихо адмирал, заметивши, что сын хотел вести его в каюту.

Все были представлены, и после того Сережа ввел своих в просторную, светлую, щегольски убранную каюту.

— А ведь я тебя, Сережа, не узнал в первую минуту... Так ты изменился... возмужал с тех пор, как мы не видались. Ну-ка, дай я на тебя погляжу.

И с этими словами старик крепко сжал в своей худой, костлявой, но сильной руке мягкую, пухлую холеную руку сына и глядел на

него долгим любовным, полным бесконечной нежности взглядом.

— Экой ты молодец какой! — наконец проговорил он, отводя глаза, и стал разглядывать Сережину каюту.

Высокий, хорошо сложенный, свежий и румяный, с тонкими чертами красивого и умного, слегка загоревшего лица, опущенного светло-русой бородкой, подстриженной помодному, а la Henri IV, молодой человек, недавно только что произведенный в лейтенанты, действительно глядел молодцом и притом имел тот несколько самоуверенный, хлыщеватый и в то же время солидный вид, каким в последнее время стали, по примеру серьезных молодых франтов из светского общества, щеголять и многие моряки молодого поколения, совсем не похожие на прежний средний тип моряка, отличавшийся отсутствием всякого хлыщества, скромностью и даже застенчивостью в обществе и некоторою, словно бы умышленною небрежностью костюма. Дескать, моряку стыдно заниматься такими глупостями, как франтовство!

Молодой Волынцев, напротив, был фран-

товат до мелочей и, видимо, тщательно занимался и своей особой, и своим туалетом.

Щегольской сюртук, сшитый не совсем по форме — длиннее, чем следовало, — сидел на нем как облитой. Стоячие воротники, с загнутыми впереди кончиками, сияли ослепительной белизной, а креповый черный галстук, завязанный от руки морским узлом, был безукоризнен. На ногах были модные остроносые ботинки без каблуков. От бороды и усов, чуть-чуть закрученных кверху, шел тонкий аромат духов. На мизинце одной из рук была красивая бирюза, и золотой браслет — *porte bonheur*[5] — виднелся из-под рукава сорочки.

Сережа походил на сестру, но выражение его лица и карих глаз было совсем не то, что у отца и сестры. И в лице и в глазах Сережи было что-то самоуверенное, жестковатое и холодное. Чувствовалось, что, несмотря на молодость, это человек с характером.

Обрадованный свиданием, Максим Иванович в первые минуты не заметил ни изысканного франтовства, ни самоуверенного, полного апломба, вида Сережи и, оглядев каюту, промолвил:

— Однако и ящиков тут у тебя. Много же ты навез вещей, Сережа.

— Тут еще не все, папа... Еще в ахтер-люке есть.

— Куда столько?..

— И для вас, и для себя...

— Но ведь это денег стоит, и больших... Или ты, голубчик, себе во всем отказывал, чтобы навезти столько?..

Сережа чуть-чуть покраснел и торопливо проговорил:

— На все хватало, папа... А для тебя, Нита, есть и крепоны китайские для нарядных платьев, и веера, и бразильские мушки для серег, и хорошие изумруды для браслета... Хочешь посмотреть?

— Не надо, потом, потом... Нам хочется на тебя поглядеть, Сережа. Спасибо тебе, но только зачем мне. Я ведь не выезжаю.

— Она у нас домоседка, Ниточка! — вставил отец. — Все больше за книжками сидит.

— Напрасно. Ты стала такая хорошенькая, что могла бы выезжать и сделать хорошую партию! — смеясь проговорил Сережа.

Нита вспыхнула. Этот тон не нравился ей.

Поморщился и адмирал.

— Ну, ну, не сердись, Нита... Хочешь быть монашкой и ученой — твоя княжая воля.

И он обнял сестру.

Анна Васильевна не сводила глаз с Сережи — такой он казался ей красивый и элегантный. Она рассказывала о родных, о знакомых, смеясь говорила, что многие барышни ждут его не дождутся. Сережа весело улыбался и покручивал свои выхоленные усы.

А Максим Иванович слушал, приглядывался и только теперь заметил, какой Сережа франт, и его, старика, особенно неприятно поразил этот браслет на руке сына.

«Точно женщина — браслет носит!» — подумал он. Однако ничего не сказал.

Нита как-то испуганно переводила глаза с отца на брата.

— Ну, а ты, папа, как поживаешь? — спрашивал Сережа.

— Отлично поживаю, как видишь... Ты ведь знаешь, почему я вышел в отставку? — неожиданно спросил старик.

— Знаю, ты писал...

— Но ты тогда ничего мне не ответил...

— Что ж было писать? — уклончиво проговорил Сережа.

— Как что? Я ждал, что ты одобришь мое решение.

— Извини, папа, но я очень сожалел, что ты оставил службу... Ведь флот нуждается в хороших адмиралах...

— Ну, положим, нуждается...

Нита затаила дыхание. Она знала, что брат не одобрял решения отца и в письме к ней называл выход его в отставку «мальчишеством», тогда как она гордилась поступком отца.

— А если нуждается, — продолжал слегка докторальным тоном молодой человек, — то логичнее было бы, мне кажется, не оставлять флота... Извини, папа... Но я высказываю свое мнение, раз ты меня спрашиваешь...

— Конечно, спрашиваю... И нечего тут извиняться... Так ты считаешь, что мне следовало ехать к начальству и просить извинения за то, что я был прав? — спрашивал Максим Иванович, взглядывая на сына и вдруг чувствуя себя словно бы в положении подсудимого.

Вместе с тем старик почувствовал, что сын давно уже произнес свой приговор. Он это видел в снисходительном взгляде Сережи. Он это слышал в тоне его голоса. И прежний юнец Сережа словно бы пропал. Перед ним был основательный, не по летам практический молодой человек, который мог бы поучить его, старика, как надо вести себя.

— Сережа вовсе этого не думает, папочка! Не правда ли, Сережа? — вступилась Нита, как бы давая понять брату, что следует ему отвечать.

Сережа не соблаговолил ответить сестре и проговорил, обращаясь к отцу:

— Мне кажется, можно было бы устроить дело и без извинений, если они так были тебе неприятны, что ты из-за них бросил службу, которую любишь... В таких случаях всегда есть посредники, которые улаживают недоразумения... Но ты, папа, погорячился... Ты действовал под влиянием чувства, конечно, благородного, но из-за этого флот лишился превосходного адмирала! — прибавил Сережа.

Старик попробовал было улыбнуться, но улыбка вышла какая-то кислая. Однако он

промолвил:

— Ты, может быть, и прав, мой милый... Даже наверное прав... Мы, старики, слишком впечатлительны и часто забываем правила житейской мудрости... Но с темпераментом ничего не поделаешь, Сережа... Я вот и вышел в отставку, и флот лишился, как ты говоришь, хорошего адмирала.

— Ты не сердись, папа, что я позволил себе откровенно высказать свое мнение...

— Что ты, Сережа! За что же сердиться? Ты просто благоразумнее меня, вот и все... Ну, рассказывай, голубчик, доволен ли ты службой?.. Полюбил ли море?..

Сережа признался, что моря особенно он не любит, но что служит добросовестно и на хорошем счету у капитана. Два года как он ревизором[6], после того, как прежний ревизор заболел и уехал в Россию.

— Хлопотливая эта обязанность... Напрасно ты согласился принять ее.

— Да, работы много, но раз капитан просил, я не счел возможным отказаться.

Сережа между тем взглянул на часы и подал пуговку электрического звонка.

У порога каюты вытянулся молодой вестовой. По напряженной его физиономии и несколько испуганному взгляду сразу можно было догадаться, что этот белобрысый матросик с голубыми, слегка выкаченными глазами побаивается молодого лейтенанта.

— Узнай, скоро ли завтракать? — сухим и повелительным тоном произнес Сережа.

— Есть, ваше благородие!

Вестовой хотел было уйти.

— Постой! — резко остановил его Сережа.

Вестовой замер на месте и, не моргая, глядел на лейтенанта.

— Скажи буфетчику, чтобы накрыл три лишних прибора... Понял?

— Понял, ваше благородие!

— Ступай!

И этот резкий повелительный тон Сережи резанул ухо отца. Вспомнил он свое отношение к вестовым, вспомнил, какие преданные, славные были у него вестовые, как они бывали коротки с ним и нисколько его не боялись, и спросил сына:

— Давно он у тебя, Сережа?

— С самого начала плавания... А что?

— Нет, я так... Славное у этого матроса лицо... Доволен ты им?

— Ничего... Бестолков только очень! — небрежно кинул Сережа.

— Он из какой губернии?

— А не знаю... Не интересовался, папа... Я, признаться, с матросами не фамилльярничаяю... А то того и гляди забудутся...

— В наше время они не забывались! — проронил адмирал и замолк.

Через несколько минут вестовой, уже в нитяных перчатках, доложил, что завтрак готов.

— Папа, мама, пойдете... Нита!..

Все они пошли в кают-компанию, где в ожидании гостей никто не сел. Адмиральшу и адмирала посадили на почетные места; около них сели капитан, приглашенный на завтрак в кают-компанию, и старший офицер. Сережа сел рядом с сестрой, посадив около нее молодого лейтенанта с княжеским титулом.

Завтрак прошел оживленно. Пили шампанское за благополучное возвращение на родину. Чокались друг с другом, говорили спичи.

От Максима Ивановича, долго на своем веку плававшего и сразу умевшего уловить настроение кают-компаний, не укрылось, что в кают-компаниях на «Витязе» не было той товарищеской связи, которая соединяла бы всех. Он заметил, что штурманские офицеры, доктор и несколько молодых моряков как бы составляют одну партию и не особенно расположены к другим офицерам, в числе которых был и Сережа. Чувствовалось, что отношение к нему далеко не дружеское, не сердечное.

Вскоре после завтрака Волынцевы уехали с крейсера. Им дали, конечно, катер.

Сережа не мог ехать с ними — обязанности ревизора мешали ему, — но он обещал приехать на другой день.

Прощаясь с сестрой, Сережа шепнул ей:

— Понравился тебе, Нита, князь Усольцев? Обрати на него внимание... Он славный малый, и у него двадцать тысяч годового дохода... Я привезу его к вам.

Нита вспыхнула и шепнула:

— Пожалуйста, не привози.

Старый адмирал вернулся в Петербург как будто не особенно веселый.

За обедом он был задумчив и рассеян — не такого Сережу надеялся он встретить!

Зато Анна Васильевна была в восторге и находила, что он совершенство.

— Не правда ли, какой славный Сережа? Как ты его нашел, Максим Иванович? Ты как будто не особенно доволен им? — спрашивала Анна Васильевна, несколько удивленная и огорченная недостаточным, по ее мнению, восхищением отца сыном.

— Что ты, что ты, Анна Васильевна! Конечно, Сережа славный, честный мальчик! — горячо промолвил старик, скрывая от жены и дочери то тяжелое впечатление, которое произвел на него сын при первой встрече и которое мучило теперь старика.

Его любовь к Сереже боролась с этим первым впечатлением. Он хотел во что бы то ни стало обвинить себя в излишней поспешности суждения о сыне. Как отец, он, быть может, слишком требователен, и в глазах его мелкие недостатки приняли большие размеры и многое показалось не в том свете. В самом деле, и эта резкость с вестовым, и это франтовство сына не такие уж преступления,

а его практичность и солидность доказывают только, что Сережа, несмотря на молодость, живет не одним сердцем... Во всяком случае, он честный и хороший молодой человек! Он придет, раскроет свою душу, и тогда отец убедится, что первое впечатление было ложно.

И старик, словно бы утешая себя, продолжал:

— И знаешь ли, Анна Васильевна, мне даже нравится в нем эта уверенность в себе, серьезность и практичность...

— Сережа напускает больше на себя... Во все он не такой практичный, папа! — вступилась Нита.

Адмирал взглянул на дочь ласковым, благодарным взглядом за это противоречие, которое так хотелось ему слышать.

III

Со времени возвращения Сережи прошел месяц, но Сережа не торопился раскрывать своей души перед отцом и вообще избегал высказываться, хотя при случае и не скрывал, что смотрит на многое совсем не так, как отец и Нита. Он, видимо, несколько снисходи-

тельно относился к их взглядам, но споров избегал, несмотря на то, что старик как будто нарочно старался заводить их. Да и дома Сережа оставался недолго во время приездов своих в Петербург. Пообедает или заглянет на час, да и уедет то по делам, то к знакомым, то в театр. И останавливался он не у своих, — хотя для него и приготовлена была прежняя маленькая его комната, — а у своего друга, князя Усольцева, которого Сережа, несмотря на протест сестры, все-таки привез к своим.

Масса подарков Сережи украшала теперь скромную квартиру Волынцевых. Чудные японские вазы, столики, разные китайские вещи из черепахи и слоновой кости стояли в гостиной и в комнате Анны Васильевны. У адмирала в кабинете красовались великолепные китайские шахматы с громадными фигурами, а у Ниты в комоде были китайские и японские материи, веера, страусовые перья и много разных ценных безделок. Такими же роскошными вещами Сережа одарил некоторых знакомых, и, кроме того, кронштадтская его квартира была полна привезенными вещами.

Отец только удивлялся. Он знал, что все эти предметы роскоши стоили больших денег; нельзя было навезти их столько на жалованье. Кроме того, Максима Ивановича поражала и жизнь сына в Петербурге: эти лихачи, эта дружба с князем Усольцевым, завтраки и обеды в ресторанах, театры...

Откуда у него на это деньги?

И аккуратный старик, никогда в жизни не имевший долгов, с ужасом подумал, что сын запутался в долгах.

Не решаясь из деликатности прямо спросить об этом, он как-то стороной завел однажды речь о молодых людях, запутывающихся в долгах, но Сережа, понимая, к чему клонит отец, смеясь, проговорил:

— Успокойся, папа. У меня нет ни копейки долга.

— Откуда ж у тебя деньги? — чуть было не сорвалось у отца, но он удержался и промолчал.

И вдруг адмирал вспомнил, что сын его ревизор. Он хорошо знал, что в последнее время ревизоры и многие капитаны нисколько не стесняются пользоваться незаконными дохо-

дами и даже громко хвастаются этим.

«Господи! Неужели и Сережа?!»

Ужасное подозрение закралось в эту честную седую голову, и выражение страха и страдания исказило черты лица адмирала, когда он остался один в своем кабинете.

«Не может быть! Это неправда!»

Он гнал эти подозрения. Он ни слова не говорил сыну, ожидая, что тот сам объяснит это недоразумение. Быть может, Сережа выиграл крупную сумму в карты — ведь моряки любят поиграть в азартные игры на берегу!

Но Сережа молчал, и подозрения снова назойливо закрадывались в голову старика и терзали его.

И старик нежно целовал ее и говорил:

— Спасибо, спасибо, Ниточка, не надо... Ревматизм, подлец, дает себя знать... Я полежу... А ты иди к матери...

Однажды он возвратился домой совсем убитый. Он только что вернулся из одного ресторана на Васильевском острове, куда ходил читать английские газеты и выпить чашку кофе, и там слышал разговор нескольких молодых моряков об его сыне. Они его не брани-

ли — о нет! — напротив, с одобрениями и завистью говорили, что он «ловкий ревизор», тысяч десять привез из плавания, кроме вещей... Молодец Волынцев! Не зевал!

Точно оплеванный вышел адмирал из ресторана, дошел домой и заперся в кабинете.

«Не может быть... На Сережу клеветают!» — все еще не хотел верить честнейший старик и решил, что надо поговорить с сыном.

Он опровергнет все эти мерзости!.. О, наверное!

И надежда сменялась отчаянием, отчаяние надеждой. Безграничная любовь к Сереже ожесточенно боролась против очевидности.

Но более терпеть он не мог. Надо же, наконец, узнать правду и не подозревать напрасно сына.

И, однако, страх охватывал этого неустрашимого моряка, выдавшего на своем веку немало опасностей, при мысли о подобном объяснении с сыном.

Думал ли он, что ему придется иметь такие объяснения?!

В этот день Сережа обедал дома. Веселый и довольный, он, между прочим, сообщил, что

командир «Витязя» назначается командиром броненосца «Победный» и что он зовет его к себе ревизором.

— И ты согласился? — с какою-то тревогой в голосе спросил старик.

— Разумеется, папа! — ответил Сережа. — Через год «Победный» идет на два года в Средиземное море! — прибавил он.

«И, значит, доходы будут большие», — невольно пронеслось в голове старика.

Когда окончился обед, адмирал как-то смущенно проговорил:

— А ты зайди-ка ко мне в кабинет, Сережа... Хочу тебе показать чертежи нового английского крейсера... интересные... Прелестный будет крейсер...

Нита испуганно взглянула на отца и, заметив его смущение, поняла, что не о чертежах будет речь. И ей стало страшно за отца.

IV

— Присядь, Сережа... Видишь ли... Уж ты извини, голубчик... Никаких чертежей нет... Я так, чтобы, понимаешь ли... мать и сестра... Зачем им знать?.. А мне нужно с тобой поговорить... ты сам поймешь, что очень нужно, и

извинишь отца, что он... в некотором роде...

Адмирал конфузился и говорил бессвязно, видимо не решаясь объяснить сущности дела.

Сережа, напротив, был спокоен и, взглянув ясными, несколько удивленными глазами на отца, сказал:

— Ты, папа, говори прямо... не стесняйся... О чем ты хочешь говорить со мной?

Этот самоуверенный вид и спокойный тон обрадовали старика, и он продолжал:

— Я, конечно, так и думал, что все это подлая ложь... Но меня все-таки, знаешь ли, мучило... Как смеют про тебя говорить...

— Что же про меня говорят, папа?

— Что будто ты был ловким ревизором и привез из плавания десять тысяч...

И адмирал даже рассмеялся.

По красивому, румяному лицу молодого лейтенанта разлилась краска. Но глаза его так же ясно и решительно смотрели на отца, когда он проговорил:

— Это верно, папа. Тысяч восемь я привез!

Адмирал, казалось, не верил своим ушам. Так просто и спокойно проговорил эти слова сын.

— Потому, что был ревизором? — наконец спросил старик упавшим голосом.

— Да, папа. Я делал то, что делают почти все, и должен тебе сказать, что не вижу в этом никакой подлости... Напрасно ты так близко принимаешь это к сердцу, папа. Не возьми я своей части, все пошло бы одному капитану... С какой стати!.. И ведь эти восемь тысяч, которые мне достались, собственно говоря, ни от кого не отняты... Никаких злоупотреблений мы не делали ни с углем, ни с провизией... Все покупали по справочным ценам, которые давали нам консулы... Но эти обычные скидки десяти процентов со счетов, которые практикуются везде, что с ними делать?.. Записывать их на приход по книгам нельзя... Оставлять их поставщикам, что ли? Это было бы совсем глупо... Ну, они и делятся между капитаном и ревизором... И никто не видит в этом ничего предосудительного...

— Но ведь это... воровство!.. Ведь эти скидки должны поступать в казну... Или вы с капитаном этого не понимаете?.. О господи, какие вы непонятливые!.. И ты, сын человека, который в жизни никогда не пользовался ни-

какими скидками, ты тоже не находишь ничего предосудительного?..

— Ты, папа, извини, слишком большой идеалист и требуешь от людей какого-то геройства, и притом ни к чему не нужного. А я смотрю на жизнь несколько иначе... Я не...

— Вижу... Довольно... Мы друг друга не понимаем, — перебил старик, и голос его звучал невыразимую грустью. — Теперь во флоте не понимают даже, что предосудительно и что нет... И даже такие молодые... То-то ты и отставки моей не одобряешь... Ты рассудителен не по летам... И, верно, карьере сделаешь... Иди, иди, Сережа... Нам больше не о чем разговаривать!.. Не говори только об этом сестре... Она тоже не поймет тебя...

Сережа пожал плечами, словно бы удивленный этими ламентациями старика, и вышел из кабинета, а Максим Иванович как-то беспомощно опустил свою седую голову.

Когда Нита принесла чай, Максим Иванович по-прежнему сидел за столом, скорбный и мрачный. Увидав дочь, он попробовал улыбнуться, но улыбка была печальная.

Нита молча обняла старика. Он креп-

ко-крепко прижал ее к своей груди, и слезы блестели на глазах старого адмирала.

Васька

(Рассказ из былой морской жизни)

I

В числе разной живности — трех быков, нескольких баранов, гусей, уток и кур, — привезенной одним жарким ноябрьским днем с берега на русский военный клипер «Казак» накануне его ухода с острова Мадейра для продолжения плавания на Дальний Восток, находилась и одна внушительная, жирная, хорошо откормленная фунчальская свинья с четырьмя поросятами, маленькими, но перешагнувшими, однако, уже возраст свиного младенчества, — когда так вкусны они под хреном или жареные с кашей.

Всем этим «пассажирам», как немедленно прозвали матросы прибывших гостей, был оказан любезный и радушный прием, и их тотчас же разместили по обе стороны бака[7], при самом веселом содействии матросов.

Трех быков, только что поднятых с качав-

шегоя на зыби баркаса на веревках, пропущенных под брюхами, не пришедших еще в себя от воздушного путешествия и громко выражавших свое неудовольствие на морские порядки, привязали у бортов на крепких концах; птицу рассадили по клеткам, а баранов и свинью с семейством поместили в устроенные плотником загородки, весьма просторные и даже комфортабельные. Корма для всех — сена, травы и зерна — было припасено достаточно, — одним словом, моряками были приняты все возможные меры для удобства «пассажиров», которых собирались съесть в непродолжительном времени на длинном переходе, предположенном капитаном. Он хотел идти с Мадейры прямо в Батавию на острове Ява, не заходя, если на клипере все будет благополучно, ни в Рио-Жанейро, ни на мыс Доброй Надежды. Переход предстоял долгий, не менее пятидесяти дней, и потому было взято столько «пассажиров». Быки назначались для матросов, чтобы дать им хоть несколько раз вместо солонины и мясных консервов, из которых варилась горячая пицца, свежего мяса. Остальная живность была запасена для ка-

питанского и кают-компанейского стола, чтобы не весь переход сидеть на консервах. Вдобавок предстояло встретить в океане рождество, и содержатель кают-компания мичман Петровский имел в виду полакомить товарищей и гусем, и окороком, и поросятами — словом, встретить праздник честь честью.

Нечего и говорить, что для сохранения палубы в той умопомрачительной чистоте, какою щеголяют военные суда, не жалели ни подстилок, ни соломы, и старший офицер, немолодой уже лейтенант, влюбленный до помешательства в чистоту и порядок и сокрушавшийся тем, что палуба приняла несоответствующий ей вид деревенского пейзажа, строго-настрого приказывал боцману Якубенкову, чтобы он глядел в оба за благопристойностью скотины и за чистотой их помещений.

— Есть, ваше благородие! — поспешил ответить боцман, который и сам, как невольный ревнитель чистоты и порядка на клипере, не особенно благосклонно относился к «пассажирам», способным изгадить палубу и тем навлечь неудовольствие старшего офице-

ра.

— А не то... смотри у меня, Якубенков! — вдруг воскликнул старший офицер, возвышая голос и напуская на себя свирепый вид.

Окрик этот был так выразителен, что боцман почтительно выкатил свои глаза, точно хотел показать, что отлично смотрит, и вытянулся в ожидании, что будет дальше.

И действительно, после короткой паузы старший офицер, словно бы для вящей убедительности боцмана, резко, отрывисто и внушительно спросил:

— Понял?

Еще бы не понять!

Он отлично понял, этот пожилой, приземистый и широкоплечий боцман, с крепко посаженной большой головой, покрытой щетиной черных заседевших волос, видневшихся из-за сбитой на затылок фуражки без козырька. Давно уже служивший во флоте и видавший всяких начальников, он хорошо знал старшего офицера и по достоинству ценил силу его гневных вспышек.

И боцман невольно повел своим умным черным глазом на красноватую, большую

правую руку лейтенанта, мирно покоящуюся на штанине, и громко, весело и убежденно ответил, слегка выпячивая для большего почтения грудь:

— Понял, ваше благородие!

— Главное, братец, чтобы эти мерзавцы не изгадили нам палубы, — продолжал уже совсем смягченным и как бы конфиденциальным тоном старший офицер, видимо, вполне довольный, что его любимец, дока боцман, отлично его понимает. — Особенно эта свинья с поросятами...

— Самые, можно сказать, неряшливые пассажиры, ваше благородие! — заметил и боцман уже менее официально.

— Не пускать их из хлева. Да у быков подстилки чаще менять.

— Слушаю, ваше благородие!

— И вообще, чтобы и у птиц и у скотины было чисто... Ты кого к ним назначил?

— Артюшкина и Коноплева. Одного к птице, другого к животной, ваше благородие!

— Таких баб-матросов? — удивленно спросил старший офицер.

— Осмелюсь доложить, ваше благородие,

что они негодящие только по флотской части...

— Я и говорю: бабы! Зачем же ты таких назначил? — нетерпеливо перебил лейтенант.

— По той причине, что они привержены к сухопутной работе, ваше благородие!

— Какая ж на судне такая сухопутная работа, по-твоему?

— А самая эта и есть, за животной ходить, ваше благородие! Особенно Коноплев любит всякую животную и будет около нее исправен. Пастухом был и совсем вроде как мужичком остался... Не понимает морской части! — прибавил боцман не без некоторого снисходительного презрения к такому «мужику».

Сам Якубенков после двадцатилетней морской службы и многих плаваний давно и основательно позабыл деревню.

— Ну, ты за них мне ответишь, если что, — решительно произнес старший офицер, отпуская боцмана.

Тот, в свою очередь, позвал на бак Артюшкина и Коноплева и сказал:

— Смотри, чтобы и птицу и животную содержать чисто, во всем параде. Палуба, чтобы

ни боже ни... Малейшая ежели пакость на палубе... — внушительно прибавил боцман.

— Будем стараться, Федос Иваныч! — испуганно промолвил Артюшкин, молодой, полнотелый, чернявый матрос с растерянным выражением на глуповатом лице, в страхе жмуря глаза, точно перед его зубами уже был внушительный жилистый кулак боцмана.

Коноплев ничего не сказал и только улыбался своею широкою добродушною улыбкой, словно бы выражая ею некоторую уверенность в сохранении своих зубов.

Это был неуклюжий, небольшого роста, белобрысый человек лет за тридцать, с большими серыми глазами, рыжеватыми баками и усами, рябоватый и вообще неказистый, совсем не имевший того бравого вида, каким отличаются матросы. Несмотря на то, что Коноплев служил во флоте около восьми лет, он все еще в значительной мере сохранил мужицкую складку и глядел совсем мужиком, только по какому-то недоразумению одетым в форменную матросскую рубаху. Весь он был какой-то нескладный, и все на нем сидело мешковато. Матросской выправки никакой.

И он недаром считался плохим матросом, так называемой бабой, хотя и был старательным и усердным, исполняя обязанности простой рабочей силы. Он добросовестно вместе с другими тянул снасть, ворочал пушки, греб на баркасе, наваливаясь изо всех сил на весло; но на более ответственную и опасную матросскую работу, требующую ловкости, быстроты и отваги, его не назначали.

И он был несказанно рад этому.

Выросший в глухой деревне и любивший кормилицу-землю, как только могут любить мужики, никогда не видавшие не только моря, но даже и озера, он двадцати трех лет от роду был оторван от сохи и сдан, по малому своему росту, в матросы.

И море, и эти диковинные корабли с высокими мачтами с первого же раза поразили и испугали его. Он никак не мог привыкнуть к чуждому ему морю, полному какой-то жуткой таинственности и опасности. Морская служба казалась ему божьим наказанием. Один вид марсовых, бегущих, как кошки, по вантам, крепящих паруса или берущих рифы в свежую погоду, стоя у рей[8], стремительно кача-

ющихся над волнистою водяною бездною, вчуже вселял в этом сухопутном человеке чувство невольного страха и трепета, которого побороть он не мог. Он знал, что малейшая неловкость или неосторожность, и человек сорвется с реи и разmozжит себе голову о палубу или упадет в море. Видывал он такие случаи во время своей службы и только ахал, весь потрясенный. Никогда не полез бы он добровольно на мачту — бог с ней! — и по счастью, его никогда и не посылали туда.

Так Коноплев и не мог привыкнуть к морю. Оно по-прежнему возбуждало в нем страх. Назначенный в кругосветное плавание, он покорился, конечно, судьбе, но нередко скучал, уныло посматривая на седые высокие волны, среди которых, словно между гор, шел, раскачиваясь, небольшой клипер. Вдобавок Коноплев не переносил сильной качки, и, когда во время бурь и непогод клипер «валяло», как щепку, с бока на бок, Коноплев вместе со страхом испытывал приступы морской болезни.

И в такие дни он особенно тосковал по земле, любовно вспоминая свою глухую, за-

брошенную в лесу деревушку, которая была для него милее всего на свете.

Несмотря на то, что Коноплев был плохой матрос и далеко не отличался смелостью, он пользовался общим расположением за свой необыкновенно добродушный и уживчивый нрав. Даже сам боцман Якубенков относился к Коноплеву снисходительно и только в редких случаях «запаливал» ему, словно бы понимая, что не сделать из этого прирожденно-го мужика форменного матроса.

— А ты что, Коноплев, рожу только скалишь? Ай не слышишь, что я приказываю? — спрашивал боцман.

— То-то слышу, Федос Иванович.

— Хочешь, что ли, чтобы зубы у тебя были целы?

— Не сумлевайтесь, будут целы, Федос Иванович!

— Смотри не ошибись.

— Я это дело справлю как следует. Самое это простое дело. Слава богу, за скотинкой хаживал! — любовно и весь оживляясь, говорил Коноплев.

И радостная, широкая улыбка снова растя-

нула его рот до широких вислоухих ушей при мысли о работе, которая хотя отчасти напомнит ему здесь, среди далекого постылого океана, его любимое деревенское дело.

— То-то и я тобой обнадежен. Я так и обсказывал старшему офицеру, что ты по мужицкой части не сдрейфуешь. Смотри не оконфузь меня... Да помните вы оба: ежели да старший офицер заметит у скотины или у птицы какую-нибудь неисправку или повреждение палубы, велит вам обоим всыпать. Знай это, ребята! — закончил боцман добродушно деловым тоном, словно бы передавал самое обыкновенное известие.

— Я буду стараться около птицы... Из всей, значит, силы буду стараться, Федос Иваныч! — снова пролепетал растерянным и упавшим голосом Артюшкин, совсем перепуганный последними словами боцмана.

И в голове молодого матросика — даром что она была не особенно толкова — пробежала мысль о том, что лучше бы иметь дело только с боцманом.

Коноплев снова промолчал.

Судя по его спокойному лицу, мысль о

«всыпке», по-видимому, не беспокоила его. Он был полон уверенности в своих силах и к тому же понимал старшего офицера как человека, который не станет наказывать зря и если, случается, всыпает, то «с рассудком».

II

Коноплев принялся за порученное ему дело с таким увлечением, какого никогда не проявлял в корабельных работах. Те он исполнял хотя и старательно, но совершенно безучастно, с покорностью подневольного человека и с автоматичностью машины. А в эту он вкладывал душу, и потому эта работа казалась ему и приятна и легка.

И сам он переменялся. Обыкновенно скупавший и несколько вялый, он стал вдруг необыкновенно деятелен, весело озабочен около своих «пассажиров» и, казалось, забыл на время и постылость морской службы, и страх перед нелюбимым им океаном. Одним словом, этот неудавшийся матрос ожил, как оживает человек, внезапно нашедший смысл жизни.

С первого же дня, как на «Казачке» были водворены все «пассажиры», Коноплев возбу-

дил общее удивление своим умением обращаться с животными, товарищески любовным к ним отношением и какою-то особенною способностью понимать их и даже разговаривать с ними, точно в нем самом было что-то родственное и близкое животным, которых он пестовал с любовью и лаской. И они, казалось, понимали его, не боялись, слушались и словно бы считали немного своим.

Но особенное изумление матросов вызвано было при первом знакомстве Коноплева с одним беспокойным и сердитым быком.

Это был самый буйный из всех трех, привезенных на клипер. Небольшой, но сильный, черный и косматый, он отчаянно и сердито мычал, когда его, связанного по ногам, поднимали с баркаса на палубу. Не успокоился он и тогда, когда его привязали толстой веревкой к бортовому кольцу и освободили от пут. Он чуть было не боднул возившихся около него и успевших отскочить матросов и продолжал злобно мычать на новоселье. При этом он рвался с веревки, нетерпеливо бил копытами по деревянной настилке и грозно, с налитыми кровью глазами помавал своею ро-

гатою головой.

Он наводил страх. Никто не осмеливался к нему подойти, боясь быть вскинутым на его изогнутые острые рога.

Занятые интересным и редким на судне зрелищем, матросы толпились в почтительном отдалении от сердитого быка и перекидывались на его счет остротами и шутками.

— И сердитый же у нас, братцы, пассажир. Около его теперь и не пройти. Забодает!

— Ходу ему не дадут. Первого зарежут! Не бунтуй на военном судне.

— Видно, в первый раз в море идет, оттого и бунтует.

— Чует, поди, что к нам в щи попадет, сердится.

— В море усмирится.

— Небось его сам боцман не усмирит, потому линьком его не выучишь. Не матрос!

Это замечание вызывает в толпе смех. Не без удовольствия улыбается и боцман, довольный столь лестным о нем мнением.

— И как только Коноплев будет ходить за этим чертом! Страшное это, братцы, дело связаться с таким пассажиром... Будет Конопле-

ву с им хлопот! — участливо заметил кто-то.

И многие пожалели Коноплева. Как бы ему не досталось от сердитого быка!

— Небось не достанется, братцы... Я умираю его! — проговорил вдруг своим спокойным и приветным голосом Коноплев, пробираясь через толпу с другой стороны бака.

Там он только что навестил других двух быков, привязанных отдельно от беспокойного. Они тоже мычали, видимо, еще не освоившись с новым положением, но в их мычании слышались покорные, грустные звуки, похожие на жалобу.

Коноплев гладил их морды, чесал им спины, что-то говорил им тихим, ласковым голосом, указал на корм и скоро их успокоил.

— Он, братцы, сердится, что его с родной стороны взяли, — продолжал Коноплев, проталкиваясь вперед, — тоску свою, значит, по своему месту сердцем оказывает. А бояться его нечего, быка-то. Он — добрая животная, и если ты с им лаской, не забидит...

С этими словами он ровною, спокойною походкой, слегка переваливаясь и не ускоряя шага, направился к бунтующему быку.

Матросы так и ахнули. Все думали, что Коноплеву будет беда. Никто не ожидал, что такой трусливый по флотской части матрос решится идти к бешеному зверю.

Боцман Якубенков испуганно крикнул:

— Назад! На рога, что ли, хочешь, дурья твоя башка!

Но Коноплев уже вступил на широкую деревянную настилку, на которой головой к нему стоял зверь, готовый, по-видимому, принять на рога непрошеного гостя.

Глядя прямо быку в глаза, Коноплев подошел к нему и фамильярно стал трепать его по морде и тихо и ласково говорил, точно перед ним был человек:

— А ты, голубчик, не бунтуй. Не бунтуй, братец ты мой. Нехорошо... Всякому своя доля... Ничего не поделаешь... Всё, братец ты мой, от господа бога... И человеку, и зверю...

Видимо озадаченный, бык мгновенно притих, точно загипнотизированный. Склонив голову, он позволил себя ласкать, словно бы в этой ласке и в этом доброжелательном голосе вспоминал что-то обычное, знакомое.

И Коноплев, продолжая говорить все те же

слова, чесал быка за ухом, под горлом, и бык не противился и только мордой обнюхивал Коноплева, как будто решил ближе с ним познакомиться.

Тогда Коноплев захватил пук свежей травы, лежавшей в углу, вблизи сена, на настилке, и поднес ее быку.

Сперва бык нерешительно покосился на траву, жадно раздувая ноздри. Но затем осторожно взял ее, касаясь шершавым языком руки Коноплева, и медленно стал жевать, подсапывая носом.

— Небось скусная родимая травка! Ешь на здоровье. Тут и еще она есть... и сенца есть... Кантуй на здоровье. Ужо напою тебя, а завтра свежего корма принесу... А пока что прощай... Так-то оно лучше, ежели не бунтовать... Ничего не поделаешь!

И, потрепав на прощание начинающего успокоиваться быка, Коноплев отошел от него и, обратившись к изумленной толпе матросов, проговорил:

— А вы, братцы, не мешайте ему, не стойте у его на глазах... дайте ему вовсе в понятие войти... Тоже зверь, а небось понимает, еже-

ли над им смеются...

И матросы послушно разошлись, вполне доверяя словам Коноплева.

А он пошел от быка к другим «пассажирам». Побывал у сбившихся в кучу баранов, заглянул в загородку на свинью с поросятами, перетрогал и осмотрел их всех, несмотря на сердитое хрюканье матери, и почему-то особенно ласково погладил одного из них. К вечеру он снова обошел всю свою команду и всем поставил воды, пожелав спокойной ночи.

В эту ночь он и сам лег спать веселый и довольный, что у него есть дело, напоминающее деревню.

Еще только что начинало рассветать; на востоке занималась розовато-золотистая заря и звезды еще слабо мигали на небе, как Коноплев уже встал и, пробираясь между спящими матросами, вышел наверх и принялся убирать стойла и загородки. Проснувшиеся «пассажиры» встречали его как знакомого человека и протягивали к его руке морды. Он трепал их и говорил, что сейчас принесет свежего корма, только вот управится.

И, тщательно вычистив все «пассажирские» помещения, стал носить сено и траву, заготовленное еще накануне для свиней мессиво и свежую воду. И у всех он стоял, посматривая, как они принимаются за еду, и наблюдая, чтобы все ели.

— А ты не забижай других! — говорил он среди баранов, заметив, что одного молодого барашка не подпускают к траве другие. — Всем хватит. Малыша не тесни.

И отгонял других, чтобы дать корму обиженному.

Когда ранним утром подняли команду и началась обычная утренняя чистка клипера, а старший офицер уже носился по всему судну, заглядывая во все уголки, у Коноплева все было готово и в порядке. Он был при своих «пассажирах» и энергично заступался за них, когда матросы, окачивающие палубу, направляли на них брандспойт, чтобы потешиться. Заступался и сердился, объясняя, что «животная» этого не любит, и даже обругал одного молодого матроса, который пустил-таки струю в баранов, которые заметались в ужасе.

Убедившись, что палуба не загажена и что

и у скотины и у птицы все чисто и в порядке, старший офицер, по-видимому, снисходительнее посмотрел на присутствие многочисленных «пассажиров» (к тому же он любил и покушать) и без раздражения слушал бляение, хрюканье, гоготанье гусей и уток и пение петухов.

Остановившись с разбега на баке, где боцман Якубенков с раннего утра оглашал воздух ругательными импровизациями, «подбадривая» этим, как он говорил, матросов для того, чтобы они веселее работали, старший офицер взглянул на черного быка, смиренно жевавшего сено, взглянул на настилку, блестящую чистотой, и проговорил, обращаясь к Коноплеву:

— Чтобы всегда так было.

— Есть, ваше благородие!

— Старайся.

— Слушаю-с, ваше благородие!

— Ты, говорят, вчера этого бешеного быка усмирил? Не побоялся?

— Он и так был смирный... Тосковал только, ваше благородие! — застенчиво, вяло и боязливо отвечал Коноплев, как-то неловко

прикладывая пятерню пальцев к своему лобастому, вислоухому лицу.

Старший офицер, сам бравый моряк и любивший в матросах молодецкую выправку, пренебрежительно повел глазом на переминающуюся с ноги на ногу неуклюжую, мешковатую, совсем не ладную фигуру Коноплева и, словно бы удивляясь, что этот «баба-матрос» вчера не побоялся свирепого быка, возбуждавшего беспокойство и в нем, старшем офицере, пожал плечами и понесся далее.

После подъема флага «Казак» снялся с якоря и под всеми парусами полетел от Мадейры в открытый океан, направляясь к югу, к благодатному пассату.

III

Чем привлек к себе Коноплева этот белый короткошерстый, с черными подпалинами, боровок, с маленькими, конечно, глазками, но бойкими и смышлеными и с тупою розовою мордочкой, — объяснить было бы трудно и почти невозможно, если только не принять во внимание того, что симпатии как к людям, так и к животным зарождаются иногда внезапно.

Впрочем, возможно было допустить и более тонкое объяснение, которое и подтвердилось впоследствии, а именно, что Коноплев, как бывший в юности свинопас и тонкий знаток свинной породы, с первого же взгляда, подобно редким педагогам, провидел в белом боровке редкие способности и талантливость, невидимые для простых смертных, и потому почтил его особым вниманием.

А между тем, по-видимому, он ничем не отличался от остальных своих трех черных братцев, кроме белого цвета шерсти да разве еще тем едва ли похвальным качеством, что в момент водворения на клипере визжал громче, пронзительнее и невыносимее остальных, возбуждая и без того возбужденную мать. Она и так была взволнована, эта толстая и видная черная свинья, и недоумевающе, с недовольным похрюкиванием, прислушивалась и к дьявольскому реву черного быка, и к бляению баранов, и к гоготанью гусей, и к свисткам и окрикам боцмана — словом, ко всему этому аду кромешному и ничего не видя из-за своей загородки, решительно не понимала, что такое кругом творится и

как это она, еще недавно спокойно и беззаботно гулявшая среди полной тишины грязного двора, в тени широколистных деревьев, очутилась вдруг здесь, в совершенно незнакомом и не особенно просторном месте и где, вдобавок, нет ни грязи, в которой можно поваляться, ни сорной ямы, в которой такие вкусные апельсиновые корки.

А тут еще этот болван визжит, словно полоумный, усложняя только и без того скверное положение и раздражая материнские нервы.

Хотя эта хавронья и была вообще недурная мать, но, несмотря на иностранное свое происхождение, не имела или, быть может, не разделяла разумных педагогических взглядов на дело воспитания и потому, без всякого предупредительного хрюкания, довольно чувствительно-таки куснула неугомонного сына за ляжку, словно бы желая этим сказать: «Замолчи, дурак! И без тебя тошно!»

Награжденный кличкой «дурака», как нередко и свиньи награждают умных детей, боровок, казалось, понял, чего от него требует раздраженная маменька.

Хотя он и взвизгнул так отчаянно, что проходивший мимо старший офицер поморщился, словно от сильнейшей зубной боли, и бросился от матери в дальний угол, но затем визжал уже тише, с передышками, больше от досады, чем от боли, и скоро совсем перестал, увлеченный братьями в какую-то игру.

Все это, казалось бы, еще не давало ему особых прав на предпочтительное внимание, особенно со стороны такого нелюдимого человека, как Коноплев, тем не менее при первом же знакомстве Коноплев отнесся к этому белому боровку несколько иначе, чем к другим.

Подняв его за шиворот и осмотрев его мордочку, он ласково потрепал его по спине и назвал «башковатым», хотя «башковатый» в ответ на ласку и визжал, словно совсем глупый поросенок, вообразивший, что его сейчас зарежут.

— Не ори, беленький. Еще до рождества тебе отсрочка! — произнес, ставя боровка на соломенную подстилку, Коноплев.

В успокоительном тоне его голоса звучала, однако, и нотка сожаления к ожидающей бо-

ровка судьбе: быть зажаренным и съеденным господами офицерами.

В этом не могло быть ни малейшего сомнения.

— А смышленный, должно быть, боровак! — словно бы для себя проговорил, уходя, Коноплев.

И в ту же минуту в голове его промелькнула какая-то мысль, заставившая его улыбнуться и проговорить вслух:

— А важная вышла бы штука... То-то ребята бы посмеялись!..

Мысль эта, по-видимому, недолго занимала Коноплева, потому что он тотчас же безнадежно махнул рукой и произнес:

— Съедят... Им только бы брюхо тешить!

Как бы то ни было, какие бы мысли ни пробежали в голове Коноплева насчет будущей судьбы боровак и насчет людей, способных только тешить брюхо, но дело только в том, что не прошло и недели, как белый боровак был удостоен кличкой «Васьки», сделался фаворитом Коноплева и при приближении своего пестуна поднимал вверх мордочку и пробовал, хотя и не всегда удачно, стать на

задние лапы, ожидая подачи. Но Коноплев был справедлив и не особенно отличал своего любимца, не желая обижать остальных, хотя те и не обнаруживали той смышленности, какую показывал Васька. Давал он им пищу всем одинаковую и обильную, обнаруживая свое тайное предпочтение Ваське только тем, что чаще ласкал его, иногда выводил из загорожки и позволял побегать по палубе и поглазеть на окружающее, хотя Васька и замечал только то, что у него было под носом.

Все эти преимущества не могли, конечно, обидеть других поросят, раз их не обделяли кормом, а, напротив, по приказанию содержания кают-компаний, румяного и жизнерадостного мичмана Петровского, с коварной целью кормили до отвала. Ешь сколько хочешь!

И они все вместе с маменькой полнели не по дням, а по часам и решительно не думали о чем-нибудь другом, кроме еды, и на Коноплева смотрели только как на человека, приносившего им вдоволь и месива, и остатков от кают-компанейского стола, и апельсиновых корок.

А Васька, казалось, питал и некоторые другие чувства к Коноплеву и имел более возвышенные понятия о цели своего существования. С достойным для боровка упорством старался он стать на задние лапы, при появлении Коноплева откликался на свою кличку и радостно ложился на спину, когда Коноплев растопыривал свои пальцы, чтобы почесать брюшко своего фаворита, — словом, показывал видимое расположение к Коноплеву и как бы свидетельствовал, что может быть годным не для одного только рождественского лакомства офицеров, а кое для чего менее преходящего и полезного как для себя, так и для других.

Заметил это и Коноплев и, снова занятый прежней мыслью, стал часто выводить его из загородки, заставлял бегать, отрывая нередко от вкусных яств, и однажды даже сам заставил его стать на задние лапы, причем на морду положил кусочек сахара. Опыт если и не вполне удался, но показал, что Васька не лишен сообразительности и при поддержке может стоять на задних лапах и держать на носу сахар...

Это обстоятельство привело Коноплева в восторг и доставило Ваське немало ласковых эпитетов и немало ласковых трепков и в то же время вызвало в Коноплеве какое-то твердое решение и вместе с тем смутную, радостную надежду.

С следующего же дня Коноплев перестал спать после обеда, и как только боцман Якубенков вскрикивал после свистка в дудку: «Отдыхать!» — Коноплев шел за Васькой и уносил его вниз, на кубрик, подальше от людских глаз. Там в укромном местечке пустого матросского помещения (матросы все спали наверху) он проводил положенный для отдыха час глаз на глаз со своим любимцем, окружая занятия с ним какою-то таинственностью.

После этих занятий Васька обыкновенно получал кусок сахара, до которого был большой охотник, и, напутствуемый похвалами своей «башковатости», иногда несколько утомленный, но все-таки веселый, водворялся в загородке, в которой, как колода, валялась разжиревшая мать и с трудом передвигали ноги закормленные поросята.

Кроме того, по ранним утрам, когда старший офицер еще спал, и по вечерам Коноплев выводил Ваську на палубу и заставлял его бегать, гоняясь за ним или пугая его линьком. Эти прогулки не особенно нравились Ваське и, видимо, утомляли, но зато Коноплев был доволен, видя, что Васька совсем не зажирел и перед своими братьями казался совсем тощим боровком.

И когда однажды мичман, заведующий кают-компанейским столом, заглянув в загородку, спросил Коноплева:

— Что это значит? Все поросята как следует откормлены, а этот белый совсем тощий?

То Коноплев с самым серьезным видом ответил:

— Совсем нестоящий боровок, ваше благородие!

— Почему нестоящий?

— В тело не входит, ваше благородие. Во все без жира... И для пищи не должно быть вкусной...

— Что ж он, не ест, что ли?

— Плохо пищу принимает, ваше благородие.

— Отчего?

— Верно, к морю не способен, ваше благородие...

— Странно... Отчего же другие все жиреют?.. Ты смотри, Коноплев, подкорми его к празднику.

— Слушаю, ваше благородие. Но только, осмелюсь доложить, вряд ли его подкормить как следует к празднику... Разве попозже в тело войдет, ваше благородие!

IV

Между тем время шло.

Северные и южные тропики были пройдены, и клипер уже шел по Индийскому океану, поднимаясь к экватору.

Миновали красные деньки спокойного благодатного плавания в вековечных, ровно дующих пассатах, при чудной погоде, при ослепительном солнце, бирюзовом высоком небе, в этом отливающем синевой, тихо переливающимся ласковым океане, слегка покачивающемся клипер на своей мощной груди.

Снова наступила для моряков жизнь, полная неустанной работы, тревог и опасностей. Приходилось постоянно быть начеку, с напря-

женными нервами. Индийский океан, известный своими бурями и ураганами, принял моряков далеко не ласково с первого же дня вступления «Казака» в его владения и чем дальше, тем становился угрюмее и грознее: «валял» клипер с бока на бок, поддавал в корму и опускал нос среди своих громадных валов с седыми пенящимися вершушками. И маленький «Казак», искусно управляемый моряками, ловко избегал этих валов, то поднимаясь на них, то опускаясь, то проскальзывая между ними, и шел себе вперед да вперед среди пустынного сердитого океана, под небом, покрытым мрачными, клочковатыми облаками, из-за которых иногда вырывалось солнце, заливая блеском серебристые холмы волн.

И ничего кругом, кроме волн и неба.

Почти все это время «Казак» не выходил из рифов[9] и частенько-таки выдерживал штормы под штормовыми парусами[10]. Жесточайшая качка не прекращалась, и на бак часто попадали вершушки волн. Нередко в кают-компании приходилось на обеденный стол накладывать деревянную раму с гнездами, чтобы в сильной качке не каталась посу-

да. Бутылки и графины, завернутые в салфетки, клали плашмя. Вестовые, подавая кушанье, выписывали мыслете, и съесть тарелку супа надо было с большой ловкостью, ни на секунду не забывая законов равновесия. Выдавались и такие штормовые деньки, в которые решительно невозможно было готовить в камбузе (судовой кухне), и матросам и офицерам приходилось довольствоваться сухоедением и с большим нетерпением ожидать конца этого длинного перехода. Уже месяц прошел... Оставалось, при благоприятных условиях, еще столько же.

Большая часть «пассажиров» была уже съедена. Их оставалось немного, и тех спешили уничтожить, так как многие из них не переносили сильной качки и могли издохнуть.

Коноплеву уже не было прежних забот и не на чем было проявить свою деятельность. Не без грустного чувства расставался он с каждым «пассажиром», который назначался на убой, и никогда не присутствовал при таком зрелище. «Пассажиры» редели, и Коноплев, казалось, еще с большею заботливостью и любовью ходил за оставшимися.

Многие только дивились такой заботливости о животных, которых все равно зарежут.

— Чего ты так стараешься о «пассажирах», Коноплев? — спрашивал однажды Артюшкин, в ведомстве которого оставалось всего лишь шесть гусей.

Остальная птица давно была съедена.

— Как же не стараться о животной! Она тоже божья тварь.

— Да ведь много ли ей веку? Сегодня ты примерно ее напоил, накормил, слово ласковое сказал, а завтра ей крышка. Ножом Андреев полоснет.

— Ничего ты себе паренек, Артюшкин, а башкой, братец ты мой, слаб... вот что я тебе скажу... И всякому из нас крышка будет... Кому раньше, кому позже, так разве из-за самого эстого тебя и не корми, и не пои, и дуй тебя по морде, скажем, каждый день?.. Мол, все равно помрет... Еще больше жалеть нужно животную, кою завтра заколют. Пусть хоть день, да хорошо проживет... И вовсе ты глупый человек, Артюшкин... Поди лучше да гусям воды принеси. Ишь шеи вытягивают и гогочут — пить, значит, просят. И ты должен

это понимать и стараться...

— Это они зря кричат...

— Зря? Ты вот, глупый, зря мелешь, а птица умней тебя... Неси им воды, Артюшкин.

Наконец палуба «Казака» почти совсем очистилась от «пассажиров». Оставались только: черный бык, с которым Коноплев давно уже вел дружбу и которого называл почему-то «Тимофеичем», свинья с семейством и шесть гусей. Этих «пассажиров» приберегали к празднику, тем более что все они отлично переносили качку, а пока морякам приходилось довольствоваться солониной и консервами.

Чем ближе подходил праздник, тем озабоченнее и серьезнее становился Коноплев и чаще обглядывал со всех сторон Ваську. Хотя он благодаря особенным заботам своего покровителя и не жирел и был относительно не особенно соблазнительным для убоя, хоть и довольно видным и бойким боровком, а все-таки... неизвестно, какое выйдет ему решение и не пропадут ли втуне все заботы и таинственные уроки?

Такие мысли нередко приходили в послед-

нее время Коноплеву и волновали его.

Тем не менее он по-прежнему занимался со своим любимцем в послеобеденный час в укромном уголке кубрика, заботился об его мочионе и с какою-то особенною нежностью чесал Васькины спину и брюхо и называл ласковыми именами.

И белый боровок, значительно развившийся от общения с таким умным и добрым педагогом, казалось, понимал и ценил заботы и ласку своего наставника и в ответ на ласку благодарно лизал шершавую руку матроса, как бы доказывая, что и свиная порода способна на проявление нежных чувств.

V

Настал сочельник.

Моряки уже плыли на «Казачке» пятьдесят пятый день, не видевши берегов, и приближались к экватору. Еще дней пять-шесть и... Батавия, давно желанный берег.

Океан не беснуется и милостиво катит свои волны, не пугая высотой и сединой вершушек. Ветер легкий, «брамсельный», как говорят моряки, и позволяет нести «Казачку» всю его парусину, и он идет себе узлов по ше-

сти-семи в час. Бирюзовая высь неба подернута белоснежными облачками, и ослепительно жгучее солнце жарит во всю мочь.

И моряки довольны, что придется встретить спокойно праздник, хотя и среди океана, под южным солнцем и при адской жаре, словом, при обстановке, нисколько не напоминающей рождественские праздники на далекой родине, с трескучими морозами и занесенными снегом елями.

Приготовления к празднику начались с раннего утра. Коноплев, встревоженный и беспокойный, еще накануне простился с Тимофеичем ласковыми словами, когда в последний раз ставил ему на ночь воду, — зная, что наутро его убьют.

Он даже нежно прижал свое лицо к морде животного, к которому так привык и за которым так заботливо ухаживал, и быстро отошел от него, проговорив:

— Прощай, Тимофеич... Ничего не поделаешь... Всем придет крышка!

Ранним утром Коноплев нарочно не выходил наверх, чтобы не видеть предсмертных мук быка. Он поднялся наверх уже тогда, ко-

гда команда встала и вместо Тимофеича была лишь одна кровавая лужа. Гуси тоже были заколоты. Оставались живы только четыре боровка. Мать их была зарезана еще два дня тому назад, и окорока уже коптились.

Убирая хлев и задавая корм последним «пассажирам», которых офицерский кок (повар), по усиленной просьбе Коноплева, собирався зарезать попозже, Коноплев был очень взволнован и огорчен и старался не смотреть на своего любимца и ученика, встретившего его, по обыкновению приподнявшись на задние лапы, с нежным похрюкиванием веселого, беззаботного боровка, не подозревающего о страшной близости смертного часа.

Судьба Васьки должна была решиться в восемь часов утра, как только встанет веселый и жизнерадостный мичман Петровский, заведующий хозяйством кают-компании. Но надежды на него были слабы.

По крайней мере, ответ кока, перед которым горячо предстательствовал за Ваську Коноплев еще вчера, обещая, между прочим, пьянице-повару угостить его на берегу в полное удовольствие ромом или аракой (чего

только пожелает), был не особенно утешительный. Кок, правда, обещал не резать поросят, пока не встанет мичман, и похлопотать за боровка, но на успех не надеялся.

— Главная причина, — говорил он, — что надоели господам консервы, и опять же праздник... И мичман хочет отличиться, чтобы обед был на славу и чтобы всего было довольно... На поросят очень все льстятся... Оно точно, ежели с кашей, то очень даже приятно... И какую я ему причину дам насчет твоего Васьки? Правда, забавный боровок... Ловко ты его приучил служить, Коноплев!

— Служить?! Он, братец ты мой, не только служить... Он всякие штуки знает... Я завтра для праздника показал бы, каков Васька... Матросики ахнут! — проговорил Коноплев в защиту Васьки, невольно открывая коку тайну сюрприза, который он готовил. — А ты доложи, что боровок, мол, тощий... Им и трех хватит... слава богу...

— Доложить-то я доложу, только вряд ли...

В это утро Коноплев не раз бегал к коку, напоминая ему об его обещании доложить и суля ему не одну, а целых две бутылки рому

или араки. Наконец перед самым подъемом флага кок сообщил. Коноплеву, что мичман сам придет смотреть боровка и тогда решит.

После подъема флага мичман прошел на бак и, нагнувшись к загородке, где находились боровки, внимательно оглядывал Ваську, решая вопрос: резать его или не резать.

Коноплев замер в ожидании.

Наконец мичман поднял голову и сказал Коноплеву:

— Хоть он и не такой жирный, как другие, а все-таки ничего себе. Зарезать его!

На лице матроса при этих словах появилось такое выражение грусти, что мичман обратил внимание и, смеясь, спросил:

— Ты что это, Коноплев! Жалко тебе, что ли, поросенка?

— Точно так, жалко, ваше благородие! — с подкупающей простотой отвечал Коноплев.

— Почему же жалко? — удивленно задал вопрос офицер.

— Привык к нему, ваше благородие, и он вовсе особенный боровок... Ученый, ваше благородие.

— Как ученый?

— А вот извольте посмотреть, ваше благородие!

С этими словами Коноплев достал Ваську из загородки и сказал:

— Васька! Проси его благородие, чтоб тебя не резали... Служи хорошенько...

И боровок, став на задние лапы, жалобно захрюкал.

Мичман улыбался. Стоявшие вблизи матросы смеялись.

— Васька! Засни!

И боровок тотчас же послушно лег и закрыл глаза.

— Это ты так его обучил?

— Точно так, ваше благородие... Думал, ребят займу на праздник... Он, ваше благородие, многому обучен. Смышленный боровок... Васька! Встань и покажи, как матрос пьян на берегу бывает...

И Васька уморительно стал покачиваться со стороны на сторону.

Впечатление произведено было сильное. И мичман, понявший, какое развлечение доставит скучающим матросам этот забавный боровок, великодушно проговорил:

— Пусть остается жить твой боровок, Коноплев!

— Премного благодарен, ваше благородие! — радостно отвечал Коноплев и приказал Ваське благодарить.

Тот уморительно закачал головою.

VI

Рождество было отпраздновано честь честью на «Казаче».

День стоял роскошный. Томительная жара умерялась дувшим ветерком, и поставленный тент защищал моряков от палящих лучей солнца.

Приодетые, в чистых белых рубашках и штанах, побритые и подстриженные, матросы слушали обедню в походной церковке, устроенной в палубе, стоя плотной толпой сзади капитана и офицеров, бывших в полной парадной форме: в шитых мундирах и в блестящих эполетах. Хор певчих пел отлично, и батюшка по случаю того, что качка была незначительная, не спешил со службою, и матросы, внимательно слушая слова молитв и Евангелие, истово и широко крестились, серьезные и сосредоточенные.

По окончании обеда вся команда была выстроена наверху во фронт, и капитан поздравил матросов с праздником, после чего раздался веселый свист десяти дудок (боцмана и унтер-офицеров), свист, призывающий к водке, который матросы не без остроумия называют «соловьиным». По случаю праздника разрешено было пить по две чарки вместо обычной одной.

После водки все уселись артелями на палубе у больших баков (мис) и в молчании принялись за щи со свежим мясом, уплетая его за обе щеки после надоевшей солонины. За вторым блюдом — пшенной кашей с маслом — пошли разговоры, шутки и смех. Вспоминали о России, о том, как теперь холодно в Кронштадте, весело говорили о скором конце длинного, надоевшего всем перехода, о давно желанном берегу и, между прочим, толковали о боровке, которого так ловко выучил Коноплев, что смягчил сердце мичмана, и дивились Коноплеву, сумевшему так выучить поросенка.

Но никто из матросов и не догадывался, какое доставит им сегодня же удовольствие

Васька, сидевший, пока команда обедала, в новом маленьком хлевушке, устроенном Коноплевым. Ходили слухи, распущенные коком, что Коноплев готовит что-то диковинное, но сам Коноплев на вопросы скромно отмалчивался.

Наконец боцман просвистал команде отдохнуть, и скоро по всему клиперу раздался храп спящих на палубе матросов, и только одни вахтенные бодрствовали, стоя у своих снастей и поглядывая на ласковый океан, на горизонте которого белели паруса попутных судов.

Бодрствовал и Коноплев, озабоченно и весело готовясь к чему-то и проводя послеобеденный час в таинственных занятиях с Васькой на кубрике в полном уединении. По-видимому, эти занятия шли самым удовлетворительным образом, потому что Коноплев очень часто похваливал боровка и высказывал уверенность, что «они не осрамятся».

Тем не менее надо сознаться, что когда до ушей Коноплева донесся свисток боцмана, призывавший матросов вставать, и затем раздалась команда, разрешавшая петь песни и

веселиться, Коноплев испытывал волнение, подобное тому, какое испытывает репетитор, ведущий своего ученика на экзамен, или антрепренер перед дебютом подающего большие надежды артиста.

— Ну, Вась, пойдём...

Взрыв смеха, восторга и удивления раздался среди матросов, когда на баке в сопровождении Коноплева появился боровок Васька, одетый в полный матросский костюм и в матросской шапке, надетой слегка на затылок. По-видимому, Васька вполне понимал торжественность этого момента и шел мелкой трусцой с самым серьезным видом, чуть-чуть повиливая своим куцым хвостиком.

Плотная толпа сбежавшихся матросов тотчас же окружила Коноплева с его учеником и продолжала выражать шумно свое одобрение.

— Ишь ведь выдумал же что, пес тебя ешь! — сочувственно произнес боцман Якубенков, находясь как самый почетный зритель впереди.

— Ну, Вася, потешь матросиков, чтоб они не скучали... Покажи, какой ты у меня ум-

ный...

Предпослав это предисловие, Коноплев начал представление.

Действительно, боровок оказался необыкновенно умным, умевшим делать такие штуки, которые впору были, пожалуй, только собаке.

Он становился на задние лапы, танцевал, перепрыгивал через веревку, носил поноску, «умирал» и «воскресал», показывал, как ходит пьяный матрос, хрюкал по приказанию и, наконец, при восклицании Коноплева: «Боцман идет!» — со всех ног бросался к Коноплеву и прятался между его ногами.

Восторг матросов был неопиcуемый. Это представление было настоящим удовольствием для моряков, скрашивающим однообразие и скуку их тяжелой жизни.

Нечего и говорить, что все номера были повторены бесчисленное число раз, и после этого все считали долгом потрепать Ваську по спине, и все были признательны Коноплеву.

— И как ты это так обучил его, Коноплев? Ай да молодчина... Ай да дошлый...

Но сияющий от торжества своего любимца

Коноплев скромно отклонял от себя похвалы и приписывал все Ваське.

— Он, братцы, башковатый. Страсть какой башковатый! Чему угодно выучится. И не надо ему грозить... Одним добрым словом все понимает!

Когда в кают-компанию донеслась весть о диковинном представлении, Коноплева с Васькой потребовали туда.

И там представление имело такой большой успех, что по окончании все офицеры единогласно объявили, что боровка Ваську дарят команде. И когда старший офицер выразил подозрение насчет благопристойности Васьки, то Коноплев поспешно ответил:

— Обучен, ваше благородие, очень даже обучен, ваше благородие!

Таким образом, разрешилось и это сомнение, и с того дня Васька сделался общим любимцем матросов и во все время плавания доставлял им немало удовольствия.

Когда через три года «Казак» вернулся в Кронштадт, Васька, уже большой боров, по всей справедливости был отдан в собственность Коноплеву.

И судьба матроса изменилась.

Мичман Петровский, уже произведенный в лейтенанты, взял Коноплева в денщики и избавил его от постылого плавания. И Коноплев скоро перебрался с Васькой на квартиру лейтенанта в Кронштадте и зажил вместе со своим любимцем относительно спокойно в ожидании отставки, когда можно будет уйти в свою родную деревушку.

Жрецы

I

Был первый час на исходе славного солнечного морозного декабрьского дня.

В скромно убранной столовой маленького деревянного особнячка, в одном из переулков, прилегающих к Пречистенке, за небольшим столом, умело и опрятно сервированным, друг против друга сидели за завтраком муж и жена: Николай Сергеевич Заречный, тридцатипятилетний красивый брюнет, профессор, лет восемь как подающий большие надежды в ученом мире, и Маргарита Васильевна, изящная блондинка ослепительной белизны, казавшаяся гораздо моложе своих тридцати лет, похожая на англичанку и необыкновенно привлекательная одухотворенным выражением строгой целомудренной красоты своего худощавого, словно выточенного, энергичного лица. Светло-русые волосы были гладко зачесаны назад и собраны в коронку на красиво посаженной, гордо приподнятой голове.

Ткань черного шерстяного лифа обрисовы-

вала стройный стан и тонкую, как у молодой девушки, талию. Воротник белоснежного рюша обрамлял шею. На маленькой тонкой руке одиноко блестело обручальное кольцо.

Профессор весь был поглощен завтраком.

Накануне он вернулся домой поздно и в несколько веселом настроении с какого-то ученого заседания, окончившегося, как водится, ужином в «Эрмитаже» и шумными и горячими разговорами о том, что скверно живет. Встал он в двенадцатом часу и сел завтракать позже обыкновенного. В два часа Николай Сергеевич должен был поспеть в университет и потому, наскоро проглотив рюмку водки, он торопливо и молча принялся за огромный кровяной сочный бифтекс, предварительно облюбовав его глазами, загоревшимися плотоядным огоньком чревоугодника.

Он ел с жадностью человека, любящего покусать, но у которого нет времени свершать культ чревоугодия как бы следовало, не спеша, и громко чавкал среди тишины, царившей в столовой, по временам смолкая, чтобы выпить из большого бокала пива.

Жена почти ничего не ела.

Серьезная и, казалось, сосредоточенная на какой-то мысли, она лениво отхлебывала из маленькой чашки кофе и по временам взглядывала на мужа.

И эти взгляды серых вдумчивых глаз, осененных длинными ресницами, светились не любовью и не лаской, а холодным, внимательным выражением бесстрастного наблюдателя, казалось, не столько взволнованного, сколько заинтересованного любопытным открытием; точно объектом наблюдения молодой женщины был посторонний человек, а не этот, близкий ей по праву, плотный, широкоплечий, здоровый красавец брюнет в своем потертом вицмундире, с крупными и мягкими чертами несколько полноватого и жизнерадостного лица, отливавшего румянцем, с черной как смоль гривой волнистых волос, закинутых небрежно назад и оставляющих открытым высокий большой лоб, несколько полысевший у висков, с кудрявой бородой и пушистыми усами, из-под которых сверкали ослепительно белые зубы.

Заречный был бесспорно хорош, и вся его

крупная фигура невольно обращала на себя внимание. Недаром же на его талантливые публичные лекции всегда собиралось множество дам и девиц, желавших взглянуть на этого чернобрового, румяного красавца профессора, приятный и звучный тенорок которого так ласкал слух.

А между тем лицо его казалось теперь Маргарите Васильевне далеко не таким смелым и умным, с печатью дара божия на челе, каким два года назад и еще недавно, совсем недавно... Она точно смотрела на него другими очами и видела в нем что-то самоуверенное, грубоватое и пошловатое, чего не замечала раньше или, быть может, не хотела замечать.

А теперь ей точно хотелось все распознать в своем муже, и она с каким-то злорадным мужеством смелого человека, наказывающего себя за обманутые ожидания, старалась подметить всякую черту, подтверждавшую ее новое откровение.

Как она наказана за свою уверенность, что хорошо узнает людей. Какой туман тогда на-шел на ее глаза?

И в голове ее невольно пронеслось все то, что было два года тому назад и в эти два года...

Ей было двадцать семь лет, она повидала свет и людей, когда приехала в Россию сперва на холеру, а потом к тетке в Москву из-за границы, где доканчивала свое образование после высших курсов в Петербурге. Она ехала на родину, чтоб осмотреться, добыть себе кусок хлеба и найти интересных и значительных людей, которых она напрасно искала раньше в Петербурге, и в Париже, и в Женеве среди разных кружков. Ухаживателей было много, но особенно интересных, которые заставили бы молодую девушку отдать свою душу и вместе работать, никого. В Москве благодаря тетке она познакомилась с интеллигентными кружками и не нашла своего героя среди многочисленных поклонников, в числе которых был и Заречный. Никто ей не нравился, никто не заставлял сильнее биться ее сердце, никто не отвечал на ее запросы: что делать? как жить?

Она отыскиала себе переводную работу, занялась благотворительною деятельностью,

часто встречалась с Заречным и остановила свое благосклонное внимание на молодом, блестящем профессоре, о котором тогда говорила Москва.

Она не любила его, но он ей казался интереснее, умнее и смелее других. Он так горячо уверял, что души их родственны, так искренне звал на совместную трудовую жизнь и борьбу и вдобавок так сильно любил ее, что она после года колебаний согласилась быть его женой, далеко не увлеченная им, не охваченная страстью. Боязнь остаться старой девой и нажать себе неврастению и страстный темперамент сдержанной и целомудренной натуры немало повлияли на ее решение. Она не обманывала себя иллюзиями безбрачного подвижничества и понимала риск замужества без той любви, о которой мечтала. Но Заречный казался ей вполне порядочным человеком, и, давая ему слово, она добросовестно дала и себе слово сделать его счастливым и быть ему верным другом и помощницей.

И она сдержала свое обещание, и если не любила, то уважала мужа. Он был знающим, талантливым профессором, его любили сту-

денты, он занимался каким-то исследованием, часто в беседах говорил горячие речи о долге общественного человека, и в эти два года никакая серьезная размолвка не нарушала их счастья. Он по-прежнему безумно любил свою Риту, она охотно позволяла себя любить. Они, казалось, понимали друг друга и были одной веры, и Маргарита Васильевна прощала мужу и его лень и его недостатки, казавшиеся ей неважными в сравнении с его достоинствами.

Маргарита Васильевна окончила кофе, отодвинула чашку и снова взглянула на мужа.

«Как он противно ест, совсем как животное!» — мысленно проговорила она и как-то брезгливо поджала свои тонкие губы.

Она переводила взгляд и подвергала беспощадной критике и жадное чавканье мужа, и его довольное лицо, и его вицмундир, и сбившийся набок узкий черный галстук, и красноватые пухлые руки с лопатообразными плоскими пальцами и не совсем опрятными ногтями, и его сочные, чувственные губы.

И вдруг краска прилила к ее лицу и покрыла румянцем нежную белую кожу ее щек.

Она вспомнила, что еще несколько часов тому назад эти самые сочные губы, от которых пахло вином, грубо и властно целовали ее уста. И она не сопротивилась, и сама отдавалась этой ласке.

При этом воспоминании молодую женщину охватило чувство стыда, негодования и злобы против мужа, и она продолжала с еще большею беспощадностью развенчивать его. Он был в ее глазах грубый, чувственный человек, не способный тонко чувствовать. Он не убежденный человек, каким высокомерно себя считает, а такой же фразер, как и многие другие. Для него, в сущности, дорого только свое «я» и собственное благополучие. Он — тщеславный, лживый и самолюбивый эгоист, умеющий прикрываться блеском фразы.

Николай Сергеевич окончил свой завтрак, посмотрел на часы и потом на жену. Взоры их встретились. В его глазах, добродушных и веселых, светилась такая преданная любовь, такая нежность, что Маргарита Васильевна была обезоружена, и взгляд ее невольно смяг-

чился.

А Николай Сергеевич между тем не без горячности воскликнул, удовлетворенно отодвигая от себя пустую тарелку:

— А у нас черт знает что творится, Рита. Вчера мы долго об этом говорили за ужином...

— Вы только и делаете, что говорите да ужинаете! — промолвила она с нескрывае-мой насмешкой. — В этом, кажется, и проявляется вся ваша смелость.

Заречный удивленно посмотрел на жену. Таких речей он никогда не слышал от нее.

И, оскорбленный в своем самолюбии, проговорил не без иронической нотки в голосе:

— А что же ты нам прикажешь делать, Рита?

— Разве вы сами, жрецы науки, не додумались? — так же иронически переспросила молодая женщина.

— Я не понимаю, что ты хочешь сказать.

— Я хочу сказать, что недостойно взрослых людей болтать за ужинами, повторяя одни и те же жалостные слова.

— Ты, Рита, не думаешь, что говоришь!.. — воскликнул он порывисто. — Разве я сделал

что-нибудь такое, за что можно краснеть? Разве я принимаю какое-нибудь участие в том, что у нас творится?..

— Этого только не доставало, чтоб ты принимал участие!.. Тогда... тогда...

Она на секунду запнулась.

— Что тогда?..

— Я давно бы оставила тебя.

— Без всякого сожаления? — спросил профессор.

— Без малейшего! — проронила молодая женщина.

.....

Он ушел, взволнованный и огорченный.

Прошла легкой, грациозной походкой и Маргарита Васильевна в свой кабинет, чистенький, со светлыми обоями и камельком, в котором слегка шипели угли.

Небольшой письменный стол в углу, два большие шкапа с книгами, хорошая литография мурильевской мадонны, несколько портретов любимых писателей, иностранных и русских, цветы на окнах с белоснежными занавесками, маленькая оттоманка, два кресла, этажерка с букетиком искусственных париж-

ских цветов — все это имело уютный вид гнездышка, свитого женской умелой рукой, и в то же время свидетельствовало о серьезных занятиях хозяйки.

Она присела на оттоманку и задумалась, вспоминая только что бывшее объяснение. Она не отказывалась от своего мнения о муже, но она почувствовала жалость к нему и признавала себя виноватой перед ним.

Зачем она вышла за него замуж? Зачем?

И он так безумно любит ее, а она теперь едва его выносит. Не потому ли она так беспощадна к нему, что не любит мужа и никого еще не любила?

А может быть, он и искренне убежден в том, что оставаться среди нечестивых — подвиг, а не трусость? Он так горячо говорил.

— Нет... Это ложь, ложь! — прошептала она.

Как же ей поступить? Оставить его, и чем скорее, тем лучше?

Она испугалась пришедшей вслед за тем мысли. Он ведь говорил, что не может жить без нее. И пожалуй, сдержит слово. Имеет ли она право губить чужую жизнь?

И молодую женщину снова охватила жалость к человеку, который так ее любит и в любви которого виновата и она. Будущее казалось ей безнадежным. Никого близкого, с кем можно бы поговорить.

— Одна... одна... Всегда одна! — тоскливо проронила она...

И слезы незаметно катились из ее глаз.

В третьем часу Маргарита Васильевна, по обыкновению, собралась навестить свой участок по делам попечительства и потом заехать к Аглае Петровне Аносовой, богатой интеллигентной купчихе, поговорить об одном деле, которое с недавнего времени занимало ее мысли, и привлечь ее к задуманному предприятию. Она охотно жертвовала на разные полезные дела, и Маргарита Васильевна почти не сомневалась в том, что Аносова, узнавши подробный план, не откажется помочь этому делу.

Настроение, в каком находилась Маргарита Васильевна, побуждало ее ехать сегодня же к Аносовой. Заречная хоть и не была с ней знакома, но несколько раз встречалась с ней

и знала ее по репутации. Наверное, она не удивится цели ее посещения. Она женщина умная, понимает людей и не станет вилять, а скажет прямо. Таким образом, можно сегодня же узнать: устроится ли скоро дело, которое Маргарита Васильевна считала серьезным и стоящим, чтоб ему посвятить свои силы.

Переводная и компилятивная работа не удовлетворяла молодую женщину, и вдобавок приходилось переводить иногда глупости, а то, что ей нравилось, редактор часто не одобрял, ссылаясь на времена и на разные циркуляры.

Не удовлетворяла ее и та благотворительная деятельность, которой она усердно отдавалась, имея много свободного времени и посещая разные подвалы и трущобы, где знакомилась с нищетой в разных ее проявлениях, сознавая, что не помочь грошовыми подачками несчастным людям.

Ей хотелось какого-нибудь большого, хотя бы и благотворительного дела, уж если женщине заказаны другие пути...

Она уже надевала принесенную ей в кабинет каракулеву шапочку, когда до ее ушей

долетел звук электрического звонка, и вслед за тем вошла молодая горничная Катя и доложила:

— Прикажете принимать? Я сказала, что вы собираетесь уходить, а господин сказал, что он на минутку... Вот и карточка ихняя! — прибавила она, подавая карточку.

Маргарита Васильевна взглянула на карточку и чуть не вскрикнула от изумления:

— Принимать, принимать! Просите сюда, ко мне, Катя.

И молодая женщина торопливо сняла шапочку и перчатки, взглянула на себя в зеркало, оправила волосы и опустилась на оттоманку, ожидая с радостным чувством нежданного гостя, Василия Васильевича Невзгодина, самого близкого ее московского приятеля и когда-то преданного и любящего поклонника, влюбленного в нее по уши, делавшего ей два раза предложение и скрывшегося за границу, как только она дала слово Заречному.

Она предпочла блестящего профессора этому милому, но беспутному малому с неустановившимися взглядами, без определенной

профессии, с злым языком и добрейшим сердцем, который, вдобавок, был на три года моложе ее и казался ей больше товарищем, чем претендентом.

С тех пор Невзгодин не подавал о себе никаких вестей, точно канул в воду.

Маргарита Васильевна о нем справлялась и получила известие, что он в Париже серьезно занимался химией. Затем недавно до нее дошел слух, будто бы Невзгодин написал повесть, которая скоро появится в одном из толстых журналов.

II

— Здравствуйте, Маргарита Васильевна! Не пугайтесь, я не задержу вас... Вы собирались куда-то уходить... Только взгляну на вас и исчезну!

Голос Невзгодина звучал весело и радостно, и в этом голосе было что-то располагающее и искреннее.

Он крепко, по-товарищески, пожал Маргарите Васильевне руку и, улыбаясь, прибавил:

— Я объевропеился и совлек с себя московский халат. Не буду мешать вам... В самом деле, уезжайте... Я как-нибудь в другой раз за-

верну. Скажите только, как поживаете? Надеюсь, хорошо?

— Садитесь, Василий Васильич... Я так рада вас видеть, что с большим удовольствием останусь дома, — говорила Маргарита Васильевна, ласково оглядывая Невзгодина. — А в самом деле, вы объевропеились, как говорите... Стали франтом... В вас и не узнать прежнего богему на московский лад.

— Отрицавшего приличный костюм и носившего русские рубашки? — прибавил Невзгодин. — У нас, в Париже, нельзя, как вы знаете, отрицать такое видимое отличие цивилизованного человека от мизерабля...[11] Никуда не пустят... Ну, я и приучился иметь про всякий случай новый редингот и стричь волосы, чтобы не пугать парижских гаменов...[12] Хоть к самой генеральше Дергачевой с визитом. Помните, как она делила людей по костюму на приличных и «мовежанрных»[13], как она выражалась?

Действительно, модный редингот с бархатным воротником и шелковыми отворотами сидел отлично на Невзгодине. Широкий галстух, стоячие воротники белоснежной белиз-

ны, модный цилиндр, ботинки с широкими носками — одним словом, все как следует, чтобы иметь вид вполне приличного джентльмена.

И сам он, невысокий, сухощавый и стройный, с тонкими чертами живого, беспокойного лица, бледного и болезненного, с карими, острыми и смеющимися глазами, глядел изящным интеллигентом, в котором чувствуется и ум, и тонкость деликатной натуры, и темперамент. Каштановые волосы стояли «ежиком» на кругловатой голове с большим открытым лбом, рыжеватого оттенка борода подстрижена, маленькие усики прикрывали тонкие, несколько искривленные губы, придававшие физиономии Невзгодина саркастический вид. В общем что-то мефистофельское и в то же время располагающее.

— Вас не только к генеральше Дергачевой, а в самый первый салон можно повести, Василий Васильевич. Какая разница с тем невозможным, который был на холере.

Они познакомились во время холеры в Саратовской губернии. Маргарита Васильевна приехала туда из Парижа, а Невзгодин из

Москвы.

— В костюме разве... А я все такой же, каким был и тогда... Подучился только за два года да больше опыта понабрался.

— Еще бы... Ну, рассказывайте о себе. Давно приехали?

— Сегодня...

— И надолго?

— А не знаю... Как поживется. Подыщется ли подходящая... работа. Ведь я, как знаете, из бродяг... Люблю новые впечатления.

— Что же вы делали в Париже?

— Учился, получил диплом, гулял по бульварам, давал уроки русского языка взрослым французам и французского маленьким соотечественникам. Много читал, ну и...

— И что?

— Случалось, покучивал...

— В веселой компании, конечно?

— Хуже: один... в минуты хандры, знаете ли, русской хандры, нападающей на человека, желающего поймать луну и сомневающегося в такой возможности...

— Говорят, вы и повесть написали?

— И в этом грешен, Маргарита Васильевна.

Написал, и даже целых три. Решился послать только одну... Кроме того, два мемуара по химии напечатал во французском журнале.

— Вот вы какой усердный стали... А как называется ваша повесть?

— «Тоска»...

— «Тоска»?.. Какое странное название... Тоска по ком-нибудь?

— Об этаких пустяках не стоит писать! — усмехнулся Невзгодин. — Я люблю, ты любишь, он любит... Вариации на тему об Адаме и Еве... Скучно!

Маргарите Васильевне почему-то неприятен был этот шутливый тон.

«Как он скоро излечился от своей любви. А как тогда говорил!» — пронеслось у нее в голове.

— Так, значит, в вашей повести тоска по чем-нибудь?

— Да... Вот скоро прочтете... Обещали в январе напечатать.

— А раньше... У вас нет разве копии с оригинала?

— Есть. Я несколько раз переписывал рукопись.

— Так прочитайте, пожалуйста. Мне очень интересно будет прослушать.

— Извольте... Только, надеюсь, вы не устроите литературного вечера?

— Я буду единственной слушательницей. Ну, а еще что было за эти два года?

— Я женился.

— Вы? — удивленно спросила Маргарита Васильевна и, казалось, не была довольна этим известием.

— Родить детей ума кому не доставало? — засмеялся Невзгодин. — Впрочем, у меня нет их.

— Когда же вы женились?

— Год тому назад...

— И жена с вами приехала?

— Нет, осталась за границей. Мы через шесть месяцев после свадьбы разошлись с ней!

— И вы так спокойно об этом говорите?

— Недостаточно радуюсь, вы думаете, Маргарита Васильевна, что впредь не так-то легко могу повторить эту глупость?..

— Зачем же вы тогда женились?

— Зачем люди, и в особенности русские,

иногда совершают необъяснимые никакой логикой поступки?.. Мне думается, что я женился по той же причине, по которой покучивал... Хотел переменить положение... посмотреть, что из этого выйдет... Ну, и не вышло ничего, кроме отчаянной и еще большей скуки жить с человеком, с которым у вас так же мало общего, как с китайцем...

— Вы разве раньше этого не видели? Или настолько влюбились, что были ослеплены? Она, верно, француженка? — допрашивала Маргарита Васильевна с жадным любопытством человека, положение которого отчасти напоминает положение другого.

— Чистейшая русская и даже москвичка. По правде говоря, я даже не был настолько влюблен, чтобы быть в ошалелом состоянии. И не скрывал этого. Да и она, кажется, была в таком же точно положении и вышла за меня больше для удобства иметь мужа и не жить одной в меблированных комнатах... Ну, и притом вдова, тридцать лет... Учится медицине, оканчивает курс и скоро приедет сюда. Очень дельная и по-своему неглупая женщина... Наверное, сделает карьеру и будет иметь

хорошую практику.

— И хороша?

— Очень... Знаете ли, тип римской матроны, строгой и несколько величественной, гордой своими добродетелями, с предрассудками, прямолинейностью и некоторой скарденностью дамы купеческой закваски и горячим темпераментом долго вдовевшей здоровой особы. Непокойная богема по натуре, как я, и такая непреклонная, строгая поклонница умеренности, аккуратности и накопления богатств по сантимам. Что получилось в результате от такого соединения? Месяц-другой скотоподобного счастья, и затем взаимная неприязнь друг к другу... ряд раздраженных колкостей и насмешек — с одной стороны, и строгих, принципиальных и методичных нотаций — с другой, с прибавкой подчас обвинений ревнивого характера, если я не был в нашей квартирке в одиннадцать часов вечера... А я, признаться, редко приходил к сроку... Ну, и в один прекрасный день за утренним кофе мы откровенно сознались, что оба сделали глупость и только мешаем друг другу готовиться к экзаменам, и порешили разой-

тись в ближайшее воскресенье, когда жена могла не идти в клинику. Разошлись мы по-хорошему, без сцен и без упреков, — словом, без всяких драматических осложнений... Напротив. Она простерла свою внимательность до того, что сама уложила мое белье и платье, предоставив моему попечению одни только книги и взяв с меня слово принять вину на себя, если она захочет повторить глупость, то есть выйти опять замуж, «но, конечно, за более основательного человека», — любезным тоном прибавила она. С тех пор мы и не видались. Ну, вот я и кончил свою одиссею, стараюсь не особенно злоупотреблять вашим вниманием. Позвольте закурить?

— Пожалуйста...

— Ну, а теперь мой черед, Маргарита Васильевна, допросить вас. Позвольте?

— Позволю.

— Вам как живется? Я слышал, недурно?..

— И не особенно хорошо! — произнесла молодая женщина.

Невзгодин взглянул на Маргариту Васильевну и заметил что-то сурово-страдальческое в ее лице.

«Видно, раскусила своего благоверного», — подумал он и, осведомившись из любезности об его здоровье, продолжал:

— Только сытым коровам нынче хорошо живется, Маргарита Васильевна, а людям, да еще таким требовательным, как вы, трудно угодить... Ищете по-прежнему оригинальных людей? Много работаете? — деликатно перешел он на другую тему.

— Бросила искать. Их так мало среди моих знакомых. Кое-что перевожу... Читаю.

— Бываете в обществе?

— Бываю, но редко... Мало интересного... Дома спокойнее, хоть и в одиночестве.

— А Николай Сергеич?

— Он редко по вечерам дома. Заседания, комиссии... Я более одна.

— Значит, набили вам оскомину московские фиксы, Маргарита Васильевна?

— И как еще.

— Видно, они такие же, что и прежде! Чай с печеньем, невозможная толпа приглашенных в маленьких комнатах, какой-нибудь приезжий «гость» в качестве гвоздя, изредка певец или певица для разнообразия, сплетни

и самые оптимистические административные слухи и, наконец, объединяющий ужин и за ним обязательно речи, и иногда длинные, черт возьми, речи, и всегда с гражданским подходом... Сперва тост за «гостя», который... и так далее, потом за «честного представителя науки», который... и так далее, за «мастера слова», за «жреца искусства» — одним словом, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Иван Петрович великий человек и Петр Иваныч тоже великий человек, и, чтоб никому не было обидно, всем по тосту и по «великому человеку» белым или крымским вином... Знаю я эти фиксы... Узнаю свою милую Москву... Любит она таки поболтать и покушать...

— Эта болтовня с цивической[14] окраской и противна...

— Отчего?.. Мне так она прежде нравилась. По крайней мере, люди приучаются говорить.

Невзгодин стал прощаться.

— И то вместо минутки час просидел, а мне еще надо в одно место.

— Ну, не удерживаю... Приезжайте опять,

да поскорей... вечером как-нибудь. Мне еще надо обо многом с вами переговорить... Я тут одно дело затеваю... И вообще, надеюсь, мы, как старые друзья, будем часто видеться.

— Я бы не прочь, да боюсь, Маргарита Васильевна.

— Чего?

— Как бы старое не вернулось. Рецидивы, знаете ли, бывают при лихорадках! — шутливо промолвил Невзгодин.

— И как вам не надоест всегда шутить, Василий Васильич... Зачем вы этот вздор говорите?.. Кокетничаете?.. Так вы и без кокетства милый старый приятель, которого я всегда рада видеть... Что было, то не повторится... Так навещайте... С вами как-то приятно говорить.

— За то, что речей не говорю?

— И за это, а главное — за то, что вы не топорщитесь... не играете роли. Такой, как есть.

— Один из беспутнейших россиян, как вы прежде меня называли. Помните?

— Мало ли, что я прежде говорила... Вот вы беспутный, а работали-таки много... в Париже.

— И женился даже. Ну, до свиданья... Когда к вам можно?

— Да хоть завтра вечером.

— Не могу, я на юбилее Косицкого. Хочу всю Москву видеть. Да и юбиляра стоит почитать — премилый человек! А вы разве не собираетесь? Поедьте, Маргарита Васильевна. Я заеду за вами. Идет?

Она согласилась, но просила не заезжать. Она приедет с мужем.

— А за обедом сидеть будем рядом, Василий Васильевич. Займите места.

Невзгодин еще раз пожал руку хозяйке и откланялся.

Дорогой, плетясь на санях, Невзгодин думал о Маргарите Васильевне.

Он находил, что она очень похорошела с тех пор, как вышла замуж, и стала еще обворожительнее, как женщина. Но думал он об этом совсем объективно. Красота Маргариты Васильевны уж не влекла к себе, как прежде, когда он безумствовал от любви. Теперь он может быть с ней таким же приятелем, каким был на холере, оставаясь совсем равнодушным к ее женским чарам. Она славный

человек, и с ней нескучно и без ухаживания, что большая редкость. Он непременно будет ее навещать, и часто.

«Да, видно, любовь в самом деле не повторяется!» — думал Невзгодин. А как он ее тогда любил! Целых два года не мог отделаться от этой любви, и вот теперь совсем не жалеет, что она ему отказала. Жаль только бедняжку, она несчастлива, конечно, с Заречным.

И Невзгодин удивлялся тому, что Маргарита Васильевна живет с человеком, которого, очевидно, не любит и не уважает и все-таки остается его женой. Видно, в самом деле, даже и в самых порядочных женщинах животное дает-таки себя знать, и они прощают такому красавцу, как Заречный, то, что не простили бы самому гениальному человеку, будь он дурным мужем.

Это возмущало Невзгодина, и он обвинял Маргариту Васильевну за то, что она не бросает мужа.

— Это свинство! — проговорил вдруг вслух, охваченный негодованием, Невзгодин. — Свинство! — повторил он.

— Что, барин? — спросил его извозчик.

— Поезжай, ради бога, скорей! — отвечал Невзгодин.

III

— Аглая Петровна дома?

— Дома, пожалуйста.

И молодой, пригожий и приветливый лакей в опрятном синем полуфраке с золочеными пуговицами, открывший широкие двери подъезда небольшого двухэтажного особняка, стоявшего в глубине двора, отделенного от улицы бронзированной решеткой, — пропустил зазябшую на морозе Заречную в большие теплые сени, где в камине ярким пламенем горели, потрескивая, дрова.

Он снял с ее плеч ротонду на длинношерстных черных тибетских барашках и нагнулся снять калоши, но его попросили не беспокоиться.

— У Аглаи Петровны никого нет? — спросила Заречная, останавливаясь перед зеркалом, чтобы оправиться.

— Никого-с. Извольте подняться наверх. Барыня у себя в кабинете. Как прикажете доложить?

Маргарита Васильевна дала свою карточку

и поднялась вслед за лакеем по широкой, устланной ковром лестнице. Большие кадки с тропическими растениями стояли на площадке по бокам громадного простеночного зеркала.

Лакей распахнул двери в зал, провел гостью в соседнюю гостиную и скрылся за портьерой.

Заречная присела на маленький диванчик и любопытно оглядывала эту большую, застланную сплошь ковром, комнату с роскошной, обитой зеленым шелком мебелью, с изящными столами, столиками и уютными уголками за трельяжами, и с несколькими картинами, в которых сразу признала художественные произведения большого достоинства. Каждая вещь в гостиной, начиная от лампы и кончая крошечной севрской вазочкой на столике, отличалась изяществом и тонким вкусом. Все ценное, но ничего грубого, крикливого у этой внучки ярославского крестьянина, миллионерши Аглаи Петровны Аносовой, купеческой вдовы, известной своей щедрой благотворительностью, умом, красотой и строгими нравами.

Самые злые языки не смели бросить малейшую тень на ее репутацию. Никто не мог назвать ни одного любовника в течение пятилетнего вдовства Аносовой. Недаром же ее прозвали «бесчувственной бабой», удивляясь, что она отказывала нескольким женихам из богатейшего купечества и из представителей родовитого дворянства, в числе которых был даже один красавец рюрикович, и, казалось, нисколько не тяготилась своим добровольным вдовством в полном расцвете пышной красоты женщины тридцати трех лет, занятая и удовлетворенная, по-видимому, благотворительностью да своими большими торговыми делами, которые вела сама с умением и деловитостью, вызывавшими невольное удивление.

Тяжелая штофная портьера колыхнулась, и из-за нее вышла, направляясь к гостю неспешной и уверенной, слегка плывущей походкой, слегка прищуривая черные бархатистые глаза, ласковые и приветные, ослепительной красоты, высокая, статная брюнетка, с черными как смоль волосами, гладко зачесанными назад, в скромном шерстяном чер-

ном платье, безукоризненно сидевшем на ней, белая, свежая и румяная, с роскошными формами красивого бюста.

Бриллиантовые крупные кабошоны сверкали в ее розоватых ушах; из-под узкого рукава виднелась золотая цепь porte-bonheur'a[15], и на мизинцах красивых, несколько крупноватых, холеных рук было по кольцу. На одном — большая бирюза; на другом — отливавший кровью рубин.

— Очень рада вас видеть у себя, Маргарита Васильевна, — проговорила Аносова своим низковатым приятным голосом, протягивая поднявшейся гостье руку.

Она крепко пожала крошечную руку и, задерживая ее в своей широкой белой руке, протянула, слегка наклоняя голову, свои алые полноватые губы.

Дамы расцеловались.

Перед царственной роскошной фигурой Аглаи Петровны маленькая худощавая фигурка Маргариты Васильевны казалась еще меньше.

— Пойдемте-ка лучше ко мне. Здесь и холодновато и как-то неуютно. Для визитных

гостей комната.

— А я к вам именно по делу! — поторопилась сразу же сказать Заречная, чтобы не подать повода к недоразумению.

Аглая Петровна слегка улыбнулась, точно хотела сказать, что и не сомневается в цели визита, и сердечно прибавила:

— Какой бы ветер ни занес вас сюда, мне приятно вас видеть, Маргарита Васильевна. В моей клетушке и поговорим. Там никто нам не помешает. Пойдемте!

И Аглая Петровна повела гостью через соседнюю, маленькую голубую гостиную и другую комнату, убранную в восточном вкусе, в свою «клетушку», как она называла кабинет, в котором работала, принимала по делам и более интимных знакомых.

Маргарита Васильевна быстрым взглядом окинула клетушку.

Это была небольшая комната в два широких окна, пропускающих много света.

Черного дерева письменный стол у простенка имел строго деловой вид. Несколько конторских книг, исписанные цифрами ведомости и скромный письменный прибор. Боль-

шие счеты с отброшенными костяшками и отставленное кресло на белоснежном пушистом мехе ангорской козы свидетельствовали, что Аглаю Петровну только что оторвали от работы. Лишь чудный букет из роз и ландышей несколько нарушал строгую деловую выдержанность убранства стола.

Зато вся остальная обстановка говорила о том, что хозяйка не только деловая женщина.

Полный книг большой библиотечный шкаф, бюсты Шелли, Байрона, Тургенева и Толстого на мраморных колонках, картина Айвазовского, два жанра Маковского, фотографии с автографами разных «известностей» на мольберте и по стенам, уютный уголок с светло-серой мягкой мебелью вокруг маленького японского столика-этажерки, стол посередине с журналами и газетами, висячий фонарик и теплившаяся в углу лампадка пред образом божией матери — таково было убранство этой клетушки.

В ней было тепло и уютно. Тонкий аромат цветов приятно щекотал обоняние.

— Присаживайтесь сюда, Маргарита Васильевна, — указала хозяйка на маленький бу-

левский диванчик и, отодвинув японский столик, на котором лежал желтый томик нового романа Золя, опустилась сама в кресло. — Снимите лучше шапочку, а то голове жарко будет. Прикажете угощать вас чаем? Вы ведь знаете, у нас, по купечеству, никаких дел без чая не делается! — прибавила в шутку Аглая Петровна, улыбаясь ласковою, широкою улыбкой и показывая ряд жемчужин-зубов.

Маргарита Васильевна от чая отказалась.

Она сняла шапочку и, встретив восхищенный взгляд Аглаи Петровны, любующейся тонкими чертами изящного, словно бы точеного, личика, смущенно и вместе с тем весело улыбалась.

— Так позвольте о деле? — проговорила она.

— Пожалуйста.

Несколько смущенная своим первым обращением за помощью к малознакомой женщине, Маргарита Васильевна сперва не совсем твердо, торопясь и конфузясь, начала излагать сущность дела, о котором хлопотала. Но скоро это смущение прошло, тем более что

Аглая Петровна слушала ее с большим вниманием, серьезно и деловито, слегка склонив голову и по временам ласково улыбаясь глазами, словно бы поощряя гостью не стесняться.

«Как с ней просто и легко!» — подумала Заречная.

И, вполне овладевши собой, она не спеша, толково и несколько горячо развивала свою мысль о необходимости устроить в Москве для бедного люда большой дом, в котором были бы хорошая библиотека, зал для устройства лекций и концертов, столовая и чайная.

— Мне кажется, я уверена, что это было бы хорошее дело. Конечно, такой дом не панацея [16] от нищеты, пьянства и разврата, но все-таки... Пример Москвы вызовет и другие города. Вы сочувствуете этой мысли, Аглая Петровна? — закончила вопросом молодая женщина и снова покраснела.

— Как не сочувствовать! Очень даже сочувствую вашей идее, Маргарита Васильевна, устроить у нас то, что в Европе давно есть. В Лондоне целый народный дворец завели. У меня есть последний отчет, дело идет хорошо. Вот и на моей фабрике рабочие стали меньше

ходить по кабакам и меньше бить жен и ребятишек с тех пор, как мы завели там читаленку и открыли чайную. Управляющий говорил мне, что и прогулов меньше. И им и нам, хозяевам, лучше. Мысль ваша хорошая, что и говорить.

— Я была уверена, что найду в вас сочувствие! — воскликнула просиявшая от радости Заречная.

— Ну, это что! — промолвила с тихой усмешкой Аглая Петровна. — Ведь вы же не за одним сочувствием ко мне пожаловали, а за деньгами. Зачем же к нам, к богатым купчихам, и ездят, как не за деньгами! — прибавила она.

Маргарите Васильевне показалось, что грустная нотка прозвучала в этих словах. Ей сделалось неловко, но она все-таки храбро проговорила:

— Вы правы, Аглая Петровна. Я приехала, рассчитывая на вашу помощь.

Эта откровенность видимо понравилась Аносовой, по крайней мере прямо, без подходов.

И она заметила:

— Дело только затеяли вы большое... Оно пахнет сотнями тысяч. И наконец, разрешат ли такой дом?

— Отчего не разрешить? Мне кажется, что в этом препятствия не будет.

— Оптимистка вы, как посмотрю, Маргарита Васильевна!.. Ну, разумеется, попытаться следует.

И, с деловитостью практической женщины, неожиданно прибавила:

— А покупать дом невыгодно. Лучше самим выстроить. И непременно на Хитровом рынке.

— У меня и смета и устав есть! — весело проговорила гостя, вынимая из мешочка несколько листков.

— Вот как... Значит, горячо принялись. Сколько же по смете выходит?

— Много, Аглая Петровна... Двести тысяч. Но цифра эта нисколько не испугала Аносову.

Она пробежала глазами смету и протянула:

— Не мало ли?

— Архитектор говорит: довольно.

— Уж если затевать дело, так основательно. Архитекторы часто ошибаются. А вы смету и устав позвольте оставить... Я подробно ознакомлюсь... И принять участие в этом деле я не прочь... Одной только мне трудно... На этот год у меня уж почти все деньги, назначенные на благотворительные дела, распределены. Тысяч пятьдесят могу.

Она проговорила эту цифру спокойно, точно дело шло о пяти рублях.

Заречная глядела на Аглаю Петровну восторженными и благодарными глазами. Эта цифра изумила ее. Она словно вся засияла и порывисто воскликнула:

— Вот начало уже и есть!

— Ишь вы засияли вся, Маргарита Васильевна. Видно, очень уж дорога вам ваша мысль?..

— Еще бы!

— И сами вы, конечно, надумали ее... Или муж?

— Сама. Читала, что делают в Европе. Думаю: отчего не попробовать и у нас.

— А супруг одобряет?

— Я с ним подробно не говорила еще об

этом! — ответила Маргарита Васильевна и невольно покраснела.

Аглая Петровна как будто еще ласковее взглянула на гостью после этих слов и весело сказала:

— Да и не надо путать мужчин. Бог с ними! Они и без того все захватили. Мы и без них обойдемся. Не правда ли?

— Конечно.

«А я-то думала: счастливая парочка!» — пронеслось в голове Аглаи Петровны, и она, словно подвергая экзамену свою гостью, спросила:

— А вы, Маргарита Васильевна, разве не побоитесь черной работы?..

— То есть какой?..

— А с этим домом!.. Например, заведовать им.

— Я этого только и желаю.

— Вот и отлично. Значит, и хозяйка дела будет хорошая.

— Прежде надо узнать, какая буду, а потом хвалить, — засмеялась Заречная.

— Да я ведь знаю, как вы в своем попечительстве работаете, и слышала, как вы два го-

да тому назад на холере работали... Слышала. И как же мне нахваливал вас один господин!

— Кто это?

— Невзгодин, Василий Васильич. Ведь вы вместе на холере были?

— Да. А вы с ним знакомы?

— Этим летом в Бретани познакомились... Вместе в Сан-Мало на купанье были. Умный и интересный человек, только уж очень он представителей капитала не любит. Так громил меня, что страх. Однако не убедил меня раздать все свои богатства! — улыбнулась Аглая Петровна. — А вы знаете, ведь он женился. Я видела его жену. Студентка в Париже. Приезжала к нему на неделю.

— И уж разошелся с женой.

— Да? Он, кажется, не очень-то годится для семейного очага. Слишком независим и правдив... И она, его жена, мне не понравилась... Очень важничает своей медициной... Так Василий Васильич разошелся? Это верно? Откуда вы слышали, Маргарита Васильевна? — с живостью спрашивала Аносова.

— Он вчера мне сам говорил.

— Так он приехал? — вырвалось неволь-

ное восклицание у Аглаи Петровны.

И при этом неожиданном известии румянец алее заиграл на ее щеках, и радостный огонек блеснул в ее глазах.

Это не укрылось от Маргариты Васильевны.

«Невзгодин ей нравится!» — подумала она и ответила:

— Третьего дня приехал!

— И был у вас? — уже спокойно спросила Аносова.

— Да. Мы ведь старые приятели.

— Как же... Он говорил, каким был горячим вашим поклонником, Маргарита Васильевна.

— То было так давно... Два года тому назад, когда я не была еще замужем...

— А ко мне и не показался, хоть и обещал навестить, как вернется в Москву... Интересный человек... Не ломаный... Не боится говорить, что думает, и... такого не купить миллионами...

— Да... Хороший человек. Я его очень люблю! — спокойно проговорила Заречная.

— Он надолго сюда?

— Сам не знает... Богема.

— Да... Непутевый какой-то... Ну и язычок!.. — засмеялась Аглая Петровна.

Наступило молчание.

— Вот мужчина и отвлек нас от дела, — заговорила, смеясь, Аглая Петровна. — Ну их! Так я, говорю, не прочь дать пятьдесят тысяч, а остальные деньги надо собрать. Вы обращались еще к кому-нибудь?

— К вам к первой, Аглая Петровна. Других я никого не знаю, то есть не знакома...

— Это не беда; прямо поезжайте. И вас и мужа вашего знают в Москве.

— Я готова. Научите только, к кому ехать...

Аглая Петровна на минутку задумалась и потом назвала Измайлову и Рябинина.

— Эти, быть может, дадут. И деньги у них должны быть свободные. Особенно у Дарьи Степановны Измайловой. Богата очень и все свои капиталы непроизводительно держит в бумагах и только купоны режет! — не без снисходительного презрения вставила Аносова. — Можно ей сказать, что я даю, тогда она вдвое даст. Завистливы мы на все... На этом часто попадаются неосновательные люди! —

усмехнулась Аносова. — Только к ней вы лучше не ездите сами, а пошлите мужа...

— Отчего?

— Скорее даст, если попросит мужчина, да еще такой красавец, как ваш муж. Любила их много в молодости и теперь, на старости лет, любит на них поглядеть. Распущенный человек, хоть и доброго сердца, — пояснила Аглая Петровна. — В узде не умела себя держать... Ну, да это и нелегкое дело, особенно для таких богачек... Не трудно сломать себе шею, если бог ума не дал и нет правил в жизни, — строго прибавила она.

«Ты-то своей прелестной головы не сломаешь!» — невольно подумала Маргарита Васильевна, любуясь Аносовой.

— А к Рябинину непременно поезжайте сами...

— И этот распущенный? — брезгливо проронила Маргарита Васильевна.

— Любит старик красивых женщин... Но только не бойтесь... Он совсем приличный человек.

Заречная надела шапочку и поднялась.

— Быть может, и не по делу когда загляне-

те, Маргарита Васильевна? — ласково пригласила Аносова.

— С большим удовольствием! — горячо проговорила гостья.

— Мы, кажется, сойдемся... Но только, конечно, не с визитом, а так... побеседовать... По вечерам я всегда дома и почти всегда одна. А вы когда свободны?

— Тоже по вечерам и тоже почти всегда одна.

Обе грустно улыбнулись.

Аглая Петровна проводила гостью через анфиладу комнат и, еще раз целуя Заречную, сказала:

— Сегодня, конечно, вы будете на юбилее?

— Буду.

— Так до вечера.

Аглая Петровна приветливо кивнула головой и, вернувшись в свою клетушку, присела за письменный стол и подавила пуговку электрического звонка два раза.

На зов явился старик артельщик, худощавый, опрятный, благообразный.

— Сейчас же поезжайте, Кузьма Иваныч, в адресный стол и справьтесь, где остановился

дворянин Василий Васильич Невзгодин. Он третьего дня приехал из-за границы, верно, уже прописан. Фамилию, имя и отчество запишите. Да никому об этом не болтать! — толково, ясно, ласково и в то же время властно отдавала приказание Аглая Петровна.

— Слушаю-с! — отвечал артельщик и так же бесшумно ушел, как явился.

Аглая Петровна на минуту задумалась и, подавив вздох, принялась за поверку отчета по фабрике.

Костяшки так и прыгали под ее крупными белыми пальцами, нарушая тишину, царившую в клетушке.

IV

Для самолюбия мужчины в высшей степени больно и оскорбительно, когда в глазах любимой и притом умной женщины он теряет свой прежний ореол и представляется ей далеко не в том великолепии, в каком представлялся еще недавно.

В таком именно положении развенчанного героя и очутился, совершенно для себя неожиданно, молодой профессор после разговора с женой.

Если, впрочем, Николай Сергеевич по скромности и не претендовал на титул героя, — хотя, случалось, и не прочь был, грешным делом, погеройствовать на словах и пожалеть, что отечество не представляет благоприятной почвы для героических поступков, — то, во всяком случае, считал себя civicки безусловно общественным деятелем, разумеется, в пределах, не переступавших бесполезного донкихотства.

И, сравнивая себя с большинством своих коллег, Заречный не без некоторого права мог, как Нарцисс, любоваться собственной персоной и не находить серьезных оснований быть недовольным собой, подобно многим смертным.

Не напрасно же в самом деле он пользовался в Москве такую популярностью!

Его по справедливости считали блестящим профессором. Диссертация Заречного в свое время была признана ценным вкладом в науку и составила ему в ученом мире имя. Затем он не опочил, по примеру товарищей, на лаврах, а писал, как все знали, большую книгу, несколько глав которой были напечатаны в

одном из журналов и вызвали в свое время лестные отзывы. В интеллигентных кружках и среди молодежи на него смотрели как на одного из тех стойких и независимых жрецов науки, которые, по красноречивому выражению самого же Николая Сергеевича, «высоко держат свечеч знания». Ни для кого не было секретом, что Заречный не разделяет взглядов большинства товарищей и держится в стороне от всяких дразг и интриг. Он и сам не скрывал этого и, намекая на трудность своего положения, говорил о змеиной мудрости и о долге порядочного человека быть и одному воином в поле. Студенты, и особенно первокурсники, из более впечатлительных, перевозносили Заречного и в его горячих тирадах, сопровождавших иногда лекции, слышали голос человека твердых принципов, слова которого не расходятся с делом. Его любили как необыкновенно мягкого, доступного и всегда приветливого профессора, принимавшего близко к сердцу студенческие беды. Публичные лекции Заречного, которые он читал с благотворительною целью, всегда привлекали массу публики и вызывали оvationи. Его

звали в разные филантропические общества и кружки, считая участие Николая Сергеевича необходимым для успеха дела. Он признавался первым оратором в Москве, где, как известно, любят и умеют красиво говорить, и его речи и в собраниях и на торжественных обедах слушались с благоговейным вниманием. Особенно носились с Заречным дамы. Они пропагандировали его славу, преклонялись перед ним, влюблялись в него, писали ему восторженные письма. В Москве ходили слухи, будто несколько лет тому назад, когда Николай Сергеевич еще был холостым, одна молодая интеллигентная купчиха, с огромным состоянием, покушалась на самоубийство, ввиду полнейшего равнодушия Николая Сергеевича к любви и миллионам этой хорошенькой психопатки декадентского пошиба, желавшей во что бы то ни стало сделаться женою модного красавца профессора.

Одним словом, Николай Сергеевич становился одним из тех излюбленных московских людей, которых обыкновенно называют не по фамилиям, как простых смертных, а лишь по имени и отчеству, и не зная которых так же

предосудительно, как не знать Ивана Велико-го, Иверской, Царь-пушки и трактира Тестова.

Чувствительный к успехам и избалованный ими, Николай Сергеевич старался быть на высоте своей репутации и, отдавая всего себя на «общественное служение», как называл он свою разнообразную и действительно суетливую деятельность, отнимавшую много времени, не задумывался ни о том, насколько она плодотворна и полезна, ни о том, насколько ценна и заслуженна его популярность.

Да и некогда было.

Николая Сергеевича просто-таки «разрывали», и он, польщенный общим вниманием и вдобавок мягкий по натуре, не отказывался и всюду поспевал, везде играл видную роль. Решительно не было в Москве такого ученого, благотворительного или даже увеселительного общества, в котором не участвовал бы Заречный в качестве председателя, члена комитета или просто члена. И везде он читал рефераты, делал сообщения, возражал и говорил речи: и в ученых собраниях, и в благотворительных комитетах, и в обществе грамотно-

сти, и в родительском кружке, и в педагогическом, и в артистическом, и даже в обществе велосипедистов.

Деятельность его, вызывавшая общие восторги, никогда не подвергалась серьезной критике, и Николай Сергеевич мог, казалось, с горделивым сознанием своих общественных заслуг, пребывать на высоте положения, на которую его вознесли.

И вдруг эти насмешливо-ядовитые слова, эти холодные взгляды сурового обвинителя.

И кто же этот обвинитель?

Самый дорогой для него на свете человек — боготворимая жена, сочувствием которой он особенно дорожил и так долго его добивался, бывши ее поклонником.

Положение было донельзя обидное и мучительное. Оно осложнялось еще грустным открытием, что эта женщина, в которую профессор до сих пор влюблен со слепым безумием чувственной страсти, — так мало любит его. Она так спокойно сказала, что бросила бы его не задумываясь, при известных обстоятельствах, — и он знал, что это не пустая угроза. Если бы она любила, то, разумеется, не

была бы так беспощадна к мужу, будь он даже дурным человеком. Любимым людям женщины все прощают.

Правда, она не скрывала, что выходит замуж далеко не влюбленная и — как она выразилась — «взвесивши все обстоятельства». И она их перечислила с мужественной прямо-той, так что для Заречного не могло быть сомнения в том, что он для нее лишь умный, интересный и порядочный человек, которого она уважает и к которому расположена — не более. Потеряй он в глазах жены свой ореол, и она для него потеряна.

И он принял эти объяснения с восторгом влюбленного, несмотря на их обидную для мужчины условность, — принял, желая обладать любимым существом и надеясь, что заслужит и любовь. Он всеми силами добивался ее, был необыкновенно внимателен к жене, стараясь в то же время не надоедать ей своею навязчивостью, и ему казалось, что в эти два года и Рита полюбила его. По крайней мере, она была всегда ровна и ласкова, принимала к сердцу его интересы и не чувствовала себя оскорбленной, отдаваясь горячим лас-

кам мужа. Они жили согласно. Никаких недо-
разумений, никаких супружеских сцен. Рита
по-прежнему уважала его и, по-видимому,
вполне сочувствовала его деятельности.

«Уж не полюбила ли она кого-нибудь?»

Это было первой мыслью, которая пришла
в голову профессора, когда он, после разгово-
ра с женой, шел в университет, взволнован-
ный и удрученный, весь поглощенный дума-
ми о причине неожиданных упреков люби-
мой жены. Подобно многим бесхарактерным
людям, внезапно застигнутым бедой, он слов-
но бы боялся взглянуть ей прямо в глаза и
непременно хотел найти объяснение не там,
где его следовало искать. Он стал перебирать
в памяти знакомых мужчин, припоминал, с
кем из них Рита чаще видится, и никто из
них не мог возбудить подозрения даже в рев-
нивых глазах влюбленного профессора. И на-
конец, Рита безупречна в этом отношении:
она не ищет авантюр. Она слишком горда,
чтоб унизиться до обмана, и, конечно, не по-
боится сказать, если бы полюбила.

— Не то, не то! — как-то растерянно прого-
ворил вслух профессор, сознавая, что только

малодушно хотел сам себя обмануть, приискивая объяснение, между тем как оно так очевидно.

Презрительные слова жены о «праздноболтающих» стояли в его ушах. Он ощущал теперь всем своим существом оскорбительность их значения, догадывался, по поводу чего именно они сказаны Ритой, и знал, чего ждала от него Рита. Но ведь это было бы безумием? Ставить на карту свое положение — ненужное, бессмысленное донкихотство, против которого возмущается здравый смысл.

И всевозможные доводы, начиная с доблести и кончая учеными цитатами, необыкновенно услужливо приходили в голову профессора в виде протеста против обвинения жены в трусости.

Но, несмотря на это, Николай. Сергеевич в глубине души чувствовал, да и понимал, что жена до известной степени права и что имеет основания предъявлять к нему требования, перед которыми он бессилен.

«Права!» — мысленно произнес он и припомнил многое.

Не он ли говорил Рите, ради ее прелестных

глаз, и раньше, когда был женихом, и потом, когда сделался мужем, не он ли сам говорил и ей, и перед ней, и перед многими те красноречивые, блестящие слова о правде, долге и борьбе, которым он, конечно, и сам верил и сочувствовал, но больше теоретически, как известным понятиям, а не правилам жизни. Взгляды, которые он развивал нередко в приподнятом тоне, особенно в присутствии Риты, не были выстраданы жизнью, не были откликом цельной натуры и сильного темперамента, для которого слово и дело неразлучны, а являлись — как у многих, — так сказать, дипломом на звание порядочного человека, чем-то не органически связанным с практической деятельностью — не даром же жизнь Заречного чуть ли не со студенческих дней не омрачалась никакими осложнениями, столь обычными для учащихся. И эти речи, завоевавшие ему уважение любимой женщины и всего общества, звучавшие так горячо и так сильно, казались и ему самому и другим искренними. Рита первая прослышала в них фальшивую ноту, придавая им более серьезное, обязывающее значение, чем придавал он

сам, и может теперь подумать, что он сознательно ей лгал.

Мысль, что Рита считает его лжецом, привела в отчаяние профессора, осветив перед ним ту бездну, в которой он очутился благодаря себе самому.

А разве он лгал? Разве он лжет?

Николай Сергеевич возмущился, что может даже явиться подобный вопрос, и в то же время понимал, что такой вопрос возможен. И как жестоко наказан он за то, что другим даже не ставится в вину. Действительно, он, быть может, и говорил больше, чем следовало человеку в его положении, но он все-таки не лгал...

Бедный профессор, глубоко взволнованный и уязвленный, переживал неприятные минуты. Благодаря обвинениям жены в нем, едва ли не первый раз в жизни, шевельнулась мысль: не вводит ли он в заблуждение и себя и людей, пользуясь безупречной репутацией, и не защищает ли он, в сущности, свое личное благополучие, оправдывая компромиссы и горячо доказывая, что один в поле не воин.

Но чем назойливее лезли сомнения, готовые, казалось, сбросить Заречного с того пьедестала, на котором он так прочно и удобно стоял, тем сильнее оскорблялось самолюбие избалованного успехами человека и тем неодолимее являлось желание оставаться на прежней высоте. И опять на помощь являлись аргументы, один убедительнее другого, доказывающие, что он прав, что обвинения жены неправильны, что он поступает, как следует порядочному человеку, и даже не без доблести.

«Надо делать дело, а не геройствовать бессмысленно!» — подумал он.

Профессор несколько приободрился, найдя оправдание себе. В нем появилась надежда убедить Риту в своей правоте и вернуть ее уважение.

О, если б он не любил так безумно эту женщину!

V

Отдавая быстрые общие поклоны, Николай Сергеевич торопливо прошел мимо ряда почтительно расступившихся студентов, стоявших в проходе, поднялся на кафедру, при-

вычным жестом бросил на пюпитр листки конспекта и сел, окидывая взглядом аудиторию.

Большая актовая зала, вмещающая шестьсот человек, была переполнена. Толпились в проходах; сидели на подоконниках. Слушать Заречного приходили с других факультетов.

— В последней лекции я изложил вам, господа...

С первого же слова воцарилась мертвая тишина. Студенты жадно внимали словам любимого профессора. Он читал действительно превосходно: громко, отчетливо, щеголяя литературным изяществом и сыпля блестящими сравнениями, остроумными характеристиками, меткими цитатами. Речь, вначале несколько вялая и бесцветная под влиянием еще не пережитых неприятных впечатлений, скоро полилась с обычной плавностью, полной какой-то чарующей музыкальности гибкого приятного голоса, живая, сильная и выразительная, невольно захватывающая слушателей. Несомненно, эта масса напряженных, вытянувшихся вперед молодых лиц с выражением чуткого, почти восторженного

внимания, электризовала профессора, приподнимая и, так сказать, просветляя его настроение.

Он испытывал счастливое чувство той высшей удовлетворенности, которую дает кафедра, и, отдаваясь власти своего таланта, отрешался в эти минуты от мелочей и дрязг жизни, забывая себя и свои обиды, нанесенные любимой женщиной, и сам как бы внутренне хорошел и, увлеченный, не любовался своею речью. И его красивое лицо становилось одухотвореннее и словно бы мужественнее. Глаза, устремленные куда-то вдаль, искрились огнем увлечения. Талант творил свое дело преображения.

Заречный почти не заглядывал в контекст. Он знакомил своих слушателей с одной из героических эпох и сам, казалось, жил ею, оживляя ее в ярких картинах с талантом художника и освещая и обобщая факты с диалектическим мастерством блестящего эрудита с широкими общественными взглядами. Сам далеко не смелый и мягкий, он теперь восхищался смелостью в исторических лич-

ностях и превозносил с кафедры то, что в жизни считал бессмысленным геройством.

Гром рукоплесканий раздался в зале и не смолкал в течение минуты-другой после того, как Николай Сергеевич, проговоривши сорок минут, окончил лекцию. Лица студентов светились восторгом. Для некоторых из них слова профессора были не одними скоро забывающимися красивыми словами, а глаголами, которые жгли молодые сердца.

Видимо довольный бурным одобрением и в то же время стараясь скрыть свою радость под личиной напускной серьезности, Заречный несколько медленнее, чем можно было бы, собирал листки конспекта и, собравши, когда аплодисменты стали затихать, поднял руку, требуя слова.

Когда рукоплескания смолкли и воцарилась тишина, он проговорил:

— Господа! Лучшая оценка моих лекций — это переполненная аудитория и внимание, с которым вы их слушаете. Другая форма оценки излишня... Она к тому же не разрешается правилами, и я покорнейше прошу вас, господа, не употреблять этой другой формы...

Проговоривши эти слова, которые Николай Сергеевич всегда говорил после взрыва одобрений, он поклонился студентам, спустился с кафедры и вместе с тем как будто спустился с той высоты настроения, на которой только что был, точно актер, возвратившийся от иллюзии сцены за кулисы.

И мысли об обвинениях жены опять взволновали Заречного. Они отравляли хорошее впечатление после лекции, оскорбляя самолюбие и нарушая привычный душевный покой, которым до сих пор пользовался жизнерадостный и довольный собою Николай Сергеевич.

«О, если б Рита видела, как его любят студенты и какие устраивают овации!» — думал он и досадовал, что Рита не может быть на его лекциях.

Он торопливо проходил через расступавшуюся толпу, когда его нагнали два студента-«издателя», записывавшие и издававшие его лекции.

Один из них, довольно пригожий, чистенький и свежий блондин с голубыми глазами и кудрявой бородкой, пользовавшийся располо-

жением Заречного как способный и серьезно занимавшийся студент и изредка бывавший у него как знакомый, обратился к нему с деловым, озабоченным и в то же время восторженно-почтительным видом человека, благоговейно влюбленного в своего профессора:

— Николай Сергеевич! Разрешите побеспокоить вас на одну минутку.

И во всей подавшейся стройной фигуре, и в выражении глаз, и в тоне свежего, молодого голоса чувствовалась некоторая аффектация.

— Охотно разрешаю! — с приветливой шутливостью проговорил Николай Сергеевич, останавливаясь. — Что вам угодно, господин Васильков?

— Когда позволите принести вам лекции на проверку?

— Когда? Да хоть завтра! — рассеянно ответил Заречный.

— Завтра ведь юбилей Андрея Михайловича Косицкого! — почтительно подчеркнул студент имя и отчество юбиляра.

— Ах, да... я и забыл. Я буду, конечно, на юбилее. Кажется, и студенты подносят ему адрес?

— Как же, все курсы. Если угодно, я вам принесу сегодня же текст адреса, Николай Сергеич, — предупредительно промолвил белокурый студент.

— Нет, зачем же... Так завтра нельзя... В таком случае послезавтра...

— В котором часу прикажете?

— Я, кажется, свободен от шести до восьми вечера. В девятом часу заседание. Так послезавтра. Мы вместе просмотрим лекции, и я вас отпущу с миром... До свидания! — сказал Заречный, протягивая студенту руку, и пошел далее к выходу в библиотечную залу, где собирались во время перерыва лекций профессора.

Один низенький черноволосый студент, худой и бледный, с возбужденным, болезненным лицом, все время не отстававший от Заречного и видимо желавший, но не решавшийся к нему подойти, наконец решился приблизиться к профессору, когда тот уже был у дверей, и, полный смущения, произнес чуть не с мольбою в глухом своем голосе:

— Господин профессор, господин профессор!

Заречный приостановился, останавливая рассеянный взгляд на незнакомом студенте.

— Что вам угодно?

— Мне очень нужно... необходимо поговорить с вами, господин профессор.

— Сделайте одолжение... Только говорите короче... Мне некогда.

— Нет, не здесь... Позвольте прийти к вам на квартиру... Мне хочется о многом спросить вас... И насчет книг и... и вообще. Я понимаю, что слишком нахален, обращаясь к вам с такой просьбой... Время у такого человека, как вы, драгоценно... Но не откажите... Пожертвуйте десятью-пятнадцатью минутами... Ведь вы не откажете? — возбужденно и слегка задыхаясь, видимо смущенный, говорил этот болезненный, невзрачный студент с задумчивыми и большими, точно глядящими внутрь глазами, одетый в очень ветхий сюртук.

— Охотно приму вас... Как ваша фамилия?

— О, благодарю вас, господин профессор, — радостно воскликнул студент. — Я был уверен, что вы не откажете... А моя фамилия Медынцев.

— Вы на первом курсе?

— На втором, господин профессор.

— Так приходите как-нибудь на неделе... В пятницу, например, около пяти часов... С удовольствием побеседую с вами, господин Медынцев... и постараюсь дать вам указания насчет книг и ответить на ваши вопросы, насколько я в них компетентен! — ласково ответил Николай Сергеевич, отводя участливый взгляд со впалых щек, на которых горел лихорадочный румянец.

«Бедняга совсем плох на вид!» — подумал Заречный и, приветливо кивнув головой студенту, скрылся в дверях.

VI

В небольшой комнате перед библиотечной залой было три профессора. Двое из них о чем-то оживленно беседовали, а третий — высокий худощавый старик, с узкой, коротко остриженной, начинавшей седеть головой, гладко выбритый, без бороды и без усов, с умным и несколько саркастическим взглядом небольших острых и холодных глаз, — он сидел в стороне с высокомерным спокойствием олимпийца, не обращая, по-видимому, ни малейшего внимания на двух своих коллег и на

их разговор.

Это был заслуженный профессор Аристарх Яковлевич Найденов, известный ученый и знаток своей специальности, пользовавшийся большим влиянием благодаря своему недюжинному уму, связям в административном петербургском мире и замечательному уменью приспособляться ко всяким веяниям в течение тридцатилетней своей службы и в то же время не пользоваться заслуженной репутацией совсем наглого по беспринципности человека. Напротив, он умел, когда нужно, быть двуликим Янусом, посмеиваясь в душе над каждой из партий, считавшей его по временам своим. Он занимался наукой и в то же время ухитрился как-то устроиться еще при нескольких министерствах, так что получал в общем довольно много денег и, как говорили, имел небольшое состояние. Читал он лекции сухо, как-то нехотя, словно бы не желая спускаться с научных высот до уровня своих слушателей, и студенты посещали его курс больше по обязанности, и на лекциях у него бывало не более двадцати человек. А лет двадцать тому назад Найденов был едва ли не

самый популярный профессор в Москве и читал в те времена блистательно...

В последнее время Найденов даже перестал быть и Янусом, — не стоило, — и с нескрываемым цинизмом оплевывал то, чему прежде считал нужным поклоняться, и даже самую науку умел приспособить к собственной карьере. Давно уж он держался вдалеке от своих коллег и жил замкнуто, сохранив отношения с очень немногими профессорами.

Заречный был учеником Найденова и в значительной степени обязан был ему и своими знаниями и своею кафедрой. Несмотря на циничные взгляды и несимпатичное поведение своего бывшего учителя, Николай Сергеевич поддерживал с ним отношения, изредка бывал у него и по старой памяти даже несколько побаивался его ядовитых и подчас злых насмешек, особенно в научных спорах.

— По-прежнему, любезный коллега, срываете аплодисменты, пожиная плоды своей популярности? — самым серьезным тоном проговорил старый профессор, слегка кивая головой и протягивая сухую, тонкую руку подо-

шедшему к нему Заречному.

Тот вспыхнул, но ничего не ответил. Он прежде поздоровался с двумя коллегами и, вернувшись к Найденову, сказал:

— Я не ищу ни аплодисментов, ни популярности, Аристарх Яковлевич.

— Ну еще бы. Она сама идет к счастливым, подобным вам... Да вы не сердитесь, Николай Сергеевич. Я ведь ничего не желаю сказать неприятного своему бывшему ученику. Право. Я мог бы только радоваться вашим успехам, если б не знал, как непостоянна волна человеческого счастья, дорогой мой.

Лицо старика по-прежнему было серьезно, когда он говорил свою ироническую тираду, только бескровные, тонкие губы его чуть-чуть перекошились да в серых глазах играла едва заметная лукавая улыбка.

— Я по опыту знаю все это, Николай Сергеевич. И от популярности в свое время вкусил, и имел честь быть освиственным, за что, впрочем, не в претензии, ибо свист этот много помог мне в дальнейшей жизни. А вы знаете, за что я был освистан? — понижая голос, спросил старик.

Заречный слышал об этой давнишней истории, но из деликатности сказал, что не знает.

— Молодым дуракам, которые теперь наверное уж сделались почтенными дураками, не понравилось то, что я им однажды прочел на лекции. Им показалось нелиберально, и они меня быстро разжаловали из излюбленных в подлецы. У нас ведь так же быстро производят, как и разжалывают, в чины. Сегодня излюбленный, а завтра подлец, и наоборот.

Найденов примолк и, когда из комнаты вышли два профессора, заговорил, конфиденциально понижая голос:

— А все-таки позвольте мне вам дать дружеский совет, Николай Сергеич.

— Какого рода?

— Среднего, собственно говоря... Не претендуйте на плохую остроту, — усмехнулся Найденов... — Не позволяйте аплодировать себе. Я знаю: вы умный человек. Я понимаю: положение излюбленного обязывает. Но ведь и жалованье остается жалованьем, а дальше ординатура, добавочные и так далее. Не так ли? Так уж вы завтра на юбилее Косицкого не

очень-то давайте волю вашему блестящему ораторскому таланту. Сообщаю это вам к сведению.

Слова старого циника производили впечатление ударов бича, невольно напоминая слова Риты. Но Заречный решил выслушать все до конца и сдерживал свое негодование.

— Ну, а затем мне, кажется, пора и отбывать повинность! — продолжал Найденов, взглядывая на часы.

Поморщившись, Найденов лениво поднялся с кресла.

Длинный, худой и прямой, с приподнятой головой, с бесстрастным, казалось, выражением желтоватого, морщинистого, гладко выбритого лица, он в своем вицмундире совсем не походил на профессора, а напоминал скорей какого-нибудь значительного чиновника.

Глядя в упор пронизывающими глазами на Заречного, он самым любезным тоном проговорил, складывая свои тонкие блеклые губы в приветливую улыбку:

— А ведь вы, Николай Сергеич, совсем редко заглядываете к бывшему своему профессору. Это не совсем мило с вашей стороны.

Заречный был удивлен. Никогда раньше Найденов не звал к себе Николая Сергеевича и не упрекал за редкие посещения.

— Я очень занят, Аристарх Яковлевич, да и боюсь вам помешать! — уклончиво отвечал Заречный, несколько смущенный...

Насмешливая улыбка мелькнула в глазах Найденова.

— Я не такой занятой человек, как вы, Николай Сергеич... Меня не разрывают на части, как вас, и, следовательно, ваша боязнь помешать мне несколько преувеличена. Я почти всегда у себя в кабинете, любезный коллега... Копаюсь в архивных бумажках... вот и все мое дело. Так уделите часок вашего драгоценного времени и навестите меня на днях. Кстати, у меня к вам и дельце есть. При свидании объясню... Хоть мы и числимся в противоположных лагерях — вы в либералах, а я в обскурантах, — но это, надеюсь, не послужит препоной заехать ко мне. В Европе этим не смущаются... Не правда ли? — усмехнулся старик.

— Я заеду.

— Пожалуйста. Побеседуем... А вы мне рас-

скажете, как отпразднуют юбилей Андрея Михайловича. Газеты хоть и дадут сведения, но сухие...

— А разве вы не будете завтра на обеде, Аристарх Яковлевич?

— Нет. Я вообще, видите ли, небольшой охотник до театральных зрелищ и, во всяком случае, предпочитаю Малый театр колонной зале «Эрмитажа».

— Но адрес Косицкому вы подписали?

— Кто вам сказал? И адреса не подписал. Разумеется, не по тем глубоким соображениям, по которым, говорят, затруднялся подписать один наш умный коллега. Вы тоже, конечно, слышали, что этот коллега находил неприличным подписать свою знаменитую фамилию не во главе списка... И так как впереди места не было, то бедняга оказался в большом затруднении... Напрасно ему не посоветовали подписаться сбоку и обвести свою фамилию рамкой... Тогда он совсем бы выделился... Но только я не подписал адреса по другим соображениям.

Заречному, знавшему, как скептически вообще относится Найденов к коллегам, и в осо-

бенности к тем, которые стараются по возможности сохранить свое достоинство, хотелось позлить старика, и он спросил:

— Почему же вы не подписали, Аристарх Яковлевич? Разве вы находите, что деятельность Косицкого не заслуживает адреса?

Лицо Найденова перекошилось от злости. Глаза заискрились. И он, медленно растягивая слова, произнес своим тихим, скрипучим голосом:

— А какая такая деятельность Косицкого? Я, признаться, о ней не знаю.

— Профессорская, ученая и вообще общественная, Аристарх Яковлевич.

— Профессорская?! Вызубрил когда-то две-три книжонки и с тех пор по ним читает свой курс. Не очень-то полезны такие профессора университету... а две статейки, напечатанные в журналах, вот все плоды его ученой деятельности... Впрочем, вы, конечно, не согласны со мной? — неожиданно оборвал старик, видимо сдерживая себя.

— Не согласен, Аристарх Яковлевич. Косицкий, конечно, не великий ученый, но...

— Но, — перебил Найденов, смеясь, — в

шестьдесят лет все еще подает надежды... И разумеется, один из независимых, честных и безупречных служителей науки... Так, что ли, изображено в адресе?.. Или еще чувствительнее?

— Приблизительно так.

— Ну и на здоровье... А в речах вы его хоть в угодники произведите. Опровергать ходячее мнение не стоит... Да и некогда! И то мои студенты, пожалуй, уже ласкают себя надеждой, что я не буду им сегодня читать.

Старик снова взглянул на часы и уже совсем спокойно промолвил:

— А приветственную телеграмму Косицкому я все-таки пошлю.

— Пошлете? — удивленно спросил Заречный.

— Обязательно.

— За что же?

— А за то, что Андрей Михайлович хоть и прикидывается добродушным простачком, а в сущности умный и осмотрительный человек. Тридцать лет прослужить в звании русского профессора, да еще при разных курсах, тридцать лет слыть и знающим, и чест-

ным, и безупречным и быть на отличном счету и у начальства, и у коллег, и у студентов, и у общества, это, во всяком случае, свидетельствует об уме... А я прежде всего почитаю ум. Ну, и, кроме того, не хочу ссориться с Андреем Михайловичем. Однако я заболтался с вами. До свидания. Привет вашей супруге... Не забудьте же дружеских советов вашего приятеля, любезный коллега, если только хотите со временем праздновать свой юбилей. И помните, что я жду вас! — властным тоном, словно приказывая, прибавил старик.

Он слегка пожал руку Заречного и неспешной, размеренной походкой направился к дверям. Он выше и надменнее поднял голову и принял еще более суровый вид, когда вошел в аудиторию и увидел там всего десятка два слушателей.

А когда-то к нему на лекции сбегались студенты со всех факультетов.

VII

Заречный читал еще одну лекцию, потом ездил по разным делам, частью общественным, частью личным, и в седьмом часу вечера возвращался домой усталый, голодный и в

отвратительном настроении.

В другое время он отнесся бы с молчаливым презрением к тому мнению о нем, какое так недвусмысленно слышалось в словах Найденова. Николай Сергеевич знал, что эта «озлобленная каналья» судит людей по себе и считает всех либо беспринципными циниками, как он сам, либо лицемерами, либо дураками. Только последние, по его мнению, могут быть порядочными людьми и верить в идеалы.

Немудрено, что он и на своего бывшего любимого ученика смотрит со скептицизмом старого циника. Но прежде, по крайней мере, он не говорил ему откровенностей прямо в глаза и с таким презрительным высокомерием, как сегодня. Сегодня старый авгур словно бы поощрял молодого.

И Заречный досадовал, что не оборвал старика и вообще был слишком терпим к нему и раньше. Но все-таки нельзя не ценить в нем крупного ученого и нельзя забыть учителя, которому многим обязан. И наконец, резкость не в характере молодого профессора!

Так, по крайней мере, объяснял себе Зареч-

ный свою сдержанность перед Найденовым, не думая или стараясь не думать, что, кроме этих причин, были еще и другие: боязнь навлечь на себя злобу влиятельного в университете профессора, который всегда мог напако-стить, и приобретенная еще во время студенчества привычка: почтительно выслушивать насмешки ядовитого профессора в качестве одного из его любимцев.

Но самое оскорбительное для самолюбия Николая Сергеевича, самое убийственное для него заключалось в том, что унижительные комплименты Найденова и суровые обвинения Риты выражали собою одно и то же.

И любимая женщина и умный старик профессор не верили его искренности.

Вообще весь разговор с Найденовым производил на Николая Сергеевича скверное впечатление, напоминая ему слова Риты и смущая его.

«И что ему от меня нужно? Какое такое дело?» — задавал он себе вопрос, хорошо понимая, что Найденов так настойчиво его зовет исключительно по делу, а не для приятных бесед.

Сперва Заречный было подумал, что не поедет, но затем решил ехать. Свидание ведь ни к чему не обязывает — ни в какие дела, кроме специально-научных, он с Найденовым, разумеется, не войдет, — а между тем визит этот поможет уяснить ему свое положение.

Его несколько беспокоили эти «дружеские предупреждения» относительно осторожности. Вероятно, Найденов предостерегал не без каких-нибудь оснований — недаром же он дружен с властями и первый узнаёт обо всем.

Размышляя об этом, молодой профессор испытывал тревогу хорошо устроившегося, любящего известный покой человека, неожиданно узнавшего, что положение его, которое он считал прочным, оказывается далеко не таким. И одновременно с этим чувством тревоги он подумал, что в самом деле надо быть осторожным, и кстати припомнил и евангельское изречение о змеиной мудрости. Надо не давать ни малейшего повода к формальным придирам... Непременно следует прекратить аплодисменты и сказать студентам, чтобы они берегли своего профессора. Ведь глупо же, в самом деле, из-за какого-нибудь

пустяка бросить любимое занятие и лишит студентов хороших лекций. Нелепо рисковать местом и остаться без куска хлеба. Эта перспектива всегда была больным местом Николая Сергеевича. И без того его озабочивали запутанные денежные дела и долги. Сегодня только что пришлось переписать вексель и занять сто рублей.

Конечно, на его глазах творится немало скверного и глупого, и он бессилён помешать этому скверному и глупому...

Это только Рита всюду находит поводы и не хочет понять, что в жизни неизбежны некоторые компромиссы. Лучше делать возможно хорошее, чем ничего не делать.

Эта мысль увлекла его, и в голове молодого профессора складывался стройный ряд блестящих положений, убедительных доказательств. И как это все ясно! Какая могла бы выйти чудная речь и вместе с тем какое неотразимое оправдание всей его деятельности.

И Заречного внезапно осенила идея: сказать завтра на юбилее речь на эту тему. Эта речь произведет на Риту впечатление. Она поймет свою вину перед ним и, правдивая,

подойдет к нему и скажет: «Николай! Я виновата!»

«Может быть, она и теперь сознает, что была несправедлива ко мне, и ждет моего возвращения!» — радостно мечтал Заречный, потирающая извозчика.

Но когда он подъехал к маленькому особнячку и позвонил, эти радостные мечты мгновенно исчезли, и Николай Сергеевич вошел в прихожую далеко не с тем радостным видом, с каким входил обыкновенно, возвращаясь домой.

— А барыни разве дома нет? — спросил он у горничной, когда, войдя в столовую, увидел один прибор на столе.

— Барыня дожидались вас до шести часов, откушали и ушли...

— Давно?

— Только что.

Он взглянул на часы. Было без пяти семь. Он действительно сильно запоздал, но, случилось, Рита терпеливо поджидала его, зная, что не любит обедать один.

«А теперь не захотела. Ушла!» — тоскливо подумал Заречный, чувствуя себя обижен-

ным, и проговорил:

— Давайте скорей обедать. Я есть хочу!

Несмотря на печальное настроение, Николай Сергеевич уписывал обед с жадным аппетитом сильно проголодавшегося человека, но, покончив обед, пил пиво, бокал за бокалом, с таким мрачным видом, что возбудил к себе искреннее участие в молодой пригожей горничной. Она слышала одним ухом разговор между супругами и, принимая сторону красавца профессора, находила, что он уж слишком обожает жену.

Вставая из-за стола, профессор спросил у Кати:

— Был кто-нибудь?

— Один господин был.

— Кто такой? Оставил карточку?

— Господин Невзгодин. Они у барыни были.

Заречного точно что-то кольнуло. Он знал, что Невзгодин был горячим поклонником Риты и что она расположена к этому шалопаю, как он его называл.

«Зачем он явился сюда из Парижа?»

— Невзгодин? — переспросил Заречный. —

Вы не перепутали фамилию, Катя?

— Что вы, барин?.. Такая нетрудная фамилия... Такой маленький, аккуратненький господин... Из-за границы приехали! — докладывала Катя, прибирая со стола.

Ревнивое чувство охватило профессора, и он чуть было не спросил: долго ли сидел у жены Невзгодин. Стыд допроса горничной удержал его. Однако он не уходил из столовой.

И Катя сама поспешила удовлетворить его любопытство и в то же время доставить себе маленькое удовольствие произвести опыт наблюдения и с самым невинным видом болтушки прибавила:

— Барыня собирались было уходить, уж и шапочку надели, когда приехал господин Невзгодин, — но остались... И этот барин просил доложить, что на минутку, а сами целый час просидели.

— Я вас не спрашиваю об этом! — резко проговорил Заречный, чувствуя, что краснеет.

— Простите, барин... Я думала...

— Разбудите меня, пожалуйста, в восемь часов! — перебил, смягчая тон, Заречный и

направился в кабинет.

Этот небольшой кабинет, почти весь заставленный полками, набитыми книгами, с большим письменным столом, на котором, среди книг, брошюр и мелко исписанных листков рукописи, красовалось несколько фотографий Маргариты Васильевны, показался теперь Николаю Сергеевичу каким-то гробом — тесным и мрачным...

Он снял вицмундир, надел фланелевую блузу и прилег на оттоманку, надеясь отдохнуть хоть полчаса. В восемь ему непременно надо ехать на заседание общества, в котором он председателем. Не быть там никак нельзя... Он читает реферат, и заседание наверное затянется.

Но заснуть Заречный никак не мог. Ревнивые мысли переплетались с воспоминаниями об обиде, нанесенной ему утром женой, и наполняли мучительной тоской его душу, возбуждая мозг до галлюцинаций.

Ему представлялось теперь почти несомненным, что Рита для него потеряна. В Невзгодине она найдет не только влюбленного поклонника, но и единомышленника. Этот

донкихотствующий зубоскал, конечно, постарается отличиться перед Ритой радикальным скептицизмом. Он и раньше щеголял этим. Ничего не делал и только подсмеивался — это ведь так легко и ни к чему не обязывает.

При мысли о том, что Рита может его бросить, Заречный чувствовал себя глубоко обиженным и несчастным, и какая-то самолюбивая злоба отвергнутого самца охватывала его, когда он представлял себе Риту в объятиях Невзгодина. И ему хотелось унижить этого человека в глазах Риты. Он при первой же встрече это сделает...

Нет... он так не поступит. Он останется джентльменом. Он не будет мешать им... Если она полюбила... если она...

Мысли путались в возбужденной голове профессора. Он точно вдруг очутился в какой-то бездне противоречий и не находил выхода.

Тук-тук-тук!

— Восемь часов, барин!

— Хорошо.

Он торопливо оделся и, выходя, как-то застенчиво проговорил:

— Я, вероятно, поздно вернусь и не хочу беспокоить барыню. Сделайте мне постель в кабинете.

— Слушаю-с.

Заречный действительно вернулся поздно. Когда на другой день он встал в девять часов, чтоб поспеть на лекцию, а оттуда ехать к юбилею, Маргарита Васильевна еще не выходила из спальни.

— Передайте барыне, что если она хочет быть на юбилее, то пусть приезжает одна. Мне никак нельзя заехать за ней! — сказал Заречный, осматриваясь в трюмо.

В хорошо сшитом фраке и белом галстуке, он глядел совсем красавцем. Несколько осунувшееся, побледневшее лицо и слегка ввалившиеся глаза, вследствие бессонной ночи, придавали ему еще более интересный вид.

VIII

За четверть часа до шести Невзгодин подъехал с Неглинной к небольшому подъезду отдельных кабинетов «Эрмитажа». Озябший на сильном морозе, он торопливо сунул извозчику деньги и вошел в ярко освещенные сени. Приятное ощущение тепла и света охватило

его.

Два видных швейцара, остриженные в кружок и, по московской моде, в черных полукафтанах и в высоких сапогах, приветливо поклонились гостю.

— Вы на обед в честь Андрея Михайлыча? — осведомился один из них, помоложе, снимая с Невзгодина его, несколько легкое для русской зимы, парижское пальто с маленьким барашковым воротником.

— Да...

Невзгодин невольно улыбнулся и несколько торжественному выражению лица молодого востроглазого ярославца, и значительному тону, каким отчеканил он имя и отчество юбиляра, с московскою почтительностью не называя его по фамилии.

— А вы знаете, кто такой Андрей Михайлыч?

— Помилуйте-с... Как не знать-с Андрея Михайлыча! — обидчиво заметил молодой швейцар. — Известные ученые и профессоры... Я их не раз видел... Бывают у нас.

«Вот она, популярность!» — подумал Невзгодин и спросил:

— Собралось еще немного?

— Человек ста полтора, пожалуй, уже есть! — отвечал швейцар, помахивая черноволосой головой на вешалки, полные шуб.

— Ого! — удивленно воскликнул Василий Васильевич, хорошо знавший привычку москвичей опаздывать.

— А ждем свыше двухсот персон-с! — не без гордости продолжал швейцар. — Извольте получить номерок!

Оправившись перед зеркалом, которое отразило небольшую статную фигуру в отлично сидевшем парижском новом фраке, Невзгодин поднялся наверх и остановился на площадке, у столика, где собирали за обед деньги. Заплативши семь рублей и написавши на листе свою фамилию, он хотел было двинуться далее, как его окликнул чей-то высокий, необыкновенно мягкий тенорок...

В этом маленьком толстенском пожилом господине во фраке и в белом галстуке, — выскочившем с озабоченной физиономией из коридора к столику, — Невзгодин сразу узнал Ивана Петровича Звенигородцева — всегдашнего устроителя юбилеев и распорядителя на

торжественных обедах, известного застольного оратора и знакомого со всей Москвой прилежного поверенного.

Выражение озабоченности внезапно исчезло с его лица. Румяненко, заплывшее жирком, с жиденькой бородкой и маленькими блестящими глазками, полными плутовства и вместе с тем добродушия, оно теперь все сияло радостною улыбкой, словно бы Звенигородцев увидал перед собою лучшего своего друга. И, несмотря на то, что Иван Петрович был очень мало знаком с Невзгодиным и считал его, как и многие, пустым зубоскалом, он, как коренной москвич, широко раскрыл свои объятия и троекратно облобызал Невзгодина необыкновенно крепко и сочно.

— Давно ли, Василий Васильевич, к нам из Парижа? — ласково и певуче спрашивал Звенигородцев, задерживая руку Невзгодина в своей пухлой потной руке.

— Вчера.

Осторожно высвободив руку, Невзгодин отер губы.

— Как раз на юбилей попали... Увидите, дорогой Василий Васильевич, как у нас хоро-

ших людей чувствуют... Двести пятьдесят человек записались на обед... Было бы и вдвое больше, но мы отказывали... Нельзя же всех пускать, без строгого выбора... Ну и устал же я сегодня.хлопот, я вам скажу, с этими юбилеями! И наверное в назначенный час публика не соберется. Уж скоро шесть, а всего только сто шестьдесят человек. Надо дать знать, чтобы юбиляра привезли не раньше половины седьмого...

И Звенигородцев тут же распорядился об этом.

— Разве юбиляра привезут?

— Обязательно, и в четырехместной карете. Или вы забыли московский юбилейный чин? А еще москвич!

— Кто же привезет Косицкого?

— Двое. Представитель старого поколения профессоров: Лев Александрович Цветницкий и представитель молодой науки: Николай Сергеич Заречный.

— А Маргарита Васильевна здесь?

— Не видал. Кажется, еще не приезжала. А вы что же?.. Все еще поклоняетесь гордой англичаночке?.. А хорошеет с тех пор, как заму-

жем... Прелесть что за женщина. Вот увидите! — оживленно и щурия глаза прибавил Звенигородцев.

— Давно не поклоняюсь, Иван Петрович... И я недавно женился...

Звенигородцев горячо поздравил Невзгодина и, заметив, что тот собирается отойти, остановил его словами:

— На одну минутку, Василий Васильич!

Отведя Невзгодина в сторону, он проговорил, слегка понижая свой тенорок и принимая значительный вид человека, озаренного счастливою мыслью.

— Челом вам бью, Василий Васильевич! Не откажите.

— В чем?

— Вы ведь, я слышал, занимались в Париже науками?

— Занимался.

— Так знаете ли что? Скажите, голубчик, за обедом речь Косицкому в качестве представителя от русских учащихся в Париже. Это будет, я вам скажу, эффектно и очень тронет старика...

Невзгодин рассмеялся.

— Да как же я буду говорить, никем не уполномоченный?

— Так что за беда! Разве на вас будут в претензии за то, что вы почитите хорошего человека? Косицкий ведь не Найденов... Он сохранил традиции и вполне наш... Право, скажите, Василий Васильич, несколько теплых слов... Сделайте это для меня... Я вас запишу. Вы будете говорить пятнадцатым... идет?

— Нет, не идет, Иван Петрович. Не записывайте... я говорить не стану.

— Экий вы какой! Ну в таком случае скажите что-нибудь от своего имени... Вы ведь хорошо говорите.

— Совсем не умею...

— Полно, полно... Я помню, вы раз говорили на каком-то обеде... Сколько остроумия, сколько...

Звенигородцев вдруг оборвал речь и, засиявший, с замаслившимися глазками, бросился, словно ошалелый кот, к поднимавшейся по лестнице молодой хорошенькой даме.

«Все тот же юбочник!» — подумал, улыбаясь, Невзгодин и быстрыми шагами пошел по коридору, мимо отдельных кабинетов, встре-

чая бесшумно снующих половых в их ослепительно белых рубашках и шароварах.

Отворив белые с золотом двери, он вошел в знаменитую колонную залу «Эрмитажа», в которой Москва дает фестивали и упражняется в красноречии.

В большой белой зале, ярко освещенной светом громадной люстры, три длинные стола, расположенные покоем, были уставлены приборами, сверкая белизной столового белья и блеском хрусталя. Длинный ряд бутылок и массивные канделябры дополняли сервировку.

Мужчины, большею частью во фраках и белых галстуках, дамы в светлых нарядных туалетах наполняли пространство у колонн и между столами. У всех были праздничные лица. Шел оживленный говор, и до ушей Невзгодина часто доносилось имя юбиляра. Видимо, он сегодня был главным предметом разговоров собравшейся публики.

Невзгодин торопился занять два места рядом, стараясь найти их поближе к среднему столу, где должен был сидеть юбиляр. Ему хо-

телось рассмотреть поближе разные московские знаменитости и лучше слышать речи. Но мест вблизи почетного стола уже не было — во всех стаканах или рюмках торчали карточки, так что Невзгодин нашел два места рядом в конце одного из боковых столов.

Взглянув на изящное меню с портретом юбиляра, лежавшее у каждого прибора, он направился к выходу, чтобы встретить Маргариту Васильевну.

Это было не так-то легко. Публика все прибывала, и на пути Невзгодину приходилось останавливаться, чтобы удовлетворять более или менее праздное любопытство знакомых, отвечая на одни и те же вопросы и восклицания удивления, что он в Москве, что женат, что занимался химией и написал повесть.

Оказалось, что про него уж все было известно, хотя сам он еще и не был известностью.

Наконец он выбрался к дверям.

Через несколько минут он увидел Маргариту Васильевну. Она вошла одна и была очень изящна и мила в своем черном шерстяном платье, оттенявшем ослепительную бе-

лизну ее красивого строгого лица.

Она тихо подвигалась среди толпы, щуря близорукие глаза и слегка наклоняя голову в ответ на поклоны знакомых.

Невзгодин подошел к ней.

— Вы давно здесь? — спросила она, радостно улыбаясь, и по-приятельски пожала руку Невзгодина.

— Приехал к шести, как назначено... по-европейски.

— А я по-азиатски опоздала... И какой же вы нарядный во фраке, Василий Васильевич! — прибавила молодая женщина, оглядывая Невзгодина.

— И какая же вы интересная в своем черном платье, Маргарита Васильевна! — тем же тоном отвечал Невзгодин.

— Будто? — кокетливо уронила Маргарита Васильевна, оживляясь и видом нарядной толпы, и комплиментом Невзгодина.

— Уверяю вас, что говорю без малейшего пристрастия! — подчеркнул он.

— Здесь все в светлых нарядах, а я — монашкой.

— И все-таки вы одеты лучше всех.

— А Аносова?

— Великолепная вдова? Я ее не видал. Она разве будет? Что, в сущности, ей Гекуба и она Гекубе? А впрочем, московские дамы от скуки ездят не только на юбилеи, но даже и на заседания юридического общества... Так Аносова будет?

— Непременно. По крайней мере утром говорила, что будет.

— Вы разве с ней знакомы?

— Сегодня познакомилась. Была у нее по делу. Очень она мне понравилась.

Они на минуту остановились. Заречная поздоровалась и обменялась несколькими словами с какой-то дамой.

— И вы, Василий Васильевич, кажется, знакомы с Аносовой? — продолжала Маргарита Васильевна, когда они двинулись далее.

— Как же, сподобился нынешним летом в Бретани. Так вам великолепная Аглая Петровна даже очень понравилась? Верно, удивила чем-нибудь по благотворительной части?

— Именно... удивила. Обещала пятьдесят тысяч на одно дело, о котором мы с вами еще будем беседовать. А вам разве Аносова не

нравится? — спросила Заречная, останавливая пытливым взглядом на Невзгодине.

Он несколько не смутился от этого взгляда и спокойно ответил:

— Нравится, как хороший экземпляр роскошной женской красоты.

— И только? — с живостью кинула Маргарита Васильевна.

— Ну и неглупая, характерная женщина, изучавшая даже Шелли... А вообще не моего романа.

— Не вашего? — весело промолвила Заречная, внезапно обрадованная эгоистически-радостным чувством женщины, прежний поклонник которой не сотворил себе нового кумира.

Помолчав, она прибавила:

— А вы, Василий Васильич, кажется, могли бы быть героем ее романа?

Невзгодин несколько смутился и не без раздражения спросил:

— Откуда сие, Маргарита Васильевна?

— Плоды моих наблюдений над Аглаей Петровной, когда мы говорили о вас! — смеясь ответила молодая женщина.

— Так они ошибочны. По крайней мере, я не замечал этого.

— А я заметила! — настаивала Заречная.

— И, признаться, я не особенно был бы польщен благоволением красавицы вдовы, если б у нее и явился такой невероятный каприз...

— Отчего невероятный?.. Разве вы не можете понравиться?

— Только не Аносовой. Поверьте, что она с ее красотой и миллионами давно нашла бы себе героя, — и, конечно, не такого невзрачного, как ваш покорнейший слуга, — если б чувствовала в том потребность...

— Но она вас все-таки заинтересовала. Вы часто с ней виделись в Бретани?

— Еще бы! Эта современная московская купчиха с отличным английским выговором, с ласковым взглядом бархатных глаз, скрывающим холодную жестковатость натуры, крайне любопытна и стоит изучения. В самом деле, в ней как-то уживаются вместе расточительная благотворительница и самая отчаянная сквалыга... Наклонность к умственным отвлечениям и кулачество. Восхищение Шелли и обсчитывание рабочих...

— Будто?

— Наверное. Я знаю. Мой приятель был техником на одной из аносовских фабрик. Он кое-что мне порассказал. Рабочим там очень скверно, а управляющий-англичанин просто-таки скотина.

— И Аносова все это знает?

— Превосходно. Она баба-делец и сама во все входит. Она и Маркса читала, недаром же говорит, что капитализм — необходимая стадия развития... Герой ее — нажива.

— Вы, Василий Васильич, кажется, чересчур сгущаете краски... Разве Аносова при всем этом не женщина?.. Разве она не способна увлечься?

— Не способна. Слишком трезвенна и темперамент спокойный.

— Ну, так вы недостаточно ее изучили. Надо продолжать.

— Что ж, я не прочь... Здесь, в Москве, на своей почве она будет виднее, чем за границей! — засмеялся Невзгодин... — Ну, вот и наши места... Далеконько от юбиляра, но лучших не нашел, Маргарита Васильевна!

— И отлично, что далеко...

— А я недоволен. Пожалуй, и не расслышишь всех речей, а их будет много. Четырнадцать уж обеспечено!

— Четырнадцать? Это ужасно! Несчастный Косицкий!

— Ну и публика не особенно счастливая! Я, впрочем, намерен все речи слушать... Ведь два года не слыхал московского красноречия.

— А я постараюсь не слушать ни одной... Надоели они. И все одни и те же...

— Звенигородцев и меня просил сказать пятнадцатую речь.

— Что ж, скажите... Вас я буду слушать.

— Благодарю, но я речи не скажу.

И, объяснив просьбу Звенигородцева, Невзгодин прибавил:

— И ведь Звенигородцев не находит ничего странного, предлагая говорить речь от имени других... Меня же будет кознить за то, что я отказался... Впрочем, нынче мало что считается предосудительным... читали в газетах объяснение одного петербургского профессора, уличенного в фабрикации анонимного письма?.. Какая развязность у этого профессора!.. Какой медный лоб!

— Ну и у здешних есть медные лбы.

— Не смею спорить, но все-таки наши до анонимных писем не доходили...

— А кто нашими соседями будут за обедом? Вы знаете, Василий Васильич?

— Сейчас узнаю.

Невзгодин взглянул на карточки, вложенные в стаканы по бокам занятых им приборов, и проговорил:

— Ваш сосед: молодой беллетрист Туманов... Вы его знаете?

— Знаю...

— Так познакомьте меня с ним. Он талантливые вещи пишет.

— А рядом с вами кто?

— Анна Аполлоновна Вербицкая. Кто такая?

— Не имею понятия...

— Я и того менее... Однако три четверти седьмого... есть хочется, а юбиляра не везут его ассистенты.

— Кто такие?

— Цветницкий и ваш супруг. Николай Сергеич, верно, будет сегодня говорить?

— Конечно! — промолвила Маргарита Ва-

сильевна, и тень пробежала по ее лицу.

В эту минуту раздался гром рукоплесканий. Толпа двинулась к дверям.

— Наконец-то будем закусывать! — весело сказал Невзгодин и стал аплодировать, приподнимаясь на цыпочки, чтоб увидеть юбиляра.

Но вместо него в глаза Невзгодина бросилась крупная, статная фигура Заречного.

Прислонившись к колонне близ входа и высоко подняв свою красивую голову с гривой волнистых черных волос, он жадным, беспокойным взглядом всматривался в толпу, словно кого-то искал.

«Жену ищет!» — подумал Невзгодин и незаметно взглянул на Маргариту Васильевну.

Прежнего оживления уже не было в ее побледневшем, казалось, лице. Серьезная и почти суровая, она тоже смотрела на красавца мужа, и в ее серых глазах блестел злой огонек, и тонкие губы складывались в презрительную улыбку.

— Что ж вы не аплодируете, Маргарита Васильевна? Косицкий этого стоит. Он прелест-

ный человек!

— Все они прелестные! — с каким-то порывистым озлоблением произнесла молодая женщина.

Встретив удивленный и пытливый взгляд Невзгодина, она внезапно покраснела, точно досадуя на свою несдержанность, и прибавила:

— Я сегодня в злом настроении.

— Косицкий, право, порядочный человек. Я немножко знаю его и помню, как джентльменски он провалил меня на экзамене, хоть и благоволил ко мне!

«Пахнет серьезной драмой и, кажется, последним актом!» — решил про себя Невзгодин и, как истинный беллетрист, почувствовал даже некоторую радость при мысли о возможности близкого наблюдения этой драмы.

И он снова захлопал, увидавши наконец юбиляра.

IX

Улыбаясь растерянной и словно бы виноватой улыбкой, маленький, худенький старичок в мешковатом фраке, с седой бородой клином и с длинным носом, придававшим

его добродушному лицу несколько птичий вид, кланялся направо и налево, двигаясь мелкими шажками среди рукоплескавшей толпы, и поминутно останавливался, чтобы пожать руки встречающимся знакомым и благодарить за поздравления, добавляя слова благодарности взглядом, который будто говорил, что он, Андрей Михайлович Косицкий, не виноват во всем том, что происходит, и просит снисхождения.

Не ожидавший такого многолюдства и сконфуженный аплодисментами и тем, что служит предметом общего внимания, он, видимо, находился в затруднении: в какую сторону залы ему направиться, остановиться ли или идти, и что вообще предпринять. В этот затруднительный момент он невольно вспомнил совет своей супруги, преподанный еще сегодня утром: «Не быть хоть на юбилее рассеянной фефелой и держать себя с достоинством!»

«Ей хорошо давать указания, а попробовала бы она быть в моем положении!» — невольно подумал смущенный и взволнованный юбиляр, снова кланяясь на аплодисмен-

ты и обрадованно останавливаясь около знакомого, точно ища у него помощи.

Но Иван Петрович Звенигородцев недаром был превосходным распорядителем на всяких торжествах, и не напрасно же его в шутку звали «обер-церемониймейстером».

Как только смолкли приветственные рукоплескания, его кругленькая, толстененькая фигурка вынырнула из толпы, и он, сияющий и торжественный, словно бы сам был юбиляром, очутился около Косицкого и фамильярно, в качестве друга, подхватив его под руку, повел юбиляра, как послушного бычка на веревочке, в соседнюю комнату к громадному столу, сплошь уставленному всевозможными закусками.

— Ты, Андрей Михайлыч, кажется, померанцевую?

Это была первая обыденная фраза, которую сегодня услышал старик. С утра к нему на квартиру являлись разные депутации, говорили речи в приподнятом тоне, волновавшие и трогавшие Андрея Михайловича. Он порядком таки устал и до сих пор находился в на-

пряженном состоянии. Вопрос о водке словно бы возвратил его к привычной ему действительности, и он мог попросту ответить с шутливым укором, аппетитно поглядывая на закуски:

— А еще приятель! Я, Иван Петрович, очищенную!

— Прости, голубчик. Я и забыл... Это Лев Александрыч пьет померанцевую!

Звенигородцев налил две рюмки, но, прежде чем чокнуться, не мог, конечно, не выразить своих чувств публично. Распоряжаясь юбиляром, как своей собственностью, он привлек его к себе и так крепко поцеловал трижды в губы, что шатавшийся передний зуб юбиляра чуть было не выпал, и Андрей Михайлович благодарно поморщился от боли.

Чокнувшись затем с юбиляром и проглотив рюмку водки, Звенигородцев куда-то исчез.

Толпа обступила плотной стеной закусочный стол. Закусывали, по московскому обыновению, долго и основательно. Только бедняга юбиляр, несмотря на желание попробо-

вать закусок основательно, никак не мог этого сделать и некоторое время стоял с пустой тарелочкой в руке, не имея возможности что-нибудь себе положить. К нему не переставая подходили добрые знакомые с поздравлениями и к нему подводили незнакомых почитателей и почитательниц его ученой деятельности, с которой они, впрочем, были незнакомы, считавших долгом выразить старику свое уважение. Поневоле приходилось отвечать, благодарить и пожимать руки и терять надежду полакомиться свежей икрой, до которой Андрей Михайлович был большой охотник.

Спасибо супруге — она выручила. Эта внушительных размеров, гренадерского роста и решительного вида дама, лет за сорок, сохранившая следы былой красоты и, судя по костюму и слишком оголенной шее, имевшая еще претензию производить впечатление, — не оставила и здесь, на юбилее, мужа без своего властного надзора, какой неослабно имела за ним в течение долголетнего супружества. Несколько удивленная, что с утра так чувствуют Андрея Михайловича, которого она

высокомерно всю жизнь считала фефелой и с которым дома обращалась, как неограниченная монархиня с своим верноподданным, вполне игнорируя, что он читал полицейское право, — госпожа профессорша возмутилась, увидавши, что Андрей Михайлович «мямлит», как она выражалась, с какою-то барышней и при этом даже умильно улыбается, вместо того чтобы есть хорошую закуску с таким же аппетитом и с таким же достоинством, с какими это делает она. И профессорша, решительно отстранив от стола какого-то господина, наложила полную тарелку свежей икры, достала хлеб и, подойдя к мужу, который перед ней казался карликом, нежно проговорила:

— Вот кушай, а то ты ничего не ешь!

Юбиляр благодарно и в то же время несколько боязливо взглянул на жену, принимая тарелку.

— Да ты лучше отойди в сторону, а то здесь тесно! — продолжала нежным тоном супруга.

Барышня исчезла, и Андрей Михайлович покорно отошел за женой.

— Вот здесь никто не помешает тебе... При-

сядь к столу... Ты совсем сонный какой-то... И все точно боишься... Совсем не похож на юбиляра! — выговаривала она шепотом. — Чего еще хочешь... Я тебе принесу...

— Спасибо, Варенька... Мне довольно икры... А я, точно, устал... И наконец разве я мог ожидать... Столько сегодня неожиданной чести.

— Ну, ешь... ешь... И какая неожиданность... Ты разве не стоишь почета... Слава богу, тридцать лет профессором... Ешь... ешь... Не говори...

Юбиляр не заставил себя более просить и с удовольствием уплетал икру, оберегаемый супругой, которой почти все знакомые несколько побаивались, как очень решительной дамы.

Заречный еще в зале увидел жену и Невзгодина.

Он вел ее под руку и о чем-то весело ей рассказывал. Рита улыбалась! Заречный видел потом, как Невзгодин услуживал ей, подавая закуски, и теперь они опять вместе стоят в сторонке и снова оживленно разговаривают, не обращая ни на кого внимания.

Ревнивые подозрения с новой силой охватили молодого профессора. Он сделался мрачен, как туча, и украдкой наблюдал за Ритой и Невзгодиным. Откуда такая дружба между ними после того, как он был отвергнут и уехал из Москвы? О чем они говорят? О, как хотел бы Николай Сергеевич узнать, но к ним все-таки не подходил, не желая встречаться с этим пустейшим человеком, который вдруг сделался ему ненавистным. Он понимал неизбежность встречи если не здесь, не сегодня, то на днях, дома — этот «нахал» теперь зачистит к Рите, — но как человек нерешительный хотел встречу отдалить.

После юбиляра Николай Сергеевич, по-видимому, обращал на себя наибольшее внимание публики, и в особенности дам. К нему то и дело подходили, с ним разговаривали, ему восторженно улыбались, на него указывали, называя фамилию и прибавляя: «Известный профессор». Одна дама назвала его «неотразимым красавцем» так громко, что Заречный слышал, и умоляла познакомить ее с ним.

Но сегодня Николай Сергеевич был равнодушнее к проявлениям восторгов поклонения

и, обыкновенно мягкий и ласковый в обращении с людьми, был сдержан, неразговорчив и меланхоличен.

Он выпил уже четыре рюмки водки, желая разогнать ревнивые думы, и скупно подавал реплики какой-то поклоннице, пережевывая кусок балыка. Глаза его невольно смотрели в ту сторону, где были Рита и Невзгодин.

«И каким стал франтом этот прежний замухрыга! Видно, более не отрицает приличных костюмов!» — со злостью думал Заречный.

В эту минуту откуда-то выскочил Звенигородцев и, обхватывая талию Николая Сергеевича, весело воскликнул:

— А ведь мы с тобой, Николай Сергеевич, не пили. Выпьем?

Звенигородцев со всеми более или менее известными людьми был на «ты».

— Пожалуй...

Они подошли к столу, чокнулись и выпили.

Пока они закусывали, Звенигородцев успел уже сообщить, торопливо кидая слова своим нежным и певучим голоском, о том,

что Невзгодин — вот она, современная молодежь! — оказался просто-таки трусом. Иначе чем же объяснить его отказ сказать речь Косяцкому?

— Прежде небось радикальничал. Помнишь? Все у него оказывались лицемерными болтунами, показывающими кукиши в кармане, а теперь и кукиш боится показать! Видно, как женился, так и того... Радикализм в отставку! — говорил Звенигородцев почти шепотком и при этом так добродушно и весело улыбался, точно он искренне радовался, что Невзгодин оказался трусом и вообще негодным человеком.

— Разве Невзгодин женат? — воскликнул Заречный.

В голосе его невольно звучала радостная нотка.

— То-то женился. Только что сам мне сообщил. Да он разве у тебя не был?

— Был, но не застал дома.

— Говорят, и химию в Париже изучал. Что-то сомнительно. И повесть написал... мне сейчас говорил Туманов... И принята. Ну, да мало ли дряни нынче принимают! Признаться, я

не думаю, чтобы Невзгодин мог написать что-нибудь порядочное... Как по-твоему?

— И мне кажется... Поверхностный человек...

— Брандахлыст, хоть и не лишен иногда остроумия. Да ты разве не видал его?

— Нет, не видал! — солгал Заречный.

— Он только что здесь был с Маргаритой Васильевной.

— А жена его с ним?

— Жена? Жены не видал. Верно, и она здесь! — решил Звенигородцев, отдававший иногда порывам вдохновения... — Однако пора юбиляра и к столу вести. А каков юбилейчик-то? Двести сорок человек обедающих... Ты будешь говорить пятым... не забудь!

С этими словами Иван Петрович исчез, отыскивая глазами юбиляра.

Несколько обрадованный вестью о женитьбе Невзгодина, Заречный направился к жене. Он застал ее одну. Невзгодин в эту минуту разговаривал около с известным профессором химиком.

— Я и не видался с тобой сегодня. Здравствуй, Рита! — с нежностью шепнул Зареч-

ный, протягивая жене руки и словно бы внезапно притихший при виде Риты.

— Здравствуй! — безучастно промолвила она.

Он пожал маленькую руку и сказал:

— Я тебе занял место за средним столом... недалеко от юбиляра... Около тебя будет сидеть профессор Марголин... Ты, кажется, его перевариваешь? — прибавил он с грустной улыбкой.

— У меня уже есть место.

— С кем же ты сидишь? Одна?

— Нет. Я буду сидеть рядом с Невзгодиным. Он на днях вернулся из-за границы, вчера был у меня, и я ему обещала.

Это подробное объяснение, которое почему-то сочла нужным дать Маргарита Васильевна, вызвало в ней досаду, и она покраснела.

— В таком случае виноват. С Невзгодиным, конечно, тебе будет веселее! — произнес За-речный взволнованным голосом.

— Разумеется, веселее, чем с твоими профессорами.

— А ты, Рита, все еще в чем-то обвиняешь

профессоров и главным образом меня? — чуть слышно спросил он.

Рита молчала.

— О, как ты жестока, Рита, — с мольбою шепнул Заречный... — Обвинять других легко.

— Я и себя не оправдываю! — ответила так же тихо Рита и громко прибавила: — А ты Василья Васильевича не узнаешь?

Услыхав свое имя, Невзгодин подошел.

Бывшие соперники встретились сдержанно. Они раскланялись с преувеличенной вежливостью, молча пожали друг другу руки и несколько секунд глядели один на другого, не находя, казалось, о чем говорить.

Молодая женщина наблюдала обоих.

Она видела в лице мужа скрытую неприязнь и поняла, что источник ее — ревность. В Невзгодине, напротив, она не заметила ни малейшего недоброжелательства к мужу. Одно только равнодушие. И это кольнуло ее женское самолюбие. Она вспомнила, как страстно относился прежде Невзгодин к своему счастливому сопернику.

Наконец Заречный сказал:

— Вас, я слышал, можно поздравить, Василий Васильич?

— С чем?

— Вы женились.

— Как же. Совершил сей долг! — шутливо промолвил Невзгодин.

Тон этот не понравился Заречному.

— И, говорят, избрали карьеру писателя?

— По крайней мере, хочу попробовать.

— И будете жить в Москве?

«А тебе, верно, этого не хочется. Уже возревновал!» — подумал Невзгодин и ответил:

— Не решил еще...

— Надеюсь, мы будем иметь честь вас видеть у нас... Вы где остановились?

Невзгодин сказал.

— На днях я буду у вас, Василий Васильич.

С этими словами Заречный поклонился и отошел, далеко не успокоенный в своих ревнивых чувствах. Такие господа, как Невзгодин, легко смотрят на брак. Недаром же он выразился о своей женитьбе в шуточном тоне. И отчего жена его не с ним?

Тем временем Звенигородцев отыскал

юбиляра на угловом диване и проговорил:

— Ну, брат Андрей Михайлыч, пойдём на заклатие.

— Пойдём! — покорно ответил юбиляр, поднимаясь.

Звенигородцев на минутку остановил его и спрашивал:

— Кого посадить около тебя? Молоденьких дам желаешь?..

— Зачем же дам, да ещё молоденьких? — смущенно возразил старик, озираясь: нет ли вблизи жены.

— Ты находишь это несколько легкомысленным для юбилея?

— Пожалуй, что так...

— И, быть может, Варвара Николаевна этого не одобрит? — лукаво подмигнул глазом Звенигородцев и засмеялся. — Ну в таком случае ты будешь сидеть между своими сверстниками — коллегами... Или хочешь, чтоб около тебя сидела супруга твоя Варвара Николаевна? — спросил самым, по-видимому, серьезным тоном Иван Петрович, хорошо знавший, как побаивается Косицкий своей жены.

— Как знаешь... Я ведь сегодня собой не

распоряжаюсь... Только удобно ли на юбилее устраивать семейную обстановку?..

— Конечно, не следует... Ее и так достаточно. Так ты будешь между коллегами. Этак выйдет солиднее... Ну, идем!

Звенигородцев с торжественностью подвел юбиляра к столу и указал ему место на самой середине. По бокам и напротив уселись профессора, в том числе и Заречный, и несколько более близких знакомых юбиляра. Супругу его Звенигородцев усадил невдалеке около одного молчаливого профессора.

Скоро все расселись за столами, и тотчас же замелькали белые рубахи половых, которые разносили тарелки с супом и блюда с пирожками, предлагая «консомэ или крем д'асперж».

В зале наступило затишье.

— Поглядите, Василий Васильич, нет ли здесь Аносовой. Я своими близорукими глазами не увижу! — проговорила Маргарита Васильевна, озирая столы.

— Вы думаете, так легко ее заметить в этой массе публики!

— Таковую красавицу? Она невольно бросит-

ся в глаза.

— Ну, извольте.

Невзгодин обглядел столы и промолвил:

— Не вижу великолепной вдовы.

— Значит, ее нет. Странно!

— Отчего странно?

— Обещала быть, а она, как кажется, из тех редких женщин, которые держат слово.

В эту самую минуту сидевший за столом напротив Невзгодина, скромного вида, в новеньком фраке, молодой рыжеватый блондин в очках, все время беспокойно поглядывавший на двери, не дотрогиваясь до супа, внезапно поднялся со своего места, около которого был никем не занятый прибор, и двинулся к выходу.

В дверях показалась Аносова.

— Вот и она! Смотрите, что за красота! — шепнула Маргарита Васильевна.

— Что и говорить: великолепна... И, кажется, напротив нас сядет. А кто этот блондин?

— Это племянник и наследник Аносовой! — сказал кто-то.

— Но долго ему дожидаться наследства! — раздался чей-то голос.

Все глаза устремились на эту высокую, статную, ослепительную красавицу в роскошном, но не бьющем в глаза черном бархатном платье, обшитом белыми кружевами у лебединой шеи, в длинных перчатках почти до локтей, с крупными кабошонами в ушах, которая плывущей неспешной походкой, слегка смущенная и зардевшаяся, шла к столу в сопровождении блондина.

— Вот, тетенька... Других мест не мог достать! — проговорил он с особенною почти-тельностью.

— Чем худы места... Отличные! — весело промолвила она, опускаясь на стул.

Звенигородцев уже летел со всех ног к Аносовой.

— Аглая Петровна!.. Здравствуйте, божественная, и пожалуйста за стол юбиляра. Для вас берег место, чтобы сидеть подле... И Андрей Михайлович будет очень рад видеть вас поближе.

— Мне и тут хорошо... Благодарю вас, Иван Петрович. Да кстати у меня vas-a-vis[17] добрая знакомая! — прибавила Аносова, увидав против себя Заречную.

Щеки ее как будто зарумянились гуще, и она, ласково улыбаясь своими большими ясными глазами, приветно, как короткой знакомой, несколько раз кивнула Заречной и сдержанно, почти строго, чуть-чуть наклонила голову в ответ на поклон Невзгодина, не глядя на него.

«Ишь... королевой себя в публике держит. Боится „морали“!» — усмехнулся про себя Невзгодин, не без тайного восхищения поглядывая на великолепную вдову, которую он видел в первый раз в параде, и вспомнил, как просто она себя держала с ним в Бретани.

— И жарко же здесь! — обратилась она, снимая перчатки, к Заречной и, по-видимому, не обращая ни малейшего внимания на Невзгодина.

Маргарита Васильевна деликатно согласилась, что жарко, хотя и приписала румянец Аносовой другой причине.

Спокойным жестом своей белой холеной руки Аглая Петровна отстранила тарелку с супом.

— Я очень рада, что случай свел меня сидеть против вас, Маргарита Васильевна. По

крайней мере, есть с кем перемолвиться словом!.. — с заметным оживлением продолжала Аносова. — А вы не думайте, что я люблю опаздывать. Я этого не люблю. Но раньше не могла приехать: было серьезное дело. Впрочем, я послала сюда артельщика и просила его дать знать, когда будут садиться за стол, и, как видите, ошиблась на несколько минут! — прибавила она, улыбаясь чарующей улыбкой и открывая ряд чудных зубов.

«Все статьи свои показывает!» — решил Невзгодин и уже настраивал себя недоброжелательно против «великолепной вдовы», которая не удостоивала его ни одним словом, точно летом и не называла его приятелем и не звала непременно побывать у нее в Москве.

— Рыбы прикажете, Маргарита Васильевна?

— Пожалуйста...

Он положил ей на тарелку рыбы и, наливая в рюмку белого вина, прошептал:

— Так даже очень нравится?

Маргарита Васильевна усмехнулась и, точно поддразнивая, утвердительно кивнула го-

ловой.

— А вы, Василий Васильич, давно сюда пожаловали? — обратилась наконец Аглая Петровна к Невзгодину после того как покончила с рыбой и запила ее рюмкой белого вина.

— Третьего дня, Аглая Петровна.

Взгляды их встретились. И в глазах у обоих мелькнуло что-то не особенно приветливое.

— Собираетесь и меня удостоить посещением? — кинула с едва заметной усмешкой Аносова.

— Обязательно собираюсь удостоиться этой чести, Аглая Петровна. Только боюсь...

— Какой пугливый! Чего вы боитесь?

— Помешать вам. Вы, говорят, всегда заняты.

— Кто это вам сказал? — вспыхивая, отвечала Аносова. — Верно, сами сочинили ради красного словца. Положим, занята, но у меня есть время и для знакомых... От трех до шести я дома... Маргарита Васильевна подтвердит это.

— Охотно, Аглая Петровна... Но вы мало знаете Василия Васильича... Он любит иногда поднять на зубок... Вдобавок и беллетрист.

Его повесть в январе будет напечатана.

— Вы летом этого мне не говорили, Василий Васильич? — промолвила Аглая Петровна.

— Да разве нужно трубить о своих грехах?..

— Значит, и нас грешных когда-нибудь опишете?

— Вас с особенным удовольствием, Аглая Петровна, возвел бы в перл создания.

— Только ему недостает изучения. Он вас недостаточно знает, — вставила Маргарита Васильевна.

— Недоволен он мною... Я это знаю! — засмеялась Аглая Петровна. — А узнать меня — не мудрое дело... С богом, описывайте, Василий Васильич. Обижаться не буду, если вы даже и сгустите краски!

— Вы-то не будете сердиться?.. Еще как! — насмешливо проговорил Невзгодин.

Но Аглая Петровна уже не слушала и о чем-то заговорила с племянником.

— Ваше здоровье, Маргарита Васильевна! — сказал Невзгодин, чокаясь со своей соседкой. — Желаю вам...

— Чего вы мне пожелаете?

— Говорить? — шепнул Невзгодин...

— Говорить...

— Как добрый приятель?..

— Да что вы с предисловиями... Я не боюсь правды...

— Ну так искренне желаю вам... полюбить кого-нибудь и...

— И что?

— А дальше все приложится.

— Вы думаете?

— Думаю, если только вас не захватит какая-нибудь широкая деятельность. Да и где она? И то... одна деятельность вас, женщин, не удовлетворит... А вы ведь все искали людей да рассуждали, а никого по-настоящему не любили... Не правда ли?

— Правда. И за то расплачиваюсь! — чуть слышно проронила молодая женщина.

— Вольно же!

Маргарита Васильевна нетерпеливо пожала плечами и примолкла, оставив рюмку.

— Вы не сердитесь, что я... завел такой разговор. Больше не буду! — виновато промолвил Невзгодин.

— За что сердиться? Я сама завела бы его.

Вы не слепы и видите, что я не любила и не люблю мужа, и вдобавок...

— Развенчали его?

Маргарита Васильевна молча кивнула головой.

— И все-таки жили и живете с ним! — с какою-то безжалостностью художника и с искренним негодованием правдивой природы продолжал Невзгодин, понижая голос.

— За преступлением следует наказание!

— Но не такое варварское и — извините — постыдное... Мужчин вы обвиняете в компромиссах, а сами...

— Довольно... Мы об этом поговорим... Здесь не место...

— Никто не слышит... Здесь шум...

— Во всяком случае, спасибо вам за пожелание...

Маргарита Васильевна отпила из рюмки. Выпил полную рюмку и Невзгодин.

— Постараюсь последовать вашему совету и полюбить какого-нибудь интересного человека... Только вот вопрос: где его искать? — с нервным, злым смехом сказала Маргарита Васильевна.

И, помолчав, прибавила:

— А у вас все та же страсть затронуть самое больное место человека... посыпать соли на свежую рану, чтобы человек не предавался самообману насчет своих добродетелей... Но я на это не сержусь... Напротив, очень благодарна... Ваше здоровье, Василий Васильевич, и литературного успеха.

С этими словами Маргарита Васильевна допила свою рюмку и спросила:

— Когда же вы прочтете мне свою повесть?

— Как-нибудь на днях.

Несколько раз Аглая Петровна взглядывала на Маргариту Васильевну и Невзгодина, прислушиваясь к их разговору и сама разговаривая в то же время с племянником, казалось, с интересом и совершенно спокойная. По крайней мере, ее лицо словно бы застыло в своем бесстрастном великолепии, и глаза светились ясным, холодным блеском. И только густые брови чуть-чуть сдвинулись да пальцы нервно сжимали хлебный катышек, обнаруживая тайное волнение Аносовой.

Некоторые слова, долетавшие среди общего говора до ее тонкого слуха, изощренного в

детстве и потом во время несчастного раннего супружества, бывшего делом коммерческой сделки родителей, и возбужденные лица Заречной и Невзгодина — особенно первой — не оставляли в Аносовой почти никакого сомнения в том, что между ними произошло объяснение самого интимного характера («Точно они не нашли для этого более удобного места!» — мысленно подчеркнула Аглая Петровна, бросая взгляд в ту сторону, где сидел Заречный, и замечая, что и он, мрачный и взволнованный, не спускает глаз с жены).

И Аносова втайне сердилась, испытывая обидную досаду деловой женщины, уверенной в своем уме и в знании людей, которую обошла другая — эта, казалось, вполне искренняя, маленькая, худенькая блондиночка, заставившая поверить осторожную и маловерчивую к людям Аглаю Петровну ее словам, что она только дружна с Невзгодиным и любит его как доброго старого приятеля.

«Тут не одной дружбой пахнет!» — решила «великолепная вдова», чувствуя, что в сердце ее растет неприязненное чувство к Маргарите Васильевне.

«Ужели это ревность и Невзгодин мне в самом деле нравится!» — подумала Аносова и даже презрительно повела плечом, словно бы сама удивленная этому странному капризу.

«Что особенного в этом Невзгодине?» — задала она себе вопрос.

Правда, он умен, но ум у него какой-то насмешливый, и взгляды совсем дикие, как у голыша, которому лично ничего не стоит держаться крайних мнений... Он, правда, естествен и прост, но вообще «непутевый» человек. А собою так уж совсем невиден... Так себе... подвижная, нервная мордочка...

Но, несмотря на эту оценку, что-то говорило в ее душе, что ее интересуется, и больше, чем кто-либо другой из ее многочисленных поклонников, этот «непутевый человек», с его «мордочкой», едва ли не единственный, который равнодушно относится и к ее красоте, и к ее уму, и к ее миллионам и который с резкой откровенностью говорил ей в глаза то, чего никто не осмеливался, и, по-видимому, несколько не боялся разорвать с ней знакомство, завязавшееся совершенно неожиданно в Бретани. И она должна была признаться себе,

что и тогда, когда они часто видались, встречаясь на пляже, Аглая Петровна была несколько изумлена тому интересу, который впервые возбудил в ней Невзгодин не только как любопытный, нешаблонный человек, но и как интересный мужчина. Недаром же она в Бретани с ним даже слегка кокетничала, стараясь понравиться ему и умом и чарами своей красоты, и видимо искала его общества. Она, всегда точная, отложила даже на неделю свой отъезд с морского берега, на что-то надеясь, чего-то ожидая, и, к изумлению своему, не дождалась ни малейшего намека со стороны Невзгодина на силу ее очарования. Недаром же она, как какая-нибудь глупая девчонка, посылала справляться об его адресе, досадуя, что он не явился к ней тотчас же по приезде, как обещал, и так обрадовалась неожиданной встрече, хотя и не показала вида.

Неужели Невзгодин может нарушить ее горделивый покой, который доселе не нарушал ни один из мужчин?

«Вздор!» — решительно протестовала она против этого.

И Аглая Петровна подняла на Невзгодина

строгий, почти неприязненный взгляд, словно бы возмущенная, что этот легкомысленный, ненадежный человек мог занимать ее мысли.

А он перехватил этот взгляд, и хоть бы что!

«Пусть себе увлекается чужою женой... Черт с ним!» — решила Аглая Петровна и обратилась с каким-то вопросом к Туманову, молодому, молчаливо наблюдавшему беллетристу.

Половые между тем разносили третье блюдо.

— Что ж это значит? Еще речей не говорят! — воскликнул удивленно Невзгодин.

— Успокойтесь... будут! — промолвила Маргарита Васильевна.

— Прежде на обедах речи обыкновенно начинались после супа, а то после рыбы... Вероятно, нам хотят дать поесть, чтобы мы могли слушать ораторов не на голодный желудок... Это неглупое новшество.

Он принялся за еду и прислушивался, как его соседка слева, молодая женщина, довольно милостивая, не умолкая, громко и авторитетно говорила сидевшему рядом с ней госпо-

дину о задачах настоящей благотворительности. Она изучала ее в Европе. Она посещала там разные благотворительные учреждения. Необходимо и в Москве совершенно реформировать это дело... Но ее не слушают... Она одна... Никто не хочет понять, что это дело очень серьезное и требует самого внимательного отношения... Надо строго различать виды бедности...

«О несчастный!» — пожалел Невзгодин господина, которому читали лекцию о благотворительности, и, обращаясь к Маргарите Васильевне, тихо заметил:

— Счастливы вы, что не слышите моей соседки. Она пропагандирует благотворительность во всех ее видах... Это в Москве, кажется, нынче в моде? Благотворительность является чуть ли не спортом.

— А вы уже успели заметить?

— Еще бы! Кого только из дам я не видал в эти дни, все благотворительницы. Что это: влияние скуки или мода из Петербурга?

— И то и другое. Впрочем, у некоторых есть и искреннее желание что-нибудь делать, помочь кому-нибудь. Вы знаете, и я работаю

в попечительстве... И не от скуки только! — прибавила Маргарита Васильевна.

— И довольны этой деятельностью? — удивленно спросил Невзгодин.

— Все что-нибудь, если нет другого.

— А вы и благотворительности не одобряете? — неожиданно кинула Аглая Петровна, обращаясь к Невзгодину.

— Почему же непременно «и». И почему вам кажется, что я ее не одобряю, Аглая Петровна? — с насмешливой улыбкой небрежно спросил Невзгодин.

Этот тон и эта улыбка взорвали Аносову. Но она умела хорошо владеть собою и, скрывая раздражение, промолвила:

— Да потому, что вы ко всему относитесь пессимистически... Это, впрочем, придает известную оригинальность! — иронически прибавила она.

— И не заслуживает вашего милостивого благоволения? Но положите гнев на милость и не секите неповинную голову, Аглая Петровна. Если вас так интересуется знать, как я смотрю на благотворительность, то я почти-тельнейше доложу вам, что я ровно ничего не

имею против благотворительных экспериментов. Я только позволяю себе иногда недоумевать...

— Чему? — с заметным нетерпением перебила Аносова.

— Тому, что иногда и неглупые люди хотят себя обманывать, воображая, что в этих делах панацея от всех зол, и возводят в перл создания выеденное яйцо; уверенные, что они... истинные евангельские мытари, а не самые обыкновенные фарисеи.

— А вы разве знаете, что они считают себя мытарями? Или вы имеете дар угадывать чужие мысли?

— То-то знаю, Аглая Петровна... встречал таких и среди мужчин и среди женщин... И кроме того, имею претензию угадывать иногда и чужие мысли! — смеясь прибавил Невзгодин.

— Можно и ошибиться!

— И весьма. Не ошибаются только люди, слишком влюбленные в свои добродетели. А я ведь — грешник и непогрешимым себя не считаю! — улыбнулся Невзгодин. — Когда-нибудь, если позволите, мы возобновим эту те-

му, а теперь невозможно. Звенигородцев поднялся и призывает нас к вниманию... Сейчас, верно, он начнет говорить.

Раздался звон стакана, по которому стучали ножом. Разговоры сразу замолкли. Прекратила свою лекцию и соседка Невзгодина, бросая на него негодующие взгляды за его сравнение благотворительной деятельности с выеденным яйцом. Половые убрали тарелки, стараясь не шуметь. Стали разливать по бокалам шампанское. В зале воцарилась тишина. Юбиляр торопливо вытер бороду, закапанную соусом, и, несколько размякший после утренних поздравлений и после двух стаканов белого вина, в ожидании речей, уже чувствовал себя вполне готовым к умилению, все еще недоумевая, за что его так чествуют?

«Это все Иван Петрович устроил!» — подумал скромный старик и, благодарно взглянув на Звенигородцева, потупил очи в пустую тарелку.

Х

Возвысив свой тенорок, Звенигородцев просил милостивых государынь и государей прослушать некоторые из приветственных

телеграмм и писем, полученных глубокопочтимым юбиляром из разных концов России и из-за границы.

— Их так много, что все читать займет много времени. Их перечтет потом сам Андрей Михайлович и убедится, что не одна Москва ценит и глубоко уважает его научную и общественную деятельность, а вся Россия. Он узнает, что и за границей у него есть горячие почитатели... Я позволю себе прочитать только некоторые.

И когда смолкли рукоплескания, Звенигородцев стал читать телеграммы от университетов, от редакций журналов и газет, от разных обществ и от более или менее известных лиц.

Некоторые из приветствий сопровождались рукоплесканиями. Телеграмма Найденова встречена была гробовым молчанием.

Перечислив затем фамилии лиц, совсем неизвестных, приславших поздравления юбиляру, Звенигородцев торжественно поднес весь этот ворох бумаги юбиляру, положил перед ним на стол и затем удалился на свое место, шепнув Цветницкому, чтобы тот начи-

нал.

Тогда поднялся сосед юбиляра за обедом, старый профессор Цветницкий. Тотчас же встал и юбиляр, и так как они очутились близко друг к другу, то Цветницкий, плотный, коренастый старик, отступил несколько шагов назад.

— Бедняга Косицкий! Неужели он будет выслушивать все речи стоя! — заметил Невзгодин.

— А то как же, не сидеть же ему, когда к нему обращаются! — ответила Маргарита Васильевна.

Оратор между тем откашлялся и начал слегка вздрагивающим, громким, низковатым голосом:

— Глубокоуважаемый и дорогой мой друг и товарищ, Андрей Михайлович! Мне выпала честь первому приветствовать тебя, и, гордый этой честью, я тем не менее чувствую, что едва ли смогу выразить с достаточною силою те чувства глубокого уважения и, можно сказать, даже благоговения, которые невольно внушаешь ты, высокочтимый Андрей Михайлович, и своими учеными заслугами, и

безупречною своею деятельностью как профессор, и, наконец, как безупречный добрый человек и редкий товарищ. Обозревая пройденный тобою путь, путь труда и чести, глазам моим представляется...

И почтенный оратор, продолжая в том же несколько приподнятом тоне, познакомил слушателей с пройденным юбиляром путем, начиная со студенческого возраста до настоящего дня, и так как путь был долог, то и речь профессора была несколько длинновата и при этом изобиловала таким количеством прилагательных в превосходнейших степенях, что сам юбиляр, хотя и умиленный, тем не менее испытывал немалое смущение, когда его называли одним из европейских ученых, редким знатоком науки и смелым борцом за правду... И сам этот Лев Александрович Цветницкий, с которым он еженедельно винтил по маленькой и после за ужином выпивал бутылочку дешевенького беленького вина, никогда не заикаясь о науке, от которой они оба, признаться-таки, давненько отстали, — казался ему другим Львом Александровичем, не настоящим, довольно-таки прижи-

мистым и практическим человеком, сумевшим получить казенную квартиру раньше, чем он, — а каким-то возвышенным и торжественным и необыкновенно добрым.

И когда он наконец кончил, пожелав юбиляру надолго оставаться еще «гордостью московского университета и одним из лучших людей Москвы», то Андрей Михайлович почувствовал некоторое облегчение и, растроганный, поцеловавшись с оратором, проговорил:

— Ну, уж ты того, Лев Александрыч... Хватил, брат...

— Ты заслужил, Андрей Михайлович. Заслужил, брат. Я хоть и плохой оратор, но зато от души! — отвечал Цветницкий.

Под впечатлением ли собственной речи и вообще торжественности обстановки, или, быть может, и нескольких рюмок водки за закуской и хереса после супа, но дело только в том, что положительный и вообще малочувствительный профессор (что особенно хорошо знали студенты во время экзаменов) внезапно почувствовал себя несколько растроганным и ощутил прилив нежности к «дру-

гу», которого в обыкновенное время частенько-таки поносил за глаза.

И, смахивая толстым пальцем с глаз слезу, прибавил:

— Ты, Андрей Михайлыч, скромн, а ты, собственно говоря, замечательный человек!

Публика между тем, в знак благодарности за окончание длинной и скучноватой речи, наградила оратора умеренными аплодисментами.

— Ну, что, понравилась речь? Будете еще слушать? — иронически спрашивала Невзгодина Маргарита Васильевна.

— Плоха. Оратор пересолил даже и для москвича. Косицкий наверное сконфузился, узнавши, что он европейский ученый. Бедный! Ему опять не дают покоя! — заметил Невзгодин.

Действительно, к юбилюру подходили со всех сторон, чтобы чокнуться. И он благодарил, пожимая руки и целуясь с коллегами и более близкими знакомыми. Ему то и дело подливали в бокал шампанского.

— Сколько примет он сегодня поцелуев! — заметила, усмехнувшись, Маргарита Васи-

льевна.

— Целоваться — московский обычай.

— И ругать тех, кого только что целовали, тоже московский обычай. Профессора его свято держатся.

— Уж вы слишком на них нападаете, Маргарита Васильевна... Косицкого к тому же все любят...

— Я ведь знаю эту среду. Насмотрелась.

— И что же?..

— Лицемеры и сплетники не хуже других... Косицкого любят, а послушали бы, что про него говорят его же друзья...

— Смотрите, Маргарита Васильевна! «Матримониальное право»[18] направляется к своему верноподданному.

— Кого это вы так зовете?

— Так в мое время студенты звали жену Андрея Михайлыча. Вы с ней знакомы?

— Нет.

— Ну и бабец... я вам скажу!.. Она хочет, кажется, дать представление: публично расцеловать Андрея Михайлыча. Она ведь дама отважная, я ее знавал!

Но этого не случилось.

Правда, монументальная, вся сияющая и торжественная профессорша с самым решительным видом подошла к юбиляру, но, по видимому, не имела намерения засвидетельствовать публичным поцелуем свою преданность и любовь.

Она невольно взглянула сверху вниз с некоторым, не лишенным восторженности, изумлением на своего крошечного перед нею Андрея Михайловича, которого считала не только не орлом, а скорее вороной, и который вдруг оказался, по словам Цветницкого, таким знаменитым человеком, — и с чувством проговорила:

— Твое здоровье, Андрей Михайлыч! Как я счастлива за тебя!

Она отхлебнула из бокала и, словно боясь, как бы «знаменитый человек» не возгордился после юбилея и не вышел из ее повиновения, внушительно прибавила, понижая до шепота свой густой низкий голос:

— Бороду оботри... На ней крошки... Да не пей много... Раскиснешь!

— Оботру, Варенька... Я немного, Варенька... И я чувствую себя отлично, Варенька! —

покорно ответил Андрей Михайлович и тотчас же стал перебирать бороду своими маленькими костлявыми пальцами.

Убедившись, что слава не испортила юбиляра, она улыбнулась ему такой приятной улыбкой, какую он видел изредка и всегда только при публике, и вернулась на свое место.

Присел наконец и юбиляр. Но, увы, — сидеть ему пришлось недолго.

Вслед за Цветницким говорили речи еще два профессора и — надо отдать справедливость — не особенно злоупотребили вниманием юбиляра и многочисленных слушателей. Вероятно, в качестве профессоров других факультетов (один был математик, другой — химик) они упомянули о научных заслугах Андрея Михайловича в общих чертах, не переходя пределов юбилейного славословия, и не приводили в смущение юбиляра гиперболическими сравнениями.

Стремительно поднявшийся со стула после них Иван Петрович Звенигородцев начал с того, что скромно, потупив свои глазки в тарелку, просил у юбиляра позволения сказать

«всего несколько слов», а говорил, однако, по крайней мере с четверть часа, заставив полных, только что вошедших с блюдами жаркого, замереть в неподвижных позах и слушать вместе с публикой, с какою необыкновенною легкостью выбрасывал он периоды за периодами, один другого глаже, закругленнее и красивее, с тою нежною, почти вкрадчивою интонацией своего мягкого тенорка, которая приятно ласкала слух, придавая речи тон задушевности. При этом ни одной затруднительной паузы, ни малейшей запинки, словно бы в горле Звенигородцева помещался исправный органчик, исполнявший только что заведенное поपुरри.

Его речь именно представляла собою легонькое поपुरри, которое и юбиляр и присутствующая публика слушали с удовольствием, хотя и затруднились бы передать содержание этой музыки приятных, красивых и подчас хлестких фраз, касавшихся слегка всевозможных тем. Восхваляя юбиляра, как одного из стойких и энергичных хранителей заветов и носителей идеалов, не погасившего в себе духа, оратор затем говорил обо всем понемногу:

о заветах Грановского, об идеалах лучших людей, о науке, о правде в жизни и жизни в правде, об обществах грамотности, юридическом и психологическом, в которых юбиляр работает не покладая рук, об интеллигенции и народе, о литературе, искусстве и поэзии и о любви москвичей к своим избранным людям, как глубоко чтимый юбиляр. Сравнив затем его деятельность с ярким огоньком маяка, который во мраке ночи служит предостерегательной звездочкой для пловцов, оратор весьма ловко перешел к пожеланию, чтобы у нас было бы побольше таких огоньков, ярко светящихся среди мрака нашей жизни, и эффектно закончил следующей тирадой:

— И тогда, господа, будет кругом светлее, и тогда скорее наступит царство знания и красоты, добра и правды... Так поднимем же наши бокалы за одного из лучших и достойнейших представителей этих вечных начал, без которых так несовершенна, так бесплодна жизнь, за дорогого нашего Андрея Михайловича!

И с этими словами Иван Петрович, с поднятым бокалом в руке, побежал целовать

юбиляра, и в ту же минуту половые стали разносить жаркое.

Любимому оратору, часто доставлявшему удовольствие своими речами, благодарные москвичи дружно поаплодировали. Многие подходили пожать ему руку за прочувствованную речь, а один из его приятелей назвал его Гамбеттой.

Соседка Невзгодина пришла просто в восторг и громко удивлялась способности Ивана Петровича говорить так просто, задушевно и красноречиво.

— Иван Петрович мастер! Он когда угодно скажет речь! — заметил кто-то благотворительной даме, тоже не лишенной способности говорить без удержки о благотворительности.

— Разбудите Ивана Петровича ночью и попросите речь — он мигом ее произнесет! — подтвердил какой-то господин.

Наступила маленькая передышка. Все занялись жарким. Почтенный юбиляр, пользуясь перерывом, пришел несколько в себя и торопливо жевал остатками своих зубов рябчика.

— А ведь хорошо, Андрей Михайлыч! — шепнул его друг Цветницкий, только что покончивший изрядный кусок индейки и запивший ее шампанским. — Отлично, брат! — прибавил он, дружески потрепав Андрея Михайловича по коленке своею широкою волосатою рукой.

Юбиляр растроганно улыбнулся и положил себе салату.

— И главное, знаешь ли что?

— Что, голубчик?

— А то, что на твоём юбилее нет никакой натянутости. Просто и задушевно. И все хорошие люди собрались... Небось Найденов не осмелился... И многие другие... Знают, что им не место здесь...

— Да... это ты верно: именно задушевно. Уж и я не знаю, за что я удостоился такой чести... Просто не могу понять... И утром... эти адреса... От товарищей, от студентов... За что?

— Не скромничай, Андрей Михайлыч. Значит, есть за что... Ты, во всяком случае, величина... понимаешь — сила, крупная величина! Поверь мне... Я кое-что понимаю... Я не дурак, надеюсь! — вызывающе прибавил

несколько заплетающимся языком коренастый профессор, основательно знакомившийся во время речей с винами разных сортов.

— Что ты, что ты, Лев Александрыч!.. Ты ведь у нас... слава богу... известный умница.

— И живи мы, например, с тобою во Франции или в Англии, Андрей Михайлыч, мы бы...

Профессор многозначительно улыбнулся.

— Мы бы... давно были министрами, Андрей Михайлыч... Вот что я тебе скажу, дорогой мой коллега! — самоуверенно досказал профессор и налил себе и юбиляру шампанского, предлагая выпить.

В это время среди шумного говора раздалось чье-то громкое восклицание:

— Николай Сергеич хочет говорить... Николай Сергеич!

— Николай Сергеич будет говорить! — повторило несколько голосов, и мужских и женских.

— Тсс, тсс! — раздалось со всех сторон.

В зале почти мгновенно наступила мертвая тишина.

Все глаза устремились на статную, высо-

кую фигуру Заречного и обратили внимание на то, что Николай Сергеевич, обыкновенно спокойный перед своими речами, сегодня, казалось, был взволнован. Лицо его слегка побледнело и было напряженно-серьезно. Брови нахмурились, и полноватая рука нервно терла бороду. В блестящих красивых глазах было что-то вызывающее.

Одна только Маргарита Васильевна не глядела на мужа. Она опустила глаза и уже заранее относилась враждебно к тому, что будет говорить муж.

Многие дамы бросали завистливые взгляды на счастливицу, у которой муж такой замечательный человек и такой красавец и притом влюбленный в нее, и находили, что она недостаточно ценит такого мужа.

Взглянула на Маргариту Васильевну и Аносова. Взглянула и, точно окончательно разрешившая свои сомнения, отвела взгляд и, слегка подавшись вперед своим роскошным бюстом, приготовилась слушать, внимательная и серьезная, чувствуя себя вполне одинокой среди этой толпы, где у нее было так много знакомых.

«А Заречный — сила в Москве, и как здесь его почитают!» — невольно думал Невзгодин, замечая общее напряженное внимание и восторженные лица у многих дам и молодых людей.

Прошла небольшая пауза, и Заречный, бросив взгляд на жену, начал свою речь, обращаясь к юбиляру, но говоря ее исключительно для Риты.

XI

Слегка вибрирующим от волнения, но уверенным и звучным голосом, хорошо слышным в дальних концах зала, Заречный сказал, что не станет повторять ни об ученых заслугах юбиляра, ни об его отзывчивости на все хорошее и честное, ни об его скромности и доброте. Об этом говорили другие, и это всем известно.

— Но я считаю долгом обратить особенное внимание всех здесь собравшихся почитателей ваших, Андрей Михайлович, — продолжал оратор, слегка повышая тон и словно бы подчеркивая, — на нечто другое и, по моему мнению, более важное с общественной точки зрения, — это на то скромное, некрикливое и

В то же время воистину мужское упорство, с каким вы шли по трудному и нередко даже тернистому пути профессора, не поступаясь своими заветными убеждениями и стараясь, поскольку это было возможно, проводить свои принципы, и, во всяком случае, трусливо не таили их даже и тогда, когда приложение их не всегда могло иметь место. Надо, повторяю, иметь неистощимый запас любви к своему делу и много нравственного мужества, чтобы в течение тридцати лет, несмотря на неблагоприятные подчас условия, являющиеся нередко непрошеными спутниками деятельности порядочных людей, не покидать, как доблестный часовой, своего обязывающего поста и высоко держать светоч знания, охраняя независимость науки по крайней мере в своей аудитории. И — что всего удивительнее — долгие годы трудового служения не иссушили вас, не сделали равнодушным к добру и злу. Вы не растеряли на жизненном пути своих идеалов, не предавали их страха ради иудейска, увеличивая собою ряды маловеров и отступников, и, случалось, переживали трудные времена, когда торжествующими

идеалами были не ваши, не падали духом от того, что таких, как вы, мало, а малодушных — большинство. Таким образом, вы, Андрей Михайлович, всей своей деятельностью даете всем нам поучительный пример настоящего понимания общественного долга и блестящее решение этического вопроса, являющегося для многих мучительным и спорным, а для некоторых теоретиков и мечтателей, знающих жизнь только по книгам и думающих, что она легко укладывается в беспредельности героических, но бесплодных стремлений, к сожалению, и поводом к несправедливым и оскорбительным обвинениям. Вопрос этот стар, как мир: что лучше и плодотворнее — делать ли возможно хорошее, хотя, быть может, и не в полном его объеме, являясь скромным работником небольшого, но честного дела, или же, усомнившись в возможности сделать желательное, бросить любимое дело и горделиво отойти, потешив на время себя призраком геройства, в сущности никому не нужного и бесплодного? Несколько поколений ваших учеников, обязанных вам не одними только знаниями, и ваш сего-

дняшний праздник — красноречивый ответ на этот вопрос!

Взрыв бурных рукоплесканий не дал продолжать Заречному. Слова его, видимо, нравились, отвечая настроению и взглядам большинства слушателей. Каждый как будто внутренне удовлетворялся и придавал еще большую значительность и своим маленьким делам, и своим маленьким стремлениям, и всей своей безмятежно-эгоистической жизни.

Невзгодин впервые слушал Заречного.

Далеко не из его поклонников, он с первых же слов молодого профессора почувствовал силу его таланта и с возраставшим вниманием слушал оратора, отдаваясь, как художник, обаянию и самой речи, и гибкого, выразительного и по временам страстного голоса Заречного.

«Pro domo sua!»[19] — подумал он и взглянул на Маргариту Васильевну.

И она, казалось, внимательно слушала мужа.

Когда смолк взрыв рукоплесканий и снова воцарилась тишина, Заречный, казалось, еще

с большей страстностью и с большим красноречием продолжал развивать ту же тему. Он снова говорил о бесполезности и вреде бессмысленного геройства, хотя и допускал, что бывают такие случаи, когда должно принести в жертву даже любовь к делу. Он пользовался юбилеем, приписывая ему, уже осовевшему от умиления, ту борьбу в минуты сомнений между желанием бросить все и чувством долга, которой в действительности почтенный Андрей Михайлович никогда не испытывал, не имея ни малейшего желания «бросать все» и быть изведенным супругой; и мудрость змия, и чистоту горлицы, и те соображения о науке и об оставлении молодежи без настоящего руководства, которые будто бы удерживали юбиляра на его посту в тяжелые минуты уныния; соображения, которых Андрей Михайлович никогда не имел, а просто тянул добросовестно ляжку, не делая никому зла по своему добродушию.

Когда Николай Сергеевич кончил, в зале стоял гул от рукоплесканий. Дамы махали платками. Почти все поднялись со своих мест и спешили поздравить руку Заречного. Везде раз-

давались восклицания восторга. Ему устроили овацию.

— Превосходная речь. Я иду позвать руку вашему талантливому мужу, Маргарита Васильевна! — проговорила несколько возбужденная Аглая Петровна.

И, поднимаясь, спросила:

— А вы не пойдете?

— Нет.

— А ваше сочувствие, я думаю, ему дороже сочувствия всех нас! — полушутя кинула Аносова и тихо двинулась, степенно и величаво отвечая на поклоны знакомых.

— Ну, а вы что скажете о речи мужа, Василий Васильич?

— У вашего мужа ораторский талант. Речь талантлива по форме.

— А содержание?

— Специально отечественное. Оправдание полочки жалованья возвышенными соображениями.

— А все в восторге.

В это время невдалеке от них раздался громкий голос высокого старика с большой седой бородой, который, обращаясь к сидев-

шей с ним рядом молоденькой девушке, произнес:

— Я помню, Ниниша, как в этой же самой зале, говорил Пирогов на своем юбилее. Он не то говорил, что говорят нынче молодые профессора.

Невзгодин и Маргарита Васильевна прислушивались.

— А что он, папочка, говорил?

— Многое, но особенно живо врезались в моей памяти следующие слова Пирогова, обращенные к профессорам: «Поступитесь вашим служебным положением, пожертвуйте тем, что дается зависимостью положения, и вы получите полную свободу мысли и слова!..» теперь дают совсем другие советы! — негодуяще прибавил старик.

— Не все в восторге, Маргарита Васильевна. Кто этот старик?

— Разве вы не знаете — это Лунишев. Интересный старик. Бывший профессор, потом доброволец солдат в Крымскую войну, затем гарибальдиец и с тех пор непримиримый немец.

Между тем снова начались речи, но устав-

ший юбиляр слушал их сидя, и публика после Заречного уже не с прежним вниманием слушала ораторов.

Встали из-за стола часов в десять, и Маргарита Васильевна тотчас же уехала. Невзгодин проводил ее до подъезда и обещал заехать к ней на другой же день.

Возвратившись в залу, он встретился лицом к лицу с Аносовой.

При виде Невзгодина Аглая Петровна, казалось, была изумлена, и с ее губ сорвалось:

— А я думала...

— Что вы думали?

— Что вы уехали, как только скрылась Маргарита Васильевна! — насмешливо кинула Аносова.

— Как видите, вы ошиблись. Я только проводил Маргариту Васильевну. Мне еще хочется посмотреть, что здесь делается.

— Опять говорят речи. Замучили Андрея Михайлыча. Ну, прощайте, и я уезжаю.

И, внезапно поднимая на Невзгодина взгляд, полный чарующей ласковости, она крепко пожала его руку и тихо бросила:

— Приезжайте же поскорей ко мне. Я

очень буду рада вас видеть и с вами поспорить.

Проговорив эти слова, она вспыхнула и торопливо вышла из зала.

XII

На следующий день во всех московских газетах появились более или менее подробные отчеты о праздновании юбилея Косицкого. Разнося славу почтенного профессора по стогнам[20] Москвы, составители заметок, обладавшие некоторой художественной фантазией и не совсем равнодушные к возвышенному слогу, не обошлись, как водится, в своих описаниях без тех риторических прикрас и гиперболических сравнений, которые так нравятся большинству читателей и особенно читательниц.

А один репортер, очевидно, подающий большие надежды, ухитрился начать свою заметку довольно оригинальным вступлением, не достигшим, впрочем, цели автора: быть приятным юбиляру. По крайней мере, Андрей Михайлович морщился, когда после утреннего чая читал, облаченный в свой старенький халат и сидя у письменного стола, такие стро-

ки, неожиданно следовавшие после заголовка: «Юбилей А.М.Косицкого»:

«Взгляни, читатель, на этого худенького, маленького, неказистого старичка с седою клинообразною бородкой, окаймляющей морщинистое доброе лицо с длинным, красным и глубокомысленным носом ученого, с маленькими и светлыми, как у чирика, или, вернее, как у канарейки, глазками, необыкновенно умными и в то же время кроткими, отражающими чистую, бесхитростную душу русского человека не от мира сего. Но в этом тщедушном тельце чувствуется сильный и пытливый дух научного исследователя. Он улыбается. Он растроган. Он умилен. Он сконфужен. Слезы волнения дрожат на его ресницах... Это глубоко чтимый юбиляр, вступающий в пиршественный, залитой огнями зал „Эрмитажа“ и встреченный такими бурными рукоплесканиями многочисленных почитателей и почитательниц его ученой деятельности, что, казалось, вот-вот обрушатся своды пышного чертога».

Видимо недовольный, Андрей Михайлович тихонько ворчал:

— И к чему понадобился ему мой нос!.. Какое ему дело до носа! И что это за фамильярный тон! «Взгляни на этого маленького, худенького старичка!» «Глаза, как у чижика!» Дурак! «В тщедушном тельце...» Болван! Очень нужно читателям знать, какого я сложения!.. Ужасно глупо и нахально нынче стали писать в газетах! — заключил старик.

И, не дочитав отчета, он засунул газету в глубь ящика письменного стола, чтобы Варенька ее не видала и не могла воспользоваться в своих видах каким-нибудь из сравнений репортера.

К огорчению многих застольных ораторов, всех речей газеты не напечатали, — для этого потребовался бы по крайней мере целый печатный лист мелкого шрифта в отдельном приложении. Целиком были помещены только: ответная маленькая речь юбиляра и речи Заречного и Звенигородцева, как имевшие больший успех. Остальные ораторы — а всех их было, вместе с говорившими после обеда, двадцать два человека — были названы, и речи некоторых из них, преимущественно людей более или менее известных, переданы в

сокращении.

Нечего и говорить, что большая часть газет отнеслась сочувственно и к юбиляру и к его чествованию. Да и нельзя было иначе. Андрей Михайлович был добродушный человек, не грешил литературой и не стоял близко ни к какому литературному кружку, следовательно, поводов к неприязни и не могло быть. А кроме того, он не играл никакой заметной общественной роли и, таким образом, не возбуждал ни в ком зависти. Вероятно, и это было одной из причин, что Андрея Михайловича все любили и юбилей его вызвал общее сочувствие как в печати, так и в обществе.

Исключение составляли только две газеты.

Обе они — одна старая, другая из новых — были хорошо известны своим «особым» направлением и тою откровенною отвагой, с какой они обличали сограждан вообще и профессоров и литераторов в особенности за недостаточность будто бы патриотических и вообще возвышенных чувств.

Одна из них, по молодости еще недостаточно опытная, поместила об юбилее с деся-

ток сухих строчек, словно бы не придавая ему никакого значения и не интересуясь его подробностями. Другая, напротив, воспользовалась случаем показать свою бдительность и не только поместила полностью речи нескольких ораторов, подвергнув речь Заречного даже маленькой переработке и отметив курсивом места, свидетельствующие о вредном образе мыслей ораторов, но и предпослала отчету пикантную статью без подписи, под заглавием «Наши профессора».

Автор не имел ничего против празднования Косицким юбилея, хотя, конечно, не в той форме и не при той обстановке, как это было устроено, но выражал сожаление, что чествуются профессора, далеко не выдающиеся какими-нибудь учеными заслугами, а между тем юбилей такого знаменитого ученого, как А.Я.Найденков, прошел без всякого чествования. «Не потому ли, — спрашивал автор, — что г. Косицкий по своей бесхарактерности и простодушию, в иных случаях неуместному и даже вредному, не противодействует и не отшатывается от той, к счастью, небольшой клики свивших здесь гнезда профессоров, ко-

торые, под личиной показной благонамеренности, скорбят о старом университетском уставе, желая сделать университет свободной ареной для пропаганды зловредных учений, а студентов — демагогами?» Удивляясь затем «святой наивности» г. Косицкого, не умевшего понять, что его юбилеем воспользовались «либеральные проходимцы» как предлогом для демонстрации, а вовсе не ради его заслуг, действительно более чем скромных, — автор «глубоко скорбел» за юбиляра, которому, «на старости лет и в чине тайного советника, пришлось очутиться за обедом в пестром обществе явных и тайных недоброжелателей исконных русских начал и выслушивать некоторые речи, возможные разве только в парижских клубах времен революции. Вот до чего доводят человека, хотя и благонамеренного, бесхарактерность и погоня за рукоплесканиями толпы!».

Обработав юбиляра, неизвестный автор перешел к речам и тут уже дал полную волю резвости своего пера. Отметив вскользь места опасные в некоторых речах и назвав речь Звенигородцева нелепою, но не особенно

опасною болтовней «либерального горохового шута», он с каким-то особенным озлоблением, в котором слышалось что-то личное, точно сводились какие-то счета, напал на речь Николая Сергеевича Заречного и, пользуясь ею, извращенно напечатанною в отчете, метал молнии, возмущался, негодовал, злился и высмеивал, умышленно делая натяжки, и с наглой бесцеремонностью давал выражениям Заречного не тот смысл, какой в них заключался.

«И такие речи говорит профессор! И такой человек — идол студентов! Бедный университет! Несчастливые студенты!»

Таковыми эффектными словами заканчивалась статья.

Все удивлялись не тому, что газета говорила обычным своим тоном, а главным образом тому, каким образом произнесенные за обедом речи попали в газету? Никого из сотрудников ее, конечно, не было на обеде... На него допускались лица по выбору и, конечно, не из числа поклонников газеты... И тем не менее было очевидно, что текст речей сообщен кем-нибудь из участников...

Никто и не догадывался, что вдохновителем этой статьи был Найденев, а автором — один из присутствовавших на обеде, доцент Перелесов, молодой человек, тихий, скромный и обязательный, по-видимому искренний сторонник того профессорского кружка, к которому принадлежал Заречный, и, казалось, большой почитатель Николая Сергеевича, с которым находился в самых лучших отношениях.

Он лет пять как был доцентом и читал необязательный курс по одной из отраслей той же науки, которая была специальностью Заречного и Найденева.

Способный, трудолюбивый и усидчивый, знавший предмет, быть может, не хуже Заречного, хотя и не обладавший его талантливостью, он втайне ему завидовал, питая к нему неприязнь только потому, что тот занимал кафедру, которой так жаждал сам Перелесов и не получал в других университетах. Зависть и неприязнь росли по мере того, как падали надежды получить желанное место, и по мере того, как увеличивалась популярность Николая Сергеевича. Один из тех боль-

ших самолюбцев, считающих себя непризнанными гениями, которые умеют скрывать от людей свои горделивые вожделения под видом скромности и непритязательности самого обыкновенного и ни на что не претендующего человека и которые слишком трусливы, чтоб действовать открыто, Перелесов воспользовался первым же представившимся ему случаем сыграть роль Иуды, в надежде свернуть шею Заречному.

Охваченный этой мыслью, он не понимал, что был лишь игрушкой в руках Найденова.

Несмотря на свое пренебрежительное, по видимому, отношение к юбилею Косицкого и к его заслугам, старый профессор все-таки злобствовал, что Косицкого будут чествовать, а его, Найденова, несмотря на его ученые заслуги, публично не чествовали; юбилей его в прошлом году имел исключительно официальный характер. И в когда-то популярном профессоре, далеко не равнодушном прежде к овациям, невольно поднималась глухая зависть к тому человеку, который будет награжден ими хотя бы и не по заслугам. От этого еще обиднее! Найденов необыкновенно ин-

тересовался подробностями юбилейного праздника — не даром же он звал Заречного рассказать о них.

Но когда еще Заречный придет?..

И Найденев, встретивший Перелесова утром, в день юбилея, обрадованно подошел к доценту и просил его приехать прямо с обеда к нему рассказать, что было на юбилейном торжестве Андрея Михайловича.

— Этим вы мне доставите большое удовольствие! — промолвил старик.

Перелесов тотчас же охотно согласился.

— И какие речи будут говорить — сообщите.

— С удовольствием.

— У вас, сколько помнится, память была изумительная, когда вы были студентом. Сохранилась она?

— Вполне.

— Значит, я вполне удовлетворю свое стариковское любопытство. Большое вам спасибо.

И, протягивая доценту руку, Найденев почему-то прибавил:

— А чтоб не было лишних сплетен, пусть

лучше ваш визит ко мне останется между нами.

— Я вообще не разговорчив, Аристарх Яковлевич! — скромно проговорил Перелесов.

— И умно поступаете. Речь — серебро, а молчание — золото. Так, смотрите, не засиживайтесь в «Эрмитаже».

Надо отдать справедливость доценту. Он добросовестно исполнил поручение.

Явившись после обеда к Найденову, он с полнотою и беспристрастием идеального репортера передал все подробности юбилея. Он рассказал о горячей встрече юбиляра, о долго не смолкавших рукоплесканиях и об его смущении. Он перечислил ряд приветственных телеграмм и писем, которые читались, упомянув, что всех писем и телеграмм было больше ста, и, действительно, обладавший изумительной памятью, почти дословно пересказал содержание речей тех ораторов, которые больше всего интересовали Найденова. И при передаче речей и произведенного ими на присутствующих впечатления он был правдив и так же беспристрастен. Только передавая речь Заречного и рассказывая о фуроре,

который она произвела, голос Перелесова звучал глуше, и в глазах его, больших, серых и несколько раскосых, было что-то злое и завистливое.

Найденов слушал внимательно и, казалось, бесстрастно, взглядывая на эту худощавую небольшую фигурку рыжеватого блондина лет тридцати, с бледноватым неказистым лицом, и одобрительно покачивая по временам головой, — но каждое его слово, свидетельствующее о блеске и грандиозности чествования Косицкого, возбуждало в старике зависть и злобу, которые он напрасно хотел заглушить цинизмом своих взглядов. И он злился и на Косицкого и на всех этих профессоров, устроивших юбилей и превозносивших в своих речах юбиляра. Нужды нет, что Косицкий не имеет никаких ученых заслуг, его чествовали как профессора, не продавшего ни науки, ни своих убеждений ради карьеры и благ земных. Как своеобразно ни смотрел Найденов на честность, он все-таки не мог не согласиться, что Косицкий, во всяком случае, честный человек.

И в этом чествовании, и в этих речах Най-

денов как бы видел отраженными ненависть и презрение к себе.

Когда доцент окончил свой доклад, Найденов поблагодарил своего гостя и проговорил с иронической улыбкой:

— Так речь Николая Сергеича произвела фурор!..

— Огромный...

— Как бы только он не дошалился до чего-нибудь со своими речами! — значительно промолвил Найденов. — Он, верно, думает, что незаменим... Положим, он человек бесспорно талантливый, но и вы ведь не хуже его знаете предмет и не менее талантливы.

Перелесов весь насторожился. Какая-то смутная надежда мелькнула в его голове, и он, весь вспыхнув, низким поклоном выразил благодарность за лестное о нем мнение.

Кинув как бы мимоходом о Заречном, Найденов продолжал:

— И вообще весь этот юбилей — срамота... Чествуют человека, не имеющего никаких научных заслуг. Говорят глупейшие речи, в которых называют Косицкого европейским ученым и превозносят его цивические добродетели.

тели... И все это раздуют завтра в газетах... И ни у кого не найдется мужества разоблачить всю эту шумиху, недостойную серьезных деятелей науки... и показать неприличие всех этих речей... А следовало бы. Тогда, быть может, и Заречному придется убедиться, что играть в популярность безнаказанно нельзя... Как вы об этом думаете? — неожиданно прибавил Найденов, пристально и значительно взглядывая на своего гостя.

Доцент с первых же слов понял, чего от него хотят, и уже видел себя профессором.

И он тихо, с обычным своим скромным видом проговорил:

— Вполне с вами согласен, Аристарх Яковлевич.

— Рад найти в вас единомышленника. Надеюсь, что вы не откажетесь и оказать истинную услугу делу науки, написать статью?

— Не откажусь! — еще тише ответил Перелесов, отводя глаза в сторону.

— Так напишите сегодня же, под свежим впечатлением, и отчет об юбилее, разумеется, приведите и образчики речей, и статью и отнесите все...

— В «Старейшие известия», конечно?

— Разумеется. Я дам вам записку к редактору, чтоб он завтра же поместил статью и чтобы сохранил в глубочайшей тайне имя автора... Не правда ли? К чему возбуждать против себя ненависть коллег, тем более, что такая статья непременно произведет сенсацию и обратит на себя внимание и в Петербурге.

Вслед за тем Найденов почти продиктовал содержание статьи, объяснив в кратких словах, на что главнейшим образом надо обратить внимание и как следует отнестись к Кошицкому. Что же касается до речей ораторов, то высмеять их и подчеркнуть все пикантные места он предоставлял усмотрению автора.

— Вы ведь понимаете, что именно нужно и чего боятся у нас! — с улыбкой прибавил Найденов.

Загоревшийся огоньком взгляд молодого доцента говорил лучше всяких слов, что он надеется сделать дело как следует.

Когда он вышел, вполне готовый на предательство, Найденов презрительно усмехнулся и прошептал:

— Даже и тридцати сребреников вперед не

потребовал!.. И вряд ли их получит!

XIII

Никто из лиц, «обработанных» «Старейшими известиями», еще не знал о статье. Косицкий не догадался послать за газетой, которую никогда не читал, а остальные все спали сегодня до позднего утра, опровергая этим самым неточность стереотипных заключительных слов газетных отчетов, гласивших, что после обеда «дружеская и оживленная беседа многих присутствовавших затянулась до полуночи».

Юбиляр, правда, был увезен своей супругой в одиннадцать часов, несмотря на видимое его желание посидеть в маленьком кружке своих коллег за бенедиктином. К тому же, после окончания всех речей и после двух бутылочек зельтерской воды, Андрей Михайлович чувствовал себя настолько бодрым, что далеко не прочь был поболтать с приятелями, не чувствуя себя больше юбиляром, и выпить одну-другую рюмочку любимого им ликера.

Но супруга его, несмотря на просьбы коллег мужа оставить Андрея Михайловича хоть еще на полчаса и несмотря на обещания

привезти его домой в назначенное время, непреклонно и решительно объявила, бросая значительный взгляд на мужа, что бедный Андрей Михайлович утомлен, что его надо пожалеть, что ликер ему положительно вреден («да и дорого стоит!» — подумала она, сообразив, что теперь Андрею Михайловичу, пожалуй, придется платить за консомацию [21] — юбилей-то кончился), и сослалась на самого Андрея Михайловича, бросая на него второй и уже более красноречивый взгляд.

И Андрей Михайлович, которого только что прославляли за мужество, довольно-таки малодушно подтвердил слова супруги и, пропившись с коллегами, покорно поплелся за ней, унося в душе радостно-умиленное чувство скромного человека, почтенного свыше всяких ожиданий, и сознавая в то же время, что в глазах Вареньки он даже и не был юбиляром и по-прежнему находится в непосредственном ее распоряжении.

Многие, разбившись по кружкам, оставались еще сидеть в большой зале за чаем или за бутылками вина. Пел один тенор из театра. Декламировала артистка. Часам к двум толь-

ко стали расходиться, но одна компания осталась. Она ужинала и после ужина засиделась до утра.

В этой компании было человек семь профессоров и в числе их Заречный, Звенигородцев, писатель Туманов, один публицист и один доктор.

После ужина продолжали говорить и пить, и все не хотели уходить, словно бы ожидая, что еще что-то должно случиться, хотя все давно чувствовали скуку. Уже несколько раз многие признавались друг другу в любви и целовались. Уже Звенигородцев, в отсутствие половых, произнес один из своих занимательных спичей, приберегаемых для интимных компаний. Заречный, много пивший и захмелевший, не раз, с раздражением чем-то обиженного человека, поднимал разговор о «мудрости змия», необходимой для всякого серьезного деятеля, пускался в философские отвлечения и, не оканчивая их, спрашивал чуть ли не у каждого из присутствовавших: понравилась ли его речь? И хотя все находили ее блестящей, но это, по-видимому, его не успокаивало, и он, покрасневший от вина,

заплетающимся языком жаловался, что его не все понимают. Когда ближайшие его соседи, с преувеличенным азартом подвыпивших людей, выразили, что только подлецы могут не понимать такого хорошего и умного человека, как Николай Сергеевич, и при этом напомнили, какую ему сегодня сделали овацию, Заречный и этим, по-видимому, не удовлетворился и обиженно налил себе вина.

Молодой писатель Туманов ни разу не открыл рта и молча тянул вино стакан за стаканом, делаясь бледнее и бледнее. Казалось, он с одинаковым равнодушным вниманием слушал все разговоры, точно ему решительно все равно, о чем говорят: о душе, о мудрости змия, об университетских дрызгах, об литературе. По крайней мере, на его симпатичном, с мягкими чертами лице не отражалось никакого впечатления. Оно оставалось бесстрастным. И только по временам на нем появлялось выражение какой-то безотрадной скуки, словно бы говорящее, что на свете решительно все и одинаково скучно.

Таким же молчаливым был и сосед Туманова, молодой профессор Дмитрий Иванович

Сбруев, года два тому назад переведенный из Киева, где он имел какие-то неприятности с ректором. Он тоже пил молча и много, но слушал разговоры внимательно и напряженно. На его широком мясистом лице, с окладистой темно-русою бородой, нередко появлялась грустно-ироническая и в то же время милая улыбка, которая не могла никого оскорбить. Он не раз порывался что-то сказать, но ничего не говорил и застенчиво улыбался, как-то безнадежно махая рукой, и вслед за тем отхлебывал из стакана.

Все уже сильно захмелели и, когда Звенигородцев догадался потребовать счет, обрадовались.

Только Туманов удивленно проговорил:

— Уже?

— Да ведь час-то который, роднуша! — воскликнул Звенигородцев.

— А который?

— Шесть. Пора и по домам... Небось науби-леились... Запиши-ка ты это слово. Тебе как писателю оно пригодится!

После расчета все вышли в сени и, надевши шубы, распростились друг с другом поце-

луями.

— А мы с вами, Дмитрий Иванович, нам ведь по дороге! — обратился Заречный к Сбруеву.

— С вами, Николай Сергеич.

Чуть-чуть брезжило. Несколько извозчиков с заиндевевшими бородами шарахнулись к подъезду. Заречный и Сбруев сели в сани и поехали.

Мороз был сильный. Заречный уткнулся носом в воротник шубы и скоро задремал. Сбруев, напротив, подставлял лицо морозу, не чувствуя на первых порах его силы, и прежняя улыбка не сходила с его лица.

Некоторое время он молчал, занятый, по видимому, какой-то мыслью, беспокоившей его не совсем трезвую голову.

Наконец Сбруев повернул голову к спутнику и, потирая щеки и нос, проговорил:

— Николай Сергеич?

— Что? — сонно откликнулся Заречный.

— Знаете, что я скажу и что я давно, еще там, в «Эрмитаже», хотел сказать, но по своей подлой застенчивости не решался... Но теперь решился... и знаю, что вы поймете и не

обидитесь... Верно, и вы то же чувствуете, что и я... Обязательно...

Заречный, казалось, не слышал.

— Слышите, Николай Сергеич...

— Ну? Приехали, что ли?

— И не думали...

— Так в чем дело, а?

— А в том дело, Николай Сергеич, что все мы, собственно говоря, свиньи!..

— Какие свиньи? — переспросил Заречный, слегка выдвигая лицо из воротника.

— Самые настоящие...

— Это кто?

— Мы... профессора.

— То есть, что вы хотите этим сказать, Дмитрий Иванович?

— А то, что сказал, Николай Сергеич... Конечно, ваша речь превосходная, Николай Сергеич... Талант... Я понимаю: лучше делать возможное, чем ничего не делать. Теория компромисса... Тоже учение. Но где границы? А мы так уж все границы, кажется, переехали... Ну, я и говорю себе, что я свинья, но остаюсь, потому что... Вы знаете, Николай Сергеич... Матушка и три сестры у меня на руках... Но

это не мешает мне сознавать, что я такое... Да что это вы так вытаращили на меня глаза? Понимаю. Удивлены, что безгласный Сбруев и вдруг заговорил. Я пьян, милый человек, потому и позволяю себе эту роскошь. Теперь я самому Найденову скажу, что он подлец, а завтра не скажу. Не осмелюсь. Теория компромисса и собственное свинство... Три тысячи... мать, сестры. Ни на что не способен, кроме научного корпенья... А вы... талант, Николай Сергеич. Блеск ослепительный!

Несмотря на то что и Заречный был пьян, он действительно глядел на Сбруева с большим изумлением, пораженный тем, что Дмитрий Иванович, всегда молчаливый, застенчивый и даже робкий, не выражавший никогда своих мнений и не высказывавшийся, казавшийся узким специалистом, занятым лишь одной наукой, в которой был знатоком, и ни с кем не сближавшийся, но пользовавшийся общим уважением, как несомненно порядочный человек, — что этот молчальник Дмитрий Иванович вдруг заговорил, и притом с такою неожиданной решительностью.

В опьяненном мозгу Заречного на мгнове-

ние блеснуло сознание, что Сбруев прав. Он хотел было немедленно обнять Дмитрия Ивановича и крикнуть на всю улицу, что и он, Николай Сергеевич, такой талантливый и безукоризненный человек, тоже свинья и морочит людей своими речами. Но в то же мгновение в голове его явилось воспоминание о Рите, неразрывно связанное с Невзгодиным и Найденовым и с впечатлением какой-то большой обиды, и ему вдруг представилось, что Дмитрий Иванович имеет намерение его оскорбить и унижить, что он именно его, Николая Сергеевича, назвал свиньей и знает, что Рита его не любит. Знает и радуется чужому несчастью.

И с быстротою перемены впечатлений, свойственной захмелевшим людям, Николай Сергеевич стал мрачен и дрогнувшим от обиды, пьяным голосом воскликнул:

— Et tu, Brutus?.. [22] И вы, Дмитрий Иванович, заодно с ними?.. Не ожидал этого от вас, именно от вас... За что? Разве я свинья? Разве я, Дмитрий Иваныч, не высоко держу в руках светоч знания!.. Разве я хожу на совет нечестивых... И вы не хотите понять меня, как эта

непреклонная женщина, и оскорбить, нанести рану вместе с врагами... Вы, значит, мой враг?..

— Что вы, голубчик, Николай Сергеич!.. Разве я хотел оскорбить! Разве я враг вам? Клянусь, не думал... Я знаю, что вы талант... вы, одним словом, выдающийся общественный деятель.

— Талант?! А вы хотите его унижить! — не слушал Заречный, чувствуя себя несправедливо обиженным и жалея себя. — Вы думаете, как и эта гордая женщина, что я лицемер? Вы хотите, чтоб я был героем? Но если я не герой и не могу быть героем... Должен я выходить в отставку? Не должен и не могу. Не могу и не выйду. Не выйду и не сделаюсь таким, как Найденов... А Невзгодина я убью! Вы понимаете ли, Дмитрий Иваныч, убью! — мрачно прибавил Заречный.

Но Дмитрий Иваныч ничего не понимал и порывисто восклицал:

— Какие враги? Какая женщина? Кого убить? Милый Николай Сергеич, успокойтесь. Кто смеет сравнивать вас с Найденовым? Что вы говорите, Николай Сергеич!

— Я помню, что говорю... Я пьян, но помню. А говорю, что не ждал, что вы обидите человека, который и без того обижен... Все меня поздравляли... Овации... А эти люди...

— Я — обидеть? По какому праву и такого человека?! Вы меня не поняли, Николай Сергеич!

— Отлично понял, откуда все это идет... Слушайте, Дмитрий Иваныч! Любили ли вы когда-нибудь женщину?

— Зачем вам знать?

— Необходимо.

Сбруев молчал.

— Вы что ж не отвечаете? Я не стою ответа? Вы опять хотите оскорбить меня?

— Николай Сергеич... Как вам не стыдно так думать?

— Так ответьте: любили ли вы женщину безумно, ревниво?

— Ну, положим, любил! — робко пролепетал Дмитрий Иванович.

— А она вас любила?

— То-то, нет! — уныло протянул Дмитрий Иванович, улыбаясь своей грустно-иронической улыбкой.

— Но замуж за вас пошла бы?

— Пожалуй, пошла бы...

— А вы на ней не женились?

— Разумеется...

— И даже «разумеется»?.. — усмехнулся пьяной улыбкой Заречный. — А почему же не женились?

— Вот тоже вопрос!.. До такого свинства я еще не дошел! — ответил Сбруев и, в свою очередь, засмеялся.

— А я, Дмитрий Иванович, дошел и женился... Оттого я и пьян... оттого я и несчастный человек!

— Из-за женщины?! Не верю... Вы такой общественный человек и из-за женщины?! Не поверю!

Извозчик в это время повернул в один из переулков, пересекающих Пречистенку, и, обращаясь к Заречному, спросил:

— К какому дому везти, ваше здоровье?

Этот вопрос прервал разговор пьяных профессоров.

Заречный и Сбруев внимательно взглядывали в полутьму переулка, где изредка мига-

ли фонари.

— Дмитрий Иваныч!.. Где мой дом? Где дом, который был когда-то желанным, а теперь...

Он внезапно оборвал речь и показал рукой на маленький особнячок.

— Сюда! — крикнул Сбруев...

Он помог Николаю Сергеевичу вылезти из саней и подвел его к крыльцу.

— Звонить?

— Тише только... Рита спит... Она не должна знать, что я так... пьян.

Пока пришла Катя отворить подъезд, оба профессора уже целовались, уверяя друг друга в искреннем уважении.

Это примирение, вероятно, и заставило Сбруева крикнуть, когда он сел в сани, чтоб ехать домой:

— А все-таки мы свиньи! До свидания, Николай Сергеич!

Но Заречный, кажется, не слышал этих слов и, войдя, пошатываясь, в переднюю, забыл решительно обо всем, что произошло и с кем он приехал. Он теперь сознавал только одно: что он очень пьян, и думал, как бы по-

казать горничной, что он совсем не пьян.

И он старался ступать твердо и прямо, нарочно замедляя шаги. Чуть было не ударившись о вешалку, он с самым серьезным видом посмотрел на пол, словно бы ища предмета, о который он споткнулся. Хотя шубу с него всегда снимала Катя, теперь он просил ее не беспокоиться: он снимет сам. Но процедура эта происходила так долго, что горничная помогла ему. При ее же помощи попал он наконец в кабинет и, охваченный теплом и чувствуя, что кружится голова, не без труда проговорил, напрасно силясь не заплетать языком:

— Спасибо, Катя... Больше ничего... Я сам все, что надо... и свечку... Отличный был юбилей... Ддда... Отличный... Меня не будить...

Катя между тем зажгла свечку, помогла Николаю Сергеевичу стащить с себя фрак и хотела было снять с Заречного ботинки, но он сердито замахал рукой, и она вышла, пожалев Николая Сергеевича, который, по ее мнению, должен был напиться не иначе как «через жену».

«Прежде с ним этого не бывало!» — поду-

мала она.

XIV

Проснувшись, Николай Сергеевич устыдился.

Он лежал на постели нераздетый и в ботинках. У него болела голова, и вообще ему чувствовалось нехорошо. Он старался и решительно не мог припомнить, в каком виде и когда он вернулся домой, но легко сообразил, что вид, по всей вероятности, был непривлекательный.

«Неужели Рита видела?» — с ужасом подумал Заречный.

Он хорошо знал, с какою брезгливостью относится она к пьяным.

Такого срама с ним давно не было. Правда, случалось — и то редко, — что он возвращался домой навеселе, и Рита всегда спала в такое время... Но чтобы напиться... какой срам!

Он ведь профессор, его все знают. Его могли видеть пьяным на улице...

— Безобразие! — проговорил Николай Сергеевич и тут же дал себе слово, что впредь этого не будет...

Он взглянул на часы. Господи! Шестой час!

Заречный торопливо вскочил с постели и стал мыться. Сегодня он особенно тщательно занимался своим туалетом, чтобы жене не бросились в глаза следы ночного кутежа. Но зеркало все-таки отражало помятое, опухшее лицо, красноватые глаза и вздутые веки.

А в голову между тем шли мрачные мысли. Речь, на которую он так надеялся, не убедила Риту. Она по-прежнему не понимает его и вчера даже ни разу не подошла к нему... Все время была с Невзгодиным... За обедом говорила с ним, и только с ним...

Он сознавал мучительность неопределенности, которая нарушила его благополучие и его покой. Он вдруг точно стал в положение обвиняемого и потерял все права мужа. Вот уже третью ночь спит на диване в кабинете... Неужели впереди та же неопределенность или еще хуже — разрыв? Он понимал, что необходимо решительно объясниться, и в то же время трусил этого объяснения. По крайней мере, он не начнет...

Когда Катя вошла в кабинет, чтоб узнать, можно ли подавать обедать, Николай Сергеевич, желая выведать, когда он вернулся до-

мой, спросил:

— Отчего вы раньше не разбудили меня?

— Вы не приказывали. Да и барыня не велела вас будить. Вы изволили поздно вернуться.

— Поздно? В котором же часу я, по-вашему, вернулся?

— В седьмом часу утра...

«Слава богу, Рита не видала!» — подумал Николай Сергеевич и, после секунды-другой колебания, смущенно проговорил, понижая голос:

— Надеюсь, Катя, вы никому не болтали и не станете болтать о том, что я вернулся, как-жестся, не в своем виде.

— Что вы, барин! За кого вы меня считаете? Да и вы совсем в настоящем виде были. Чуть-чуть разве...

— А за ваше беспокойство... вчера вы из-за меня не ложились спать... я... поблагодарю вас, как получу жалованье.

Катя, прежде охотно принимавшая подачки, обиделась. Никакого беспокойства ей не было. Она всегда готова постараться для барина.

— И никаких денег мне не нужно! — порывисто и взволнованно прибавила она.

Вслед за тем, снова принимая официально-почтительный вид, доложила:

— Господин Звенигородцев два раза заезжали. Хотели в восемь часов быть. По нужно-му, говорили, делу. Прикажете принять?

— Примите.

— А обед прикажете подавать?

— Подавайте. Да после обеда кабинет, пожалуйста, уберите.

Заречный вошел в столовую несколько сконфуженный и точно виноватый.

Но, к его удивлению, в глазах Риты не было ни упрека, ни насмешки. Напротив, взгляд этих серых глаз был мягок и как-то вдумчиво-грустен.

У Заречного отлегло от сердца. И, мгновенно окрыленный надеждой, что Рита не сердится на него, что Рита не считает его виноватым, он особенно горячо и продолжительно поцеловал маленькую холодную руку жены и виновато произнес:

— Я безобразно поздно вернулся. Вчера после обеда засиделись. Не сердись, Рита. Даю

тебе честное слово, что это в последний раз.

— Это твое дело. Но только вредно засиживаться! — почти ласково промолвила она.

— И вредно, и пошло, и скучно. Только бесцельная трата времени, которого и без того мало.

Они сели за стол. Рита передала мужу тарелку супа и сказала:

— Звенигородцев тебя хотел видеть... Какое-то спешное дело.

— Мне Катя говорила. Не знаешь, что ему нужно?

— Я его не видала. Он не входил.

Несколько минут прошло в молчании.

Заречный лениво хлебал суп и часто взглядывал на Риту влюбленными глазами, полными выражения умиленной нежности. Вся притихшая, точно безмолвно сознающая в своей вине, она была необыкновенно мила. Такою Николай Сергеевич никогда ее не видел и словно бы молился на нее, благодарно притихая от восторга и счастья.

И Рита, встречая эти взгляды, казалось, становилась под их влиянием кротче, задумчивее и грустнее.

Катя, видимо заинтересованная наблюдениями, то и дело шмыгала у стола, бросала пытливые взгляды на господ. Она обратила внимание, что Николай Сергеевич, обыкновенно отличавшийся хорошим аппетитом, почти не дотронулся до супа, и вчуже досадовала, что он совсем как бы потерянный от любви, и негодовала на барыню. Несмотря на ее «смиренный вид», как мысленно определила Катя настроение Маргариты Васильевны, она чувствовала скорее, чем понимала, что барину грозит что-то нехорошее, и только дивилась, что он пялит в восторге глаза на эту бесчувственную женщину.

— А тебе, Рита, не скучно было вчера?

Бросив с умышленной небрежностью этот вопрос, Заречный со страхом еще не разрешенной тайной ревности ждал ответа.

— И не особенно весело! — отвечала Рита.

На душе Николая Сергеевича стало еще светлей. Лицо его сияло.

«Невзгодин ни при чем. Рита не увлечена им!» — подумал он.

Рита заметила эту радость, и по губам ее скользнула улыбка не то сожаления, не то

грусти.

— Не весело? Но Василий Васильевич такой веселый и интересный собеседник.

— Это правда, но у меня у самой было невеселое настроение.

«Вот-вот сию минуту Рита скажет, что это настроение было оттого, что она почувствовала несправедливость своих обвинений», — думал профессор, желавший так этого и думавший только о себе в эту минуту.

Но жена молчала.

— А теперь... сегодня... Твое настроение лучше, Рита?.. — спрашивал Заречный и точно просил утвердительного ответа.

— Определеннее! — чуть слышно и в то же время значительно промолвила Рита.

— И только!

— К сожалению, только.

В словах жены Николай Сергеевич уловил нечто загадочное и страшное. Не этих слов ожидал он! И тревога испуганного чувства охватила его, и радость счастья внезапно омрачилась, когда он увидал, как вдруг отлила кровь от щек Риты и какое страдальческое выражение, точно от скрываемой боли, про-

мелькнуло в ее глазах, в ее печальной улыбке, в чертах ее лица.

— Рита, что с тобой? Не больна ли ты? — испуганно и беспокойно спрашивал Николай Сергеевич.

«Господи! Он ничего не понимает!» — подумала Рита.

И, тронутая этой беспредельной любовью мужа, которая все прощала и, ослепленная, на все надеялась, попирая мужское самолюбие, она проговорила, стараясь улыбнуться:

— Да ты не тревожься. Я здорова.

Она выговорила эти слова, и ей стало совестно. Она предлагает ему не тревожиться, а между тем...

— Я спала плохо... Все думала о наших отношениях...

— И до чего же додумалась, Рита? — спросил упавшим голосом профессор, меняясь в лице.

Катя только что подала кофе и слышала последние слова. Она нарочно не уходила и стала убирать со стола, чтоб узнать продолжение разговора. Но с ее приходом наступило молчание.

— Уберите кабинет! — обратился к ней Николай Сергеевич, желая ее выпроводить.

— Уже убран, барин!

И Катя с особенною тщательностью, никогда прежде не выказываемою, стала сметать на поднос крошки со стола.

Маргарита Васильевна взглянула на Катю и перехватила ее взгляд, полный ненависти и осуждения. Катя смутилась. Удивленная, Маргарита Васильевна не подавала вида, что заметила и взгляд и смущение горничной, и с обычной мягкостью проговорила:

— Вы потом уберете со стола, а теперь можете идти, Катя.

— Вас не разберешь, барыня. Сегодня так приказываете, завтра иначе! — резко, очевидно с умышленною грубостью, проговорила Катя.

Маргарита Васильевна пристально посмотрела на Катю, еще более удивленная. Никогда Катя не грубила ей, отличаясь всегда приветливостью во все два года, в течение которых жила у Заречных. И только тогда поняла, что это значит, когда, в ответ на резкое замечание Николая Сергеевича на грубость ба-

рыне, Катя вся вспыхнула, но покорно, не отвечая на слова, вышла из столовой.

«Положительно все женщины влюбляются в мужа, кроме меня!» — подумала Маргарита Васильевна и невольно усмехнулась, хоть ей было не до смеха.

— Так до чего ты додумалась, Рита? — снова спросил Николай Сергеевич, все еще надеясь на что-то при виде улыбки жены.

— Об этом нам надо поговорить. У тебя есть свободные четверть часа? Ты никого не ждешь?

— Никого.

— А Звенигородцев?

— Он будет в восемь. Но его можно и не принять. Сказать, что дома нет.

— Так пойдем ко мне. Или лучше к тебе в кабинет! — внезапно перерешила Маргарита Васильевна, почему-то краснея. — Там никто не помешает нам. Ты кончил кофе?

— Я не хочу.

Рита поднялась. Поднялся и Заречный и, по обыкновению, подошел к ней, чтобы поцеловать ее руку.

Ему показалось, что рука Риты вздрогнула,

когда он прикоснулся к ней губами. Когда он стал ее целовать с порывистой нежностью, словно бы вымаливая заранее прощение, Рита тихонько отдернула руку. И тут он вдруг заметил, что на ней нет обручального кольца.

Маргарита Васильевна медленно шла впереди, опустив голову.

А Николай Сергеевич, вместо того чтобы по праву мужа идти рядом с прелестной, любимой женщиной, обхватив ее тонкую, гибкую талию и целуя на ходу ее щеку, как прежде делал он, когда Рита, случалось, благосклонно позволяла ему эти проявления нежности после обеда, — теперь шел сзади с растерянным видом обвиняемого, ожидающего рокового приговора.

Войдя в кабинет, Рита искала глазами, куда бы сесть, еле держась на ногах от сильного нервного возбуждения и бессонной ночи, во время которой она подводила итоги своих отношений к мужу. Но как легко было тогда думать об объяснении с мужем, так тяжело было ей теперь, когда она решилась объяснить-ся.

— Садись, Рита, на диван. Тебе будет удоб-

нее! — заботливо обронил Заречный.

— Нет, я лучше сюда.

И она опустилась на кресло у письменного стола. Целая коллекция ее фотографий, стоявших на столе, бросилась ей в глаза, словно бы напоминая ей вновь, как она виновата перед человеком, которого беспощадно обвиняла в том, в чем грешна была и сама. Спасибо Невзгодину. Вчера он открыл ей глаза, а затем она еще безжалостнее отнеслась к себе и с ужасом увидела, какова и она, грозный судья мужа.

Прошла минута молчания, казавшаяся Заречному бесконечной.

Полный тоски и предчувствия чего-то страшного, он не имел мужества терпеливо ждать приговора, встречаясь едва ли не первый раз в жизни с серьезным испытанием, каким для него являлась потеря любимой женщины.

Забившись в темный угол дивана, он, словно зачарованный, не спускал глаз с жены, голова и бюст которой, освещенные светом лампы, выделялись среди полумрака кабинета.

И как особенно хороша казалась профессору в эту минуту, когда решалась — он это понимал — его судьба, как прелестна была в его глазах эта маленькая обворожительная женщина с ее грустным лицом ослепительной белизны. Как вся она была изящна и привлекательна!

И эта самая женщина, которую он любит с такою чувственной страстью и которую еще недавно так горячо, так безумно ласкал, считая ее по праву своей желанной женой и любовницей, теперь будто для него совсем чужая. Он не смеет даже припасть к ее ногам и молить, чтобы она не произнесла обвинительного приговора.

«Неужели все кончено? Отчего она не говорит? За что длить мучения? Или, быть может, не все еще потеряно. Она не захочет разбить чужой жизни... Она...»

— Рита!.. Что же ты? Говори, ради бога! — вдруг раздался среди тишины молящий голос Николая Сергеевича.

И вот Рита перевела дух и начала тихо, мягко, почти нежно и вместе с тем решительно, как мог бы говорить сердобольный доктор

с трусливым больным, которому предстоит сделать тяжелую операцию.

Бедный профессор с первых же слов Риты почувствовал, что дело его проиграно, и низко опустил голову.

XV

Рита говорила:

— Во всем виновата я, одна я. Я не должна была выходить замуж за тебя. Мне не следовало соглашаться на твои просьбы и слушать твои уверения, что любовь придет... Я не виню тебя за то, что ты, зная мои чувства, все-таки женился. Ты был влюблен, в тебе говорила чувственная страсть, наконец в тебе говорило мужское самолюбие... Ты не способен был тогда рассуждать, не мог предвидеть последствий такого брака и, влюбленный, не знал хорошо меня. Но я? Я ведь могла понимать, что делаю. Во мне не было не только страсти, но даже и увлечения. Я ведь была не юная девушка, не понимающая, что она делает, мне было двадцать восемь лет — я видала людей, я кое-что читала и обо многом думала. Правда, я не скрыла от тебя, что выхожу замуж потому, что не хочу остаться старой де-

вой, не скрыла и того, что не люблю тебя и питаю лишь расположение, как к порядочно-му человеку. Но разве откровенное признание дурного поступка искупает самый поступок?.. И я пошла на постыдный компромисс, весь ужас которого я сознала только теперь, когда... когда ты мне кажешься не таким, каким я тебя представляла... Я отдавалась человеку, которого не любила, отдавалась только потому, что и во мне животное...

Рита на минуту примолкла.

— И я имела дерзость, — продолжала она, — обвинять тебя в том, в чем грешна едва ли не больше тебя... Каюсь, я не имела права...

— Только потому, что не имела права? — воскликнул Заречный.

— Да.

— А если бы считала себя вправе?

— Ты знаешь... Я не могу и теперь кривить душой... Я, быть может, и ошибаюсь, но ты не тот, каким мне казался... Но к чему об этом говорить?

— Не тот?! Но еще недавно ты иначе относилась ко мне.

— Да. Но разве я виновата, что мой взгляд изменился.

— Сбруева, например, ты не обвиняешь. А ведь он тоже не выходит в отставку.

— Он никого не вводит в заблуждение. Он не говорит о мужестве, которого нет... Он не любит себя... Он не играет роли...

— Но и я не лезу в герои... Вчера моя речь... Тебе она не понравилась?..

— Ты играешь своим талантом. Раньше ты не то говорил.

И Заречный чувствовал, что Рита права. Он раньше не то говорил!

— О Рита, Рита! Если бы ты хоть немного любила, ты была бы снисходительнее.

— Быть может!.. Но разве я виновата?

— И ты разочаровалась во мне не потому, что я не тот, каким представлялся, а потому, что ты увлечена кем-нибудь... И я знаю кем: Невзгодиным! — в отчаянии воскликнул Заречный, вскакивая с дивана.

— Даю тебе слово, — ты знаешь, я не лгу! — что я никем не увлечена. И Невзгодин давно избавился от прежнего своего увлечения. Ты думаешь, что только увлечение кем-нибудь

другим заставляет женщин разочароваться в мужьях? Ты мало меня знаешь... Но в этом я не виновата... Я не скрывала от тебя своих взглядов... Но к чему нам считаться? Позволь мне досказать...

— Что ж... досказывай... Не жалею меня... Я даже и этого не стою! — промолвил жалобным тоном Заречный.

«А меня разве он жалеет?.. Он только жалеет себя! О безграничный, наивный эгоизм!» — невольно подумала Рита и продолжала:

— После всего, что я сказала, ты, конечно, поймешь, что прежние наши отношения невозможны... Мы должны разойтись...

— Разойтись?.. Ты хочешь оставить меня? — в ужасе проговорил Заречный.

— Это необходимо.

— Рита... Риточка!.. Не делай этого! Умоляю тебя... Не разбивай моей жизни!

И, почти рыдая, он вдруг бросился перед ней на колени и, схватив ее руку, осыпал ее поцелуями.

Он был жалок в эту минуту, этот блестящий профессор.

«И это мужчина!» — подумала Рита, брезгливо отдергивая руку от этих оскорбительных поцелуев.

Злое чувство охватило ее, и она строго проговорила:

— Встань. Не заставляй меня думать о тебе как о трусе, не способном выслушать правды! Положим, я виновата, но разве весь смысл твоей жизни в одной мне? А наука, а студенты, а общественный долг? — о которых ты так много говоришь?.. — ядовито прибавила она.

Николай Сергеевич поднялся и отошел к дивану.

— Я жалок, но я люблю тебя! — глухо выговорил он.

— Все «я» и «я»... Но и я так жить не могу...

— По крайней мере не сейчас... Повремени... Подумай... Дай мне прийти в себя...

— Ты этого непременно требуешь?

— Я прошу...

— Изволь... я останусь некоторое время, но только помни: я больше тебе не жена!

С этими словами она вышла из кабинета.

Заречный долго еще сидел на диване, растерянный, в подавленном состоянии. Приход

Звенигородцева несколько отвлек его.

— Смотри... Читай, что подлецы написали про нас! — заговорил он, после того как расцеловался с Заречным, подавая номер «Старейших известий»... — Я был у тебя два раза... был у Косицкого, у Цветницкого... У всех был... Надо отвечать... Обязательно... Ведь эта статья... форменный донос... И кто только мог сообщить сведения?..

Когда Заречный прочитал, в чем его обвиняют, он порядком таки струсил. Через несколько минут он уехал с Звенигородцевым к одному из профессоров, у которого должны были собраться все, задетые в статье, и решил на следующий же день сделать обещанный визит Найденову.

XVI

Несмотря на очевидную нелепость статьи «Старейших известий», она, как и предвидел Найденов, произвела большую сенсацию в интеллигентных московских кружках и особенно среди жрецов науки.

К вечеру уже были распроданы все отдельные номера газеты, обыкновенно мало расходившейся в розничной продаже. Всякому хо-

телось прочесть, как «отделали» профессоров. В этот день везде говорили о статье и тщетно допытывались узнать, кто автор, заинтересованные его именем едва ли не столько же, сколько и его произведением. Кто-то пустил слух, что автор Найденов, но никто не поверил, считая эту «старую шельму» слишком умным человеком, чтобы написать такой грубый пасквиль.

Люди, не разделявшие мнений воинствующей газеты, разумеется, возмущались статьей, но это не мешало, однако, весьма многим втайне радоваться скандалу, всколыхнувшему, словно брошенный камень, сонное болото и дававшему повод к пересудам, сплетням, цивическим излияниям по секрету и к самым пикантным предположениям об эпилоге всей этой истории.

А эпилога почему-то все ожидали, хотя и знали, что никакой «истории», в сущности, не было.

Но более всего, и не без некоторой наивности, москвичи изумлялись наглости, с какою составитель отчета, очевидно присутствовавший на юбилейном обеде, извратил смысл ре-

чей некоторых застольных ораторов и в особенности — речи Николая Сергеевича, которая так всех восхитила. Многие ее слышали, многие ее читали в других газетах, и извращение, видимо умышленное, при помощи вставок и замены одних слов другими, так и бросалось в глаза.

Эта, по общему мнению, блестящая и талантливая речь, возводящая в культ служение, по мере возможности, маленьким делам и порицавшая бессмысленность и бесплодность всякого геройства, даже и такого, как выход в отставку, — эта красноречивая защита компромисса и восхваление его, как гражданского мужества, в передаче автора являлась чуть ли не вызовом к протесту.

Это было уж чересчур наглое вранье и возмутило даже благодушных москвичей.

Нечего и говорить, что бессовестные и несправедливые нападки на Николая Сергеевича, который к тому же был излюбленным человеком и гордостью москвичей, по крайней мере не меньшей, чем М.Н.Ермолова, филипповские калачи и поросенок под хреном у Тестова, — еще более подняли престиж бле-

стящего профессора в глазах многочисленных его почитателей и почитательниц.

Оклеветанный, он решительно явился героем.

И на другой же день после появления ругательной статьи Заречный получил десятка два писем, выражавших негодование на безыменного пасквилянта и горячее сочувствие произнесенной Николаем Сергеевичем речи и вообще всей его безупречной деятельности.

В числе этих посланий было и дружеское, очень милое письмоцо Аглаи Петровны.

Красивая миллионерша предлагала ему свои услуги. В Петербурге у нее есть один знакомый влиятельный человек, которому она напишет, если бы вследствие «подлой заметки» Николаю Сергеевичу грозили какие-нибудь неприятности.

Как ни нелепы были нападки на Заречного, но они заставили Николая Сергеевича струсить и, признаться, малодушно струсить. Встревожились статьей и некоторые профессора, говорившие речи и даже не говорившие речей, но бывшие на юбилейном обеде. Один

только Звенигородцев, в качестве человека свободной профессии, обнаружил геройство и требовал коллективного протеста против статьи, назвавшей его гороховым шутом.

Захватив с собою Заречного, Звенигородцев привез его в квартиру одного из профессоров, где по инициативе Ивана Петровича должно было состояться совещание. Собрались, однако, далеко не все. Юбиляра решительно не пустила супруга, уже успевшая в течение дня донять Андрея Михайловича упреками, как только прочитала статью «Старейших известий».

Нужно было ему праздновать этот дурацкий юбилей. Теперь, того и гляди, выгонят его. Автор заметки совершенно прав, назвавши Андрея Михайловича человеком «святой наивности», то есть иными словами дураком... Дурак старый он и есть!

Андрей Михайлович терпеливо отмалчивался, но когда Варенька потребовала, чтобы он на другой день непременно поехал к попечителю объясниться, то «старый дурак» так решительно ответил, что ни к кому объясняться не поедет и на старости лет унижаться

не станет, что Варенька вытаращила от удивления глаза.

— И я плюю на статью! — прибавил с презрительной гримасой старый профессор.

Из числа всех позванных Звенигородцевым на совещание собралось только человек десять профессоров. Они, разумеется, тщательно скрывали друг от друга свою тревогу и вместе с Заречным говорили, что следует отнестись с презрением к инсинуациям какого-то мерзавца, но далеко не у всех было одно только презрение, как у старого скромного профессора Косицкого.

У многих был тот, исключительно свойственный русским, преувеличенный страх за свое положение, который заставляет нередко и умственно смелых людей видеть опасность даже и там, где ее нет, и чувствовать себя без вины виноватыми. Все понимали, что ложность статьи вне сомнений и что она не может возбудить недоразумений, тем более что празднование юбилея было официально разрешено, и все-таки трусили.

И лишь только появилась статья, как уж некоторые из жрецов науки, считавшие себя

хранителями заветов Грановского, малодушно каялись, что были на юбилейном обеде, а двое, более струсившие профессора, не явившиеся в собрание, уже успели утром показаться начальству, чтоб узнать, как оно отнеслось к газетной заметке, и кстати пожаловаться, что в ней их называли «либеральными проходимцами».

Собравшиеся на совещание первым делом занялись расследованием: кто мог быть автором заметки. Очевидно, это кто-нибудь из врагов Николая Сергеевича, которому более всего досталось. Но Заречный решительно не мог назвать никого, внушавшего подозрение. И даже сам Иван Петрович Звенигородцев, хвалившийся, что все знает, на этот раз должен был сознаться в безуспешности своих разведок, начатых еще утром. Но он обещал все-таки во что бы то ни стало узнать имя автора, чтоб его остерегались порядочные люди.

Несмотря на предложение Звенигородцева написать коллективный протест против статьи и привлечь к подписи возможно большее количество лиц, решено было оставить ста-

тью без ответа, как не достойную даже и опровержения. На этом настаивали все, и Иван Петрович так же быстро взял назад свое мнение, как и предложил его. Но указать передержки, сделанные в речах Заречного и других профессоров, обязательно следовало, по единогласному мнению всех присутствовавших.

Заречный тут же написал короткое письмо в редакцию «Ежедневного вестника», ограничившись в нем только наглядным сопоставлением извращенных мест речей с действительно произнесенными, и не прибавил к этому ни строчки, что придавало письму импонирующую фактическую краткость и как бы оттеняло полное презрение к автору отчета, которого не удостоивали даже ни единым словом, лично к нему обращенным.

Все вполне одобрили редакцию письма.

— Разумеется, мы все его подпишем! — произнес неожиданно со своею обычною застенчивою улыбкой Сбруев, во все время не проронивший ни звука и, казалось, занятый лишь чаем.

В тоне его голоса было что-то вызываю-

щее, точно он не был уверен в общем согласии и своим вызывающим уверенным тоном надеялся подбодрить более малодушных коллег.

Все удивленно взглянули на Сбруева, который вдруг заговорил, да еще так решительно и притом не разбавляя чая коньяком.

Прошла долгая минута тягостного неловкого молчания. Многие опустили долу глаза. Видимо, предложение Сбруева не понравилось, но ни у кого не хватало мужества прямо об этом сказать.

— Надеюсь, из-за этого мы ничем не рискуем! — прибавил Сбруев с добродушно-иронической усмешкой.

— Тут не в риске дело, Дмитрий Иваныч, — наконец заговорил тот самый старый профессор Цветницкий, который на юбилее уверял своего друга Андрея Михайловича, что оба, наверно, были бы министрами, если б жили не в России, а в Англии. — Тут не в риске дело, дорогой коллега! — повторил плотный коренастый старик, понижая свой зычный голос. — Мы все, разумеется, не остановились бы и перед риском, если б того требовала на-

ша честь.

«И врет же старая бестия!» — пронеслось в голове Сбруева.

— А в данном случае и риска никакого нет, и я, разумеется, охотно подписался бы под письмом, хотя моя речь и не удостоилась издевательства и извращения. Но не придадут ли все наши подписи письму несвойственный ему и нас недостойный характер протеста? И деликатно ли это будет относительно наших отсутствующих товарищей? Подпиши все мы письмо, они могут обидеться, что их не включили, а собирать теперь подписи всех коллег, бывших на обеде, поздно... Как вы полагаете, господа?

Коллеги, втайне обрадованные, что Цветницкий так ловко ответил на предложение Сбруева и дал им возможность под благовидным предлогом увильнуть от подписи, согласились с мнением Цветницкого. И сам Заречный, трусивший после статьи всяких намеков на протесты, находил, что подписаться под письмом должны только те, чьи речи извращены.

Сбруев только пожал плечами и потянулся

за коньяком.

Совещание, как водится, окончилось ужином. Но разошлись рано. Все, по-видимому, были не в особенно веселом настроении.

На следующий день в «Ежедневном вестнике», впереди письма Заречного и двух его коллег, было напечатано и письмо профессора Косицкого. В теплых, искренних строках он горячо благодарил всех почтивших его вниманием в день юбилея и особенно коллег, «сочувствие и уважение которых он считает высшей для себя честью и лучшей наградой за свою скромную тридцатилетнюю деятельность».

Варенька так и ахнула, когда прочла заключительные строки письма, являвшиеся словно бы ответом на обвинение Андрея Михайловича в дружбе с «либеральными проходимцами». Он точно нарочно публично подтверждал эту дружбу, бросая вызов газете, пользующейся фавором у некоторых влиятельных лиц.

«О двух он головах, что ли!» — подумала Варенька и, взбешенная, явилась в кабинет и задала мужу настоящий «бенефис», как назы-

вал Андрей Михайлович особенно бурные сцены, учащавшиеся по мере того, как профессор старел, а профессорша, несмотря на свои сорок пять лет, еще молодилась и, похожая на гренадера в юбке, здоровая и монументальная, хотела осень своей жизни превратить в весну.

Чувствуя себя до некоторой степени виноватым перед Варенькой и побаиваясь-таки ее, старый профессор с обычной покорностью выслушал град ругательств, упреков и застращиваний, что такого дурака, как он, непременно выгонят из университета. Лишь время от времени он подавал реплики, чтобы молчанием не довести жену до истерики, которая особенно пугала его, так как сопровождалась самыми оскорбительными для Андрея Михайловича прозвищами, вроде «старой тряпки», «старой бабы» и «дохлого мужчины».

Получив добрую порцию сцен, Андрей Михайлович в одиннадцать часов пошел в университет и, несмотря на «бенефис», чувствовал себя после напечатания своего письма как-то особенно легко и спокойно.

И это чувство удовлетворенной совести и

сознания исполненного долга сказалось еще сильнее, когда студенты встретили старика профессора почтительными рукоплесканиями, а после лекции в профессорской комнате к нему порывисто подошел Сбруев и, с какой-то особенной почтительностью пожимая руку, застенчиво и взволнованно проговорил:

— Какой достойный ответ на подлую статью в вашем письме, Андрей Михайлович.

XVII

В это утро после юбилея Аристарх Яковлевич Найденев, по своему обыкновению, с шести часов уже сидел за громадным письменным столом и при свете лампы усердно просматривал «архивные бумажки», собирая материалы для нового своего исследования.

В сером байковом халате, с очками на носу и с душистой сигарой в зубах, Найденев далеко не имел того сурово-надменного вида, какой у него всегда бывал на людях и особенно в университете. Здесь, в этом большом, несколько мрачном кабинете, главное убранство которого составляли большие шкафы, полные книг, и редкие старинные литографии на стенах, сидел ученый, весь отдавший-

ся любимому им труду и настолько погруженный в работу, что и не слышал, как в девять часов в кабинет вошел, тихо ступая по ковру, старый слуга и, положивши на край стола пачку газет, так же бесшумно вышел.

Прошло несколько минут еще, когда Найденов, окончив чтение какого-то документа и бережно отложив его в сторону, обратил наконец внимание на газеты. Он обыкновенно редко читал «Старейшие известия», хотя и получал их, но сегодня вынул первую эту газету из пачки и тихо усмехнулся, словно бы заранее предвкушая удовольствие.

Но усмешка тотчас же исчезла с бритого лица старого профессора, как только он пробежал начало статьи, вдохновителем которой был сам. И по мере того как он читал, глаза его делались злее и скулы быстрее двигались. Видимо взбешенный, он нервно ерзал плечами и наконец, отбросив в сторону газету, злобно прошептал:

— Идиот! Скотина!

Увы! Умный старик видел, что сделал большой промах, поручив Перелесову написать статью. Он считал его умнее и никак не

предполагал, что тот, в своем усердии новообращенного предателя и, вдобавок, окрыленный надеждой спихнуть Заречного, превзойдет всякую меру подлости и окажется болваном, не понявшим, что именно ему внушили.

Найденов был слишком умным человеком, чтобы удовлетвориться такой статьей. Она, по его мнению, несмотря на хлесткость, была груба по бесстыдству и оттого теряла всякую пикантность. Эта преувеличенность обвинений, основанных, вдобавок, на искаженной речи Заречного, это упоминание парижских революционных клубов, словом, вся истаскавшаяся от частого употребления шума грозных слов только подрывала, по мнению Найденкова, веру в правдоподобие обвинений и, разумеется, не могла произвести надлежащего впечатления даже и в тех сферах, для которых пишутся подобные статьи.

Он отлично знал, как их надо писать, чтоб обратить внимание кого следует, — он и сам их писывал прежде под разными псевдонимами, — и потому, раздраженный и злой, видел, что статья Перелесова — совершенно неумелая и бесцельная гадость, в которой за-

висть и злоба автора на Заречного так и бросались в глаза.

Но более всего бесило Найденова, что в статье упоминалось о нем. Его имя противопоставлялось имени Косицкого. Благодаря этому могло явиться подозрение, что глупейшую статью написал он.

Конечно, ему мало дела было до того, что подумают о нем в обществе, но он, давно уже мечтавший о более видном положении, конечно, не хотел ссориться с университетскими властями. Ведь они разрешили праздновать юбилей Косицкого.

Старик злился на Перелесова и на себя. Нечего сказать, нашел болвана! Он решил сегодня же побывать, где нужно, чтоб объяснить, что он ни при чем в этой глупой выходке.

В двенадцатом часу, как только что он оделся, чтобы выехать из дому, старый слуга доложил, что господин Перелесов желает его видеть.

— Прикажете отказать? — спрашивал слуга.

— Нет, примите. Зовите его сюда, зови-

те! — с живостью говорил Найденков, словно бы обрадованный, что увидит Перелесова.

Тот вошел несколько смущенный. Найденков едва протянул ему руку, и доцент смутился еще более от такого неожиданного холодного приема.

Прошла секунда-другая молчания.

Наконец молодой доцент проговорил:

— Я пришел узнать, Аристарх Яковлевич, довольны ли вы исполненным мною поручением?

— Каким поручением? Я никакого поручения вам не давал, господин Перелесов, помните это хорошенько! — сухо проговорил старый профессор, едва владея собой, чтоб не разразиться гневом. — Правда, я вам дал совет и, признаюсь, раскаиваюсь в этом. Вы совершенно не поняли моих указаний и написали черт знает что! И к чему вы припутали мою фамилию... Кто вас об этом просил?..

— Я полагал, Аристарх Яковлевич...

— И зачем вы передали неточно речь Заречного? — продолжал Найденков, не слушая того, что говорит Перелесов. — Вы думаете, что вам так и поверят?.. Во всех газетах речь

напечатана, и Заречный, разумеется, не оставит ваших переделок без опровержения, и как тогда вы будете себя чувствовать, господин Перелесов?

Он уж и теперь себя чувствовал скверно, но надеялся, что Найденов будет доволен.

А старый профессор продолжал, взглядывая в упор на доцента злыми, презрительно сощуренными глазами:

— Признаюсь, я полагал, что вы не только усердны, но и сообразительны, по крайней мере настолько, чтобы понять меру обвинений и меру... гипербол и не впутывать моего имени. Но оказывается, что чувства ваши к Николаю Сергеичу совсем ослепили вас... Только этим и можно объяснить себе неумеренный тон вашего произведения... Вы переусердствовали, господин Перелесов... Чересчур переусердствовали!..

Молодой человек побледнел как полотно. Серые, раскосые его глаза сверкнули злым огоньком. Он видел хорошо, что подлость, сделанная им, не только не будет вознаграждена, но что еще над ним же издевается тот самый человек, который был его демоном-ис-

кусителем.

Не попроси его Найденов, не намекни о профессуре, разве написал бы он статью?

И молодой доцент, униженный и оплеванный, ненавидел теперь от всей души старого профессора, но, зная его силу и влияние, молча слушал оскорбления.

Однако лицо его нервно подергивалось, и как ни уверен был Найденов в безнаказанности своих дерзостей, тем не менее это бледное лицо, эти вздрагивающие губы, эти возбужденные глаза испугали и его. Он видел, что зашел слишком далеко. Того и гляди нарвешься на дерзость!

И, внезапно спуская тон, Найденов проговорил:

— А вы, молодой человек, не приходите в отчаяние, что первый блин вышел комом, и не будьте в претензии, что я откровенно высказал свое мнение. Ведь вы сами оказали мне честь желанием узнать: доволен ли я вашей статьей?.. Хотя я ею и недоволен, но, во всяком случае, должен признать, что у вас были добрые намерения...

— Которые вы же внушили! — подавлен-

ным голосом произнес Перелесов...

— Тем приятнее для меня, если только я действительно внушил их... — с иронической усмешкой промолвил Найденев. — По крайней мере, одним серьезным деятелем в науке, имеющим правильные взгляды, у нас больше... Ну, до свидания... Надеюсь, секрет вашего авторства будет сохранен... Я еще раз скажу об этом редактору...

Когда Перелесов ушел, Найденев сказал камердинеру:

— Этого господина больше никогда не принимать. Говорите, что меня дома нет. Поняли?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— А если без меня приедет профессор Заречный, скажите ему, что я к двум часам буду дома и жду его.

Старик, хорошо знавший бывшего своего ученика, не сомневался, что тот струсит и этой нелепой статьи и потому, наверно, поспешит приехать к нему с обещанным визитом.

«За популярностью гоняется, а труслив, как всякий русский гражданин!» — подумал

Найденов, насмешливо скашивая свои тонкие безусые губы.

Молодой доцент шел домой, полный отчаяния, презрения к самому себе и ненависти к Найденову, который его навел на подлость и сам же за это оскорблял и издевался.

Это чувство злобы было тем острее и мучительнее, что оно было бессильно и не могло разрешиться местью.

Обманутый в своих надеждах, осмеянный и оплеванный самим же искусителем, он, несмотря на громадное, вечно точившее его самолюбие, все выслушал и не мог даже и думать об отплате, не рискуя своим положением и даже всей своей будущностью. Ведь Найденов — сила и авторитет в университете и к тому же с большими связями в министерстве. Он уничтожит доцента при малейшей его дерзости. Он зол и злопамятен и, чего доброго, сам же выдаст его авторство и отречется от роли вдохновителя.

При мысли о том, что авторство его может открыться, ужас охватил Перелесова. Он принадлежал к тем людям, которые не прочь со-

вершить гадость, но только под величайшим секретом. У него еще не было цинизма откровенности, и он еще боялся презрения порядочных людей.

Казалось, Перелесов только в эти минуты понял весь позор своего поступка. Вчера, увлеченный радужными мечтами, он не раздумывал, что делает, когда писал свою статью. Но сегодня он осознал, и именно потому, что цель, ради которой была совершена подлость, не была достигнута. Напротив, его же обругали, хотя и с ядовитостью признали его добрые намерения... быть мерзавцем... Он ведь очень хорошо понял смысл последних слов Найденова, более мягких по форме, но едва ли не убийственнее его ругательств.

Нельзя даже было усыпить голоса совести утешением победы или по крайней мере надеждами на скорое осуществление его мечты, и статья являлась теперь перед ним в виде бесцельной гнусности, которая может обнаружиться. А он боялся именно этого. Недаром же он так дорожил мнением коллег и был так услужлив. Не напрасно же он считался приверженцем меньшинства и искренне разде-

лял взгляды более стыдливых профессоров. Не втуне же он старался расположить к себе студентов?

И вдруг все эти люди узнают, что он оклеветал профессоров и написал на них донос...

Особенно его смущал Заречный. Как ни велика была к нему зависть Перелесова, но он не мог забыть услуг, оказанных ему Заречным, не мог не вспомнить, как доверчиво и тепло относился профессор к своему бывшему ученику...

Страх и злоба обуяли неопита[23] предательства. Страх быть уличенным и злоба на себя. Он, считающий себя непризнанным гением, умница, преисполненный гордыни, бросился, ослепленный страстью, на грубую приманку, брошенную этим «старым дьяволом»!

Он был в болезненно-нервном настроении подавленности и страха. Ему казалось, что все уже узнали, что статью писал он. И, почти галлюцинируя, он искал подозрительных взглядов в глазах проходивших и особенно студентов.

Как нарочно, на Арбате он встретил Сбруе-

ва.

Он поклонился ему с обычной любезностью и с тайной тревогой взглянул на профессора.

Тот остановился, по обыкновению крепко пожал ему руку и несколько осипшим после юбилея голосом кинул:

— Читали?

Перелесов сразу догадался, о чем речь, но спросил:

— Что?

— Да пасквиль в «Старейших известиях»?

И автор его, с видом совершеннейшей искренности и даже с гримасой отвращения на лице, ответил:

— Читал. Невозможная мерзость!

— Надо разузнать, кто автор. Верно, из бывших на обеде...

— Наверное... Но как разузнать?

— Звенигородцев узнает... Он дока по части разведывания.

Они разошлись, и Перелесов даже усмехнулся, обрадованный, что так хорошо умеет владеть собой.

Но слова Сбруева направили все его по-

мыслы на скрывание следов своего авторства, и он, вместо того чтобы продолжать путь домой, нанял извозчика и поехал на другой конец города, в типографию газеты. Почти крадучись, вошел он в подъезд и добыл свою рукопись от фактора типографии, который вчера ночью видел его в редакции. Письма Найденова к редактору не существовало. Он сам вчера видел, как редактор разорвал письмо и бросил его в корзинку.

И молодой доцент ехал теперь домой, обрadowанный, что рукопись у него в кармане.

Войдя в свою маленькую уютную комнату, которую нанимал от жильцов, он бросил рукопись в печку и, когда листки обратились в пепел, несколько успокоился.

Никто не узнает о том, что он сделал, и нет уличающих документов. Найденову нет никакого расчета выдавать автора, а редактор не откроет тайны, о сохранении которой просил Найденов. И наконец, если б Найденов и выдал, он станет отрицать. Где доказательства?

Все, казалось, теперь устроено.

И молодой человек, под влиянием сильно-

го нервного возбуждения, несколько раз перекрестился с видом человека, избавившегося от опасности, и дал себе слово больше не делать подобных подлостей, хотя вслед за этим и усомнился в исполнении обещания, особенно если бы представился хороший случай наверняка получить профессию.

XVIII

Когда на другой день, часов около семи, Николай Сергеевич Заречный входил в хорошо знакомый ему еще со времен студенчества обширный кабинет Найденова, тот слегка приподнялся с кресла и, пожимая руку Заречного, проговорил полушутливым тоном:

— Ну, что, договорились, любезный коллега?

— То есть как договорился?.. Я ни до чего не договаривался, Аристарх Яковлевич... Это какой-то мерзавец за меня говорил... Вы разве не читали сегодня моего опровержения? — горячо возражал Заречный.

— Читал, конечно... Очень хорошо составлено... Да вы присядьте-ка лучше, Николай Сергеич, и не волнуйтесь... Стоит ли волноваться из-за глупой статьи...

— Да я и не волнуюсь, — вызывающе произнес Заречный, усаживаясь в кресло около стола.

— То-то, и не следует... А все-таки у вас вид как будто несколько возбужденный!

И, внимательно приглядываясь к Николаю Сергеевичу и замечая в выражении его лица что-то беспокойное и болезненное, он прибавил все тем же шутливым тоном:

— Или жена пожурила?

Заречный густо покраснел.

— Ни то ни другое, Аристарх Яковлевич. Мне просто нездоровится эти дни, вот и все! — отвечал Николай Сергеевич.

— Вольно ж вам в «Эрмитаже» сидеть до утра.

— Вы и это знаете? — усмехнулся Заречный.

— И это знаю, коллега. Москва ведь сплетница и рада посудачить, особенно о таких своих любимцах, как вы... Ну, да это ваше дело, хоть и неосмотрительно портить здоровье, — а я все-таки повторяю, что договорились вы до того, Николай Сергеич...

Найденов нарочно сделал паузу и взглянул

на Заречного. Старику точно доставляло удовольствие играть с ним как кошка с мышью.

— Да что вы не курите... Не хотите ли сигару?

Но Заречный, зная скупость старого профессора, отказался от сигары.

— Чем же угощать редкого гостя... Рюмку вина, чаю?

— Я ничего не хочу... Я только что обедал...

— Ну, как знаете... настаивать не стану... Мы и так побеседуем... Я очень рад, что вы не забыли моего приглашения и пожаловали, уделив старику частицу своего драгоценного времени. Я только удивляюсь, как вас на все хватает...

Заречный нетерпеливо слушал эти умышленно праздные речи и, стараясь скрыть свое беспокойство, равнодушным тоном спросил:

— До чего же я договорился, Аристарх Яковлевич, интересно знать?

— Ах да... Я и забыл, о чем начал и что вас должно несколько интересовать... Договорились вы до того, что мне не далее, как вчера, пришлось вас защищать...

— Очень вам благодарен... Перед кем это?

— Ну, разумеется, перед нашим начальством.

— За какие же тяжкие вины меня обвиняют?

— Не догадываетесь разве?

— Право, нет... Кажется, не совершал ничего предосудительного! — проговорил Заречный с напускною небрежностью, подавляя чувство тревоги, невольно охватившее его.

— За вашу вчерашнюю речь!

— За речь? Да разве она требовала защиты, моя речь, если только ее прочесть не в перевернутой редакции?

— Есть много, друг Гораций, тайн...

— Очень даже много, Аристарх Яковлевич, но это уж чересчур.

— Не спорю. Но дело в том, любезный коллега, что вы сами подаете повод обращать на себя внимание большее, чем следовало бы в ваших собственных интересах! — подчеркнул старый профессор. — Положим, что статья, благодаря которой кто-нибудь и в самом деле подумал или счел удобным подумать, что вы опасный человек, положим, говорю я, статья эта действительно глупа... Кстати, вы не знае-

те, кто автор этой глупости?

— Решительно не знаю.

— И никого не подозреваете?

— Никого.

— Но если бы она была написана поумнее и потоньше?

— Но что же в моей речи можно найти?.. Вы читали ее, Аристарх Яковлевич? — спрашивал, видимо тревожась, молодой профессор.

— Читал и поздравляю вас... Речь талантливая и, главное, знаете, что мне в ней понравилось? — с самым серьезным видом проговорил Найденков.

— Что?

— Оригинальная постановка вопроса об истинном героизме... Хотя ваш взгляд на героизм и разнится от прежних ваших взглядов, но нельзя не согласиться, что новая точка зрения весьма остроумна, отождествляя мирное отправление профессорских обязанностей, при каких бы то ни было веяниях, с гражданским мужеством. Получай жалованье, сиди смирно — и герой. И богу свечка и черту кочерга. Ну, а мы, ретрограды, которые

делаем то же самое, но откровенно говорим, что делаем это из-за сохранения собственной шкуры, — конечно, подлецы. Это преостроумно, Николай Сергеич, и очень ловко. Можно, оставаясь такими же чиновниками, исполняющими веления начальства, как и мы грешные, быть в то же время страдальцами за правду в глазах публики... Таким титлом героя, не покидавшего свое место в течение тридцати лет, вы и наградили почтенного Андрея Михайловича, незримо возложили венок на себя и попутно наградили геройским званием всех слушателей, которые тоже ведь геройствуют, мужественно не расставаясь с своим жалованьем. Вполне понимаю, что вы удостоились оваций. Ваша речь их вполне стоила.

Заречный едва усидел в кресле, слушая эти саркастические похвалы.

Возмущенный тем, что Найденов придал такое значение его речи, он порывался было остановить его — и не останавливал. Бесполезно! Ведь и Рита поняла его точно так же. И Сбруев тогда, в пьяном виде, недаром называл и себя и его свиньями. И наконец, разве, в

самом деле, защищая во что бы то ни стало компромисс, не говорил ли он в своей застольной речи отчасти и то, что в преднамеренно окарикатуренном виде передавал теперь озлобленный старик?

И Заречный до конца выслушал и потом ответил:

— Мне остается благодарить за ваши своеобразные комплименты, Аристарх Яковлевич, хотя и не вполне мною заслуженные.

— Не скромничайте, Николай Сергеевич.

— Вы слишком субъективно поняли мою речь, но тем еще удивительнее, что она могла подать повод к нареканиям.

— Другие, значит, поняли ее объективнее. Но, во всяком случае, если бы вы в ней ограничились только изложением своей остроумной теории в применении к деятельности юбиляра, то никто бы и не мог придаться. Но ваши намеки о каких-то маловерах и отступниках? Ваши экскурсии в область либеральных фраз? Это вы ни во что не ставите, дорогой мой коллега? — насмешливо спрашивал Найденов, видимо тешась над своим гостем. — Положим, вам для репутации излюб-

ленного человека это нужно, но надо знать меру и помнить время и пространство... Ведь есть люди, которые могли принять на свой счет кличку отступника и, пожалуй, имели глупость обидеться.

«Уж не ты ли обиделся?» — подумал Заречный и поспешил проговорить:

— Я вообще говорил.

— Ну, разумеется, вообще. Не могли же вы так-таки прямо назвать отступником хотя бы вашего покорнейшего слугу, если бы и считали его таковым, что, впрочем, меня нисколько бы и не обидело! — высокомерно вставил старик.

Не на шутку встревоженный Заречный опять промолчал.

— И кроме того, ведь с известной точки зрения могли найти неприличным, что правительственный чиновник, как студент первого курса, показывает либеральные кукиши из кармана. Вот все эти экивоки и были причиной того, что на вас обращено не особенно благосклонное внимание! — подчеркнул Найденов, преувеличивший нарочно эту «неблагосклонность» и словно бы обрадованный

угнетающим впечатлением, которое производили его пугающие слова на трусливую натуру Заречного.

«Ты еще больший трус, чем я предполагал!» — подумал старик профессор.

И с ободряющей улыбкой прибавил:

— Но вы не пугайтесь, Николай Сергеич. Я, с своей стороны, сделал все возможное, чтобы защитить бывшего своего ученика... Как видите, и отступники могут быть незлопамятны!.. — усмехнулся Найденов. — И я счел долгом разъяснить, что ваша речь, в сущности, нисколько не опасна.

Заречный начал было благодарить, но Найденов остановил его.

— Не благодарите. Я ведь вас защищал не из личных чувств. А знаете ли почему?

— Почему?

— Потому что считаю вас знающим и даровитым профессором, а университет нуждается в талантливых силах! — проговорил Найденов. — Из вас мог бы и порядочный ученый выйти, если б вы не разбрасывались, не участвовали во всех этих глупых комитетах, гоняясь за популярностью... Признаюсь, я воз-

лагал на вас большие надежды! — прибавил старик, недаром пользующийся репутацией крупной ученой силы и до сих пор серьезно работающий...

И Заречный не мог в душе не согласиться, что упреки его бывшего профессора справедливы. Он до сих пор все еще «подает надежды» и не может довести до конца своей книги. А вот Найденов безудержно работает, и работы его значительны.

— Я думаю засесть за свою книгу! — проговорил он, готовый теперь предаться научным работам.

«В самом деле, давно пора и, главное, спокойнее!» — мелькнуло в его голове.

— И хорошо сделаете... Ну, а вся эта история, поднятая статьей, на этот раз окончится, по всей вероятности, одним объяснением. Более серьезных последствий, надеюсь, не будет!

— Да ведь и не за что! — воскликнул Заречный.

И радостная нотка невольно звучала в голосе обрадованного молодого профессора. И он снова подумал, что надо серьезно заняться

наукой, ограничив размеры общественной деятельности... Быть может, в работе он найдет утешение в несчастье, если Рита не одумается и оставит его...

— Но только даю вам дружеский совет, Николай Сергеич, помнить, что осторожность — большая добродетель. Вы ведь и сами проповедуете «мудрость змия», так и применяйте ее на практике с большею строгостью, чем теперь. Не давайте воли своему ораторскому красноречию.

И он тотчас вспомнил, как лет десять тому назад, когда он был на последнем курсе, по интригам, как тогда говорили, самого же Найденова, должен был уйти один дельный и способный профессор.

— Очень, знаете ли, просто. Был талантливый профессор Заречный, и нет более в университете талантливого профессора Заречного! — усмехнулся Найденов.

— Совсем просто! — улыбнулся и Заречный.

— И вы думаете, что многие из ваших многочисленных поклонников и поклонниц серьезно опечалятся отсутствием в университе-

те талантливому профессору Заречного?

И так как профессор Заречный вовсе не думал теперь о возможности своего исчезновения, приведенной стариком в виде ехидной иллюстрации, то и не отвечал на вопрос Найденова.

— Покричат несколько дней и забудут, утешившись тем, что выберут себе нового идола для поклонения и произведут его в чин излюбленного человека. Популярность у нас, Николай Сергеич, не особенно и заманчива, и я, признаюсь, удивляюсь, как вы, такой умный человек, так увлекаетесь ею и ради нее рискуете своим положением, забавляясь игрой в оппозицию и в либерализм... Неужели вы в самом деле думаете, что это не одна детская забава...

Заречный было поднялся, чтобы откланяться, но Найденов остановил его.

— Куда вы торопитесь, Николай Сергеич? Подождите несколько минут. У меня есть к вам небольшое дельце. Помните, я вам говорил?

— Как же, помню.

— Вот о нем я и хочу с вами поговорить и

привлечь к нему в качестве талантливого помощника... Не лишнее прибавить, что дело это может принести нам обоим хорошее вознаграждение... Ведь вы, я полагаю, не прочь от хорошего заработка... Ваше министерство финансов, верно, не в блестящем состоянии? — шутливо и, казалось, не без участия спрашивал Найденев.

— Признаться, не в блестящем.

— Вот видите. Ученая профессия не очень-то балует нас в материальном отношении. Вот и я еле-еле свожу концы с концами! — пожаловался Найденев.

Заречный про себя усмехнулся, слушая эти жалобы скупого старика, который имел и деньги и получал из разных мест жалованье, которого далеко не проживал.

— А дельце, которое я задумал, весьма недурное и выгодное.

Молодой профессор подозрительно насто-рожился.

— Не догадываетесь? — спросил Найденев.

— Решительно не догадываюсь.

— Я вам предлагаю быть моим сотрудником по составлению учебника. Одному мне

этим заняться некогда, но я возьму на себя общую редакцию и охотно поставлю свое имя рядом с вашим.

«Ловко! Мне, значит, вся работа!» — подумал Заречный.

— Что же вы не благодарите вашего старого учителя, Николай Сергеич! — воскликнул Найденов. — Заметьте, я к вам обратился, а ни к кому другому... С вами хочу поделиться и ни с кем больше! — шутя прибавил он.

— Очень вам благодарен, Аристарх Яковлевич, но... — Заречный замялся.

— Какие тут могут быть «но». Не понимаю!

— Мне, видите ли, Аристарх Яковлевич, в настоящее время трудно взять на себя какую-нибудь работу. Я должен окончить свою книгу. И без того она затянулась, а мне бы...

— Что ваша книга? — нетерпеливо перебил Найденов. — Она потерпит, ваша книга... И что она вам даст... Гроши и листочек лавров... А учебник принесет хорошие деньги. А лавры от вас не уйдут... Когда человек обеспечен, и книги лучше пишутся... Очень просил бы вас не откладывать нашего дела. Оно меня очень интересуется. Вы, коли захотите, рабо-

тать можете быстро. Приналягте, и к будущему году мы могли бы пустить наш учебник.

— Вы обратились бы к Перелесову, Аристарх Яковлевич. Он свободен и, кроме того, нуждается. Мне кажется, он отлично справился бы с работой.

— Что мне Перелесов. Он бездарен. Мне нужны вы, Николай Сергеич! — резко промолвил старик.

И, тотчас же смягчая тон, прибавил:

— Вы меня просто удивляете. Такое предложение, и я вас еще должен упрашивать... Что сие значит?

— Но, право же, мне некогда.

Старик пристально взглянул на Заречного.

— Да вы не виляйте, коллега, а говорите прямо... Видно, испугались, что потеряете репутацию либерального профессора, и боитесь, если учебник обругают? Вам еще не надоело сидеть между двух стульев? Так бы и сказали, а то «некогда»! И знаете ли что? Вам легко остаться в ореоле излюбленного человека и героя... Можно и не объявлять вашего имени на учебнике... Я один буду значиться автором, а с вами мы сделаем условие о поло-

винных барышах. Таким образом, и волки будут сыты и овцы целы, уж если вы так боитесь замочить ножки!.. При такой комбинации, надеюсь, у вас время найдется, любезный коллега! — с циничною улыбкой прибавил Найденов.

Темный свет лампы под зеленым абажуром мешал Найденову увидеть, как побледнел Николай Сергеевич, стараясь сдержать свое негодование.

— К сожалению, и при этой комбинации у меня не найдется времени, Аристарх Яковлевич!.. — ответил Заречный.

— Не найдется? — переспросил Найденов.

— Нет, Аристарх Яковлевич. Простите, что не могу быть вам полезен.

Наступило молчание.

Старый профессор несколько мгновений пристально глядел на Николая Сергеевича.

— Боитесь, что узнают и что тогда вы прослывете отступником и ретроградом вроде меня? — со злостью кинул он, отводя взгляд.

— Боюсь поступить против убеждения, Аристарх Яковлевич.

— В таком случае прошу извинить, что об-

ратился к вам! — холодно и высокомерно произнес Найденев.

И после паузы, едва сдерживая гнев, прибавил со своей обычной саркастической усмешкой.

— Я полагал, что вы последовательнее и не побоитесь логических последствий компромисса, о котором так блестяще говорили на юбилейном обеде... Оказывается, что вы и с компромиссом хотите кокетничать... Вы уже собираетесь?.. До свидания, коллега!

И, привставая с кресла, едва протянул руку и значительно проговорил.

— Желаю вам не раскаяться, что поступили как мальчишка!

Заречный молча вышел от него, понимая, что теперь Найденев его враг.

И он еще больше трусил за свое положение.

XIX

Когда Николай Сергеевич, приехавши домой, позвонил, Катя стрелой бросилась к подъезду, заглянув все-таки на себя в зеркало в прихожей, и торопливо отворила дверь.

В прихожей, снимая шубу, она с некоторой

аффектацией почтительности исправной горничной поспешила доложить барину, что в кабинете его дожидается студент.

— Кто такой?

— Господин Медынцев. Сказали, что вы назначили им сегодня прийти. Такой бледный, худой...

— А барыня дома?

— Нет-с, уехали.

Заречному невольно бросилось в глаза, что Катя как-то особенно щегольски сегодня одета и вообще имеет кокетливый вид в своем свежем платье и в белом переднике, свежая и румяная, с пригожим, задорным лицом, с чистыми, опрятными руками.

И он спросил, оглядывая ее быстрым равнодушным взглядом:

— А вы со двора, что ли, собрались?

— Никак нет-с... А вы почему подумали, барин? — с напускной наивностью спросила она, бросая на него вызывающий взгляд своих черных лукавых глаз.

— Так... — отвечал профессор и в то же время заметил то, чего прежде не замечал, что эта расторопная, услужливая Катя очень

недурна собой.

— А барыня дома?

— Никак нет-с... Уехали. Господин Невзгодин за ними приезжал... Прикажете подать вам чай сейчас или после, как гость уйдет?

— Потом...

Николай Сергеевич шел в кабинет усталый, с развинченными нервами. Дожидавшийся студент далеко не был желанным гостем.

Не до разговоров было Заречному в эту минуту, да еще с незнакомым человеком.

Ему хотелось побыть одному и обдумать свое положение. Беды, свалившиеся на него в последние дни, угнетали его и казались ему ужасными. Особенно решение Риты. Он все еще не мог прийти в себя, все еще не хотел верить, что она оставит его. Отвлеченный эти дни беспокойством по поводу статьи, он на время забывал о семейном разладе, но, как только попадал домой, мысли о нем лезли в голову и мучительно терзали его сердце. Он вспоминал о последнем разговоре Риты и жалел себя. Эти два дня они не видались. Рита не выходила из своей комнаты и во время

обеда уходила. И вдобавок ко всему это предложение Найденова, отказ от которого грозил серьезными неприятностями. Заречный хорошо знал бывшего своего учителя. Он знал, что он не простит ему отказа от сотрудничества.

Заречный уже в гостинной решил, что попросит студента зайти в другой раз, в более удобное время, а сам сделает попытку — напишет письмо Рите, в котором... Он сам не знал в эту минуту, что напишет ей, но ему казалось, что он должен это сделать...

Но у Николая Сергеевича не хватило решимости отправить неприятного гостя, когда он вошел в кабинет и увидал этого низенького бледного студента с большими черными глазами, лихорадочно блестящими из глубоких впадин. Здесь, в полусвете кабинета, освещенного лампой под большим зеленым абажуром, этот вскочивший и, казалось, совсем растерявшийся молодой человек казался еще бледнее, болезненнее и жалче, чем в университетской аудитории, в своем ветхом сюртуке и худых сапогах. Слово бы смерть уже веяла над этой маленькой фигуркой с вдавненной грудью.

Охваченный жалостью, Заречный невольно вспомнил худенькое, почти летнее пальтецо студента, висевшее на вешалке. И в нем он пришел в трескучий, двадцатиградусный мороз. И заставлять его приходить еще раз. Это было бы жестоко!

И, протягивая студенту руку, Николай Сергеевич извинился, что заставил его ждать, и, усадив его в кресло, предложил ему чаю.

Студент испуганно и вместе с тем решительно отказался. Он не хочет. Он только что пил чай. И он вообще не любит чая.

И, видимо чем-то взволнованный, порывисто проговорил:

— Я не задержу вас, господин профессор... Я сейчас же должен уйти... Собственно говоря... Извините, господин профессор... Я буду с вами говорить откровенно... Да как же иначе и говорить?

— Пожалуйста, говорите, у меня время есть. Вы ведь хотели, господин Медынцев, посоветоваться насчет книг.

— Да. И насчет книг, и вообще поговорить... уяснить некоторые вопросы, которые меня мучат, насчет практической деятельно-

сти, разрешить сомнения... Но я теперь не за тем пришел... Вы простите, пожалуйста, я должен по совести говорить... Я, видите ли, пришел только потому, что обещал, но я не хотел идти... Перерешил...

Он торопился говорить, задыхался и наконец закашлялся, беспомощно прижимая свои тонкие, точно восковые пальцы к груди.

Этот глухой кашель с клокотанием в груди продолжался с добрую минуту. Заречный подал своему гостю стакан воды и участливо проговорил:

— Да вы не волнуйтесь, господин Медынцев. Не торопитесь, ради бога... Вы меня несколько не задерживаете... У меня время есть.

— Это сейчас пройдет... Вот и прошло... Собственно говоря, этот кашель... У меня чашотка! — вдруг проговорил Медынцев и как-то застенчиво улыбнулся, словно бы извиняясь, что у него чашотка и он не может не кашлять.

Он выпил стакан воды, минутку передохнул и снова торопливо и возбужденно заговорил, глядя на Заречного почти в упор.

Эти большие чудные глаза глядели на про-

фессора строго, пытливо и в то же время страдальчески. В их взгляде теперь уж не светилось той благоговейной восторженности, какая была, когда Медынцев говорил с Николаем Сергеевичем в университете.

И от этого строгого проникновенного взгляда несчастного больного студента Заречный невольно испытывал какую-то душевную смятенность, точно в чем-то виноватый.

— И вот вследствие того, что перерешил, я и не хотел идти к вам, господин профессор.

— Что вам за охота называть меня господином профессором здесь, у меня дома. Называйте меня по имени. А как ваше имя и отчество?

— Борис Захарович...

— Но почему же вы перерешили, Борис Захарыч? — спросил, почему-то понижая голос, Заречный, и чувствуя, что невольно краснеет под этим серьезным глубоким взглядом юноши.

На мгновение краска залила мертвенно-бледное лицо Медынцева. Выражение глубокого страдания светилось в его глазах. Смущенный донельзя, он, казалось, переживал

минуту душевной борьбы.

— Почему перерешил, хотите вы знать? — переспросил он наконец.

— Да. Говорите. Не стесняйтесь, прошу вас.

— Я не стесняюсь. Я и пришел, чтобы объяснить. Но мне самому тяжело, больно, обидно!

Он помолчал, словно бы собираясь с силами, и голосом, дрожащим от волнения и полным тоски, со слезами на глазах продолжал с порывистой страстностью:

— Я так беспредельно уважал и любил вас, Николай Сергеич, что готов был положить за вас душу... Я говорю, верьте мне. Ваши лекции были для меня откровением и, так сказать, намечали мне будущий жизненный путь. Они будили мысль, заставляли работать и верить в идеалы. Я молился на вас. Я видел в вас профессора, для которого наука нераздельна с силой убеждения. Вы служили мне примером. Вы поддерживали во мне бодрость и веру в торжество правды...

Медынцев перевел дух и продолжал:

— И вдруг... вдруг эта ваша речь... Этот призыв к молчалинству. Это восхваление

компромисса во что бы то ни стало... На лекциях ведь вы не то говорили... О господи! Зачем вы сказали эту речь? За что вы заставили не верить вам и — простите — не уважать вас... Неужели же ваша речь была искренняя? Тогда кому же верить? Профессору или оратору? — почти крикнул, задыхаясь, Медынцев, и слезы хлынули из его глаз.

И, странное дело, Заречный не гневался за эту страстную речь, дышавшую искренностью и тоской восторженного честного юноши, разочаровавшегося в учителе, которого боготворил. Страшно самолюбивый, Николай Сергеевич даже не испытывал боли оскорбленного самолюбия и не пытался отнестись к филиппике Медынцева с высокомерным презрением непонятого человека.

.....

Видимо потрясенный этими словами юноши, профессор молчал.

И это молчание и грустный вид Заречного смутили студента. И он порывисто проговорил, утирая слезы:

— О, простите меня, Николай Сергеич... Я позволил себе... Но если б вы знали...

— Я не сержусь, — мягко, почти нежно остановил его Заречный... — Я понимаю вас...

Когда студент ушел, Заречный долго еще сидел неподвижно за письменным столом.

Он невольно припоминал эти страстные упреки молодой души, и с ним произошло что-то особенное.

Он не сердился и не обиделся, а в приливе охватившей его тоски, в каждом слове этого бедняги, стоявшего одной ногой в гробу, чувствовал горькую правду и свою вину перед ним.

«И перед ним ли одним?» — пронеслось в голове у профессора.

XX

Часов около одиннадцати Маргарита Васильевна вернулась домой. С ней был Невзгодин.

В ярко освещенной прихожей Катя подозрительно оглядывала обоих. Лицо Маргариты Васильевны казалось ей возбужденным.

— Пожалуйста, Катя, самовар поскорей.

— Сейчас будет готов.

— А вы что же так рано из гостей? — ласково спросила Маргарита Васильевна, обратив

внимание на щеголеватое праздничное платье горничной.

— Я не ходила со двора, барыня.

— Что так? Раздумали?

— Раздумала.

— Идемте, Василий Васильевич, ко мне!

И с этими словами Маргарита Васильевна прошла через гостиную в свой маленький кабинет.

Катя побежала вперед, чтоб зажечь лампу.

— Так очень проскучали на нашем собрании, Василий Васильич? — спрашивала Заречная, опустившись на диван и оправляя свои сбившиеся под шапочкой золотистые волосы.

— Порядочно-таки.

Невзгодин закурил папироску и, усаживаясь в маленькое кресло, продолжал:

— Благотворительные дамы вашего попечительства напомнили мне соседку за обедом на юбилее Косицкого... Так же болтливы и с таким же самодовольным апломбом говорят о пустяках.

— И я на вас произвела такое же впечатление?..

— Вы хоть были лаконичны, Маргарита Васильевна!

Катя, намеренно долго поправлявшая абжур, слушала во все уши.

В ее лукавых темных глазах, острых, как у мышонка, сверкнула усмешка, и они снова недоверчиво скользнули по Маргарите Васильевне.

«Все-то ты врешь!» — говорили, казалось, глаза горничной.

Она вышла из комнаты, плотно затворив двери, шмыгнула в прихожую и оттуда бегом побежала к подъезду.

Отворив двери, она спросила извозчика, стоявшего у панели:

— Ты сейчас привез барыню с барином?

— Я самый.

— Откуда ты их привез?

— Со Стоженки.

— С улицы посадил?

— Нет, касатка, из дома взял. Оттуда много барынь выходило. А ты чего расспрашиваешь? На чаек, что ли, господа выслали? — спросил, смеясь, извозчик.

Катя быстро скрылась в двери.

Она возвратилась на кухню и стала разогревать самовар, не совсем довольная, что ее подозрения о барыне и Невзгодине не подтвердились. Она была уверена, что ссора, и, по-видимому, серьезная, между мужем и женой вышла из-за Невзгодина. Они, наверно, влюблены друг в друга, хоть и отводят людям глаза, и оттого бедный Николай Сергеич сослан в кабинет.

«Нашла, дура, на кого променять!» — подумала Катя, горевшая желанием открыть глаза Николаю Сергеевичу, чтобы он по крайней мере не мучился напрасно.

И сегодня, когда после обеда приехал Невзгодин и ушел вместе с Маргаритой Васильевной, Катя почти не сомневалась, что они отправились на тайное свидание. Оказывается, они действительно были в попечительстве. Катя не раз там бывала.

Впрочем, обманутые подозрения не поколебали ее уверенности в том, что Маргарита Васильевна влюблена в Невзгодина. Ей очень хотелось, чтобы это было так и чтобы муж об этом узнал. Тогда перестанет она важничать и строить из себя недотрогу. Не лучше, мол,

других!

Пока Катя, занятая этими соображениями, почерпнутыми из ее наблюдений в течение десятилетнего пребывания в должности горничной, накрывала в столовой на стол, Маргарита Васильевна, внезапно прервав речь о своих благотворительных планах, в которые она начала было посвящать Невзгодина, значительно проговорила:

— А у меня новость, Василий Васильевич.

— Новость! Какая?

— Я расхожусь с мужем!

Как бы он обрадовался, если б Маргарита Васильевна сообщила эту новость год тому назад. А теперь у него хотя и было дружеское участие к человеку, жизнь которого неудачно сложилась, но, главным образом, в нем был возбужден писательский интерес. Он это хорошо сознавал, взглядывая без малейшего волнения на красивое лицо когда-то любимой женщины. И к тому же он несколько скептически отнесся к этой новости. Не расходилась же она раньше, отдаваясь нелюбимому супругу. Отчего же теперь расходится? И ради кого? Кажется, барынька никого не

любит?

Глаза Невзгодина чуть-чуть улыбались, когда он проговорил:

— От души поздравляю вас, Маргарита Васильевна, с добрым намерением!

— Это не намерение, а решение! — воскликнула молодая женщина. — Слышите ли, решение! А вы, я вижу, не верите! — раздраженно прибавила Маргарита Васильевна, самолюбие которой было сильно задето и недостаточно, по ее мнению, горячим отношением Невзгодина к сообщенному факту, и его недоверчивостью к ее решению.

«Он вправе не верить!» — подумала она в следующее мгновение. И краска стыда и досады залила ее щеки. Ей вдруг сделалось обидно, что она заговорила об этом с Невзгодным. Он далеко не такой ее друг, как ей прежде казалось.

И она почти сухо кинула:

— Впрочем, верьте или не верьте, это ваше дело!

— Да вы не сердитесь, Маргарита Васильевна.

— Я не сержусь...

— Полноте... Сердитесь... А еще умный человек!

— При чем тут ум?

— Вы недовольны моими словами... Вам непременно хотелось бы слышать в них полную веру в то, что вы сказали?.. Но подумайте, виноват ли я, что этой веры нет. Или вы хотите, чтобы я лгал?..

— Я этого не хочу.

— Так сердитесь, коли хотите, а я лишь тогда поверю вашему решению, когда вы разойдетесь...

Эти слова взорвали молодую женщину. Она поняла причины недоверия Невзгодина и, возмущенная до глубины души, сказала:

— Я не расхожусь сейчас, сегодня, только потому, что муж умолял подождать несколько времени. Не могла же отказать ему в этом я, виноватая перед ним. Он может, конечно, думать, что я из жалости к нему перерешу и останусь его женой, но вы как смее не верить мне, раз я вам говорю, что оставляю мужа... Или вы такого скверного мнения о женщинах, что не допускаете, чтобы женщина могла понять всю мерзость своего замуже-

ства... Или вы думаете, что меня пугает перспектива одиночества и трудовой жизни?

Невзгодин терпеливо выслушал эту горячую тираду и ничего не ответил.

— Что ж вы молчите? Или и теперь не верите?..

— Словам я вашим верю, но...

— Но что? — нетерпеливо перебила Маргарита Васильевна.

— Позвольте мне пока остаться Фомой неверным... Ведь Николай Сергеич вас очень любит.

— Но я его не люблю! И я это ему сказала вчера.

— А если он не совладает со своей страстью...

— Этого быть не может...

— Однако?

— Я помочь не могу...

— Но пожалеть можете и пожалеете, конечно?

— Положим... Что ж дальше... К чему вы это ведете?

— А если пожалеете, то, пожалуй, и не оставите его, если не полюбите кого-нибудь

другого.

— И буду опять его женой, хотите вы сказать? — негодуяще спросила Маргарита Васильевна.

Невзгодин благоразумно промолчал и через минуту мягко заметил:

— Жизнь не так проста, как кажется, Маргарита Васильевна, и человек не всегда поступает так, как ему хочется... И вы простите, если я рассердил вас... Увы! На мне какой-то рок ссориться даже с друзьями... Но поверьте, я искренне буду рад, если вы обретете счастье хотя бы в вашей личной жизни.

Он проговорил это с подкупающей искренностью. Маргарита Васильевна несколько смягчилась.

— Так вы не очень сердитесь, Маргарита Васильевна?

— Да вам не все ли это равно?

— Не совсем.

— Ну, так я скажу, что сержусь. Вы меня обидели! — взволнованно проговорила Маргарита Васильевна.

— Если и обидел, то невольюно... Простите.

— Прощу, когда вы убедитесь, что я умею

исполнять свои решения.

— Но все-таки пока не смотрите на меня, как на врага... И в доказательство протяните руку.

Маргарита Васильевна протянула Невзгодину руку. Он почтительно ее поцеловал.

Несколько минут длилось молчание.

Невзгодин чувствовал, что Маргарита Васильевна все еще сердится, и наблюдал, как передергивались ее тонкие губы и в глазах сверкал огонек.

И в уме его проносилась картина будущего примирения супругов. Он раскается ей в своем фразерстве, объяснит, почему он не герой, напугает ее своей загубленной жизнью без нее и припадет к ее ногам, выбрав удобный психологический момент. И она пожалеет, быть может, такого красавца мужа и отдастся ему из жалости, как отдавалась раньше из уважения к его добродетелям. По крайней мере, так будет утешать себя, не имея доблести сознаться, что в ней такое же чувственное животное, как и в других...

А все-таки ему было жалко Маргариту Васильевну. И он припомнил, какие требования

предъявляла она к жизни, когда была девушкой, как высокомерно относилась она к тем женщинам, которые живут лишь одними интересами мужа и семьи, как хотелось ей завоевать независимость и выйти замуж не иначе, как полюбивши какого-нибудь героя и быть его товарищем... И вместо этого — замужество по рассудку, из-за страха остаться старой девой. Даже храбрости не было отдаться своему темпераменту, не рискуя своей свободой... И теперь неудовлетворенное честолюбие несомненно неглупой женщины, не знающей, куда приложить ей силы. Разочарование в героизме мужа, разбитая личная жизнь и постоянное резонерство, которое мешает ей отдаваться непосредственно жизни и жить впечатлениями страстного своего темперамента, который она старается обуздать.

Невзгодину казалось, что он понимал Маргариту Васильевну и что она такая, какую он себе теперь представлял. Как далеко было это представление от прежнего, когда Невзгодин, влюбленный, считал Маргариту Васильевну чуть ли не героиней, способной удивить человечество.

И ему вдруг стало жалко прежних своих грез, точно с ними улетела и его молодость. Ведь и его личная жизнь не особенно удачная. И он не любит ни одной женщины... да и вообще одинок. Счастье его, что в нем писательская жилка. Как бы скверно ему жилось на свете без этой чудной творческой работы, которая по временам так захватывает его... И теперь, после нескольких дней пребывания в Москве, он чувствовал позыв к работе... Крайне сочувственное письмо, полученное им сегодня вместе с корректурами от редактора журнала, в котором печаталась повесть Невзгодина, подбодрило его, и он решил исправить и другую свою вещь и послать ее тому же редактору.

— Вы в Москве думаете оставаться, Маргарита Васильевна? — спросил наконец Невзгодин.

— В Москве. Сперва поселюсь в меблированных комнатах, а потом, при возможности, найму квартиру... Уехать мне нельзя. Тут у меня занятие... Поближе к редакциям быть лучше, а то того и гляди потеряешь работу... И наконец, это новое дело... Не оставлю я его.

— И вы надеетесь, что ваша мысль осуществится?

— Разумеется, надеюсь. Аносова уже обещала пятьдесят тысяч.

— Обещала, но не дала?

— Что за противный скептицизм! Она не отступится от своего слова.

— Ну, положим, и не отступится. А еще на каких богачей надеетесь?

— На Рябинина! Слышали про этого миллионера?

— Еще бы! Знаменитый фабрикант и безобразник. Имеет гарем на фабрике и в то же время собирается, говорят, издавать газету в защиту бедных фабрикантов, которых все обижают.

— Еще надеюсь на Измайлову.

— На эту бывшую Мессалину и дисконтершу[24] на покое? Чего ради они дадут вам денег на устройство дома для рабочих? И кто вас надоумил к ним обратиться?

— Аглая Петровна.

— Она, этот министр торговли в юбке? В таком случае надо попытаться счастья.

— К Рябинину я поеду сама. А к Измайло-

вой надо послать мужчину.

— И это советовала великолепная вдова?

— Да. И советовала, чтобы к ней обратился с просьбой Николай Сергеич.

— Отличный психолог Аглая Петровна! Превосходно распределяет роли! — усмехнулся Невзгодин.

— Мужа я просить не хочу, — продолжала Маргарита Васильевна. — А вот если бы вы, Василий Васильич, не отказались помочь делу и поехать к Измайловой, то я была бы вам очень благодарна.

— Я? С моей тщедушной фигурой? — воскликнул, смеясь, Невзгодин. — Да вы, видно, хотите провалить дело, посылая меня, Маргарита Васильевна! Измайлова со мной и говорить-то не захочет.

— Полно смеяться. Я вас серьезно прошу.

— Да я не отказываюсь. Отчего и не посмотреть на Мессалину, обратившуюся в мушкетершу.

— Так поезжайте. А я вам достану от Аглаи Петровны рекомендательное письмо. Кстати, вы и писатель... А Измайлова их уважает...

— Извольте, я поеду, но, если даже и обе-

щания не привезу, вина не моя.

В эту минуту двери бесшумно отворились, и на пороге появилась Катя с докладом, что самовар готов.

— Вот чудный вестник! Я ужасно чаю хочу! — проговорил Невзгодин, поднимаясь вслед за хозяйкой, чтоб идти в столовую.

И снова Катя была обманута в ожиданиях: Ее быстрый взгляд, давно изощрившийся все видеть во время внезапных появлений в комнату, когда в ней сидят вдвоем хозяйка и гость, не уловил никаких признаков любовной атмосферы, и лица и положения обоих собеседников не внушили никаких подозрений даже и Кате, знавшей по опыту, как горячо целуют в какую-нибудь короткую секунду самые почтенные мужья в коридоре, почти на глазах у жен.

Но она все-таки не теряла надежды узнать «всю правду».

Маргарита Васильевна стала разливать чай, продолжая разговаривать с Невзгодинным. Они теперь говорили о статье в «Старейших известиях» и хвалили письмо Косицкого и сдержанный ответ оклеветанных. Несмотря

на то что Катя нарочно подала два стакана, Маргарита Васильевна даже и не подумала спросить: дома ли муж и не хочет ли чаю?

Это отношение к мужу решительно возмутило горничную.

«Они пьют себе чай и закусывают, а бедный Николай Сергеич сидит себе один-одинешенек, точно оплеванный!» — подумала Катя, стоявшая в коридоре и жадно прислушивавшаяся к тому, что говорят в столовой.

И она прошла к кабинету и приотворила двери.

Николай Сергеевич по-прежнему сидел за письменным столом, откинувшись в кресле.

Тогда Катя, оправив волосы, вошла в комнату и тихо приблизилась к профессору. При виде его подавленного, грустного, слегка осунувшегося лица ей сделалось бесконечно жалко Николая Сергеевича.

— Что вам, Катя? — спросил Заречный.

— Чаю не угодно ли, барин? Только что самовар барыне подала! — говорила Катя как-то особенно почтительно-нежно, взглядывая робко и в то же время значительно на Заречного.

— А барыня вернулась?

— Недавно вернулись вместе с господином Невзгодиным... Они в столовой...

Заречный поморщился, точно от боли.

«Опять этот Невзгодин!» — подумал он.

— Так прикажете чаю, Николай Сергеич? Может, и кушать хотите... Я вам сюда подам, если вам не угодно выйти... В одну минуту все сделаю.

— Я ничего не хочу.

Заречный поднял глаза на заалевшее хорошенькое и свежее лицо горничной и вдруг перехватил такой восторженный и пламенный взгляд, что тотчас отвел глаза в сторону, несколько удивленный и сконфуженный, и проговорил неожиданно для самого себя мягко:

— Спасибо, Катя. Вы... вы услужливая девушка.

— Что вы, барин? За что благодарите? Да разве вы не видите, что для вас я что угодно готова сделать. Только прикажите! — прибавила она почти шепотом.

— Ну, так сделайте мне поскорее постель! — полушутя приказал Заречный, делая

вид, что не замечает горячего тона Кати.

— Опять здесь прикажете? — с едва уловимой насмешкой в голосе спросила она.

— Здесь! — ответил, не поднимая глаз, Заречный, чувствуя, что этот вопрос заставил его покраснеть и сильнее почувствовать стыд своего положения вдовца при жене.

И, словно бы желая скрыть это обидное положение, прибавил:

— Я устал и лягу пораньше... И кроме того, мне необходимо раньше завтра встать! — говорил Николай Сергеевич, внутренне стыдясь, что он должен врать перед горничной. — Вы можете разбудить меня в шесть часов? — неожиданно спросил он строгим голосом.

— Когда угодно, барин.

— Так разбудите, пожалуйста.

— Будьте покойны, разбужу. Покойной ночи, барин. И дай вам бог приятных снов.

Она не уходила, точно ожидая чего-то.

— Можете идти, Катя. Больше мне ничего не нужно! — сказал Заречный.

Катя подавила вздох и медленно вышла.

Николай Сергеевич, однако, не ложился.

Он поднялся с кресла и, приоткрыв двери, прислушивался к разговору в столовой. Оттуда временами долетали фразы незначащего разговора, и это несколько успокаивало Заречного. Скоро он услышал, что Невзгодин прощается... Он взглянул на часы... половина первого... «Значит, не особенно долго сидел... Верно, Рита рассказала ему, что бросает меня!»

И Заречный чувствовал себя несчастным, одиноким и немножко виноватым перед Ритой.

«Нет, одно спасение в работе, в науке!» — думал он, когда лег в постель и сладко потянулся, расправляя усталые члены.

И Рита, и Найденов с его унижительным разговором, и этот юноша-идеалист, и подлая статья, и книга, которую надо кончить, и Невзгодин, и Сбруев занимали его мысли и ставили перед ним вопросы, о которых он прежде не думал, когда считал себя счастливым и словно бы не замечал в себе той двойственности, о которой с такою страстностью напомнил ему Медынцев. Довольно фраз... Он за них достаточно наказан...

И вся суетливая деятельность его вне университета казалась теперь ему ненужной, бесцельной и опасной. Из-за пустяков можно лишиться положения. «Был Заречный, и нет Заречного!» — припомнил он насмешливые слова Найденова и проникся их вескостью, откровенно признаваясь самому себе, что он трус, скрывающий от людей эту трусость речами о компромиссе.

Наконец все как-то перепуталось в его мозгу, потеряло ясность, и он заснул с мыслью о том, что надо заниматься одной наукой, которая представилась ему вдруг в лучезарном образе Риты.

Заречный проснулся от света, падавшего ему в глаза, и от того, что чья-то мягкая, теплая и вздрагивающая рука осторожно дергала его за плечо.

Проснувшись, он увидел наклонившуюся над ним Катю в капоте, плотно облежавшем красивые формы ее крепкого стана. Она смотрела на него с нежной вызывающей улыбкой. Оголенная белая рука держала свечку, свет которой освещал заалевшееся пригожее лицо

с лукавыми черными глазами...

— Вставайте, барин... Шесть часов... Вы велели разбудить вас! — говорила она ласковым шепотом, запахивая ворот капота, из-под которого виднелась чистая сорочка.

Заречный закрыл глаза, будто собираясь заснуть.

— Вставайте же, милый барин! — настойчиво повторила девушка, еще ниже наклоняясь над Заречным и обдавая его лицо горячим дыханием.

Вместо ответа он протянул руку и грубо и властно обхватил ее талию и привлек к себе.

— О милый барин! — шептала Катя, осыпая профессора страстными поцелуями.

В десять часов, когда Николай Сергеевич, напившись чаю, уходил в университет, Катя с еще большею почтительностью подала ему шубу и держала себя так, словно бы ничего между ними и не было.

Молодой профессор старался не глядеть на Катю. Он был сконфужен, сознавая себя виноватым и словно бы осквернившим свою любовь к Рите, и в то же время чувствовал себя в это утро как бы спокойнее, уравновешеннее и

не таким несчастным.

Конечно, он оправдывал себя и во всем винил Катю, вздумавшую будить его, вместо того чтобы стучаться в дверь, и решил, что больше этой вспышки зверя не повторится в нем. Однако в тот же вечер, когда Катя готовила ему постель, он как-то особенно внимательно смотрел на ее розоватый затылок и, когда она пожелала ему покойной ночи, снова приказал разбудить себя в шесть часов.

Катя метнула глазами, вся вспыхивая от радости, и почтительно-официальным тоном ответила:

— Слушаю, барин!

XXI

С того вечера как Аглая Петровна приглашала Невзгодина к себе и, милостиво подарив его своей неотразимо-чарующей улыбкой, подчеркнула желание видеть Василия Васильевича как можно скорей, — прошло более двух недель, а Невзгодин и не думал ехать к «великолепной вдове».

Она ждала Невзгодина с нетерпением, дивившим ее. Одетая с большей кокетливостью, чем обыкновенно одевалась дома, Аглая Пет-

ровна, как институтка, подбегала к окнам и смотрела на двор. После нескольких дней напрасного ожидания желание красавицы вдовы видеть Невзгодина еще более усилилось. Обыкновенно спокойная, не знавшая никаких волнений, кроме коммерческих, Аглая Петровна сделалась нервной, возбужденной и раздражительной, негодуя, что Невзгодин не едет после такого любезного приглашения, каким она его удостоила.

И — что было всего удивительнее — даже за деловыми занятиями в своей уютной клетушке Аглая Петровна по временам испытывала непривычную доселе скуку и, всегда точная и аккуратная, бывала рассеянна.

В деловом разговоре порой не слышалось прежней ясной краткости. Ее крупная холерная рука откидывала неверно костяшки. Цифры путались в ее уме. Вместо них в голове роились совсем другие мысли.

Она гневалась на эти «шалости нервов» и капризы властного своего характера. Не влюбилась же она в самом деле в Невзгодина! И тем не менее женское самолюбие ее было жестоко оскорблено его презрительным невни-

манием, и в ней, богачихе, дочери и внучке крутых самодуров, привыкшей к тому, чтобы желания и капризы ее исполнялись, зарождалось к Невзгодину какое-то сложное чувство ненависти и в то же время неодолимого желания видеть его.

Он должен во что бы то ни стало быть у нее!

Этот каприз решительно овладел Аглаей Петровной. Деспотическая ее натура не поддавалась никаким доводам ума. Она понимала всю нелепость своего самодурства и плакала от злости, что Невзгодин не едет.

Написать ему?

Ни за что на свете. Одна мысль об этом вызвала в Аглае Петровне негодование.

Чтоб этот легкомысленный, непутевый человек смел подумать, что она им интересуется, она, которая с горделивым равнодушием относится к своим многочисленным поклонникам и тайным вздыхателям, которые не чета Невзгодину. Да поведи она бровью, и у ее ног были бы известные профессора, литераторы, художники, чиновные люди, купцы-миллионеры. И вдруг этот «мартышка» без рода и

племени, этот нищий фантазер без положения, осмелится вообразить, что в него влюблены — скажите пожалуйста!

Прошла неделя.

Аглая Петровна была в театре у итальянцев, была на бенефисе в Малом театре, надеясь встретить Невзгодина, и наконец поехала отдать визит Заречной, рассчитывая от нее узнать что-нибудь о Невзгодине. Верно, он с ней часто видится.

Но нигде она его не видела, Маргарита Васильевна могла только сообщить, что Василий Васильич точно в воду канул и глаз к ней не кажет с тех пор, как был более недели тому назад. И вообще из разговора с Заречной Аглая Петровна заключила, что между Маргаритой Васильевной и Невзгодиным пробежала кошка. По крайней мере, Заречная, как показалось Аглае Петровне, довольно сдержанно говорила о своем приятеле.

— А он мне нужен, — заметила Аглая Петровна, — потому я и спрашиваю о нем. Хочу просить его читать на благотворительном концерте, — внезапно сочинила она. — Кстати, вы слышали его повесть. Хороша она?

— Он не читал еще мне. И мне он нужен, если только вы дадите ему рекомендательное письмо к Измайловой...

— Вы его хотите послать вместо мужа?

— Да.

— Что же, Николай Сергеич не хочет ехать?

— Он занят очень...

— Так пошлите Невзгодина ко мне. Я дам ему письмо.

— Я адреса его не знаю...

— Можно справиться в адресном столе. Кстати напишите ему и о концерте...

— А Невзгодин у вас разве еще не был? — в свою очередь, спросила Маргарита Васильевна.

— То-то не удостоивает! — смеясь отвечала Аносова.

— Он, кажется, собирался...

Аглая Петровна распрощалась, целуя Маргариту Васильевну с прежней искренностью. По-видимому, Аносова возвратила ей свое расположение, заключив, что подозрения, охватившие ее на юбилейном обеде, неверны.

«Между ними, кажется, ничего нет!» — по-

думала Аглая Петровна. Эта мысль была ей приятна, и Аносова, уходя, снова подтвердила Маргарите Васильевне, что даст пятьдесят тысяч, и советовала поскорей послать Невзгодина к Измайловой, а самой Маргарите Васильевне ехать к Рябинину.

— Я на днях была у него. Его нет в Москве.

— Ну так попытайтесь у Измайловой... Письмо к ней я сегодня же напишу... Напишите и вы Невзгодину... Пусть явится за ним... Ну, до свидания, родная!

Прошло еще три дня, а Невзгодин не являлся.

Аглая Петровна злилась, чувствуя бессилие свое удовлетворить свой каприз.

«Быть может, он уехал!» — мелькнуло у нее в голове, и она почувствовала, что отъезд Невзгодина не вернул бы ей прежнего спокойствия.

Что это с ней делается наконец! Какое безумие нашло на нее? — спрашивала она себя, сидя ранним утром за письменным столом в своей клетушке за объемистой запиской о постройке новой фабрики, поданной одним из ее управляющих.

И она два раза надавила пуговку электрического звонка.

На пороге явился, по обыкновению бесшумно, старый Кузьма Иванович и, отвесив низкий поклон, замер в почтительной позе.

Уверенная в том, что Кузьма Иванович предан ей как собака и умеет быть немым как рыба, Аглая Петровна дала старику поручение «осторожно узнать», в Москве ли господин Невзгодин и если в Москве, то навести справки, как он проводит время и где бывает.

— Понял, Кузьма Иваныч?

— Понял, матушка Аглая Петровна. Наведу справки как следует, без огласки.

На другое же утро Кузьма Иванович докладывал в клетушке своим тихим, слегка скрипучим голосом, таким же бесстрастным, как и его худощавое, безбородое лицо:

— Господин Василий Васильич Невзгодин находятся в Москве. Они никуда не отлучались из своей комнаты в течение свыше двух недель и денно и нощно занимаются по письменной части. Пишут все и довольно много исписали бумаги. И кушают пищу у себя, пребывая в одиночестве, и никто у них не был, и

никого не велели они принимать.

— Спасибо, Кузьма Иванович!.. — проговорила Аглая Петровна.

И когда Кузьма Иванович ушел, она облегченно вздохнула и, подняв глаза, светившиеся теперь радостным блеском, на лампадку, истово осенила себя три раза крестом.

XXII

На Невзгодина нашел рабочий писательский стих.

Он заперся в своей маленькой уютной комнате в верхнем этаже меблированного дома под громким названием «Севильи» и, казалось, забыл всех своих знакомых.

Возбужденный, с приподнятыми нервами и с повышенной впечатлительностью, он писал с утра до поздней ночи, отрываясь от письменного стола лишь для того, чтобы снова думать о работе, захватившей молодого писателя всего.

Невзгодин побледнел и осунулся. Его впавшие, лихорадочно блестящие глаза придавали сосредоточенно-напряженному выражению лица вид несколько помешанного. Он работал запоем уже вторую неделю, но почти

не чувствовал физической усталости, не замечал, что дышит ужасным воздухом, пропитанным едким табачным дымом, и, не выпуская изо рта папироски, исписывал своим твердым размашистым почерком листы за листами, отдаваясь во власть творчества с его радостями и муками.

И как много было этих мук!

По временам Невзгодин приходил просто в отчаяние от бессилия передать в ярком образе или выразить в вещем слове то, что так ясно носилось в его голове и что так сильно чувствовалось.

А между тем слова, ложившиеся на бумагу, казались бледными, безжизненными, совсем не теми, которые могли удовлетворить художественное чутье сколько-нибудь требовательного писателя. Он это чувствовал.

— Не то, не то! — шептал Невзгодин, мучительно неудовлетворенный.

Он рвал начатые листы и нервно ходил в маленькой комнате, точно зверь по клетке, ходил минуты и часы, не замечая их, пока сцена или выражение, которых он искал, не озаряли его мозга как-то внезапно и совсем

не так, как он думал.

Тогда, счастливый, с просветленным лицом, Невзгодин снова садился к столу и писал радостно, быстро и уверенно, не столько сознавая, сколько чувствуя всем своим существом правдивость и жизненность того, что, казалось, так неожиданно и так легко явилось в его голове.

И сколько переделывал, переписывал, зачеркивал и сокращал Невзгодин, искавший жизни и правды, изящества формы и точности выражений. Как часто надежда в нем сменялась сомнением, сомнение — надеждой, что он не лишен дарования, что может писать и напишет вещь куда лучше, чем «Госка».

Но так или иначе, а он не может не писать.

Несмотря на все муки творчества, несмотря на авторскую неудовлетворенность, он испытывает великое наслаждение в этой работе, в этой жизни жизнью лиц, созданных обобщением непосредственных наблюдений. Во время работы ему дороги и близки эти лица, все равно — хороши ли они или дурны, умны или глупы, лишь бы они были жизнен-

ны и иллюстрировали жизнь такую, какою она ему представляется, со всеми ее ужасами пошлости, лицемерия и лжи, которые он чувствует, испытывая неодолимую потребность передать все это на бумаге.

Так нередко думал Невзгодин и теперь и в Париже, когда начал свое писательство и после долгих колебаний послал одно из своих произведений в журнал, наиболее ему симпатичный по направлению.

Извещение из конторы журнала — сухое и лаконическое — о том, что его повесть принята и будет напечатана в январской книжке, обрадовало Невзгодина, но далеко не разрешило его сомнений насчет писательского таланта. Он никому не читал своих вещей, и когда его жена в Париже как-то узнала, что он пишет повесть, то высокомерно посоветовала ему лучше «бросить эти глупости» и прилежней заниматься химией. Но он не бросал и в одной из своих повестей, незадолго до «расхода» с женой, нарисовал типичную фигуру трезвенной, буржуазной студентки, прототипом которой послужила ему супруга.

Когда Невзгодин увидал в корректурных

листах свою «Тоску», он в первые минуты испытал невыразимое чувство радостной удовлетворенности автора, впервые увидавшего свое произведение напечатанным. Он не прочел, а скорее проглотил свою повесть, и ему казалось, что редактор писал не просто одобряющие комплименты начинающему писателю, находя ее свежей, интересной и талантливой в своем письме, полученном одновременно с корректурой. И Невзгодину нравилась в печати его «Тоска» после первого чтения, хотя и далеко не так, как в то время, когда он ее писал, переживая сам настроение, приписанное герою повести. Тогда это настроение и тоскливый пессимизм, скрывающий под собою жажду идеала, во имя которого стоило бы бороться, казались ему значительнее, оригинальнее и свежее, и он думал, что затрогивает что-то новое, чего раньше не говорилось, что его «Тоска» откроет многим истинные причины недовольства жизнью.

Но когда в тот же вечер Невзгодин принялся читать свою повесть для правки, внимательно, строку за строкой, вчитываясь в каждое слово, то впечатление получилось другое.

Автор решительно был смущен и недоволен. Образы казались ему теперь недостаточно выпуклыми, характеры — неопределенными, общий тон приподнятым, идея повести далеко не новой, а форма небрежной и требующей отделки.

Две-три сцены во всей повести еще ничего себе; в них чувствовалась жизнь, но в общем... Господи! Как это все несовершенно и неинтересно, как не похоже на то, чего он ожидал и что в повести было ему так дорого, так близко.

А вдобавок ко всему редактор обвел несколько мест красным карандашом и в письме пишет, что они невозможны в цензурном отношении; их надо исключить совсем.

У Невзгодина явилось желание переделать всю повесть. Но необходимо было вернуть корректуры через день, и автор мог только исправить слог, сократить длинноты; он послал свое детище, почти что чувствуя к нему ненависть.

Сравнивая свою «Тоску» с теми произведениями, которые печатаются в журналах,

Невзгодин находил ее не хуже других, но когда он вспоминал мастеров слова, как Лев Толстой, ничтожность его «Тоски» казалась ему очевидной, и в эти минуты он сожалел, что она будет напечатана.

«И как же ее разругают!»

«Но не всем же быть Толстыми или Шекспирами. Тогда никому и писать нельзя. И наконец, редактор не первый встречный, а известный писатель. Не станет же он хвалить окончательно плохую вещь? Быть может, я слишком требовательный к себе автор и не могу отнестись к своей работе беспристрастно?»

Так утешал себя Невзгодин.

И неудачная в глазах его работа вызвала в нем желание написать что-нибудь лучшее. Что-то в нем говорило, что он может это сделать — надо только упорно работать над своими вещами, отделять их, добиваться правды и жизни...

Невзгодина потянуло к писанию. Он стал пересматривать свои рукописи, и одна из них показалась ему стоящей переработки. Тема интересная.

Невзгодин принялся было переделывать написанный рассказ, но вместо того стал писать заново. И новый совсем не походил на прежний.

Наконец рассказ был окончен вчерне, и Невзгодин стал переписывать рукопись. И снова исправлял и переделывал.

В это время, как-то утром, коридорный подал Невзгодину письмо.

Оно было от Маргариты Васильевны. Она передавала приглашение Аносовой участвовать в литературном чтении и просила поскорей съездить к Аглае Петровне за рекомендательным письмом к Измайловой и побывать у богатой купчихи. В приписке Маргарита Васильевна пеняла, что Невзгодин совсем ее забыл.

Невзгодин был раздражен, что его отрывают от работы, и довольно сухо ответил, что он, конечно, на литературном вечере участвовать не будет и удивляется, с чего это «великолепная вдова» зовет читать начинающего писателя. Что же касается до визита к Измайловой, то он поедет к ней через неделю. Раньше невозможно.

В конце третьей недели затворничества Невзгодина рассказ окончательно переписан два раза четким красивым почерком на четвертушках парижской синей бумаги и почти без помарок. Автор перечитывает рукопись. Ему кажется, что вышло недурно.

Радостный и веселый, словно бы он внешне отделался от какой-то болезни или освободился от гнетущего обязательства, он бережно прячет рукопись и от чар фантазии возвращается в мир действительности. Он забывает всех своих героев, с которыми жил в течение трех недель, словно до них ему нет уж более дела, и только теперь чувствует, как он разбит и утомлен после долгой, непрерывной работы. Спина болит, нервы болезненно напряжены. И он доволен, как ребенок, что работа кончена, и жаждет отдыха, развлечения. Ему снова хочется знать, что делается на свете, и видеть людей.

Только теперь Невзгодин обратил внимание на обстановку, в которой он работал, не замечая ее... В его комнате грязь была невозможная. Повсюду пыль. Воздух спертый, пропитанный табаком. Письменный стол зава-

лен окурками... На полу сор и листы разорванной бумаги. Кровать не убрана.

«Скорее вон, на воздух!» — решил Невзгодин, удивляясь, как он мог не замечать всего этого свинства.

Он надавил пуговку звонка. Прошло добрых пять минут, пока явился коридорный Петр, молодой человек меланхолического вида, в засаленном сюртуке.

— Ну, Петр, окончил работу! — весело воскликнул Невзгодин. — Теперь можете прибраться. Видите, какая везде гадость.

— То-то грязновато. Да ведь вы сами приказывали не мешать. Я и не мешал. И, осмеюсь спросить, много вы получите за эти ваши сочинения?

— За то, что теперь написал?

— Так точно-с.

— Да думаю, рублей триста дадут.

— Это за писанье-то? — недоверчиво протянул Петр.

— Да.

— Так я бы, Василий Васильич, на вашем месте все сидел бы да писал. Деньжищ-то за год сколько!

— Попали бы в сумасшедший дом, Петр! — засмеялся Невзгодин. — Я вот три недели работал, и то спина болит. Почистите-ка мне ботинки да принесите воды.

Петр вышел и скоро вернулся с водой и налил ее в умывальник.

— Когда я уйду, вы уж, пожалуйста, хорошенько уберите комнату, Петр! — говорил Невзгодин, умываясь.

— Форменно уберу, как следует к празднику.

— К какому?

— А вы, видно, барин, за работой и забыли, что сегодня сочельник!

— И впрямь забыл...

— А кушать сегодня дома будете?.. Уже пятый час, а вы не обедали.

— Сегодня я вашей дряни не буду есть. Сегодня я кутну, Петр, и пообедаю где-нибудь в порядочном трактире по случаю окончания работы... А что же ботинки?

Петр взял ботинки из-под кровати, обтер пыль и проговорил:

— Чищены, Василий Васильич... Блестят... Так вы говорите — триста рублей?

— Другие и больше получают...

— За такую легкую работу? Сиди да пиши!

— Попробуйте-ка... А у меня был кто-нибудь за это время?

— Только вчера одна дама спрашивала. Не допустил, как вы приказывали. Сказал: сочиняют, мол.

— Спасибо, что не пустили, только вперед говорите просто, что занят... А карточки дама не оставила?

— Нет-с. Если опять придут, принимать?

— Примите.

Невзгодин кончил мыться и, утирая лицо, кинул вопрос:

— А дама старая или молодая?

— Средственная, но только очень видная. И фасонисто одетая.

— Худощавая? Блондинка? — спрашивал Невзгодин, предполагая, что заходила Маргарита Васильевна.

— Нет-с. В полной комплектации, как следует, и брюнетистая... С пинснетом...

— Странно. Кто бы мог быть?

Петр, любивший-таки поболтать, стоял у притолоки и посматривал, как Невзгодин

одевается.

Он недоверчиво усмехнулся словам Невзгодина и промолвил:

— Очень даже бельфамистая дама, Василий Васильевич.

И, помолчав, прибавил уверенно:

— Они беспременно вскорости придут.

— Почему вы думаете?

На длинноносом, прыщеватом лице долгоязого коридорного мелькнула тонкая улыбка, и он значительно ответил:

— Хотя я и необразованного звания человек, а кое-что, слава богу, могу понимать, Василий Васильич. Барыня очень настоятельно желала вас видеть и выпрашивала, когда вы можете принять и, вообще, по какой причине не принимаете и здоровы ли. Обстоятельно выпросила.

— Что же вы сказали?

— Сказал: никуда, мол, не выходит и все сочиняет, а когда примут, неизвестно. Как, мол, окончат сочинять.

— А она?

— Усмехнулась. Ежели без вас придут, как обнадежить, Василий Васильич?

— Скажите, что завтра утром до двенадцати я дома.

— Слушаю-с. А из пятьдесят второго номера актерка сбежала! — доложил Петр, почему-то сообщавший Невзгодину обо всех событиях в «Севилье».

— Как сбежала?

— Очень просто.

— В чем же это ваше «очень просто»?

— За два месяца не заплатила и... тютю. Довольно даже ловко... и с чемоданами. А хозяин озлился — беда! Ищи-ка, сделай одолжение! — говорил Петр, по-видимому, сочувствовавший «актерке», помогая Василию Васильевичу надеть пальто.

XXIII

С видом счастливого школьника, вырвавшегося на свободу, вышел Невзгодин из своей грязной комнаты.

Ему было как-то весело и легко после усидчивой работы. Впереди предстояла близкая получка гонорара, а пятьдесят рублей, бывшие у него в кармане, и незаложенные золотые часы вполне поддерживали бодрое настроение духа такого богемы по натуре, ка-

ким был Невзгодин. Он глядел на будущее без страха и боязни и не особенно думал о каких-нибудь постоянных занятиях, надеясь, что писательство, если пойдет удачно, его прокормит... Много ли ему надо?

Он беззаботно насвистывал какой-то мотив, предвкушая удовольствие побыть на людях, как вдруг из-за поворота коридора показалась высокая полная женская фигура и шла прямо на него.

— Та самая, что были вчера! — не без торжества шепнул Петр, следовавший сзади.

Невзгодин остановился, перестал свистать и вглядывался в приближавшуюся барыню, которая так очаровала Петра.

В полутьме коридора он не мог разглядеть ее лица, но в ее высокой полноватой фигуре и особенно в походке, слегка переваливающейся, было что-то близко знакомое.

— Вы меня не узнали, Невзгодин? — произнесла дама, приблизившись к нему и протягивая с товарищескою бесцеремонностью руку в черной лайке... — Окончили сочинять, как выражается ваш Лепорелло? Надеюсь, пожертвуете мне несколько минут. Я к вам по

делу и очень рада вас видеть! — мягко прибавила она.

С первых же звуков этого твердого, уверенного и несколько резковатого голоса, в котором едва слышна была веселая, покровительственно-ироническая нотка, Невзгодин узнал свою жену.

Он не испытывал ни малейшего неприязненного чувства при виде этой, когда-то очень близкой ему женщины, с которой так легкомысленно сошелся, пленившись под влиянием хандры и одиночества на чужбине ее рассудительностью, практичностью, упорным трудолюбием в занятиях наукой и — главное — здоровой, свежей красотой, вызывающей своей кажущейся невозмутимостью. Он, в свою очередь, тоже рад был увидеть жену, с которой, благодаря ее такту и уму, разошелся так хорошо и так основательно, без сцен, без взаимных упреков, после короткого супружества, показавшего, как чужды они друг другу по характеру, взглядам, уму, привычкам.

Невзгодин раздражался, бывало, и едко подсмеивался, когда она донимала его поуче-

ниями об умеренности и аккуратности, но никогда не обвинял ее серьезно и не чувствовал ненависти, понимая упрямое упорство ее сильного характера, с каким она хотела подчинить себе мужа, рассчитывая сделать из него такого же трезвенного, уравновешенного человека, каким была сама. Он скучал с ней, но не мог ее не уважать за последовательность. Он знал, что и она считала замужество ошибкой, мешающей ее занятиям, и был благодарен ей за правдивость, с какою она в этом призналась, ни на минуту не представляясь жертвой.

Очутившись теперь лицом к лицу с женой, Невзгодин оставался в прежнем веселом настроении. Только к этому настроению прибавилось что-то иронически-добродушное и вместе с тем любопытное, точно он ждал, что жена, как бывало в Париже, сделает ему какой-нибудь выговор с соответственным научным объяснением.

Невзгодин крепко пожал руку жены и с изысканною любезностью джентльмена ответил:

— К вашим услугам, Марья Ивановна... И

сколько угодно минут... Я только что кончил сочинять и совершенно свободен. И я, право, рад вас видеть, но только не в этой темноте. Не угодно ли ко мне в комнату... Только извините... Вы найдете в ней беспорядок, и она еще не убрана.

— Так поздно и не убрана? Вы тот же богема?

— Тот же... Работал...

— Разве работа мешает порядку? — слегка усмехнулась Марья Ивановна.

Невзгодин отворил двери. Оба, и муж и жена, с любопытством взглянули друг на друга прежде, чем войти в комнату.

Такая же, как и была, свежая, здоровая и румяная, с теми же правильными, несколько резкими чертами красивого лица римской матроны из русских купчих, побывавшей парижской студенткой. То же самодовольно-уверенное выражение в карих глазах под соболиными бровями, глядевших через ринсепез на прямом крупном носе, что придавало лицу еще более серьезный и в то же время несколько вызывающий вид. И одета она была с обычной умышленной скромностью, не

лишенной своеобразного кокетства: черная шерстяная юбка, черная хорошо сидевшая жакетка, опущенная черным мехом, черное боа, черные перчатки и черная шапочка на голове.

«Еще более раздобрела, несмотря на усердное занятие наукой!» — подумал Невзгодин, заметив пополневший бюст, и не без любопытства и не без некоторого смущения ждал, что будет, когда аккуратная до педантизма его чистеха жена войдет в комнату, в которой действительно была невозможная грязь.

И действительно, только что Марья Ивановна вошла в комнату, как на ее лице выразился ужас, и она воскликнула:

— Да ведь это нечто невероятное... Тут целые недели не убирали...

— Вроде этого, Марья Ивановна! — виновато промолвил Невзгодин.

— И вы могли жить в таком свинстве?

— Как видите... Даже не замечал... Увлекся работой... Да вы присядьте, Марья Ивановна... Вот сюда...

Невзгодин бросился снимать со стула бумаги.

Марья Ивановна подобрала юбку и осторожно присела, продолжая с брезгливым видом озирать комнату.

Невзгодин хотел снимать пальто, но жена его остановила:

— Не снимайте, Невзгодин... Я сейчас ухожу и вас не хочу держать в этой клоаке.

Он присел в пальто.

— Посмотрите на себя, как вы осунулись и побледнели, Невзгодин, — продолжала Марья Ивановна. — Живя так, вы схватите чахотку... Ведь это безобразие... Видно, что некому за вами присмотреть... И долго вы сочиняли?..

— Три недели.

— И никуда не выходили? Работали по-русски — запоем?

— Запоем.

— Безобразие! Вам жизнь, что ли, надоела?

— Пока нет еще.

— Так не делайте таких опытов над собой и не живите по-азиатски. У вас от одного табачного дыма можно задохнуться. А какой развод микробов! Как вам не стыдно, Невзгодин? Кажется, образованный человек и...

Марья Ивановна вдруг остановилась и за-

смеялась.

— Да что ж это я? Пришла к вам по делу, а вместо этого читаю вам нотации...

— Читайте, не стесняйтесь, Марья Ивановна. Я стою их! — весело проговорил Невзгодин.

— Все равно, бесполезно... Вас не переделаешь... Но, без шуток, так жить ведь нельзя... Вид у вас совсем скверный...

— Я думаю перебраться отсюда.

— Обязательно. И знаете ли что, Невзгодин?

— Что, Марья Ивановна?

— Вам нужна нянька, которая смотрела бы за вами... Ну, конечно, нянька-женщина. Если я поселюсь в Москве и найму квартиру, милости просим ко мне жильцом. Я охотно буду смотреть за вами... Право, говорю серьезно.

— А я так же серьезно благодарю вас и готов быть вашим жильцом, Марья Ивановна, если только долго усижу в Москве...

— Ну, а мое дело в двух словах. Я пришла просить вас...

— Развода? — подсказал Невзгодин.

— Он мне пока еще не нужен. Быть может,

нужен вам?

В словах ее звучала любопытная нотка.

— И мне, слава богу, не требуется...

— Больше глупости не повторите?

— Постараюсь.

— Мне нужен вид на жительство. Я, конечно, могла написать вам об этом, но мне хотелось повидать вас... У нас ведь нет друг к другу... ненависти... Не так ли? И мы, я думаю, можем продолжать знакомство...

— Еще бы... На какой срок вам нужен вид?

— На год, на два, как знаете. Пока меня прописали по заграничному паспорту, но полиция требует вид от вас.

Невзгодин обещал достать его после праздников.

— Куда прикажете доставить?

— В меблированные комнаты Семенова, на Девичьем поле, в Тихом переулке... Я там остановилась. Близко к клиникам. Я приехала сюда держать экзамены. Пока я лишь французская докторесса.

— Давно вы приехали?

— Три дня тому назад.

— И уже начали заниматься?

— С завтрашнего дня начну. Если хотите зайти, помните, что я могу вас принять только утром, по воскресеньям. Остальное время я буду заниматься и ходить в клиники... Ну, а вы... химию бросили?

— Нет.

— Говорят, ваша повесть скоро появится.

— В январе.

— Любопытно будет прочесть. Непременно прочту после экзаменов... А еще говорят...

Марья Ивановна насмешливо усмехнулась.

— Что еще говорят?..

— Будто вы снова увлечены Заречной...

— Вранье, Марья Ивановна...

— И я не поверила... Вы не способны увлечься серьезно... Ну, однако, идемте...

Марья Ивановна встала, но, прежде, чем выйти из комнаты, отворила форточку.

— Вы все та же, Марья Ивановна? — усмехнулся Невзгодин.

— Какая?

— Любите порядок и живете по строгому расписанию.

— Еще бы. Да и поздно меняться. И вы та-

кой же...

— Какой?

— Неосновательный...

Они вместе вышли на подъезд.

XXIV

Погода была отличная. Только что выпал снег и блестел под солнцем. Мороз был несильный.

Невзгодин с наслаждением вдыхал свежий воздух, словно бы опьяненный им.

— Вы куда, Марья Ивановна? Не прикажете ли подвезти вас?

— После сиденья да ехать? Вы с ума сошли, Невзгодин! Вам необходимо прогуляться. Мне надо к шести часам быть на Арбате, у тети. А вам в какую сторону?

— К Тестову обедать...

— Богаты, что ли?

— Положим, не богат, но после обедов в «Севилье» хочется побаловать себя...

— И транжирить деньги? Все тот же. Нам по дороге... Пойдемте пешком.

И она было направилась. Невзгодин ее остановил:

— Марья Ивановна! Прокатимся лучше в

санках. Дорога отличная и...

— И что еще?

— Признаться, я дьявольски хочу есть.

— Отсюда недалеко. Вам полезно пройтись. Идемте! — властно почти приказала Мария Ивановна.

— Идемте! — покорно произнес Невзгодин.

Скоро они вышли на Кузнецкий мост. Там было много народу, и особенно кидалась в глаза предпраздничная суэта. У всех почти были покупки в руках.

На тротуаре было тесновато. Невзгодин предложил жене руку.

Они пошли теперь скорее, рука об руку, оба веселые и оживленные, посматривая на пешеходов, на богатые купеческие закладки, на витрины магазинов и меняясь отрывочными фразами.

Невзгодин невольно вспомнил, как вскоре после супружества они так же гуляли по воскресеньям по парижским бульварам или где-нибудь за городом, но тогда их прогулки обыкновенно кончались спорами и взаимными колкостями.

А теперь они так мирно беседуют, что со

стороны можно подумать, что гуляют влюбленные. Вот что значит быть мужем и женой только по названию!

Невзгодин улыбнулся.

— Вы чего смеетесь?

— Вспомнил, Марья Ивановна, как мы гуляли с вами в Париже.

— Для вас это очень неприятные воспоминания? Признайтесь?

— Как видите, во мне не осталось злого чувства... А вы как обо мне вспоминали, Марья Ивановна? Лихом? Или никак не вспоминали?

— Напротив, часто и всегда как о порядочном человеке, которому только не следует никогда жениться... Вот и обменялись признаниями! — засмеялась Марья Ивановна.

У пассажира Попова экипажи ехали шагом. В маленьких санках, запряженных тысячным рысаком, сидела Аносова. Она увидела Невзгодина с женой и смотрела на них во все глаза, изумленная и взбешенная, точно ей нанесена была какая-то обида.

Невзгодин взглянул на нее. Она отвела глаза в сторону.

— Глядите, Марья Ивановна, на московскую красавицу Аносову. Вон она на своем рысаке. Трудно сказать, что лучше: великолепная вдова или рысак.

— Она стала еще красивее, чем была в Бретани, когда я ее видела.

— Прелесть... Эта белая шапочка так идет к ней.

— Вы с ней продолжаете знакомство?

— Раз встретился. У нее еще не был. Собираюсь с визитом. Кстати и дело есть.

Они подходили к театру.

— До свидания, Невзгодин, — проговорила Марья Ивановна, высвобождая руку. — Нам дальше не по пути.

Невзгодину вдруг пришла мысль пригласить жену обедать. Все не так скучно, чем одному, и вдобавок он расспросит о парижских знакомых. К тому же он знал, что Марья Ивановна любила хорошо покушать, но была слишком скупа, чтоб позволить себе такую роскошь.

Невзгодин спросил:

— Вы к тетке обедать, Марья Ивановна?

— Да, к шести часам... Надеюсь, не опозда-

ла? Без двадцати шесть! — облегченно проговорила она, взглянув на часы. — Прощайте, Невзгодин.

Но он пошел рядом с ней.

— Нет, позвольте... У меня к вам просьба!

— Какая?

— Сделайте мне честь, примите мое приглашение пообедать вместе у Тестова?

Марья Ивановна изумленно взглянула на Невзгодина.

— С чего вам вдруг пришла в голову такая дикая фантазия? — строго спросила она, пылливо взглядывая на Невзгодина.

Но вид у него был самый добродушный.

— Что ж тут дикого? Мне просто хочется пообедать вместе, порасспросить о парижских знакомых и выпить бокал шампанского не за ваше здоровье, — вы и так цветете! — а в благодарность...

— За то, что мы так скоро разошлись? — перебила молодая женщина.

— И не сделались врагами...

— Вы по-прежнему сумасшедший и мотыга!.. Но ведь вам будет скучно со мной... Пожалуйста, мы к концу обеда побранимся...

— Едва ли... Ведь после обеда мы разойдемся в разные стороны.

— Или вы, как писатель, хотите изучить меня? Так ведь довольно, кажется, изучили?..

— Это уж мое дело.

— И наконец я обещала тете...

— Пошлем посыльного.

Марья Ивановна все еще колебалась.

Хорошо изучивший ее Невзгодин сказал:

— Или вы боитесь, что скажут ваши тети и дяди, если узнают, что вы обедали в сочельник с мужем, которого бросили и которого ваши родные считают, конечно, за самого беспутного человека в подлунной?

— Я никого и ничего не боюсь... Идемте обедать! — решительно проговорила Марья Ивановна.

Они повернули и пошли под руку через площадь.

— Вот спасибо, что не отказали, Марья Ивановна.

— Но только я обедаю с вами с условием...

— Заранее принимаю какие угодно.

— Мы будем обедать скромно... Вы не будете бросать даром деньги.

«Все та же скупость. Даже чужие деньги жалеет!» — подумал Невзгодин и ответил:

— Будьте покойны.

— И я вам не позволю много пить...

— Буду послушен, как овечка, Марья Ивановна.

Через несколько минут Невзгодин с женою сидели в общей зале ресторана, за небольшим столом, у окна, друг против друга, на маленьких бархатных диванчиках, как бывало в Париже, обедая по воскресеньям, в короткие медовые месяцы их супружества, в дешевых ресторанах.

Без меховой жакетки, простоволосая, с тяжелой темно-каштановой косой, собранной на темени, без завитушек спереди, гладко зачесанная назад, Марья Ивановна выглядела моложавее и менее полной в своем черном, обшитом у ворота белым кружевом, платье, тонкая ткань которого плотно облегла ее роскошный бюст. И ее румяное лицо, с легким пушком на полноватой, слегка приподнятой губе, под которой сверкали крупные зубы, и с родинкой на резко очерченном подбородке, и вся ее крепкая, плотная, хорошо сло-

женная фигура дышали могучим здоровьем и физической крепостью женщины, заботящейся о том сохранении силы, красоты и свежести тела, которое французы метко называют: «soigner la bete»[25]. Недаром же Марья Ивановна научилась в Париже ежедневно обливаться холодной водой, делать гимнастику, ездить на велосипеде и вообще культивировать в себе здоровое животное по всем правилам гигиены и физического воспитания.

Она строго и несколько изумленно посматривала сквозь стекла своего *rinse-nez* в золотой оправе то на улыбающегося, веселого Невзгодина, предвкушавшего удовольствие дернуть несколько рюмок водки и вкусно закусить, то на половых, которые то и дело носили и ставили на стол перед ними тарелки, тарелочки, сковородки и банки со всевозможными закусками. И хотя у Марьи Ивановны текли слюнки при виде свежей икры, белорыбицы, семги, осетровой тешки, грибов, запеканок и всяких других русских снедей, которых она, коренная москвичка, воспитанная у богатой тетки, так долго не видела в Париже, тем не менее ее возмущала эта «непроизводи-

тельная трата денег», как она называла всякое мотовство.

— Невзгодина! — проговорила она наконец тихо и значительно.

Эта манера называть мужа по фамилии, манера, давно усвоенная Марьей Ивановной и прежде раздражавшая Невзгодина, как напускная претензия на студенческую бесцеремонность, и этот внушительный тон цензора добрых нравов не только не сердили теперь Невзгодина, а напротив, возбуждали в нем еще большую веселость.

И он, будто не догадываясь, в чем дело, с самым невинным видом спросил, как, бывало, спрашивал прежде, называя и тогда жену Марьей Ивановной, но только спросил без прежней иронической нотки в голосе, а добродушно:

— Что прикажете, строжайшая Марья Ивановна?

— А наши условия? Зачем вы велели подать все это! — тихо сказала Марья Ивановна, указывая взглядом на закуски.

— Зачем? А для того, чтобы вы непременно отведали этих прелестей русской жиз-

ни! — смеясь отвечал Невзгодин. — Не будьте же строги и успокойтесь за мой карман... Все это не дорого стоит... Да если бы и дорого?.. Разве вы не доставите мне удовольствия угостить вас? С чего вам угодно начать? Позвольте положить вам свежей икры. Вы прежде ее обожали, Марья Ивановна. А перед закуской крошечную рюмочку зубровки...

Невзгодин угощал с такой подкупающей любезностью, что Марья Ивановна перестала протестовать и даже милостиво разрешила Невзгодину налить ей зубровки. Чокнувшись с мужем, она выпила крохотную рюмку водки по-мужски, залпом и не поморщившись, и принялась закусывать.

Внутренне очень довольная этим неожиданным обедом с «беспутным человеком», но все еще несколько натянутая — чопорная и преувеличенно-серьезная, — словно бы боящаяся, что половые и два-три господина, бывшие в зале, примут ее за непорядочную женщину, — Марья Ивановна ела необыкновенно вкусно, не спеша, видимо наслаждаясь едой, но стараясь, впрочем, не обнаружить своей, редкой вообще у женщин, страстишки к чре-

воугодию, которую она, благодаря скупости и правилам режима, всегда обуздывала, не давая ей воли.

«Но изредка можно себе позволить!»

И в спокойных глазах Марьи Ивановны загорался даже плотоядный огонек, когда она облюбовывала что-нибудь, особенно ей нравящееся, и с умышленной медлительностью, чтобы не выказать неприличной жадности, накладывала на тарелочку.

А Невзгодин не особенно заботился о корректности и, страшно проголодавшийся, набросился на закуски и, несмотря на строго-укоряющие взгляды жены, выпил очень быстро несколько рюмок водки. Он любил иногда выпить и, как он выражался, «посмотреть, что из этого выйдет».

После нескольких рюмок он нисколько не захмелел, а почувствовал себя бодрее и словно бы восприимчивее, испытывая то несколько возбужденное и приятное состояние, когда человека вдруг охватывает прилив откровенности и ему хочется сказать что-то особенное, хорошее и значительное, но для этого необходимо только выпить еще одну-другую рюмку,

и тогда будет все отлично.

И Невзгодин потянулся к одной из многих бутылок водки, стоявших на столе.

Быстрым, уверенным движением Марья Ивановна схватила своей розовой мягкой рукой с коротко остриженными ногтями маленькую, почти женскую руку Невзгодина, державшую горлышко пузатого графинчика, и решительно проговорила:

— Довольно, Невзгодин!

— Я хотел только еще одну рюмочку, Марья Ивановна! — виновато промолвил Невзгодин.

— Что за распущенность! Вы и так много пили.

— Всего четыре рюмки.

— Неправда, шесть.

— Вы считали? — весело и добродушно спросил Невзгодин.

— Считала...

Марья Ивановна не отнимала руки. Невзгодин чувствовал ее силу и теплоту.

— И больше не позволите?

— Не позволю. Ведь вам так вредно пить... И без того вы ведете совсем ненормальную

жизнь, и если будете еще пить...

— Я не пью... Изредка только. А если вообще делать только то, что не вредно, то можно умереть с тоски... Не правда ли, Марья Ивановна?

— Неправда. И я вас прошу, не пейте больше! — настойчиво повторила молодая докторша.

— Это ваш каприз?

— Я не капризна.

— Боязнь, что я буду пьян?.. Можете быть уверены, что я при дамах не напиваюсь.

— Не то.

— Так что же?

— Просто... просто искреннее желание остановить ближнего от безумия.

Она проговорила эти слова мягко, почти нежно, и, слегка краснея, торопливо отдернула руку.

— Спасибо за ваше участие. Искренне тронут и больше не буду. Поцеловать бы в знак благодарности вашу руку, но здесь нельзя.

И Невзгодин приказал половому убрать все бутылки с водкой.

— Довольны моим послушанием, Марья

Ивановна?

— Если б я была уверена, что вы можете быть всегда таким, как сегодня, то...

Она усмехнулась, не докончив фразы.

— То что же?

— Я, пожалуй, пожалела бы, что мы разошлись.

— А так как вы не уверены, то и не жалейте! — весело воскликнул Невзгодин.

За обедом Марья Ивановна отдавала честь подаваемым блюдам и запивала еду, по парижской привычке, красным вином. Она снова прочла маленькую нотацию Невзгодину, предупреждая его, как врач, что он быстро сгорит, как свечка, если радикально не изменит образа жизни.

— Я вам серьезно это говорю, Невзгодин. Нельзя распускать себя.

И она предписывала ему подробности строгого режима: раннее вставание, холодные души, моцион, шесть часов занятий умственным трудом... И, главное, поменьше эксцессов... вы понимаете? Она затруднилась только предписать одно из условий режима: спокойный брак, вследствие решительной

непригодности Невзгодина к тихой семейной жизни, но все-таки дала несколько предостережений относительно вредного влияния на организм сильных любовных увлечений...

— Впрочем, по счастью, на них вы не способны! — заключила Марья Ивановна свою лекцию.

Невзгодин слушал, потягивая тепловатый кло-де-вужо, и был несколько тронут такой заботливостью Марьи Ивановны. Все, что она говорила, — и так авторитетно, — было, несомненно, умно, справедливо, но давно ему известно и... скучно... И Невзгодин невольно припомнил ту пору супружества, когда, спасаясь от научных нравоучений жены, сбегал от нее на целые дни.

Обрадовавшись, что лекция окончена, Невзгодин охотно обещал исправиться и стал спрашивать о парижских знакомых, о том, как Марья Ивановна думает устроиться...

Марья Ивановна сообщила о парижских знакомых и потом стала рассказывать о своих планах и надеждах.

По окончании экзаменов весной она уедет на месяц-другой в Крым отдохнуть и к осени

вернется в Москву и займется практикой. Она изберет специальностью женские болезни и надеется, что практика у нее будет благодаря родству и знакомству среди богатого купечества. Она тогда устроит себе уютную квартиру, сделает хорошую обстановку и будет вполне довольна своей судьбой.

— Я ведь не гоняюсь за чем-то особенным, как вы, Невзгодин. Мой идеал — разумное, спокойное, буржуазное счастье. И я завоюю его! — уверенно прибавила Марья Ивановна.

— Но для полноты режима благополучия вы забыли одно...

— Что?

— Мужа... но, разумеется, не такого, каким оказался ваш покорный слуга.

— Пока еще не собираюсь искать его...

— Но после экзаменов, когда устроитесь?

— С удовольствием выйду замуж, если найду основательного, спокойного человека, с которым можно жить без ссор, без волнений, которые так портят жизнь, мешая занятиям и раздражая нервы. Только трудно найти такого подходящего человека, который на супружество смотрел бы так же трезво, как я.

Невзгодин хорошо знал, как смотрит на супружество Марья Ивановна. Он знал, что ей нужен «основательный человек», главным образом, «для режима», чтобы Марья Ивановна была всегда в уравновешенном состоянии. Недаром же она как-то высказывала, что для счастья здоровой, нормальной женщины гораздо пригоднее здоровый и даже глупый муж, чем хотя бы гениальный, но нервный и беспокойный.

И он заметил:

— Но зачем же в таком случае связывать себя непременно браком, Марья Ивановна?

— Я тоже предпочла бы не выходить замуж и не жить со своим избранником вместе.

— Так в чем же дело?

— А в том, что это повредило бы моей репутации и практике.

«Все та же добросовестно-откровенная женщина!» — подумал Невзгодин.

Когда половой разлил холодное шампанское по бокалам, Марья Ивановна, к удивлению Невзгодина, не сделала никакого замечания насчет «непроизводительного расхода», вероятно, потому, что очень любила это вино.

— За ваше благополучие, Марья Ивановна! От души вам желаю найти основательного мужа и благодарю вас за то, что своим присутствием вы доказали, что не поминаете меня лихом! — проговорил Невзгодин, поднимая бокал.

— А вам, Невзгодин, желаю побольше благоразумия... Помните, что здоровье легко потерять, так не губите его!.. А насчет лиха я уж говорила... За вами его нет!

Они чокнулись. Марья Ивановна выпила сразу целый бокал. Невзгодин налил ей другой. Она не протестовала.

Слегка заалевшая, с блестящими глазами от выпитого вина, она сделалась проще, оживленнее и интереснее, не напуская на себя чопорности и серьезности и не стараясь говорить только умные вещи. Ее докторская степенность умалилась, и в ней заговорила женщина.

Она теперь даже не прочь была пококетничать с «беспутным человеком», испытывая чувство обиды и досады за то, что он, по-видимому, совершенно равнодушен к ней, как к женщине, а ведь прежде она только и нрави-

лась ему, как любовница. Потому только он и женился на ней. Она это отлично понимала. Недаром же они днем постоянно ссорились, ни в чем не сходясь друг с другом, и безмолвно мирились только вечером в горячих поцелуях. И как он тогда был нежен!

«Теперь, наоборот, он не спорит, не лезет со своими мнениями, но зато и основательно позабыл об ее ласках, — неблагодарное животное».

Такие мысли совсем неожиданно пришли в слегка возбужденную голову Марьи Ивановны, и она не могла не признаться самой себе, что была бы довольна, если б снова понравилась Невзгодину.

К чему же она разыскала его и приходила к нему? Не для того только, разумеется, чтобы поговорить о виде. Об этом можно было бы и написать. Неужели он не догадывается, а еще умный человек.

«Легкомысленный», — заключила про себя Марья Ивановна и тихо вздохнула.

А «легкомысленный человек» решительно «не догадывался» ни о чем, хотя и не считал себя дураком.

Но еще с тех пор, как бутылка красного вина стала пуста, он вдруг нашел, что Марья Ивановна гораздо интереснее теперь, чем показалась ему давеча в полутемной комнате. «Такое же красивое животное, как и была!» — думал он, посматривая, по-видимому, добродушно-веселым взглядом на жену. И в его не совсем свежую голову тоже совсем неожиданно врываются воспоминания из той поры супружества, которое он называл «скотоподобным счастьем» и которое теперь казалось ему потерянным раем. В голове немножко шумело, в виски стучало, он незаметно скашивал глаза на лиф, на шею, на руки и...

— Не разрешите ли, Марья Ивановна, еще бутылку шампанского? — спросил он с невинным видом человека, нисколько не виновного в греховных мыслях.

— Нет, не надо... не надо, Невзгодин. И то у меня чуть-чуть кружится голова. Вы заразили меня своим безумием! — тихо смеясь, промолвила Марья Ивановна.

— А это безумие разве так вредно?

— Конечно, вредно! — значительно кинула докторша.

И, помолчав, сказала:

— Потребуйте счет, Невзгодин. Пора нам и расстаться.

— Что вы? — испуганно воскликнул Невзгодин. — Неужели вы в самом деле хотите уходить? Не уходите... Посидите... прошу вас! — почти умоляюще шептал Невзгодин.

— Зачем?

И Марья Ивановна посмотрела на Невзгодина ласково-удивленным взглядом. Глядел на нее и Невзгодин жадными, внезапно поглупевшими глазами. Взгляды их встретились, улыбающиеся, томные, и не отрывались друг от друга. И оба внезапно примолкли.

Невзгодин накинул салфетку на протянутую на столе руку жены и крепко сжимал ее горячие мягкие пальцы, припоминая в то же время ту сцену из «Войны и мира», когда Курагин в ложе смотрит на оголенные плечи Элен и оба, без слов, понимают друг друга.

Прошла секунда-другая. Оба отвели глаза и вздохнули.

И словно бы осененный внезапной мыслью, Невзгодин вдруг шепнул:

— Знаете ли что, Марья Ивановна!.. По-

едемте кататься на тройке... Вечер дивный!

— Будем безумствовать до конца. Едем! —
ответила тихо Марья Ивановна.

— Но вы без шубы... Вам не будет холодно?

— Ничего, я холода не боюсь. Если прозябну, заедемте к вам... А то заезжать в кабаки дорого. Можно?

— Еще бы!..

— Кстати, я посмотрю, хорошо ли у вас прибрана комната.

Невзгодин нетерпеливо потребовал счет и на радостях дал половым три рубля.

Через пять минут Невзгодин с женой ехали за город. В Петровском парке Невзгодин все повторял, что Марья Ивановна обворожительна. Они целовались на морозе и скоро вернулись в «Севилью». Поднимаясь по лестнице, Марья Ивановна предусмотрительно опустила вуаль. Но никто их не видал. И швейцар и коридорный сладко спали.

Около полуночи Невзгодин привез на извозчике жену домой, в Тихий переулок.

У подъезда Марья Ивановна протянула Невзгодину руку.

— Не проводить ли вас наверх? — любезно

предложил он.

— Лишнее! — отрезала жена. — Вас может увидеть прислуга.

Невзгодин засмеялся.

— Чему вы? — строго спросила Марья Ивановна.

— Забавное положение: жена боится, что ее увидят с мужем.

— Ничего нет забавного. Я не желаю рисковать репутацией.

— Репутацией жены, разошедшейся с мужем?

— Именно. Ну, прощайте. Не забудьте поскорей прислать вид на жительство и лучше бы постоянный, а то вы еще уедете куда-нибудь — ищи вас. Если пожелаете видеть меня, я не буду заниматься с десяти до двенадцати утром по воскресеньям! — нетерпеливо говорила Марья Ивановна деловитым, почти сухим тоном.

И, наскоро пожавши руку Невзгодина, она скрылась в дверях подъезда.

Невзгодин усмехнулся — далеко не добродушно — и этому тону, и этой форме прощанья женщины, только что бывшей пламен-

ной жрицей любви.

«Прогрессирует в своем стремлении быть настоящей женщиной конца века», — подумал Невзгодин и уселся в сани.

Он ехал домой усталый, в подавленном состоянии хандры и апатии, ощущая только теперь эти последствия долгого сиденья за работой. Он был словно бы весь разбит. В груди ныло, в голове сверлило. Он чувствовал полное физическое и нравственное утомление. На душе было уныло и безнадежно.

«Она права. Надо переменить образ жизни, иначе станешь неврастеником!» — рассуждал Невзгодин, испытывая какой-то мнительный страх перед призраком болезни.

Вспоминая о неожиданной встрече с женой, он не раз мысленно повторял, что они оба порядочные таки скоты, и снова удивлялся, как он мог жениться на Марье Ивановне и прожить с ней шесть месяцев.

Несмотря, однако, на мрачное настроение, в голове Невзгодина смутно мелькал остов нового рассказа, герой которого муж — тайный любовник антипатичной жены. И в этих неясных зачатках будущего произведения ав-

гор был беспощаден и к себе и к жене.

Усталый и сонный, поднялся Невзгодин в свой номер, быстро разделся и, бросившись в постель, почувствовал неизъяснимое наслаждение отдыха и через минуту заснул как убитый.

XXV

Невзгодин проснулся поздно — в одиннадцать часов.

Солнечные лучи весело заглядывали в окно с неопущенной шторой, заливая светом маленькую комнату, имевшую несколько упорядоченный вид благодаря вчерашнему посещению Марьи Ивановны. После долгого, крепкого сна Невзгодин снова чувствовал себя здоровым, бодрым и жизнерадостным.

Одно только обстоятельство несколько омрачало его настроение — это то, что сегодня праздник и все кассы ссуд заперты.

А между тем эти учреждения весьма интересовали начинающего писателя, так как в его бумажнике должно было остаться очень мало денег из тех пятидесяти рублей, которые были у него вчера утром и, казалось, вполне обеспечивали Невзгодина до получе-

ния гонорара за «Тоску».

Но вчерашние обильные закуски, обед с красным вином и шампанским, тройка, возвышенные «на чай» и фрукты, часть которых еще и теперь красуется на столе, как живое доказательство легкомыслия Невзгодина и его чрезмерного представления об аппетите жены, — все это, прикинутое в уме, не оставляло ни малейшего сомнения в том, что в бумажнике много-много, если есть пять-шесть рублей, и что, таким образом, финансовый кризис застал Невзгодина врасплох именно в такой день, когда поздравления с праздником неминуемы и дома и вне его, а ссудные кассы бездействуют.

А Невзгодин еще собирался сегодня побывать у Заречной, у «великолепной вдовы» и еще кое у кого из знакомых, а извозчики тоже дерут праздничные цены.

Лежа в постели и куря папироску за папироской, Невзгодин раздумывал об устройстве финансовой операции с часами, помимо кредитных учреждений, как увидел в зеркало, что в двери его номера осторожно высунулась сперва рыжая голова, а затем показалась

и вся долговязая, неуклюжая фигура коридорного Петра.

Петр был в черном праздничном сюртуке, в голубом галстуке, сильно напомажен, выбрит и слегка выпивши.

Он уже давно обошел жильцов всех своих номеров, — которых он, впрочем, не особенно баловал своими услугами, объясняя, что ему не разорваться, и потому, вероятно, предпочитал не приходить вовсе на звонки, — и несколько раз подходил к номеру Невзгодина и отходил, несколько обиженный тем, что Невзгодин «дрыхнет, как зарезанный», и, таким образом, нельзя подвести итоги собранной контрибуции. Нетерпение Петра объяснялось еще и тем, что на Невзгодина он сильно надеялся. Недаром же он может так, зря, и такие деньжищи зарабатывать. Сиди да пиши. Очень даже легко!

— Доброго утра, барин. С праздником Рождества Христова честь имею поздравить, Василий Васильич! — торжественно проговорил Петр, принимая соответствующий торжественный вид.

Он поставил на диво вычищенные ботин-

ки у кровати, сложил платье на стул и, несколько спуская с себя торжественности, продолжал:

— Долго изволили почивать сегодня, Василий Васильич... Я уж было подумал: не случилось ли чего с вами, что вы так долго не звоните, и зашел... По нашему каторжному званию во все приходится вникать, Василий Васильич, чтобы не быть из-за жильца в ответе... Тоже вот в прошлом году, на масленице, один жилец — в сто сорок пятом жил — долго не вставал... Вхожу — номерок их тоже не заперт был — и что же вы думаете? жилец мертвый... То есть такая паскудная должность, что и не обсказать, Василий Васильич... Вы вот сочиняете и большие деньги за сочинения берете. Сочинили бы, как коридорным в номерах жить... Один на десять номеров, а жалованье от хозяина... одно только название, что жалованье.

Появление Петра вызвало на лице Невзгодина веселую улыбку, разрешив сомнения о финансовой комбинации, и, когда Петр окончил свои меланхолические излияния, Невзгодин попросил его подать со стола бумажник.

Петр бережно, словно бы нес большую драгоценность, подал его и деликатно отступил на несколько шагов.

Открывши бумажник, Невзгодин не без сожаления убедился, что его предположения оправдались: там было ровно пять рублей.

— Вот вам, Петр! — проговорил он, отдавая коридорному трехрублевую бумажку с беззаботным видом человека, в бумажнике которого есть-таки еще порядочное количество денежных знаков.

— Чувствительно благодарен, Василий Васильич... Извольте вставать, а я тем временем самовар и газеты подам.

— Пойдите, Петр. Не можете ли вы...

Невзгодин на секунду запнулся.

— Что прикажете, Василий Васильич?

— Заложить сейчас же часы!

Хотя Петр в качестве коридорного и привык к самым неожиданным требованиям жильцов, тем не менее в первую минуту был несколько озадачен.

В самом деле, господин может легко заработать большие деньги, дал, не поморщившись, три рубля, на столе стоят фрукты, и

вдруг: «Не можете ли заложить часы?»

— Это насчет каких часов вы изволите упоминать, Василий Васильич? — спросил наконец осторожно Петр.

— А насчет этих самых! — пояснил с веселым видом Невзгодин, указывая на золотые, купленные в Париже, часы, лежавшие на століке у кровати... — Они стоят около ста рублей. Мне нужно пятьдесят и немедленно!

Петр несколько мгновений пристально смотрел на часы.

— Есть у меня, Василий Васильич, один знакомый человек, который дает деньги под заклад, но только теперь, по случаю праздника, не найти его дома... Вот если бы вчера...

— Вчера мне не нужно было...

«Бельфамистая, видно, порастрясла», — подумал Петр.

— Это конечно-с. Если бы вчера явилась потребность, то и в ломбарте бы взяли. Очень просто. Разве у нашего швейцара спытать? У него должны быть деньги, у собаки! — не без завистливой нотки в голосе говорил Петр, ображая, не может ли и он сам тут пожить-ся. — Его должность не то, что моя... Его долж-

ность доходная. Каждый идет мимо, смотришь, и даст гривенник. Только, Василий Васильич, он, подлец, пожалуй, большой процент попросит. Упользуется, шельма, по случаю, что как праздник, так негде достать.

— Пусть берет. Мне не надолго. Недели на две... А там я получу деньги...

— Сколько прикажете давать проценту? Если спросит, скажет пять рублей... Не много ли будет, Василий Васильич?

— Давайте хоть десять, только достаньте денег.

Петр взял часы и вышел.

Невзгодин быстро вскочил с постели и занялся своим туалетом.

Парижский редингот был бережно разложен на кровати, а пока Невзгодин, тщательно вымытый, с расчесанной короткой бородкой, с густыми каштановыми волосами, стоявшими «ежиком», надел рабочую блузу и, присевши к столу, стал было читать какую-то книгу, поминутно оборачиваясь к двери.

Наконец дверь открылась, вошел Петр с значительным видом и, подавая Невзгодину толстую пачку мелких и порядочно-таки заса-

ленных бумажек, проговорил:

— Насилу уломал дурака, Василий Васильич. Уж, можно сказать, постарался для вас.

— Спасибо, Петр.

— Но только, Василий Васильич, как его ни усовещивал, а меньше как восемь рублей за три недели проценту не согласен, собака! Народ нынче, сами понимаете какой, Василий Васильич! — говорил Петр и ругал народ словно бы из потребности выгородить себя из этого дела, на котором он, однако, заработал два рубля, выговорив их от собаки-швейцара.

Невзгодин обрадованно сосчитал деньги, дал Петру за хлопоты рубль и, спрятавши срок девять рублей, значительно поднявших температуру его веселости, в бумажник, остановил Петра, начавшего было снова разговор о положении коридорных, покорнейшей просьбой подать самовар, принести газеты и потом сказать, когда будет двенадцать часов.

— В один секунд, Василий Васильич!

Минут через пятнадцать, составлявших по счету Петра одну секунду, самовар был подан, газеты принесены, а сам Петр уже начинал заплетать языком.

Лениво отхлебывая чай и попыхивая дымком папиросы, Невзгодин просматривал газеты, наполненные сегодня почти одними так называемыми рождественскими рассказами.

Невзгодин сперва пробежал телеграммы. Узнавши из них, между прочим, весьма важное известие о том, что у австрийской императрицы ischias — болезнь седалищного нерва, как значилось, в выноске, — и что она поэтому в Неаполь не поедет, — Невзгодин, в качестве писателя, которому, быть может, самому придется писать рождественские рассказы, прочитал два такие рассказа, подписанные известными литературными фамилиями, украшающими обложки почти всех журналов обеих столиц.

Помимо подзаголовка: «Святочный рассказ», специально рождественское в них заключалось в том, что действие происходило накануне Рождества и что был несчастный, бездомный малютка и добрый господин почтенного возраста, пригласивший на елку несчастного малютку, найденного на улице. «А вьюга так и завывала. А мороз все крепчал и крепчал».

И Невзгодин дал себе слово не только не писать, но и не читать никогда больше рождественских рассказов, в которых несчастные малютки обязательно бывают счастливыми, едят виноград и яблоки в теплой зале доброго господина в то время, как «вьюга так и завывала, а мороз все крепчал и крепчал».

И, словно бы в доказательство того, как бессовестно лгут авторы святочных рассказов на погоду в вечер сочельника, Невзгодин вспомнил прелестный вчерашний вечер, вспомнил и, признаться, слегка пожалел, что не «завывала вьюга». Тогда Марья Ивановна не согласилась бы ехать на тройке, и он, быть может, знал бы, который теперь час.

Невзгодин заглянул в хронику, и вдруг выражение изумления застыло на его лице, когда он читал в «Ежедневном вестнике» следующее короткое известие:

«В ночь с 24 на 25 декабря приват-доцент московского университета Л.Н.Перелесов, проживавший Арбатской части, 2 участка, в доме купца первой гильдии Семенова, в квартире титулярного советника Овцына, выстрелом из револьвера нанес себе смертельную

рану в висок. Смерть, вероятно, была мгновенная. Хозяева, немедленно после выстрела прибежавшие в комнату своего квартиранта, нашли его на полу уже без признаков жизни. Никакой записки, объясняющей причины самоубийства, не оказалось».

Невзгодин знал Перелесова. Лет пять тому назад он познакомился с ним в одном доме, где Перелесов давал уроки, и одно время довольно часто с ним встречался.

Перелесов не особенно нравился Невзгодину. Несомненно много трудившийся и много знавший, он производил впечатление человека малоталантливого, скрытного и непомерных претензий, скрывааемых под видом приветливости и даже искательности в сношениях с людьми. Невзгодин считал его неискренним и беспринципным человеком. Затем, по возвращении из Парижа, Невзгодин встретился с Перелесовым на юбилее Косицкого, и ему показалось, что Перелесов, несмотря на видимое добродушие, озлобленный человек. Это чувствовалось в его жалобах на то, что ему не дают кафедры, и вообще на свое положение. Однако вместе с тем он

тогда говорил Невзгодину, что надеется, что все это скоро кончится и он наконец выйдет на дорогу. Но вообще Перелесов далеко не производил впечатления человека, способного на самоубийство.

Все это припомнилось теперь Невзгодину. Он стал прочитывать заметки о самоубийстве Перелесова в других газетах. В одной были, между прочим, следующие таинственные строчки: «Мы слышали, будто самоубийство Л.Н.Перелесова имеет связь с неприличной статьей, появившейся вслед за юбилеем А.М.Косицкого». В другой сообщалось, что к Перелесову рано утром в день самоубийства заходил какой-то молодой человек, плохо одетый, и что после его короткого визита Перелесов, бледный и «не похожий на себя», по выражению кухарки, куда-то поспешно ушел и вскоре вернулся уже успокоенный. Около полудня он вошел на кухню и, давши ей два письма, просил немедленно снести на почту и отправить заказными. Письма были городские, но кому адресованы, кухарка не знает. Затем она в этот день видела покойного, когда подавала в его комнату обед и вечером са-

мовар. Ничего особенного она в покойном не заметила, только удивилась, что за обедом он почти ничего не ел.

Заметка репортера оканчивалась выражением пожелания, чтобы «был пролит свет на это загадочное самоубийство молодого, полного сил и здоровья, талантливое ученого».

«Во всем этом, действительно, кроется какая-то драма!» — подумал Невзгодин и скоро вышел из дому.

XXVI

Первый визит его был к Маргарите Васильевне.

Щегольски одетая, разряженная и вся словно сиявшая весельем, отворила двери Катя и, казалось, была изумлена при виде гостя.

Невзгодин это заметил.

— Здравствуйте, Катя. Не ждали, видно, меня?.. Что, Маргарита Васильевна принимает? — говорил он, входя в двери.

— Здравствуйте, Василий Васильич... Я действительно думала, что вас нет в Москве... Так долго у нас не были... А наших никого нет дома. Барин уехал с визитами, а барыня в Петербурге... Я думала: вы знаете! — прибавила

с лукавой улыбкой горничная.

— Ничего не знаю. Давне уехала?

— Третьего дня с курьерским.

— И надолго? Не знаете?

— Послезавтра обещали быть.

— Ну, передайте карточки и позвольте вас поздравить с праздником! — сказал Невзгодин, отдавая две карточки и рублевую бумажку.

Катя поблагодарила и, отворяя двери, спросила:

— Когда же будете у нас, Василий Васильевич?.. Послезавтра?.. Я так и скажу барыне.

— Ничего не говорите. Я наверное не могу сказать, когда буду.

— Что так? Отчего вы перестали ходить к нам, Василий Васильич? — с напускною наивностью спрашивала Катя, по-видимому совершенно сбитая с толку в своих предположениях.

Невзгодин пристально взглянул на эту бойкую московскую «субретку» и, смеясь, ответил:

— Я вовсе не перестал ходить, как видите.

— Но вас так давно не было, барин.

— А не было меня давно оттого, что я был занят, — уж если вам так хочется это знать, Катя, и вы не боитесь скоро состариться. Знаете поговорку? — насмешливо прибавил он, отворяя двери подъезда.

Катя лукаво усмехнулась и, выйдя за двери, оставалась с минуту на морозе, но зато слышала, как Невзгодин приказал извозчику ехать на Новую Басманную в дом Аносовой.

— Знаешь?

— Еще бы не знать. Всякий знает дом Аносихи! — ответил извозчик, трогая лошадь.

Проезжая по Мясницкой, Невзгодин взглянул на почтамтские часы. Было без десяти минут два.

«Не рано для визита!» — подумал он.

Вот наконец и красивый «аносовский» особняк, построенный отцом Аносовой для своей любимицы «Глуши».

— Въезжай во двор!

Извозчик стеганул лошадку и бойко подкатил к подъезду. Невдалеке стояла карета с русским «англичанином» на козлах и несколько собственных саней с породистыми лошадьми. Были и извозчики.

«Верно, купечество поздравляет!» — решил Невзгодин, входя в растворившиеся двери.

— Пожалуйста, принимают. Честь имею с праздником поздравить! — приветливо говорил молодой лакей в новом ливрейном полуфраке и в штиблетах до колен.

Невзгодин сунул лакею рублевую бумажку, оправился перед зеркалом и поднялся во второй этаж.

На площадке его встретил другой ливрейный лакей, постарше, видимо выдержанный и благообразный. Почтительно поклонившись, он отворил двери в залу и проговорил с изысканной любезностью:

— Пожалуйста в большую гостиную.

«Точно идешь к какой-нибудь маркизе Ларошфуко!» — усмехнулся про себя Невзгодин и вошел в большую, отделанную мрамором, белую, в два света, залу.

«А вот и маркиз...»

Действительно, из-за портьеры, в глубине залы, вышел, семеня тонкими ножками в белых штанах, маленький, сухонький, сморщенный старичок в красном, расшитом золо-

том, мундире, в красной ленте, звездах и орденах, с трехуголкой, украшенной белым плюмажем, в руке.

А на пороге гостиной, словно бы в красной рамке из портьер, вся в белом шелку, ослепительно красивая, Аглая Петровна говорила своим низким, слегка певучим голосом в шутивно-кокетливом тоне:

— Еще раз спасибо, милый князь, что вспомнили вдову-сироту.

В эту минуту Аносова увидела Невзгодина, и кровь прилила к ее щекам от радостного волнения и от стыда за только что сказанную фразу. В присутствии Невзгодина она вдруг почувствовала ее пошловатость и дурной тон.

Князь между тем вернулся, припал к руке Аглаи Петровны и наконец произнес сладким тоненьким тенорком:

— Разве можно забыть такую божественную красавицу! Я всегда ухожу от вас, потерявши здесь бедное свое старое сердце, и грущу, что не могу, подобно Фаусту, вернуть своей молодости... До свидания, очаровательная Аглая Петровна.

И сиятельный «Фауст» в почтительном поклоне низко склонил свою голую, как колено, голову и, повернувшись, засеменял бодрей, стараясь держаться прямо.

Аносова уже успела справиться с собою. Равнодушно взглянув на Невзгодина, она сделала несколько шагов к нему навстречу. Он поклонился.

— Наконец удостоили...

Аглая Петровна произнесла эти два слова умышленно небрежным, слегка насмешливым тоном, словно бы желая подчеркнуть, что посещение Невзгодина ей безразлично...

А между тем в эти мгновения она испытывала какое-то особенно хорошее, давно ей неведомое чувство, совсем не похожее на мучительную страсть.

Ее сердце точно охватило теплом, и все кругом стало светлей. Ей казалось, что она сделалась мягче, отзывчивее, просветленнее и вдруг словно бы обрела давно потерянную веру в людей — вот в этом худощавом, невидном молодом человеке, с нервным, болезненным лицом и смеющимися глазами, которому нет никакого дела до ее миллионов, и он

стоит перед ней независимый и свободный.

Аглая Петровна уже не питала досады на Невзгодина. Напротив! Ей так хотелось, так неудержимо хотелось, чтобы он стал ее другом, братом, чтобы понял, что она не такая уж бессердечная «представительница капитала», какой он ее считает, и чтобы относился к ней хорошо и не сторонился бы ее, как теперь, а приходил бы запросто поговорить, почитать вдвоем...

И, захваченная этим настроением, Аглая Петровна уже не боролась с ним, а свободно отдалась ему.

Она крепко, сердечно, не скрывая радостного чувства, пожала Невзгодину руку и вдруг заговорила порывисто, торопливо и взволнованно, понижая почти до шепота голос и глядя доверчиво и мягко своими большими бархатными глазами в острые, улыбающиеся глаза Невзгодина.

— Как я рада вас видеть, если б вы знали! Ведь я ждала, ждала вас, Василий Васильич, и, признаюсь, сердилась на вас за то, что вы пренебрегли моим зовом, помните, на юбилее Косицкого? Верьте, я не лгу и не кокетни-

чаю с вами. Мне так хотелось по-приятельски поговорить с вами, поспорить, послушать умного, хорошего человека, для которого я не мешок с деньгами, не богатая купчиха Аносова, а просто человек. Ведь я совсем одинока со своими миллионами! — с грустной ноткой в голосе прибавила она. — А вы не ехали и, как нарочно, пришли с визитом сегодня, когда гости и нельзя поговорить, как — помните? — мы говорили на морском берегу в Бретани... Стыдно вам, Василий Васильич!

И этот горячий, дружеский тон после первого момента почти равнодушной встречи, и это искание духовного общения, и эти, казалось, искренние похвалы, все это сперва изумило, а потом тронуло и даже несколько «оболванило» Невзгодина, лишив его в эти минуты обычной в нем способности анализа и бесстрастного наблюдения.

Едва вдруг показалось, что он был, пожалуй, не совсем прав в своих поспешных заключениях об этой «великолепной вдове», когда называл ее сквалыгой, восторгающейся Шелли и обсчитывающей рабочих. И, незаметно поддаваясь обычному даже и у неглу-

пых мужчин искушению — верить и извинять многое женщинам (особенно когда они недурны собой), которые находят их необыкновенно умными и интересными, — он уже считал себя несколько виноватым, что так поспешно осуждал Аглаю Петровну прежде, чем внимательнее пригляделся к ней. Конечно, она типичная современная «капиталистка», но в ней, быть может, по временам и говорит возмущенная совесть и она действительно одинока со своими миллионами.

Так думал Невзгодин, слушая Аглаю Петровну.

И, значительно смягченный и ее особенным вниманием и ее чарующей красотой, почти извиняясь, ответил:

— Я все время был занят... Увлёкся работой... Писал.

— Знаю...

— Как?

— Узнавала. И похудели же вы, бедный. Ну, идем в гостиную. Только не уходите скоро. Гости разойдутся и мы поболтаем... Не правда ли?

— С удовольствием.

Она позвала лакея и велела больше никого не принимать.

Аглая Петровна вошла в гостиную вместе с Невзгодиным, оживленная и веселая, и громко произнесла, обращаясь к гостям:

— Василий Васильич Невзгодин!

Тот сделал общий поклон и, увидав профессора Косицкого и еще двух знакомых, обменялся с ними рукопожатиями и хотел было присесть, как хозяйка его подозвала и подвела к единственной даме, бывшей тут среди мужчин во фраках и белых галстуках, — к пожилой, изящно одетой, дородной брюнетке лет за сорок, сохранившей еще следы замечательной красоты на своем умном, энергичном смуглом лице с большими красивыми, томными глазами.

— Рекомендую тебе, Даша, это тот самый невозможный спорщик, о котором я тебе говорила... Мы познакомились с Васильем Васильевичем в Бретани... Моя кузина, Дарья Михайловна Чулкова.

Невзгодин в первый раз увидел эту известную в Москве богачку и щедрую благотворительницу, которую знал по фамилии и по ее

репутации умной и скромной женщины, умевшей толково и умно тратить часть своих средств на разные добрые дела и при этом без шума и без треска, не ради того, чтобы о ней говорили и об ее жертвованиях печатали в газетах.

Невзгодин слышал, что несколько школ было обязано ей своим существованием и много молодых людей благодаря ей получали образование. Слышал он и о помощи, которую оказывала Чулкова и многим «пострадавшим», и их семьям. И сам Невзгодин благодаря Чулковой не был исключен из университета в числе других бедняков за невзнос платы.

Он все это припомнил, когда Чулкова, указав на свободное кресло около себя, заговорила с ним, расспрашивая о жизни русских студентов и студенток в Париже.

Разговор в гостиной шел лениво. Общество было разношерстное. Несколько представителей купеческой аристократии, два профессора, юный поэт из декадентов, баритон из Петербурга и высокий бравый полковник из остзейских немцев, объяснявший хозяйке, что он коренной москвич.

О самоубийстве Перелесова не говорили ни слова. Это удивило Невзгодина, — он знал, как Москва любит посудачить и особенно по такому поводу. И как только Чулкова уехала, пригласив Невзгодина когда-нибудь запросто приехать прямо к обеду, он подсел к Косицкому и спросил:

— Вы не знаете ли, Андрей Михайлович, отчего застрелился Перелесов?

Косицкий боязливо взглянул на Аглаю Петровну, сидевшую близко.

— Помилосердствуйте, Василий Васильич... Разве вы не знаете? — воскликнула она.

— То-то не знаю... Читал только в газетах...

— А у меня с утра только и разговоров, что об этой ужасной истории... Я слышала ее бесчисленное число раз.

— Но все-таки разрешите и мне узнать, а Андрею Михайловичу — рассказать.

— Разрешаю, но только пересяду подальше от вас, господа! — проговорила Аносова, вставая, и присела около полковника.

— Это очень грустная и поучительная история! — сказал в виде предисловия старый

профессор. — Прежде этого не бывало! — прибавил он.

И Косицкий рассказал, что сегодня утром Заречный получил письмо, написанное Перелесовым в день самоубийства. В этом письме несчастный сообщал, что автором пасквильной статьи был он, и так как, несмотря на принятые им меры скрыть следы своего авторства, оно открылось, то он решил не жить, чтоб не видеть заслуженного презрения порядочных людей...

— По крайней мере искупил свою вину... По нынешним временам это редкость! — заметил взволнованный рассказом Невзгодин. — А как же открылось его авторство?

— И это он объяснил в своем длинном и обстоятельном предсмертном письме. Дело в том, что вчера утром приходил один молодой человек, его родственник, и рассказал, что фактор типографии газеты, в которой помещен пасквиль, называет его автором и что слухи эти уже ходят... Да. Письмо производит потрясающее впечатление... Перелесов просит Заречного простить ему хотя за то, что подлость не достигла цели, а цель была — за-

нять его место. Но мертвые срама не имеют, а живые...

Косицкий сердито покачал головой и продолжал:

— Не он додумался до этой гадости. Его подбили. Несчастный, проклиная, назвал того, кто посоветовал ему высмеять и мой юбилей, и меня, и коллег, обещая профессию, а потом, недовольный статьей, сам же издевался. Перелесов и этому человеку написал письмо.

— Кто же он?

— Найденов! — тихо проговорил Косицкий. — Такой умный, талантливый ученый и...

Старик не закончил и стал собираться.

Скоро все гости ушли.

— Ну, пойдете, я вам покажу свою клетушку, Василий Васильич! — сказала Аглая Петровна. — Уж если вы будете меня описывать, то непременно в ней... Там я провожу большую часть своего времени.

Когда Невзгодин вошел в клетушку, он был удивлен и вкусом Аглаи Петровны, и особенно подбором книг.

Он просидел у Аносовой около часу и более слушал, чем говорил. Сегодня она показала ему не такую, как в Бретани, и Невзгодину не хотелось верить, что эта женщина, говорившая, казалось, так искренне о неудовлетворенности жизни, понимавшая так тонко художественные творения, цитировавшая на память Байрона и Шелли, в то же время могла быть... кулаком.

Но как бы то ни было, а Невзгодин был крайне заинтересован Аглаей Петровной.

«Ведь она такой любопытный тип для изучения!» — думал он, любуясь чарующей красотой этого типа.

И Невзгодин ушел, обещая побывать на днях.

XXVII

Самоубийство Перелесова и, главное, причины, вызвавшие его, произвели сильное и подавляющее впечатление.

Многие из знавших его не хотели верить, чтобы молодой человек, пользующийся репутацией вполне порядочного человека, проповедовавший с кафедры идеи правды и добра, считавшийся одним из даровитых и честных

жрецов науки, мог написать такую клевету на товарищей. Возмущенное чувство протестовало против этого. Такая неожиданная подлость казалась невероятной даже скептикам, видевшим немало предательств, не удивлявших никого по нынешним временам. Но и в отступничестве соблюдается некоторая приличная постепенность, а в данном случае как-то сразу порядочный, казалось, человек вдруг оказался негодяем.

Сомнений в этом быть не могло.

Хотя все газеты — и не только московские, но и петербургские, — словно бы сговорившись между собой, не давали никаких сведений о причинах самоубийства, а газета, напечатавшая о письмах, писанных Перелесовым перед смертью, даже поспешила опровергнуть это известие и на основании «новых достоверных известий» сообщила, что Перелесов застрелился в припадке умопомешательства, — тем не менее слухи о письме покойного к профессору Заречному быстро распространились в интеллигентных кружках. Кроме того, благодаря нескромности фактора типографии еще накануне самоубийства мно-

гие знали, что автором пасквиля был Перелесов.

Эта трагическая расплата за тяжкий грех словно бы встряхнула сонных людей и заставила призадуматься даже тех, которые ни над чем не задумываются, осветив перед ними весь ужас жизни с ее какими-то ненормальными условиями, благодаря которым даже среди самых интеллигентных людей, среди жрецов науки, возможны те недостойные средства, какие были употреблены Перелесовым и, разумеется, с надеждою на успех.

Что же, значит, возможно среди менее интеллигентных людей? — невольно являлся вопрос, и чем-то жутким, чем-то безотрадным веяло от этой утерянности принципов и нравственного чувства.

Перелесова жалели, и многие решили быть на его похоронах. Останься он жить, порядочные люди, разумеется, отвернулись бы от него с презрением, но мертвый, добровольно заплативший жизнью за грех, хоть и великий, он несколько примирил с собою.

Но зато «демон-искуситель», этот старый циник, натравивший Перелесова соблази-

тельными намеками о профессуре на подлость, возбуждал общее негодование; особенно среди профессоров и молодежи. Позабыв всякую осторожность, возмущенный до глубины души, Заречный показал нескольким из своих коллег не только письмо, им полученное от несчастного доцента, но и копию с письма его к Найденову, которую Перелесов приложил к письму к Заречному с предусмотрительностью человека, полного ненависти к врагу, которому он желал отомстить за преждевременную смерть.

Слухи об этом письме в тот же день разнеслись по городу, и как же ругали Найденова, каких только бед не накликали возмущенные москвичи на этого замечательного ученого...

Он спокойно сидел в кабинете за чтением какого-то любопытного исследования, когда поздно вечером в сочельник слуга подал ему письмо Перелесова.

Найденов подозрительно взглянул на незнакомый почерк, не спеша и с обычной аккуратностью взрезал конверт, вынул письмо, взглянул сперва на подпись и, недовольно

скашивая губы, принялся читать следующие строки, написанные твердым, размашистым и неровным почерком.

«Глубокопрезираемый Аристарх Яковлевич!

Я переусердствовал и не оправдал ваших ожиданий в качестве тонкого и умелого пасквильянта, и вы, конечно, назовете меня дураком еще раз, узнавши, что я ухожу из жизни, так как не обладаю той доблестью, какою обладаете вы: спокойно жить, думая, что все подлецы, но не имеют только храбрости быть откровенными. Я именно из подлецов мысли и, быть может, остался бы таким, пока не получил бы кафедры, но вы с проницательностью, достойною лучшего применения, поняли мою озлобленную, порочную душу и, поманив меня профессурой, заставили быть орудием в ваших руках, чтобы потом поглумиться над недостаточною понятливостью ученика. Вы, таким образом, сыграли блестяще роль подстрекателя, и, разумеется, не ваша вина, что моя статья не достигла желаемой вами цели. Увлеченный надеждами, я переусердствовал. Расставаясь, благодаря вам

главным образом, с жизнью, я не могу отказать себе в маленьком удовольствии сказать вам, что вы поступили со мною нечестно. Желаю вам почувствовать угрызения совести, если только это возможно для вас. Быть может, мое самоубийство спасет других, таких же слабых, как я. Довольно и одного такого человека, позорящего ученое сословие. К чему же еще плодить их? Вы, презренный старик, спокойно доживете свой век, а ведь со-вращенные вами могут не иметь вашего мужества, и тогда кто-нибудь из них пустит себе пулю в лоб, как через несколько часов сделаю это я. Столько ума и столько нечестности в одном человеке! И из-за него я должен умереть, когда так хотелось бы жить!

Впрочем, я не надеюсь, что вас чем-нибудь проймешь. Вы слишком свободны от каких бы то ни было предрассудков и, следовательно, неуязвимы. Одна только надежда: если дети ваши, которых вы так любите, честны, то искренне желаю, чтобы они прозрели, каков у них отец».

Не раз во время чтения этих строк старый профессор перекашивал свои тонкие губы,

двигал скулами и ерзал плечами, полный злобы к Перелесову, каждое слово которого хлестало его, как бичом, своею грубою откровенностью. Он ведь понимал, что Перелесов прав, называя его убийцей. Но разве он, воспользовавшись дураком, мог рассчитывать, что тот окажется такой слабой тварью?

И, дочитывая заключительные строки письма, Найденов невольно побледнел и на минуту словно бы закаменел, неподвижный, с расширенными зрачками своих холодных, отливавших сталью, глаз.

— Туда дураку и дорога! — наконец прошептал он чуть слышно.

Проговорив со злобы эти слова, Найденов поднялся с кресла, подошел к камину и бросил на горевшие угли письмо Перелесова. Пристальным и злым взглядом смотрел он, как вспыхнул листок и как затем, обращенный в черный пепел, светился искорками и наконец истлел.

И словно бы почувствовав облегчение, старый профессор удовлетворенно вздохнул и заходил по своему обширному кабинету.

Видимо недовольный, он думал о «глупой

истории», как мысленно назвал он самоубийство Перелесова. Его озабочивало — как бы не припутали к ней его имени.

Разумеется, он никакого письма не получал, и никто о нем никогда не узнает. Если этот дурак действительно застрелился, надо быть на одной из панихид и затем на похоронах... Во всяком случае, неприятная история. Вот что значит иметь дело с глупыми людьми. Сделает пакость в надежде на вознаграждение и винит других...

Так думал старый профессор, не догадывавшийся, что имя его уже крепко припутано к этой «глупой истории» и что Перелесов, расставаясь с жизнью, постарался отомстить виновнику своей смерти.

— К тебе можно, папа? — раздался на пороге свежий молодой голос.

— Можно, можно, Лизочка.

И голос Найденова зазвучал нежностью, а злые глаза его тотчас же приняли выражение нежной любви при виде высокой стройной девушки лет двадцати.

Она заглянула отцу в глаза, сама чем-то встревоженная, и спросила:

— Ты встревожен, папа?

— Я?.. Нет... С чего мне тревожиться, моя родная! — торопливо ответил старик и с какою-то особенной порывистою нежностью поцеловал дочь.

— Так ты, значит, не знаешь печальной новости?

— Какой?

— Перелесов сейчас застрелился...

Старый профессор, давно уже ничем и ни перед кем не смущавшийся, смущенно проговорил:

— Застрелился? Откуда ты об этом узнала, Лиза?

— Я сейчас гуляла и встретила Ольгу Цветницкую...

— И что же? — нетерпеливо перебил Найденов.

— К ним на минутку заезжал Заречный, чтобы сообщить, что Перелесов застрелился. И знаешь почему, папа? Это ужасно! — взволнованно прибавила молодая девушка.

— Почему же?

— Он был автором этой мерзкой статьи, — помнишь, папа? — в которой были оклеветаны

ны Заречный, Косицкий и другие профессора. И не мог пережить позора...

— Но откуда все это известно? — едва скрывая тревогу, спрашивал Найденков.

— Он сам признался во всем в письме к Заречному и просил прощения... Несчастный! Кто мог думать, что он был способен на такую подлость... Но он искупил ее своею смертью... Говорят, что он еще написал письмо...

— Кому? — упавшим голосом спросил старый профессор.

— Ольга не знает... Кому-то из профессоров.

Найденков охватила мучительная тревога, и он невольно вспомнил заключительные строки только что уничтоженного письма. Вспомнил, и что-то невыносимо-жуткое, тоскливое прилило к его сердцу при мысли, что может открыться его прикосновенность к самоубийству Перелесова, и тогда он потеряет любовь сына и дочери.

А он их любил, и кажется, одних их во всем свете!..

Дома, в глазах жены и детей, он был в ореоле знаменитого ученого и безукоризнен-

ного человека. Никто из них не знал и не мог бы допустить мысли, что на душе старого профессора слишком много грехов, и таких, за которые можно сгореть со стыда. Перед своими он словно бы боялся обнажать душу и обнаруживать свой беспринципный цинизм, понимая, как это подействовало бы на молодые сердца, полные энтузиазма и веры в людей. Он большую часть своего времени проводил в кабинете, но, встречаясь с женой и детьми, бывал с ними необыкновенно ласков и нежен и при них никогда не высказывал своих безотрадно-скептических взглядов неразборчивого на средства честолюбца и карьериста, словно бы оберегая любимые существа от своего тлетворного влияния, и дети гордились своим отцом и горячо любили его, объясняя его нелюдимство и не особенно близкие отношения с профессорами его страстью к ученым занятиям. Они, быть может, и замечали, что многие относятся к отцу недоброжелательно и даже прямо враждебно, но это — казалось им — происходило оттого, что не понимали горделивой и сдержанной с посторонними натуры отца. Кроме того, боя-

лись его насмешливого подчас языка и завидовали его подавляющему превосходству и уму и всеми признанной репутации замечательного ученого, труды которого переводятся на иностранные языки.

Благодаря умному добровольному невмешательству Найденова в воспитание своих детей и благодаря влиянию необыкновенно кроткой матери, обожавшей мужа с каким-то слепым, чуть ли не рабским благоговением любящей и нежной натуры, — дети выросли совсем не похожие по внутреннему складу на отца. Особенно его любимица Лиза, добрая девушка и беззаветная энтузиастка, горевшая желанием приложить свои силы на помощь обездоленным и несчастным.

Она была деятельным членом попечительства и вместе с Маргаритой Васильевной действительно ретиво занималась делом благотворительности. Она посещала ежедневно свой участок, не стесняясь подвалами и задворками, сердечно относилась к беднякам и с горячностью предстательствовала за них перед комитетом и раздавала им почти все свои карманные деньги, вместо того чтобы на

них купить себе пару новых перчаток и флакон духов. Кроме того, Лиза была учительницей в школе попечительства и относилась к принятым на себя обязанностям с отцовской добросовестностью и аккуратностью к работе. Не похожая на большинство шаблонных барышень, мечтающих о нарядах, выездах, балах, театрах и поимке хорошего жениха, она распорядилась своим досугом на пользу ближнего и, бодрая, здоровая и румяная, не нервничала от неудовлетворенности жизнью, делая свои маленькие дела скромно, толково и неустанно.

И отец, давно уж забывший альтруистические чувства и преследовавший в жизни одни лишь свои интересы, не высмеивал ни ее благотворительного пыла, ни ее посещений по вечерам публичных лекций, ни ее увлечения школой и возни с грязными детьми трущоб, ни ее молодого задора и категоричности мнений, ни ее негодующих протестов против того, что добрая девушка считала несправедливым, нечестным и злым.

Напротив! Этот черствый себялюбец, высокомерный и жесткий по отношению ко всем

людям, исключая своих кровных, с снисходительным вниманием и, казалось, даже сочувственно слушал пылкие речи своей любимицы, доверчивой и экспансивной, и своим мягким ласковым взглядом как будто поощрял дочь верить в то, во что сам давно не верил, и проявлять бескорыстную деятельную любовь, которая ему лично казалась забавой.

И обычная саркастическая улыбка не кривила его тонких безусых губ. Ему казалось святотатством осквернить чистую душу своим скептицизмом старого циника и обнажить перед ней свое полное равнодушие к тому, что она считала красотой жизни.

«Пусть жизнь сама разрушит ее иллюзии. Пусть знакомство с людьми покажет ей человека таким, как он есть... А я не стану разрушать этой чистой веры!» — нередко думал старик, слушая свою любимицу.

И старик пользовался ее безграничной любовью. Из страха потерять эту любовь он тщательно скрывал перед нею самого себя и искусно показывал только то, что могло поддержать в ее глазах его престиж. Уж давно он потерял и уважение и любовь друзей. Давно он

сам не уважал себя. Что же у него останется в жизни, если он потеряет любовь детей, хотя бы он и пользовался ею обманом.

И эта «глупая история», это самоубийство Перелесова, о котором так горячо говорила дочь, показалась ему страшной трагедией. Лучше было бы, если б ее не было.

— Ты, я вижу, очень изумлен и взволнован, папочка! — проговорила Лиза и быстро поцеловала костлявую и сухую отцовскую руку.

Старик нежно потрепал дочь по щеке и отвел:

— Да... Совсем неожиданно.

— Такой молодой и совершил такой ужасный поступок... Ты ведь знал Перелесова? Он, кажется, еще недавно у тебя был вечером, в день юбилея Косицкого!..

— Был.

— Как ты объясняешь себе эту лживую статью... это предательство товарищей, папа? — допрашивала Лиза, не понимая, что она является палачом любимого отца.

— Человек — очень сложный инструмент, Лиза. Очень сложный, милая! — как-то раз-

думчиво проговорил Найденев, отводя взгляд.

— Но все-таки, папа. Что могло заставить его решиться на это?

— У людей бывают разные страсти, Лиза. И побороть их не всегда легко.

— Но все-таки он был не совсем дурной человек... Этот трагический конец примиряет с ним. Не правда ли?

— Да, — тихо проговорил отец.

— И знаешь, папочка, Ольга говорила, будто кто-то обещал Перелесову, что он будет профессором вместо Заречного, если напишет статью. Его кто-то вовлек.

— Это вздор! — почти крикнул Найденев.

И, спохватившись, прибавил тихо:

— Кто мог обещать ему? Вернее всего, Перелесов сам додумался до этой статьи... Он давно мечтал о профессуре... Теперь мало ли каких сплетен не будут распускать по поводу самоубийства Перелесова... Пожалуй, еще и мое имя приплетут...

— Твое? Что ты? Бог с тобой, папочка! — испуганно промолвила Лиза.

— Люди злы... Пожалуй, узнают, что Перелесов заходил ко мне после юбилея...

— Так что же?..

— И выведут какие-нибудь нелепые заключения... От сплетен не убережешься... Ну, да я к ним равнодушен... Мне решительно все равно, как обо мне люди думают, лишь бы дома меня знали и любили. А больше мне ничего не надо... И я знаю, что вы меня любите и не поверите никаким сплетням про вашего отца... Не правда ли, Лиза? — необыкновенно нежным и умоляющим голосом проговорил старый профессор, уже понявший из слов дочери, что имя его припутано к самоубийству Перелесова.

Этот «кто-то», обещавший профессию, смущал его.

— И ты еще спрашиваешь, родной? Да разве про тебя смеют говорить что-нибудь дурное?.. И разве мы можем поверить, что ты способен сделать что-нибудь дурное?.. О папочка!.. Ты просто расстроен этим несчастным происшествием, и тебе в голову лезут невозможные мысли. Лучше поцелуй свою дочку и пойдем в столовую. Сейчас подадут чай.

И Лиза порывисто обняла нагнувшегося к

ней отца, крепко поцеловала его и, глядя на него своими восторженными блестящими глазами, воскликнула:

— О дорогой мой папочка! Как я горжусь тобой!

Что-то теплое, счастливое прилило к сердцу отца; он благодарно и умиленно гладил русую головку дочери своею вздрагивающею холодною рукой и в то же время думал о письме Перелесова к Заречному. Что, если в этом письме он рассказывает все, как было?

И мучительный трепет страха охватил ничего не боявшегося старого профессора при мысли, что дети могут узнать и убедиться, что напрасно они гордятся своим отцом.

Он чувствовал, что едва стоит на ногах.

— Папочка, да что с тобой? Ты побледнел. Твоя рука дрожит?.. — тревожно спрашивала Лиза.

— Ничего, ничего, родная...

И он присел на оттоманку.

— Тебя так взволновало это ужасное известие?..

— На свете много ужасных известий, Лиза... Я, верно, утомился сегодня... Много рабо-

тал. И я не пойду в столовую пить чай... Принеси мне сюда, голубушка...

Когда Лиза ушла, Найденов как-то жалко и беспомощно прошептал:

— Неужели начинается расплата?..

XXVIII

На второй день праздника — утренняя панихида назначена была в десять часов.

В небольшой зале, рядом с опечатанной комнатой, в которой застрелился Перелесов, стоял гроб, обитый золотым глазетом. Толстый дьячок монотонно и гнусаво читал Псалтырь, взглядывая по временам равнодушным взглядом из-под густых бровей на маленькую, бедно одетую старушку в траурном платье, обшитом плерезами, которая стояла у гроба и тихо, совсем тихо, точно запуганный ребенок, плакала, не отрывая своих выцветших, красных от слез глаз от обрамленного цветами лица покойника, спокойно и серьезного, словно думающего какую-то важную думу.

Старушка мать, вдова маленького провинциального чиновника, жившая в уездном городе Смоленской губернии на средства, кото-

рые давал ей сын, уделяя их из своего скудного заработка, приехала вчера вечером, вызванная телеграммой Сбруева. Сбруев жил недалеко от Перелесова, на Арбате, и к нему первому прибежал квартирный хозяин, чтобы сообщить о самоубийстве своего квартиранта.

Сбруев был потрясен, когда поздно вечером узнал от Заречного о причинах самоубийства Перелесова. Он искренне его пожалел и простил грех, искупленный смертью. По просьбе Заречного он взял на себя хлопоты по устройству похорон, и так как после смерти Перелесова у него найдено было всего лишь три рубля, то Сбруев решил похоронить Перелесова на свой счет, если бы коллеги отказались от складчины, и в ту же ночь занял для этой цели двести рублей.

Но на другой же день Заречный объехал нескольких профессоров и собрал триста рублей и отдал их Сбруеву.

Старушка почти не спала ночь. Несмотря на просьбы Сбруева идти к нему переночевать, она просила, как милости, позволить ей остаться при сыне. Она не устала, а если уста-

нет, подремлет в кресле.

И, ничего до этих пор не говорившая о сыне, она, глотая рыдания, вдруг сказала:

— О, если б вы только знали, какой он был добрый и нежный ко мне... О, если б вы это знали! Он сам нуждался... отказывал себе во всем, — я только теперь это узнала, — а мне, голубчик, каждый месяц посылал пятьдесят рублей... И писал, что живет отлично, что ни в чем не нуждается... Он всегда такой был... деликатный... А я, дура, верила, что он посылает от излишков. И он еще в последнем письме писал, что скоро выпишет меня в Москву и мы будем вместе жить, когда его сделают профессором... Вот и выписал... И объясните мне, ради бога, Дмитрий Иванович, отчего Леня лишил себя жизни?.. В письме ко мне, оставленном на его столе, он просит прощения, что оставляет меня одну, и только говорит, что жить ему больше нельзя. Кто обидел его? Кому он мешал, мой голубчик?..

Сбруев грустно молчал.

— Такой хороший, умный, молодой... Ему бы жить, а он... мертвый... Кто же погубил его? Какие злодеи? И неужели они не будут

наказаны? Да где ж тогда правда на земле, Дмитрий Иванович?

Она вдруг смолкла, точно сама испугавшись этого порыва отчаяния, и снова заплакала.

А Сбруев все молчал и не замечал, что глаза его влажны от слез.

Около полуночи он ушел домой, а мать снова подолгу стояла у гроба и, застывшая в скорби, глядела в лицо сына, точно ожидая, не откроет ли оно причину ее сиротства.

Ночью старушка забывалась на несколько минут в тяжелом сне, сидя на кресле. И теперь она опять смотрит на мертвого сына и опять тихо плачет.

На часах пробило девять ударов.

Вошла квартирная хозяйка, молодая рыжеватая дама, и, словно бы стыдясь занимать горюющую мать житейскими делами, как-то томно проговорила:

— Извините... Я, конечно, понимаю вашу горе, но все-таки... не выпьете ли чашку чая?..

Старушка с удовольствием приняла предложение и вышла из комнаты.

В конце десятого часа приехал Сбруев и

вслед за ним Невзгодин.

Они познакомились на юбилее Косицкого и понравились друг другу.

— Как вы думаете, Дмитрий Иванович, много соберется на панихиду? — спросил Невзгодин.

— Я думаю. Вчера вечером на первой панихиде было порядочно народа...

— И это правда, что я слышал вчера о Найденове?.. Косицкий рассказывал...

— Правда. Не ожидали, что такой мерзвец?.. — грустно протянул Сбруев.

— Это я давно знал, положим... Но я не думал, что он так неосторожен...

— На всякого мудреца довольно простоты, Василий Васильич...

— И неужели он после всего... останется в Москве?..

— Не думаю! — как-то значительно промолвил Сбруев. — Вот мать покойного, оставшаяся сиротой и без куска хлеба после смерти Перелесова, спрашивала: где же правда на земле?

— И что вы ей ответили?

— Ничего! — мрачно произнес Сбруев.

— Ответить, хотя бы для утешения старухи, где по нынешним временам гостит эта самая правда, очень затруднительно.

— Особенно нам! — решительно подчеркнул Дмитрий Иванович.

— Кому «нам»?

— Вообще жрецам науки, выражаясь возвышенным тоном.

— Почему же им особенно, Дмитрий Иванович? — удивленно спросил Невзгодин.

— А потому, что у нас две правды! — уныло протянул Сбруев.

— У людей других профессий, пожалуй, этих правд еще больше.

Обыкновенно молчаливый и застенчивый, Дмитрий Иванович под влиянием самоубийства Перелесова находился в возбужденно-мрачном настроении, и ему хотелось поговорить по душе с каким-нибудь хорошим свежим человеком, и притом не из своей профессорской среды, которая ему не особенно нравилась.

А Невзгодин именно был таким свежим человеком, возбуждавшим симпатию в Сбруеве. Невзгодин был вольная птица и не знал

гнета зависимости и двойственности положения. Кроме того, Сбруеву казалось, что Невзгодин не способен на компромиссы.

И Дмитрий Иванович заговорил вполголоса, волнуясь и спеша:

— Быть может, и больше, но знаете ли, в чем их преимущество?

— В чем?

— В том, что чиновник, например, не обязан говорить хорошие слова, свершая, положим, не совсем хорошие поступки. Сиди себе и пиши, худо или хорошо, это его дело. А мы обязаны.

— Как так?

— А так. С кафедры мы проповедуем одну правду — если и не всю, то хоть частичку ее, — а в жизни поступаем по другой правде, назначенной для домашнего употребления и для двадцатого числа...

Он застенчиво улыбнулся своею грустною улыбкой и продолжал:

— Вот Перелесов не вынес резкого противоречия этих двух правд, обнаруженного перед всеми, и пустил себе пулю в лоб... Ну, а мы и не замечаем этих противоречий и, если

не делаем сами крупных пакостей и только, как Пилат, умываем руки при виде их или делаем маленькие подлости, то уж считаем себя порядочными людьми и надеемся дожить до заслуженного профессора и отпраздновать свой юбилей вместо того, чтобы уйти, пока еще не утрачено человеческое подобие, если не из жизни, как ушел Перелесов, то хоть из жрецов... Отчего, в самом деле, мы, русские интеллигенты, такие тряпки, Василий Васильич! — взволнованно воскликнул Сбруев, точно из души его вырвался страдальческий вопль.

— Много на это причин, Дмитрий Иванович...

— Однако, звонят... Сейчас явится публика. Как жаль, что нельзя поговорить на эту тему основательнее и выяснить, почему более стыдливые — тряпки, а бесстыжие уж чересчур наглы... Не позавтракаем ли вместе завтра, после похорон? Сегодня боюсь... Вечером надо опять здесь быть, и неловко прийти не в своем виде. Я люблю, запершись, иной раз выпить, — прибавил Сбруев.

— С большим удовольствием.

— Поедем в «Прагу». Там не особенно дорого... А то молчишь-молчишь... Ну и вдруг захочется поговорить со свежим человеком, да еще таким счастливецем.

— Почему счастливецем?

— А как же. Ведь нигде не служите?

— Нигде.

— В профессора не собираетесь?

— Нет.

— И, слышал, избрали писательскую карьеру?

— Хочу попробовать.

— И не бросайте ее, ежели есть талант. По крайней мере сам себе господин. Ни от кого не зависите...

— Кроме редактора и цензора... Особенно если попадутся чересчур дальновидные! — усмехнулся Невзгодин.

— Но все-таки... в вашей воле...

— Не писать? Разумеется.

— Нет... Отчего не писать?.. Но не лакействовать. И это счастье.

— Не особенное, Дмитрий Иванович.

— По сравнению с другими профессиями — особенное.

Стали появляться разные лица. Явилось несколько профессоров; в числе их были и оклеветанные в статье покойного: Косицкий и Заречный. Маленькая зала быстро наполнилась интеллигентной публикой, среди которой были учителя, студенты и много молодых женщин.

Всех входящих в залу тотчас же охватывало какое-то особенное настроение взволнованности, страха и виноватости при виде спокойно-важного лица покойного. Трагическая его смерть напоминала, казалось, о чем-то важном и серьезном, что всеми обыкновенно забывается, и придавала этому лицу выражение не то упрека, не то предостережения.

И некоторым из присутствующих оно, казалось, говорило:

«Я сделал нечестное дело, в котором и вы отчасти виноваты, и... видите».

Несмотря на горделивое сознание всех присутствовавших, что никто из них не сделает такого нечестного дела и, следовательно, не застрелится, многим становилось жутко, когда подходили к покойнику и заглядывали в его лицо. Разговаривали шепотом, словно

боялись разбудить мертвеца. Почти у всех женщин были заплаканные глаза... Старушка мать где-то затерялась в толпе, и на нее никто не обращал внимания.

Кто-то принес в корзине массу живых цветов, и в толпе пронесся шепот, что цветы прислала Аносова.

Несколько профессоров собрались в кучку и тихо поносили Найденова. Особенно отличались трусливые коллеги старого профессора, которые потихоньку заискивали у него. Но здесь, у гроба, невольно хотелось щегольнуть цивизмом, выражая негодование против человека, которого и раньше все боялись и не любили, но все-таки терпели.

— Я ему руки не подам. Честное слово! — вдруг сказал Цветницкий, не зная, как это у него сорвалось с языка, так как сам он был убежден, что никогда не решится сделать этого, пока Найденов в фаворе.

И вероятно, заметив, что ему не поверили, Цветницкий проговорил:

— Так-таки не подам!

Заречный между тем сообщил, что вчера, в пять часов вечера, перед самым обедом, к

нему заезжал Найденов и не застал его дома.

— Я приказал не принимать его, если он еще раз приедет! — прибавил молодой профессор.

Слушатели удивлялись наглости Найденова. Сам натравил Перелесова написать пасквиль и имеет дерзость ехать к Николаю Сергеевичу. Верно, он не знает, что Николай Сергеевич получил письмо от жертвы.

— А может быть, узнал и хотел уговорить вас скрыть его.

— Черт его знает. Теперь я понял, что это за человек! — негодуяще заметил Заречный, вспоминая, как Найденов глумился над ним по поводу его речи и как рассказывал, что защищал его, а между тем сам же подговорил написать против него статью.

«И каким я был трусом тогда!» — подумал Николай Сергеевич и почувствовал еще большую радость, что Найденов так основательно попался в своих подлых интригах.

Подошел еще один профессор и сообщил, что слышал из верных источников, будто по поводу самоубийства Перелесова будет назначено следствие.

На всех лицах мелькнули торжествующие улыбки.

— Тогда он наверное вылетит! — заметил Заречный.

— И давно пора, — проговорил Цветницкий.

И все снова принялись бранить Найденова.

Один только Косицкий слушал все это молча и грустно смотрел, как укладывают в гроб цветы.

Маргарита Васильевна вошла с мужем и стала у дверей в соседней комнате — столовой квартирных хозяев. Невзгодин подошел к Заречной и, взглядывая на ее бледное, истомленное лицо, задумчивое и скорбное, спросил:

— Что с вами? Зачем вы сюда пришли совсем больная?

— Со мной ничего особенного. Просто устала... не спала ночь в дороге. Я только что из Петербурга. А вы где пропадали?

— Работал. А поручение ваше завтра же исполню.

— Спасибо.

Она помолчала и вдруг промолвила чуть слышно:

— А как это просто.

— Что такое?

— Да вот это.

И Маргарита Васильевна едва заметным движением головы указала на гроб.

Невзгодин удивленно взглянул на молодую женщину.

— Вы хотите сказать, что просто расстаться с жизнью?

— Ну да.

— Уж не манит ли и вас эта простота?

— По временам являются такие мысли.

— Что это?.. Заразительность частых самоубийств?

— Нет... Собственные размышления последнего времени.

— И причины такого желания?..

— Жить скучно! — прошептала молодая женщина, и на лице ее появилась такая скорбная улыбка, что Невзгодину сделалось жутко.

— Как это, подумаешь, ужасно!..

— А вы думаете, нет?

— Но ваши планы деятельности и другие?

— Оставить мужа?

— Да.

— Ведь вы сами же говорили, что одна деятельность не может удовлетворить женщину. А в другой мой план не верили! — прибавила Маргарита Васильевна, и слабый румянец вспыхнул на бледных щеках.

— Положим, говорил... Но из этого не следует, что нужно...

— Мало ли что не следует! — перебила Маргарита Васильевна.

— Вам полечиться надо.

— Может быть.

— И что это ныне за безволие какое-то у людей!

Невзгодин сопоставил только что бывший у него разговор со Сбруевым с тем, что говорила Маргарита Васильевна. И того мучает двойственность положения, и в его речах чувствуется смутное желание выхода из него, хотя бы путем смерти... И эта вот тоже. Нечего сказать, тряпичное поколение в более стыдливых его представителях.

Да и сам он разве не переживал в Париже

такого настроения?

Была полоса, когда и у него бродили мысли покончить с собой из-за проклятых вопросов, мучивших своей неприложимостью в жизни, и из-за отвергнутой любви к этой самой Маргарите Васильевне, без которой жизнь ему казалась несчастной... И ко всему этому одиночество и хроническое голодание.

Но все это продолжалось у него недолго и бесповоротно прошло. Работа, горделивое желание борьбы, примеры мужества крупных личностей и сознание долга перед жизнью спасли его, направив мысли от своих маленьких личных печалей на более серьезные и общественные печали. Теперь он удивляется своему малодушию, и его удивляет малодушие людей, которые без борьбы, без всякой попытки найти выход в каком-нибудь общественном деле отдаются во власть нервных, личных настроений.

Ему было жаль Маргариту Васильевну. Кто ее знает? Может быть, и в самом деле она приведет в исполнение свое желание оттого, что скучно жить. А ей скучно жить главным образом потому, что она никого не любит и

жаждет любви.

Надо поговорить с ней, успокоить ее, убедить куда-нибудь уехать на время.

— Сегодня вы будете дома, Маргарита Васильевна?

— Целый день.

— Можно зайти к вам? Не помешаю?

— Заходите... Я всегда рада вас видеть.

— И уж больше не сердитесь на Фому неверного?

— Нет... Тем более что он...

— Был прав в своих сомнениях? — подсказал Невзгодин.

— Не совсем, но до известной степени! — грустно промолвила Маргарита Васильевна. — Ведь это так просто и так ужасно! — прибавила она, указывая взглядом на гроб, и вся содрогнулась.

«Бедняга! Боится, что и муж застрелится! Какая же он скотина, если пугает „этим“!» — подумал Невзгодин.

В столовую вошел старенький священник из ближнего прихода. Он тотчас же принял соответствующий предстоящей требе серьезно-задумчивый вид, поклонился и торопливо

начал облачатся в траурную ризу при помощи дьячка. Вслед за ним вошли певчие, и в комнате запахло водкой. Некоторые из певчих были пьяны по случаю праздника и едва стояли на ногах.

Старенький священник подозрительно покосился на певчих и что-то шепнул дьячку.

— Не в первый раз, батюшка! — успокоительно проговорил дьячок.

В эту минуту в зале мгновенно наступила мертвая тишина. Все сразу смолкли, не окончив речей и повернув головы к раскрытым из залы в прихожую дверям.

Почти на всех лицах застыло выражение необычайного изумления и негодования. Даже по лицу добряка Андрея Михайловича Косяцкого пробежала гримаса, точно от какой-то физической боли, и старик густо покраснел, точно сделал что-нибудь нехорошее, и ему стало стыдно.

Невзгодин переступил порог, взглянул и не верил своим глазам.

Высоко подняв свою седую, коротко остриженную голову и ни на кого не смотря своими серыми, пронизывающими глазами, све-

тившимися из-под очков резким, холодным, словно сталь, блеском, сквозь толпу пробирался вперед, к гробу, Найденов с обычным своим спокойным и надменным видом.

Словно бы не замечая или не желая замечать того потрясающего впечатления, какое произвело его прибытие, он прошел вперед и остановился около кучки профессоров, ничем не выказывая своего волнения и еще выше поднимая голову. Только движение скул, замеченное Невзгодиным, могло обличить, что старый профессор отлично понимает, в какое убийственно-неприятное положение он поставил себя, явившись на панихиду.

И Невзгодин, как художник, любовался дьявольским самообладанием и дерзкою наглостью Найденова, ожидая, что будет дальше и как его встретят профессора.

Цветницкий, стоявший ближе к Найденову, первый поклонился, и Найденов, небрежно протянув ему руку, повел взглядом на остальных коллег. Еще два стыдливых нерешительных поклона, и ответный общий кивок Найденова.

Заречный отвел глаза в сторону, будто не замечая бывшего своего профессора. Косицкий встретил взгляд и поклон Найденова, не ответил на него и только снова покраснел. Не поклонились Найденову еще двое.

Это оскорбление нанесено было у всех на глазах. С известным ученым, тайным советником не хотели кланяться!..

Как только Найденов вошел в залу, он сразу же понял, что Перелесов хорошо отомстил своему врагу. Эти изумленные, негодующие взгляды, эти презрительные улыбки почти в упор ясно говорили, что он возбуждает ненависть и что его все считают виновником самоубийства этого «болвана». Но возвращаться было уже поздно, и наконец не ему занимать наглости.

И Найденов нарочно прошел вперед, к коллегам, уверенный, что никто из них не посмеет оскорбить его.

Он знал их хорошо. Но, значит, Заречный показал всем письмо, и его, влиятельного профессора, считали настолько скомпрометированным этим самоубийством, что уже решились обнаруживать свои цивические чув-

ства в оскорблении. Прежде ненавидели, но не смели. Теперь смеют.

«Начинается расплата!» — снова пришла в голову Найденова мысль, не дававшая ему покоя после разговора с дочерью.

И, внутренне почти равнодушный к нескрываемой ненависти всех этих людей и к нанесенному коллегам оскорблению («Они поплатятся за это!» — подумал старый профессор), он с ужасом и тоскою подумал, что дети могут узнать про все, что только что произошло.

Побледневший, с презрительно скошенными тонкими безусыми губами, он все-таки не терял самообладания. Неподвижная, словно статуя, его высокая, сухощавая, выпрямившаяся фигура стояла перед гробом, и глаза его, горевшие злым огоньком, как у затравленного волка, вызывающе смотрели сверху прямо в лицо покойника.

Священник хотел было начинать службу, но в это время из толпы вышел бледный как полотно Сбруев. Он подошел к батюшке и просил немного повременить.

Все, ожидая чего-то необычайного, замер-

ли. Найденнов плотнее сжал совсем побелевшие губы, и глаза его, казалось, пронизывали покойника.

Но в них блеснуло на мгновение что-то жалкое и беспомощное, когда Сбруев от священника подошел к нему и, не здороваясь и не поклонившись, взволнованно проговорил:

— Господин Найденнов. Я вынужден сказать, что вам не место здесь, у гроба покойника, который...

От волнения Сбруев больше ничего не мог сказать.

Найденнов не проронил ни слова. Медленно, словно бы нарочно замедляя шаги, направился он через толпу, наполнявшую комнату, к дверям.

Перед ним брезгливо расступались, точно перед зачумленным, его провожали злорадными взглядами, вслед ему посыпались проклятия, а он будто не видал и не слышал ничего и шел, не склоняя под бременем позора своей седой, высоко поднятой головы, по-прежнему высокомерный, словно бы презирающий всех, и великолепный в своем бесстыдстве.

— Этакая наглость! — раздавались голоса.

Но, когда старый профессор вышел из квартиры и очутился на улице, самообладание его оставило.

Он едва стоял на ногах и трясущимися губами беззвучно шептал какие-то угрозы и пугливо и растерянно озирался, словно боясь людей или не зная, куда ему идти. Наконец упавшим, точно чужим голосом он позвал извозчика.

Когда он сел в сани, то как-то весь съежился, опустил голову и казался жалким и беспомощным, совсем не похожим на прежнего надменного старика.

Он приехал домой и, когда слуга отворил ему двери, спросил:

— Барышня дома?

— Нет-с... Оне ушли с Михайлом Аристархычем тотчас после вас.

Казалось, что известие успокоило несколько старика.

Нетвердыми шагами дрожащих ног прошел он в кабинет и опустился в кресло.

Через несколько минут пришла его жена, бледнолицая пожилая женщина с кроткими

глазами, и, увидав мужа, испуганно спросила:

— Аристарх Яковлевич... Что с тобой? Ты болен...

— Ничего... Так... слабость... А где дети?

— Ты разве их не видал?

— Где?

— На панихиде. Они пошли туда...

— Они были там? — спросил Найденев глухим голосом.

— Да. Лиза непременно хотела идти на панихиду... Да отчего это тебя так удивляет?

Старый профессор поднял на жену взгляд, полный ужаса и тоски, и из груди его вырвался стон.

XXIX

Вскоре после панихиды Невзгодин сидел в кабинете Маргариты Васильевны.

Она говорила:

— Вы понимаете чужие настроения, Василий Васильич, но все-таки вы не знаете женской души. Вот вы давеча советовали лечиться...

— Советовал и теперь настаиваю. Вы изнервничались в последнее время... Прежде вы были куда энергичнее...

— Прежде?.. Прежде я надеялась, я ждала чего-то... А теперь?.. Разве вылечишь больную, неудовлетворенную душу бромом и обтираниями холодной водой? По совести вам говорю, как доброму приятелю: скучно жить.

Проговорив эти слова, Маргарита Васильевна взглянула грустным, усталым взглядом на Невзгодина.

— Это настроение пройдет...

— Когда?.. Когда пройдут годы и я сделаюсь старухой.

И, помолчавши, прибавила с тоской:

— А жить так хочется! Ведь я не жила совсем, вы правду как-то говорили... Я никогда и никого не любила... Я не знала, что значит забыть себя для другого, жить с ним неразрывно и душою и телом и с радостью отдать за любимого человека жизнь... А именно такого счастья я и искала, о такой любви и мечтала, а между тем... этого не было и никогда не будет!

— Отчего не будет? Разве вы не можете полюбить?

— Быть может, могу, но не посмею... Страшно строить свое счастье на несчастье

другого...

— Во-первых, не всегда несчастье другого так сильно, а во-вторых, когда любят, то все смеют...

— А вы, Василий Васильевич, когда-нибудь так любили?

— Разве вы не знаете?

— Как я могу знать?

— Да ведь я вас так любил, Маргарита Васильевна!

— Разве? — удивленно и в то же время обрадованно воскликнула Маргарита Васильевна.

— И, знаете ли, дело прошлое, и потому сознаюсь вам, что в ту пору, когда вы отвергли мою руку, как руку легкомысленного и беспутного человека, я в Париже был в таком настроении, что мог наложить на себя руки.

— Вы?

— Я самый.

— И из-за меня?

— Не совсем из-за вас... Причиной отправиться к праотцам была не одна несчастная любовь, но и разные сомнения в том, следует ли жить на свете, не имея возможности пере-

делать его радикально... Ну и, кроме того, одиночество... голодание.

— И долго было такое настроение?

— С месяц, пожалуй, бродили мысли о покупке револьвера... По счастью, денег не было.

— Как же вы избавились от этих мыслей?

— Один француз, безрукий старик — руку ему откорнали при усмирении Коммуны, — голодавший в соседней мансарде, высмеял меня самым настоящим образом и сказал, что уж если мне так хочется умереть, то лучше поехать в Южную Америку и поступить в ряды инсургентов... По крайней мере одним солдатом больше будет против правительства. Старик чувствовал ненависть ко всякому правительству... Но так как мне не на что было ехать в Южную Америку, то я занялся работой, достал уроки... читал... думал... и скоро устыдился своего намерения, сообразил, что я не один на свете, отвергнутый любимой женщиной, и не один со своими требованиями перекроить подлунную... Да и чтобы перекроить, надо жить, а не умирать... И, как видите, я не раскаиваюсь, что живу на свете

и строчу повести и рассказы, хотя и я, как и вы, не знаю той любви, о которой вы мечтали...

— И которой не желали вы?

— Кто вам это сказал? Ведь и у меня губа не дура! Очень бы хотел полюбить женщину, которая была бы хороша, как Клеопатра Египетская, умна, как Маргарита Пармская, если только она в самом деле была так умна, как пишут историки, и притом не делала бы сцен ревности, не хлопала бы глазами, когда говорят про общественные дела, и была бы и любовницей, и отзывчивым другом, и хорошим товарищем... Я даже готов был бы сбавить кое-что из своих требований... Но пока такой любви нет, я нахожу, что можно и без нее жить... Разве жизнь, в самом деле, в одной только любви?

— Для вас, мужчин, пожалуй. А для женщины, такой, какая она теперь, только в любви. Я только недавно это поняла. Поняла и почувствовала тоску жизни! — грустно прибавила Маргарита Васильевна.

Она помолчала и продолжала:

— И знаете ли, Василий Васильич?.. Я мно-

го-много думала за это время о своем положении и не знаю, на что решиться...

— То есть — разойтись с мужем или нет?

— Да.

— Что же вас останавливает?

— Тогда решение у меня было твердое — оставить его.

— А теперь?

— Мне страшно... Если он, как Перелесов...

— Этого не будет.

— А если?

— Ну так что ж! Человек, женившийся на женщине, которая его не любит... Ведь он знал, что вы его не любите?

— Знал.

— Такой человек, если и застрелится, не может возбуждать раскаяния... И надо быть великим эгоистом, чтобы стращать этим...

Невзгодин скоро ушел.

Маргарита Васильевна, оставшись одна, снова задумалась.

XXX

Как только по Москве разнесся слух о том, что произошло перед панихидой, и, разумеется, слух, изукрашенный самыми фантастиче-

скими узорами, — жрецы науки засуетились, словно муравьи в потревоженном муравейнике.

Одни возмущались поступком Сбруева, другие злорадствовали, немногие сочувствовали, но всякий думал о себе, — как бы не случилось чего-нибудь неприятного по этому случаю. Как бы не подумали, что он одобряет дерзкую выходку своего коллеги против Найденова.

Хотя все хорошо знали, что старый профессор сыграл очень некрасивую роль в деле, которое привело к самоубийству Перелесова, тем не менее некоторые из господ профессоров тотчас же решили — ехать к Найденову, чтобы засвидетельствовать ему свое сочувствие и выразить негодование по поводу выходки Сбруева, рассчитывая, что Найденов, во всяком случае, сумеет выпутаться из этой истории и остаться формально вне всякого подозрения. Следовательно, ехать к нему необходимо, а не то он потом припомнит и сделает такую пакость, что и не ожидаешь.

И на другой же день после панихиды к нему поехали не только профессора, считав-

шие Найденова своим, но даже и некоторые из считавших его «чужим». В числе таких был и профессор Цветницкий, хваставший перед панихидой, что не подаст руки Найденову, и первый протянувший руку.

Однако ни один из посетителей не был принят.

Старый слуга всем говорил, что барин не совсем здоров и не принимает, и визитерам пришлось оставлять только свои карточки.

Действительно, Найденов со вчерашнего дня чувствовал себя нехорошо, хотя и скрывал это от жены и детей. Он испытывал непривычную слабость, утомленность и временами головокружение. Ему все было холодно. Он осунулся и как-то сразу одряхлел. И только его глаза, по-прежнему умные, пронизывающие, порой зажигались лихорадочным блеском.

Карточки, которые подавал ему слуга, по-видимому, не доставили ни малейшего удовольствия старому профессору.

Напротив! Прочитывая фамилии коллег и разных других лиц официального мира, считавших долгом заявить о своем сочувствии,

Найденнов с брезгливой усмешкой, кривившей его тонкие губы, бросал их на письменный стол.

Сам никому не веривший, он не верил и другим и, хорошо понимая мотивы этого сочувствия, знал, что через неделю-другую, когда уже он не будет влиятельным в университете лицом, ни одна душа не подойдет к крыльцу его дома, и все будут его поносить.

После долгой безотрадной думы решение уже им принято. Он подаст в отставку, уедет из Москвы и посвятит остаток жизни одной науке.

Как ученого его вспомнят!

Все остальное, из-за чего он, умный и самолюбивый человек, лгал и не останавливался ни перед чем во всю свою жизнь, теперь потеряло в глазах его всю прежнюю цену: и прелесть власти, и успех ловко веденной интриги, и накопление богатства, и видное положение, которого он домогался всякими правдами и неправдами и которое уже ему было обещано в ближайшем будущем.

Все это казалось ему теперь ненужным, бесцельным, неумным, и вся его жизнь вне

науки представлялась ему сплошной ложью, приведшей его именно к тому, чего он так боялся.

И не потому он решил уйти, что один «глупец» застрелился, а другой осмелился публично оскорбить его. И не потому, что в обществе считают его виновником самоубийства...

Он понимает действительную цену русского общественного мнения и давно равнодушен к нему, хорошо зная, что не в нем опора для людей, ищущих успеха в жизни. И он не чувствует себя виноватым в самоубийстве Перелесова. Вольно же было ему переусердствовать и написать глупую подлость вместо умной. Вольно ж ему было с радостью влезать в шкуру предателя и потом жаловаться, что его соблазнили! Не особенно сердил старого профессора и Сбруев. Он был бы уволен за свою дерзость — и делу конец. Пусть надевает лавры жертвы за свои цивические добродетели и сопьется.

Не это все заставляет старого профессора все ниже и ниже опускать свою голову и думать горькую думу о полнейшем одиночестве, на которое он отныне обречен. Не это.

Хотя между ним и детьми не было никакого объяснения, но уже вчера в страдальчески-скорбном взгляде Лизы и в мрачной застенчивости сына он прочел свой приговор.

Они все видели, все слышали, и даже больше, чем могли выдержать их нервы, и, словно бы виноватые, чувствуя на себе позор их отца более, чем он сам, крадучись, вышли из толпы, бледные и приниженные, полные ужаса и недоумения...

Но, при всем желании сомневаться, сомнения были невозможны. Кто-то, очевидно не знавший детей Найденова, еще до появления его на панихиде, читал рядом с ними списанное письмо Перелесова к их отцу. Они слышали его и не знали, куда деваться, чувствуя, как горят их щеки краской стыда.

А кругом имя отца произносилось вместе с проклятиями.

И наконец эта зловещая тишина при его появлении... потом слова Сбруева и удаление отца, сопровождаемое общей нескрываемой ненавистью.

Брат и сестра возвратились домой потрясенные, полные ужаса и скорби.

Перед тем что позвонить, они, до сих пор не проронившие ни единого слова, вдруг бросились друг другу в объятия и заплакали, как маленькие дети, несчастные и беспомощные.

— Мамочка не должна ничего знать... Слышишь, Миша? — прошептала наконец Лиза, глотая рыдания...

— Боже сохрани! — ответил юноша.

И, утирая слезы, порывисто прибавил:

— Господи! За что? За что? Разве можно жить после того, как отец...

Он называл теперь отца не папой, как раньше.

Не dokonчив фразы, он закрыл руками лицо.

— Что ты, Миша... голубчик... Какие мысли! — вздрагивая всем телом, прошептала Лиза, в голове у которой тоже мелькали мысли о том, что жить невозможно.

— Какая ж это жизнь!.. Это не жизнь, а позор... Кто мог бы подумать!

— Надо быть мужественным, Миша... Надо своею жизнью искупить грехи отца... вот что надо...

— Такого греха ничем не искупишь...

— И у нас мама... Не забывай этого, Миша... И дай слово, что ты будешь помнить это! — значительно прибавила сестра... — Дай!..

— Ничего я не могу понять... Ничего... Тяжко, Лиза...

Они крепко пожали друг другу руки и вытирали слезы.

Через минуту брат позвонил.

Они прошли, не показываясь матери, каждый в свои комнаты переживать свое ужасное горе — разочарование в отце, которого обожали. Лиза несколько раз входила к брату и, крепко сжимая его руку, повторяла:

— Надо быть мужественным, Миша... И помни, что у нас чудная мамочка...

И снова плакала вместе с братом.

Наконец их позвали обедать.

— Крепись, Миша, родной мой... Не выдавай своего горя... Пусть мама не замечает.

— А ты! Ты бледна как смерть, Лиза.

— Скажем, что расстроены... При отце не говори, что были на панихиде. Пусть он не знает, что мы все знаем... О, лучше бы, как прежде, ничего не знать.

— Я слышал иногда, но не верил... А теперь...

Они старались казаться спокойными, когда вошли в столовую. Отца еще не было.

Когда он вошел, бледный, изможденный, состарившийся и словно бы приниженный, и сел на свое место, не глядя ни на жену, ни на детей, брат и сестра почувствовали, что отец — виновник смерти Перелесова.

И они затихли на своих местах, как затихают вдруг в замирающем страхе внезапно испуганные дети, не смея проронить звука и не решаясь, в свою очередь, поднять глаз на отца.

Найденов понял, что дети все знают, и с какою-то суровой сосредоточенностью хлебал суп, скрывая муки отца, которого презирают любимые дети.

Обед прошел в тягостном молчании.

Едва только он кончился, Найденов встал из-за стола и ушел к себе тосковать о потере единственных существ в мире, которых он действительно любил.

Когда он ушел, мать проговорила, обращаясь к детям:

— Какие вы, однако, нервные. Как сильно на вас подействовала панихида!

— Да, мамочка. Признаться, обоих нас расстроила.

— Вы больше не ходите туда.

— Мы не пойдем! — взволнованно отвечала Лиза.

— Довольно одной! — мрачно протянул сын.

— Но особенно расстроила эта панихида бедного папу, — продолжала Найденова. — Он вернулся оттуда потрясенный... И, кажется, очень был недоволен, что вы ходили туда.

— Он разве знает? — в страхе спросила Лиза.

— Я ему сказала... Боюсь, как бы наш родной не захворал. Заметили, какой он мрачный был за обедом...

И, минутой спустя, она спросила:

— Много народу было?

— Да, много.

— Пожалели, значит, несчастного.

— Мать у Перелесова... О, какая она несчастная!.. Говорят, без всяких средств осталась... Сын ей помогал... А теперь? Мамочка!

Я продала свой браслет с бриллиантами...

— И отдашь деньги матери?

— Конечно... Передам Сбруеву.

— Твое дело... И я прибавлю денег. А узнали, кто этот подлый профессор, который подговорил Перелесова написать ту гадкую статью... Помнишь?

Лиза похолодела. И, употребляя все усилия, чтоб скрыть от матери охватившее ее волнение, она с решительностью ответила:

— Все это вздор, мамочка.

— Что вздор?

— А то, что какой-то профессор подговаривал. Это не профессор, а кто-то другой, мамочка.

— Да, другой, — подтвердил и сын.

— Кто же?

— Не знаю... Называли фамилию, да я забыла.

— Как же говорили, что профессор, и будто обещал хлопотать о профессуре, а Заречного вон, а Перелесова на его место?

— Мало ли что говорят, мамочка.

— В Москве ведь сплетен не оберешься. На кого угодно наплетут... Никто не убережет-

ся! — угрюмо заметил Миша.

— Ну и слава богу, что не профессор. А то ведь это было бы ужасно и для него и для его семьи... Боже сохрани, когда детям приходится краснеть за родителей...

Когда подали самовар, Лиза, по обыкновению, разлила всем чай. Она всегда носила стакан отцу в кабинет, но сегодня ей было жутко идти туда, и она медлила.

— Что ж ты, Лизочка, не несешь папе чай? Ведь он любит горячий... Неси ему скорее да разговори его хандру. Ты умеешь, и он любит, когда ты болтаешь с ним...

— Иду, иду, мамочка.

Когда молодая девушка вошла в кабинет и увидела отца, точно закаменевшего в своем кресле, с выражением беспредельной мрачной тоски в мертвенно-бледном, суровом и неподвижном лице, ее охватила жалость, и в то же время ей представилось спокойно-важное лицо покойника Перелесова с темным пятном на виске. Ей хотелось броситься на шею к отцу, пожалеть, приласкать, но какое-то брезгливое чувство парализовало первое движение ее сердца, и что-то внушавшее

страх казалось в чертах прежде любимого лица. Оно словно бы стало чужим...

И Лиза осторожно и тихо поставила стакан на стол.

— Спасибо! — чуть слышно прошептал старик и робко взглянул на дочь взглядом, полным любви и страдания.

Взгляды их встретились. Старый профессор тотчас же отвел глаза. Лиза побледнела и торопливо вышла из комнаты. С порога до ушей Найденова донеслось заглушенное рыдание дочери.

Плохо спал в эту ночь старый профессор! К утру уж у него созрело решение «бросить все» и самому уехать на некоторое время за границу.

«Без меня им легче будет!» — подумал старик.

После обеда он позвал жену в кабинет и, когда та села в кресло против него, с тревогой глядя на изможденное лицо мужа, казавшееся в полусвете лампы совсем мертвенным, — он сказал:

— Чувствую, что утомился, Елена.

— Тебе надо посоветоваться с докторами,

Аристарх Яковлевич... Тебя это самоубийство Перелесова совсем расстроило.

— Какое самоубийство? Какое мне дело, что Перелесов застрелился!.. — резко возразил Найденков. — Сегодня его, кстати, уж и похоронили... Верно, речи надгробные были и все как следует... Заречный, конечно, отличился... Ты ничего не слыхала?

— Нет.

— А дети разве на похоронах не были?

— Они и так расстроены вчерашней панихидой.

— Очень?

— Разве ты не заметил?

— И Миша тоже?..

— Еще бы...

— Ну, у Миши это скоро пройдет. У него счастливый характер, а Лиза...

Он не окончил начатой фразы и продолжал:

— И знаешь ли, что я надумал, Елена? Я думаю, ты одобришь мои намерения...

Жена, которой муж никогда не сообщал никаких своих планов и объявлял только о своих решениях, которые она исполняла с

безропотной покорностью кроткого существа, боготворившего мужа, удивленно подняла на него свои глаза и спросила:

— Ты знаешь, я всегда охотно исполняю твои намерения. Что ты хочешь предпринять?

— Я хочу отдохнуть и потому решил выйти в отставку.

— Вот это отлично! — радостно проговорила Найденова.

— Вы переедете в Петербург, а я на некоторое время поеду за границу... Хочется покопаться в итальянских архивах... И чем скорее все это сделается, тем лучше.

— Но как же ты один поедешь, Аристарх Яковлевич? Ты хвораешь. Взял бы с собой Лизу.

— Нет... нет... я один.

В эту минуту в кабинет вбежала Лиза, бледнее смерти, и крикнула:

— Мама, иди... Миша... Миша... голубчик...

Найденова бросилась вслед за дочерью.

Поднялся с кресла и Найденов и быстрыми шагами пошел в комнату сына. Мимо пробежал со всех ног слуга, пробежала в столовой

горничная.

— Что случилось? — в смертельной тревоге спрашивал Найденев.

Никто не отвечал. И лакей и горничная как-то растерянно показывали рукой в коридор.

Старик бросился туда, отворил двери комнаты сына и увидел его бледного, с виноватой улыбкой на устах, сидящего на диване. Пистолет лежал на полу.

Найденев понял все и бросился к сыну с искаженным от ужаса лицом.

— Ничего, ничего, успокойся, Аристарх Яковлевич... Рана неопасная! — взволнованно говорила Найденева.

— Он нечаянно! — вставила Лиза.

— Ну, конечно, нечаянно!.. — подтвердила мать. — Сейчас приедет хирург. Я послала...

— Нечаянно?.. — проговорил Найденев. — Нечаян...

Он хотел продолжать, но как-то жалко и беспомощно говорил что-то непонятное. Лицо его перекосилось. Один глаз закрылся.

Он, видимо, силился что-то сказать и не

мог. И вдруг он склонился перед сыном, стал целовать его руку, издавая какое-то жалобное мычанье.

Найденова перенесли в кабинет и послали за другим доктором. Через полчаса приехали два врача. Хирург нашел, что у сына рана неопасна — пуля счастливо не задела легкого, а другой врач нашел положение старика опасным и определил у него паралич левой стороны тела, вызванный сильным нервным потрясением.

XXXI

На похоронах Перелесова было всего пять профессоров и в том числе: Заречный, Сбруев и старик Андрей Михайлович Косицкий, явившийся несмотря на предостережения своей неугомонной воительницы-супруги, окончательно, по ее словам, убедившейся в том, что муж спятил с ума и ведет себя, как студент первого курса.

— Недостает, чтоб ты еще влюбился! — не без ехидства прибавила она, измеряя маленькую худощавую фигурку профессора уничтожающим взглядом.

Остальные жрецы науки блистали своим

отсутствием.

Похороны прошли без какого бы то ни было «прискорбного инцидента» и при очень незначительном количестве публики. Никаких речей не говорилось на кладбище. При виде обезумевшей от горя матери теперь как-то не поднимался язык говорить о вине покойного и об ее искуплении. Могилу засыпали, и все расходились молчаливо-угрюмые.

— А мы в «Прагу», не правда ли, Василий Васильич? — спрашивал Сбруев, нагоняя Невзгодина, который в раздумье шел между могил.

— С удовольствием.

Звенигородцев между тем собирал желающих ехать завтракать в «Эрмитаж» или к Тестову. Но так как профессора уклонились от предложения, Звенигородцев должен был отказаться от мысли устроить завтрак с речами по поводу самоубийства Перелесова.

Несколько времени Сбруев шел молча рядом с Невзгодным. Вдруг, словно бы спохватившись, он проговорил:

— А я и позабыл познакомить вас со своими. Они здесь. Хотите?

— Очень буду рад.

— Так подождем минутку.

Они отошли в сторону и остановились.

— А вот и они! — промолвил Сбруев.

Невзгодин заметил, как просветлело лицо молодого профессора, когда он увидел двух скромно одетых дам.

Он подвел к ним Невзгодина и, назвав его, сказал:

— Моя мать и сестра Соня.

И та и другая очень понравились Невзгодину, в особенности молодая девушка.

Что-то сразу располагающее было в выражении ее свежего, миловидного лица и особенно во взгляде больших темных глаз, вдумчивых и необыкновенно ясных. Такие глаза, казалось, не способны были лгать и глядели на мир божий с доверчивостью чистого существа. Все в этой девушке словно бы говорило об изяществе натуры и о нравственной чистоте.

И Невзгодин невольно подумал: «Что за милая девушка!»

Они пошли все вместе к выходу с кладбища.

Прощаясь, Сбруева просила Невзгодина навестить их.

— Вечера мы почти всегда дома! — прибавила она.

Сбруев усадил своих дам на извозчика и сказал матери, чтоб его не ждали.

— Мы едем с Василием Васильевичем завтракать, мама! — прибавил он, застенчиво улыбаясь.

Мать взглянула на Невзгодина ласковым, почти умоляющим взглядом, словно бы просила его побереечь сына.

И Невзгодин поспешил проговорить:

— Мы недолго будем завтракать. Мне надо сегодня ехать по делу.

Через полчаса Сбруев и Невзгодин сидели за отдельным столом в гостинице «Прага».

Дмитрий Иванович, молча и только улыбаясь своей милой застенчивой улыбкой, пил водку рюмку за рюмкой, сперва вместе с Невзгодиным, а потом, когда тот отказался, — один.

— Люблю, знаете ли, иногда привести себя в возвышенное настроение, Василий Васильич! — говорил он, словно бы оправдываясь,

когда наливал новую рюмку. — Однако возвращаюсь домой без чужой помощи и так, чтобы дома не видели моего возвышенного настроения! — прибавил он, добродушно усмехнувшись.

За завтраком Сбруев говорил мало, но когда завтрак был окончен, две бутылки дешевого крымского вина были выпиты и Дмитрий Иванович находился в возбужденном настроении подвыпившего человека, он заговорил порывисто и страстно, возвышая голос, так как орган играл какую-то бравурную пьесу.

— Вот теперь я чувствую себя в некотором роде свободным гражданином вселенной и могу, Василий Васильич, разговоры разговаривать по душе. А трезвый — я застенчив и, знаете ли, привык помалчивать, чтобы, значит, невозбранно получать свои двести пятьдесят рублей. Ведь это большое свинство, Василий Васильич, — молчать, когда хочется и обязан крикнуть во всю мочь: «Так жить нельзя!..» Но я не один, Василий Васильевич... Конечно, это не оправдание, но все-таки... я не один... Понравились вам моя старушка и

сестра?

— Очень.

— То-то... Это, я вам скажу, золотые сердца... Мать-то что перенесла, чтобы меня поднять на ноги... Ох, как бедовала ради меня... И все наши славные... Кроме Сони, у меня еще две сестренки в гимназии... Зайдете, — увидите, Василий Васильич... Ну и пилятствуешь помаленьку... Свинство свое сознаешь, но... не на улицу же пустить своих... Вот вчера я спрашивал вас: отчего мы, интеллигентные люди, такие тряпки?.. Тут ведь не одна семья, не одна семья, не одна экономика, как хотят нас уверить, тут кое-что и другое... тут история, я полагаю, замешана, а не одно только экономическое воздействие... Иначе уж очень было бы мало отведено мысли и духу... Экономика — экономикой, а когда я вижу, что беззащитного человека бьют, хотя, быть может, и совершенно правильно, на основании науки, то ведь хочется его защитить?.. И где больше таких альтруистов, там и жить лучше, там и эта самая экономика видоизменяется... Ну, а мы даже собственной тени боимся, а не то что защищать других... Вот хоть

бы я, господин профессор зоологии Сбруев... В возвышенном настроении хорохорюсь, а в трезвом виде жалкий трус... О, если б вы знали, какой трус!..

Дмитрий Иванович отхлебнул из чашки и продолжал:

— Вчера, после того как я Найденкова удалил, — очень уж возмутительна была его смелость явиться на панихиду! — я сам испугался своего геройства... Понимаете ли, в чем даже геройство видишь... Нечего сказать, хороши мы герои... Очень даже большие герои! — с грустной усмешкой протянул Сбруев.

— Но все-таки... другие не решились этого сделать, Дмитрий Иваныч. Цветницкий даже протянул первый Найденкову руку...

— Мало ли что другие делают... Другие вон сегодня на похороны не пришли... Другие, наверно, заявлять сочувствие Найденкову поедут... Читали сегодня статейку в «Старейших известиях»?..

— Читал...

— Это тоже другие... Но ведь я, слава богу, еще не настолько оскотинился, чтоб быть из этих других... Я не стану извиняться, но в глу-

бине души вчера трусил...

— Отчего?

— Отчего?.. Да оттого, что я русский человек — вот отчего. Поступил в кои веки как следует и сейчас же боюсь, как бы не лишиться мне двухсот пятидесяти рублей... И вижу я самый этот испуг и в глазах матери, хотя она, конечно, голубушка, хочет меня уверить, что ничего не боится и гордится сыном, который... который не побоялся ошельмовать Найденова... Гордиться-то гордится, а у самой сердце екает при мысли, что я могу лишиться места. Где новое-то найдешь?.. А как бы я хотел уйти, если бы вы знали. Не могу я вечно двойтаться... Тошно... И знаете ли что?

— Что?..

— Я, как истинный российский трус и в то же время не потерявший еще стыда человек, был бы рад, если б меня выгнали... Сам уйти боюсь, а если бы попросили — был бы доволен и пошел бы куда-нибудь на частную службу или уроки бы стал давать... Понимаете ли, что за отсутствие характера... что за подлая трусость! — воскликнул Сбруев, начиная заплетать немного языком.

— И нет даже силенки уйти... Нет!.. Я ведь, Василий Васильич, не успокаиваю себя призрачной надеждой, что два-три порядочных человека среди двадцати или тридцати бесстыжих или позорно-равнодушных имеют силу что-нибудь изменить, чему-нибудь помочь, что-нибудь сделать. Это ведь самообман наивного дурака, а чаще всего ложь... компромисс ради жалованья, прикрытый фразами, чтобы не было зазорно очень. Не одни жрецы науки так рассуждают нынче... Так живет громадная часть интеллигенции... Громадная!.. На днях еще один господин, который, бывши гласным, поносил управу, пошел служить в эту самую управу... Ну и молчи, или говори прямо: пошел на свинство ради жалованья. Так ведь нет: совсем из другой оперы поет...

— Насчет того, что один добродетельный спасет сотню нечестивых?

— Именно. Я, говорит, хоть и в меньшинстве, а все-таки защищаю свои мнения... А какого черта его мнения, когда их не слушают! Ведь это выходит: покрывать своим именем всяческие гадости и полегоньку да помалень-

ку и самому их делать... Ведь если меня посадят рядом с выгребной ямой, то я невольно буду благоухать не особенно приятно... Не так ли?.. Все это — азбука, а теперь и она многим кажется каким-то донкихотством... Даже и в литературе... Казалось бы: святая святых... А если у меня двоюродный братец... литератор в современном вкусе... То есть такая, я вам скажу, свинья...

— В каком именно смысле?

— А во всех... Ему все равно, где бы ни писать, и не только в органах, которые ему не симпатичны по направлению, а даже, прямо-таки сказать, в предосудительных... И это называется литератор... Служитель свободной мысли...

— Он так же рассуждает, как и ваш управец, Дмитрий Иваныч... Я, мол, лично дурного ничего не пишу, мне платят, а что другие пишут, мне наплевать... Это нынче повальная болезнь...

— Какая...

— Отсутствие разборчивости, равнодушие к общественным делам и забота только о своих личных интересах. Во имя их и учатся, и

тратят массу труда, энергии и ума. И это болезнь всей интеллигенции, за редкими исключениями. Таково уж безвременье... История не шутит и делает целые поколения негодными при известных условиях жизни и воспитания. Вспомните-ка, Дмитрий Иванович, как нас воспитывали? Чему учили в гимназиях? Что мы потом видели в жизни? Торжество каких идеалов? А ведь люди вообще не герои.

— Так неужели так-таки и нет сильных, бодрых духом и независимых людей? — воскликнул Сбруев.

— Как не быть... Наверное есть... Я видел молодежь на холере... Я слышал про нее во время голода... Я знаю настоящих рыцарей духа среди стариков. Таким людям трудно пробиваться к свету... Но они все-таки пробиваются... И правда-то в конце концов одна: возможно лучшее существование масс... В конце концов правда эта победит... По крайней мере, пример Европы поддерживает во мне эту веру. Сравните, чем был человек труда тридцать лет тому назад и теперь... Будущая победа несомненна... И нечего предаваться отчая-

нию, Дмитрий Иванович...

Они долго говорили и решали судьбы будущего с тою страстностью, на которую способны русские люди в минуты подъема духа.

Сбруев хотел было потребовать еще графинчик коньяка, но Невзгодин деликатно напомнил ему, что дома, верно, его будут ждать к обеду и беспокоиться. И Сбруев покорно согласился с Невзгодиным и крепко пожал ему руку.

Был четвертый час в начале, когда они вышли из трактира. Хотя Сбруев и был в «возвышенном настроении», но держался на ногах твердо. Тем не менее Невзгодин решил проводить Сбруева домой и затем ехать к Измайловой, чтобы исполнить поручение Маргариты Васильевны.

Мать Сбруева встретила Невзгодина благодарным взглядом и попросила посидеть у них. Дмитрий Иванович тотчас же ушел в свой кабинет и лег спать. Невзгодин пробыл в чистенькой, скромно убранной гостиной полчаса. Его напоили чаем с превосходным вареньем, и старуха почти все время говорила о сыне. Соня изредка вмешивалась в разговор,

распрашивая гостя о заграничной жизни. Невзгодину было как-то уютно в этой гостиной, и ему казалось, что он давно знаком с матерью и дочерью. Такие они простые и душевные.

И Невзгодин решил бывать в этой маленькой, чистенькой и уютной гостиной с белыми занавесками, цветами на окнах и заливающимися канарейками, — где, казалось, даже пахнет как-то особенно хорошо, — не то кипарисом, не то тмином, — и где вся обстановка и эти добрые, бесхитростные, казалось, люди действуют успокоивающе на нервы.

XXXII

Вечером Невзгодину хандрилось в его неуютной комнате. Ни работать, ни читать не хотелось. Тянуло к людям, к какой-нибудь умной и, конечно, хорошенькой женщине, с которой можно было бы не проскучать вечер.

И он тотчас же вспомнил, что обещал Аносовой побывать у нее на днях. Положим, прошел один только день со времени его продолжительного визита, но ведь она звала его приезжать, когда вздумается, и говорила, что рада отвести с ним душу... Отчего же и не по-

ехать, коли хочется? Во всяком случае, она интересна и для беллетриста находка.

А если она удивится его столь скорому посещению, — на здоровье! Пусть даже вообразит, что он заинтересован не типом, а самой ею, великолепной вдовой, — ему наплевать! Не первый раз с ним случались такие недоразумения. Заинтересованный кем-нибудь и впечатлительный по натуре, Невзгодин набрасывался на людей, которые казались ему интересными, и тогда ходил к таким знакомым каждый день, не думая, что может подать повод для каких-нибудь заключений. Но зато он так же быстро и пропадал, обрывая знакомства и отыскивая новые.

«Надо предупредить об этом великолепную вдову, чтоб не вообразила ухаживания», — подумал Невзгодин и, уверив себя, что его тянет к Аносовой исключительно ради изучения любопытного экземпляра московской «haute finance»[26], - в девятом часу вечером поехал на Новую Басманную.

Особняк был слабо освещен. Большая часть окон была темна. Только в одной комнате виднелся огонек да из окон клетушки

приятно ласкал глаз мягкий красноватый свет. Зато подъезд был ярко освещен.

Аглая Петровна была дома и, по обыкновению, одна-одинешенька. Без особого приглашения по вечерам у нее никто не бывал, и если она не ездила в театр или в концерт, то обыкновенно читала и в одиннадцать часов уже ложилась спать, так как вставала рано.

Она сидела на низеньком диванчике около стола, на котором стояла красивая лампа с большим красным абажуром, — и была не в обычном своем поношенном черном кашемировом платье, а в нарядной пунсовой шелковой кофточке и серой юбке. Эта пунсовая кофточка очень шла к ее лому лицу с блестящими черными волосами; и так оделась она с утра не без надежды, что Невзгодин, быть может, придет. Ей показалось, что он ушел от нее после последнего свидания несколько заинтересованный ею и без прежнего слегка насмешливого отношения к ней, как к миллионерке, заботящейся только о наживе. В его речах были теплые, сочувственные ноты, и, припоминая их, она радовалась. Радовалась и ждала Невзгодина, чувствуя, что он

вдруг ей стал необыкновенно дорог. Целый день она думала о нем и уж теперь не противилась, как раньше, захватившему ее чувству. Он ей нравился, очень нравился, и она впервые познала прелесть любви, которая так поздно пришла к ней, неожиданная, и словно бы придавала настоящий смысл всей ее жизни и сделала ее необыкновенно чуткой и восприимчивой. Она чувствовала себя как-то чище, просветленнее и за последние дни далеко не с прежним интересом занималась делами. Еще недавно эти дела захватывали ее всю, а теперь главным в жизни она считала привязанность к ней Невзгодина. О, если б он любил ее, как бы она была счастлива!

И мысль, что он никогда ее не полюбит и не может полюбить, считая ее за женщину-дельца, за женщину, сознательно эксплуатирующую чужой труд (он об этом без церемонии говорил ей в Бретани), приводила в уныние Аглаю Петровну.

Он ведь не увлечется одной только физической красотой. Для такого человека этого мало. Ему нужен ум, нужно взаимное понимание, нужна чуткая душа... И она ведь ищет

в нем не любовника только, а друга на всю жизнь... Меньшего она не возьмет.

И наконец, он, слишком впечатлительный, вечно склонный к анализу, разве способен на долгую привязанность, если б и увлекся?

Такие мысли отвлекали молодую женщину от чтения английской книги в изящном белом переплете, которая лежала перед Аглаей Петровной.

Кто-то постучал в двери.

— Войдите!

Вошедший слуга доложил, что приехал господин Невзгодин.

— Просите сюда! — проговорила Аглая Петровна, чувствуя, как сильно забилося ее сердце при этом известии.

Она призвала на помощь все свое самообладание, чтобы не обнаружить перед Невзгодиным своей тайны. Властная и гордая, она, разумеется, не покажет своего чувства, чтоб не вызвать в ответ благодарного сожаления. Ей этого не надо. Любовь за любовь. Все или ничего.

Он не должен ничего знать. Просто рада

умному и интересному человеку, с которым приятно поболтать, — вот какой она возьмет с ним тон.

— Вот это мило с вашей стороны, Василий Васильич, так скоро исполнить обещание!

Она проговорила эти слова с приветливой улыбкой радушной хозяйки, но не обнаружила радости, охватившей ее при появлении Невзгодина.

И, пожимая его маленькую руку своей крупной белой рукой, попросила садиться.

— А вас разве это удивляет, Аглая Петровна? — спрашивал Невзгодин, присаживаясь в кресло около дивана.

— Признаюсь, немножко.

— Почему?

— Я не ждала, что после короткого промежутка вам захочется опять со мной поболтать.

— Как видите, ошиблись. Захотелось.

— И большое вам спасибо за это.

— Напрасно благодарите... Я ведь в данном случае преследовал свои интересы.

— Вы... интересы? Какие?

— Свои собственные... Мне просто хочется

поближе познакомиться с такой интересной женщиной, как вы...

— Чтоб после описать?

— А не знаю... Быть может...

— Спасибо и на том, Василий Васильич...

Только я и без вашего подчеркивания знала, что вас люди интересуют только как интересные субъекты, и не рассчитывала на большее! Но все-таки очень рада вас видеть, Василий Васильич, с какими бы целями вы ни приехали.

— В свою очередь мне приходится благодарить вас.

— К чему? Ведь я тоже имею в виду исключительно свои интересы... Недаром я деловая женщина...

— Можно спросить: какие?

— Поболтать с умным и хорошим человеком... Значит, мы будем изучать друг друга. Не правда ли?

— Отлично... Пока не изучим и...

— И что?

— Не надоедим друг другу...

— Ну, разумеется. Боюсь только, что интересного во мне мало, Василий Васильич...

— Об этом предоставьте судить другим, Аглая Петровна...

— Обыкновенная купеческая вдова! Пожалуй, недолго и изучать... И тогда простись с вами... Вас и не увидишь?

— Так что ж? Вам, я думаю, от этого не будет ни холоднее, ни теплее...

— Вы думаете? Напрасно... Я привыкаю к людям... И, во всяком случае, будет жаль потерять интересного знакомого...

— Другой найдется... А насчет того, что вы обыкновенная купеческая вдова, позвольте с вами не согласиться...

— Что ж во мне необыкновенного, Василий Васильич?

— Будто сами не знаете?

— Себя ведь мало знаешь.

— Во-первых, красота...

— И вы ее во мне находите, Василий Васильич? — сдерживая радость, спросила Аносова.

— Да ведь я не слепой... И так как я не собираюсь ухаживать за вами, Аглая Петровна, то могу по совести сказать, что вы замечательно хороши! — прибавил Невзгодин, глядя

на Аносову восхищенным взглядом.

Она заметила этот взгляд, и алый румянец покрыл ее щеки.

— А во-вторых? — нетерпеливо спросила Аносова.

— Несомненно умная женщина, читающая хорошие книжки... Кстати, что это вы читаете, Аглая Петровна?

— Карпентера... А в-третьих, четвертых и пятых?

— Еще не пришел к определенному заключению...

— Что так? В Бретани оно, кажется, у вас составилось.

— Но теперь несколько изменилось...

— Будто? — недоверчиво протянула Аглая Петровна. — Или вы деликатничаете... Не хотите сказать, что думаете обо мне. Так хотите, я вам скажу, что вы думаете?

— Пожалуйста...

— Вы думаете, что я сухая, черствая эгоистка, не доверяющая людям, холодная натура, никого не любящая... и потому живущая в одиночестве... Быть может, впрочем, она имеет и любовника, какого-нибудь юнца юнкера,

но ловко прячет концы и пользуется репутацией недоступной вдовы... Юнкер ведь вполне подходит для такой женщины... Не правда ли? — добавила Аносова и нервно усмехнулась...

И, не дожидаясь ответа, продолжала:

— Вдобавок ко всему, занятая исключительно мыслями о наживе, как настоящая дочь своего отца... Кулак, несмотря на свои литературные вкусы... Эксплуататорка чужого труда и в то же время благотворительница ради тщеславия. Одним словом, одна из типичных представительниц капитала... Сытая, счастливая буржуазка. Скажите по совести, Василий Васильевич, ведь вы меня считаете такую?..

Она пробовала было смеяться, но не могла. И в ее черных больших глазах стояло грустное выражение, когда она ждала ответа.

— Не совсем такую, Аглая Петровна... Вы чересчур сгустили краски, передавая то, что, по вашему мнению, я должен думать...

— Но все-таки доля правды есть... Вы так думаете?..

— Каюсь, думал... Но, мне кажется, был не

прав...

— А если правы? — чуть слышно проронила Аглая Петровна.

— Не хочу думать... И, во всяком случае, вы не должны быть счастливы... Не можете быть счастливы со всеми миллионами и именно благодаря им.

— Пожалуй! — раздумчиво проронила Аглая Петровна.

— Я уверен, что ничто так не портит людей, как богатство и власть... даже порядочных людей...

— И вас бы испортило?

— Еще бы!.. Что я? Известные исторические личности, пресыщенные богатством и властью, развращались и гнали то, чему прежде поклонялись...

— А разве не было исключений?

— Исключения подтверждают правило, Аглая Петровна.

— Мрачно же вы смотрите на богатых людей, Василий Васильич... Я рада по крайней мере, что меня вы хоть не считаете счастливой миллионеркой...

— Какая же вы счастливая... Вы в каждом

должны видеть прежде всего посягателя на ваши деньги...

— Но только не в вас, Василий Васильич!

— Надеюсь! — заносчиво кинул Невзгодин. — От этого вы вот и одиноки... Вы, я думаю, и искреннему чувству не поверили бы. Вам все бы казалось, что любят не вас, а ваши миллионы. Не правда ли?

— Правда... Но не совсем... Я чутка... Я поняла бы. Когда-нибудь я расскажу вам, Василий Васильич, плоды своих наблюдений с молодых лет. Тогда, изучая меня, вы, быть может, простите многое... Да, вы правы, Василий Васильич. Богатство развращает!

Аглая Петровна притихла и словно бы виновато взглянула на Невзгодина. И в эту минуту миллионы ее казались ей только лишним бременем. Никогда не полюбит Невзгодин эксплуататорку миллионершу.

А Невзгодин, с обычной своей манерой отыскивать везде страдания, уже жалел эту красавицу миллионерку. Не рисуется же она перед ним, и с какой стати ей рисоваться? Она, наверное, испытывает муки своего положения.

И, польщенный, что она ему поверяла их, тронутый ее печальным видом, он в своей писательской фантазии уже прозревал драму, наделяя «великолепную вдову» теми качествами, какие ему хотелось самому видеть в создаваемом им эффектным образе «кающейся» миллионерки. И в эти минуты он даже забыл, что «кающаяся» не только делает все, что может делать представительница капитала, но и донимает рабочих на своих фабриках штрафами, о чем он знал от своего приятеля.

Женщины, и особенно влюбленные, отлично умеют приспособляться, отдаваясь воле инстинкта, и Аглая Петровна хорошо поняла, что Невзгодина можно взять благородством. И он легко поддавался этому, несмотря на весь свой критический анализ и прежние мнения об Аносовой, тем более что его самолюбие было польщено, что такая писаная красавица желает перед ним оправдаться в чем-то. Он, конечно, далек был от мысли, что все эти грустные излияния «бабы-дельца», что эта внезапная перемена в ее настроении и во взглядах на «тщету богатства» явились под влиянием властного чувства, охвативше-

го энергичную и страстную натуру Аглаи Петровны.

И Невзгодин с сочувствием взглянул на Аносову. Как не похожа она была теперь, притихшая, грустная, словно бы виноватая, — на ту самоуверенную, блестящую, «великолепную» вдову, которую он видел раньше!

Точно благодарная за этот взгляд, Аглая Петровна протянула Невзгодину свою выхоленную белую руку. Он почтительно поцеловал ее, а Аглая Петровна крепко пожала руку Невзгодина и проговорила:

— Значит, есть надежда, что мы можем быть приятелями?

— Отчего же нет...

— И пока вы будете изучать меня... я буду иметь удовольствие вас видеть...

— Боюсь, не надоем ли?

— Не кокетничайте...

— Впрочем — надоем, вы прикажете не принимать. Это так просто.

— Но только этого вы не скоро дождетесь... А теперь будем чай пить... Пойдем в столовую или здесь?..

— Здесь у вас отлично...

— Ну, так здесь...

Аносова подавила пуговку и велела подавать самовар.

— А вы сегодня были на похоронах? — спрашивала Аносова.

— Был.

— Надеюсь, Найденов не явился?

— Да и вообще мало было.

— Я слышала, мать Перелесова приехала!

— Да?.. Несчастливая!.. Она теперь осталась без всяких средств после смерти сына. Он ее содержал.

— Спасибо, что сказали.

— А что?

— Как что? Необходимо устроить старушку!.. — участливо промолвила Аносова.

— Истинное доброе дело сделаете, Аглая Петровна.

— Завтра же напишу Сбруеву. Пусть придумает форму помощи, не обидную для старушки.

— А вы как думаете ее устроить?

— Предложу ежемесячную пенсию. Пятьдесят рублей пожизненно. Довольно?

— Конечно. Сердечно благодарю вас за ста-

рушку, Аглая Петровна! — горячо промолвил Невзгодин.

Он был решительно тронут ее отзывчивостью и быстротою решения. А он прежде думал, что великолепная вдова благоденствует только из тщеславия, чтобы о ней говорили в газетах. Нет, она положительно добрая женщина!

— Есть за что благодарить! — с грустной улыбкой ответила Аглая Петровна.

Слуга подал маленький серебряный самовар, поставил варенье, сливки, ром и лимон и удалился.

— Вам крепкий?

— Нет...

Невзгодин глядел, как умело Аглая Петровна заварила и потом перемыла стакан и чашку.

— А еще где вы были сегодня, Василий Васильич? У Маргариты Васильевны были?

— Вчера был...

— Вы, кажется, часто у нее бываете?

— Нет...

— Что так?.. Окончили ее изучать?

— Я Маргариту Васильевну не изучал. Я

просто был в нее влюблен прежде...

— И долго?

— Долго.

— А что значит по-вашему: долго?

— Два с половиною года. Согласитесь, что очень долго.

— А теперь?

— А теперь мы хорошие приятели, вот и все!

Аглая Петровна радостно улыбнулась. Но вслед за тем спросила:

— Но отчего же она не любит своего мужа?

— Могу вас уверить, что не из-за меня... Да, кажется, ни из-за кого, а просто так-таки не любит. Это хоть редко встречается, но бывает...

— А Николай Сергеич так ее любит!

— Вольно же. Люби не люби, а насильно мил не будешь, Аглая Петровна.

— Да, не будешь! — значительно проронила молодая женщина.

Она подала Невзгодину чай и спросила:

— А вы не боитесь возвращения чувства?

— Оно не возвращается... А бедную Маргариту Васильевну придется огорчить! — резко оборвал Невзгодина тему беседы.

— Чем?

— Ваше письмо не подействовало.

— Какое? Я ничего не понимаю.

— Письмо к Измайловой. Я был у нее сегодня.

— И что же?

— Разумеется, отказ. Впрочем, я этого и ждал. По-моему, большая ошибка со стороны Маргариты Васильевны было давать мне такие поручения... Измайлова, говорят, любит антиноев до сих пор... Ну, а я... сами видите, что невзрачный кавалер... Тем не менее я рад, что видел знаменитую Мессалину в отставке. И какая же она страшная, эта раскрашенная старуха!..

— Как же она вас приняла? Расскажите.

— Не особенно любезно. Осмотрела с ног до головы и, прочитавши ваше письмо, недовольно повела своими накрашенными губами и наконец просила изложить, в чем дело... Несмотря на все мое красноречие, — а я был красноречив, даю вам слово! — Измайлова отнеслась к затее Маргариты Васильевны прямо-таки неодобрительно. «Какие театры да лекции для рабочих? Я этому не сочув-

ствую...» Ну, спросила, конечно, дали ли вы пятьдесят тысяч или пообещали только, и когда я сказал, что пообещали, она... усмехнулась довольно-таки, признаться, многозначительно...

— Не поверила, что я дам? — усмехнулась Аносова.

— Как будто так. А затем стала допрашивать: кто такой я и почему к ней приехал, а не Заречный... Одним словом, полнейшее фиаско... Не осуществить, как видно, Маргарите Васильевне своего плана...

— А вы его одобряете?

— Отчего ж не одобрить. Дело, во всяком случае, полезное...

— Ну, так план Маргариты Васильевны осуществится! — весело проговорила Аглая Петровна.

— Каким образом?

— Я одна выстрою дом, а вы, быть может, не откажетесь помочь нам советом, как лучше это сделать...

Невзгодин был изумлен.

— Ну что? Немножко довольны мною, Василий Васильич?

— Я восхищен вами, Аглая Петровна, и чувствую себя перед вами виноватым. Простите!

И Невзгодин горячо поцеловал руку Аносовой.

— За что вас прощать?

— За то, что считал вас не такою, какая вы есть.

— Вы вправе были... Я ведь кулак-баба... Наследственность сказалась.

— Вы клеветеете на себя. А решение ваше сейчас?.. Это что?

— Ваше влияние, Василий Васильич!

— Вы шутите, конечно.

— Какие шутки! И заметьте — я без особенной надобности никогда не лгу... Это результат наших споров в Бретани и вообще знакомства с вами... У меня нрав скоропалительный... И на добро и на зло азартный, если я кому поверю... Только не оставляйте своими добрыми указаниями... Ну и, кроме того, ведь мы, бабы, любим, чтобы нас описывали не очень уж скверно — мне, значит, и хочется, чтобы, изучая, вы видели меня лучше, чем я есть... Простите бабье тщеславье, Василий Ва-

сильич...

— Вы преувеличиваете влияние моих споров! В вас просто добрая натура говорит.

— Думайте, как знаете...

Аносова заговорила о своем англичанине-управляющем и нашла, что его надо убрать. Очень уж он строг.

И совершенно неожиданно обратилась к Невзгодину с просьбой: порекомендовать ей какого-нибудь порядочного человека.

Когда Невзгодин в первом часу прощался с Аглаей Петровной, она спросила:

— Скоро увидимся?

— Я завтра зайду... Можно?

— Еще бы! Я рада поболтать с интересным человеком, ну, а вам...

— А мне?

— А вам надо изучить новую разновидность московской купчихи. Так приходите!.. — проговорила Аносова своим мягким, певучим голосом, ласково улыбаясь глазами.

XXXIII

Прошел месяц.

В течение этого времени Невзгодин чуть ли не каждый день ходил к Аглае Петровне и

просиживал с ней вечера в клетушке. Они вели долгие разговоры, спорили, читали вместе, знакомили друг друга с своими биографиями. Аносова нередко посвящала Невзгодина в свои дела и спрашивала его советов. За это время они сблизились, и Аглая Петровна с инстинктом любящей женщины старалась показать себя Невзгодину с самой лучшей стороны и, действительно, под властью чувства, далеко не походила на прежнюю деловитую купчиху, скарденую и бессердечную, когда дело шло об ее купеческих интересах. Все, близко знавшие Аглаю Петровну, дивились такой перемене и приписывали ее, разумеется, тому, что Аносова влюбилась, как дура, в Невзгодина. Нечего и говорить, что безупречная доселе репутация Аглаи Петровны пошатнулась среди купечества, и Невзгодина называли любовником Аносовой.

А между тем ничего подобного не было.

Правда, великолепная вдова не только интересовала молодого писателя, как интересный тип для изучения, но и очень нравилась ему, импонируя своей роскошной красотой и привлекая умом; тем не менее он старался

скрыть это и объяснял свои частые посещения удовольствием поболтать с умной женщиной. До сих пор он не обмолвился серьезным признанием, хотя нередко и говорил в шутовском тоне о красоте Аглаи Петровны.

Она нередко ловила восторженные взгляды Невзгодина и ждала, нетерпеливо ждала, что он наконец бросится к ее ногам и признается, что любит ее, но этого не было, и Аглая Петровна влюблялась сама все более и более, но, разумеется, горделиво не показывала Невзгодину, как он ей дорог и как бы она была счастлива выйти за него замуж.

Невзгодин и не догадывался, что в него Аносова влюблена, и верил ей, когда она говорила, что питает к нему хорошие чувства, как к человеку, который «открыл ей глаза» и сделал ее лучше. И он видел, что действительно имеет некоторое влияние на Аглаю Петровну, приписывая это влияние доброй, в сущности, натуре Аносовой, но испорченной наследственностью и средой.

Те перемены, которые она сделала на фабрике, удалив англичанина, и те планы, которые она хотела привести в исполнение, не

оставляли его в сомнении, что Аглая Петровна «кающаяся капиталистка».

И Невзгодин, несколько «оболваненный» и красотой великолепной вдовы, и ее умением довольно тонко льстить мужскому самолюбию, и ее «планами», уже мечтал об интересной теме для новой повести, героиня которой под идейным влиянием раздает свои богатства, отказываясь от жизни, полной роскоши и блеска... По временам эта тема казалась фальшивой его художественному инстинкту, но ведь факт почти налицо в лице Аглаи Петровны. Надо только довести его до логического развития.

Впрочем, все эти мечтания о повести не мешали Невзгодину по временам (и в последнее время довольно-таки часто) совсем не «идейно» заглядываться на великолепную вдову.

«Тоска», напечатанная в январской книжке одного из петербургских журналов, очень понравилась Аглае Петровне, и она в восторженных комплиментах признала в Невзгодине выдающийся талант. Действительно, у Аносовой был литературный вкус, развитой

недурным знакомством с несколькими литературами, и она сумела оттенить лучшие места повести и при этом тонко польстить авторскому самолюбию. И он, хотя и находил похвалы неумеренными, тем не менее поддавался лести. Ведь так приятно, когда умная и красивая женщина считает вас гениальным человеком!

Впрочем, не одна Аглая Петровна пришла в восторг от повести. Вскоре по напечатании ее Невзгодин стал получать пересылаемые ему из редакции письма от неизвестных лиц, выражавших свое сочувствие и похвалы. И эти письма, искренние и восторженные, благодарившие за призыв к вере в идеалы, сказавшийся в тоске по ним, — трогали молодого писателя и в то же время словно бы обязывали его относиться к писательству как к общественному служению. Наконец, появились в нескольких газетах и рецензии. Почти во всех приветствовалось появление нового таланта, на который возлагались надежды. Зато в двух газетах повесть Невзгодина была обругана жесточайшим образом, и именно за призыв к тому, что, слава богу, «исчезло, как мираж,

нашедший на бедную Россию в шестидесяти годах».

Вместе с получением гонорара Невзгодин получил и письмо от редактора, который сообщал, что новый рассказ очень ему понравился и будет напечатан в следующей книжке. Вместе с тем он просил и дальнейшего его сотрудничества, прибавляя, что такие вещи, как «Тоска» и другой рассказ, «украшают» страницы журнала.

Невзгодин радовался своему успеху, хотя и несколько изумленный им. Скептическая жилка мешала ему возгордиться, и он только мечтал о том, чтобы заслужить похвалы будущими своими работами. В нем снова пробуждалась охота писать, и он по утрам работал, а вечером его тянуло к великолепной вдове...

«Не каменная же она в самом деле!» — говорил он себе и в то же время чувствовал, что с ней авантюра едва ли возможна. Она не из таких... С ней надо закинуть на себя мертвую петлю...

После появления «Тоски» Невзгодин получил лестные приглашения из многих редакций, а издатель одного иллюстрированного

журнальчика сам приехал к Невзгодину и, отрекомендовавшись ему, без всяких церемоний спросил, окидывая удовлетворенным взглядом жалкую обстановку комнаты:

— Вы сколько получаете с листа в вашем журнале?

— Сто рублей! — ответил Невзгодин, несколько изумленный развязностью издателя.

— Так я вам охотно дам триста и, если хотите, сию минуту пятьсот рублей аванса. Угодно получить?

И издатель, не дожидаясь согласия и, по видимому, не сомневавшийся в нем, вынул бумажник, достал пять сторублевок и положил их на стол перед Невзгодиным.

Тот с улыбкой наблюдал за издателем.

— Напрасно вы беспокоились. Положите свои деньги в бумажник! — проговорил наконец, улыбаясь, Невзгодин.

— Вы не хотите? — искренне изумился черноволосый, курчавый молодой издатель с бойкими и плутоватыми глазками. — Вам, может быть, желательно четыреста рублей с листа и тысячу аванса?.. Что ж, мы и это мо-

жем...

— Я совсем не желаю участвовать в вашем журнале!

— Не желаете? Но позвольте спросить, почему-с? У меня сотрудничают господа писатели первого сорта... можно сказать, генералы-с...

Издатель перечислил несколько действительно известных литературных имен и продолжал:

— Как видите, компания приличная-с вполне... И вам, смею думать, гораздо лестнее получить четыреста рублей с листа, чем сто... В четыре раза более... И читателей у меня гораздо больше... Или вы, Василий Васильич, обязаны контрактом? Так я с удовольствием рискну на неустойку, если она не велика-с. Вы в моде теперь, и я готов на жертвы-с.

Насилу Невзгодин избавился от одного из более юрких представителей современного издательства. Издатель ушел наконец, так-таки и не понявший, что человек в здравом уме и твердой памяти мог отказаться от таких блестящих предложений.

После того как Невзгодина расхвалили, о

нем заговорили и в Москве. С ним старались познакомиться и залучить на журфиксы. Звенигородцев, находивший раньше, что Невзгодин ничего путного написать не может, заезжал к Невзгодину, наговорил ему множество приятных вещей и звал его вечером на журфикс к одному очень умному человеку, у которого собираются только очень умные люди, и был несколько огорчен, что Невзгодин отказался.

Но, знакомый только с казовой стороной своей известности, Невзгодин, не бывавший почти нигде, и не догадывался, какова изнанка ее и что про него говорят.

А говорили про него, действительно, черт знает что такое. Кто распускал про него грязные сплетни и к чему их распускали, — кто знает, но они имели успех, как всякие сплетни, да еще про человека сколько-нибудь известного.

Говорили, что Невзгодин ловко-таки «обрабатывает» миллионерку. Небось пишет об идеалах, смеется над всем, а сам... подбирается к аносовским деньгам... Какая гнусность! Его, конечно, называли Артюром при велико-

лепной вдове. Другие, впрочем, утверждали, что он дальновиднее и, наверное, женится на миллионерке.

— Ждала, ждала... и не могла выбрать лучше... Нечего сказать, отличная партия!

Однажды Невзгодина встретил на улице один из его знакомых и спросил: правда ли, что он думает издавать журнал?

— И не думал! — рассмеялся Невзгодин.

— Однако говорят...

— А пусть говорят... Только говорят ли, откуда на журнал у меня деньги?

— Как откуда? Да Аглая Петровна Аносова, говорят, дает... Вы ведь с ней хорошо знакомы.

Невзгодин только презрительно усмехнулся, но тон, с каким были сказаны эти слова, покоробил его, и он в тот вечер сидел, по обыкновению, в клетушке несколько раздраженный.

Он досадовал на себя, что пришел.

Разговор в этот вечер не клеился. У обоих собеседников точно на душе было что-то, мешавшее обычной беседе. И это чувствовалось.

«И на какого дьявола я шляюсь сюда каж-

дый вечер? Зачем? Она в самом деле может подумать, что я огорошу ее просьбами о деньгах на журнал?»

«Фу, мерзость!» — мысленно проговорил Невзгодин, раздражаясь от этой мысли еще более.

Он решил сейчас же уйти, чтобы не «разыгрывать дурака». Так она и верит его «изучению»!.. Таковская!

Невзгодин искоса взглянул на нее и остался на обычном своем месте — на низеньком кресле у диванчика, на котором сидела Аглая Петровна, притихшая, грустная и ослепительно красивая.

Остался и сделался еще мрачнее, злясь на самого себя.

XXXIV

Минуты две прошло в молчании. Наконец Аносова спросила:

— Что с вами, Василий Васильич? — В тоне ее голоса звучала тревога.

Невзгодин насторожился. Он уловил эту тревогу, и в ней ему послышалось что-то притязательное. Это несколько удивило и рассердило его.

— Ничего особенного, — ответил он.

— Вы чем-то раздражены?

— Положим... Так что ж из этого?

— Уж не я ли провинилась в чем-нибудь перед вами? И вы мною недовольны?

— Я? Вами? И какое я имел бы право?

— Это делается без всяких прав.

— Но все-таки выражают недовольство только люди с правами, а обыкновенные смертные просто не ходят к знакомым, которыми недовольны.

— Даже когда и изучают?

Он взглянул на Аносову: не смеется ли она? Но Аглая Петровна глядела на него так значительно и так нежно, что Невзгодин смущенно отвел свой взгляд и проговорил:

— Сегодня была одна встреча на улице и разговор, который меня раздражил... Да что скрывать...

И Невзгодин передал Аносовой разговор.

— И это могло вас раздражить?

— Как видите.

— Вижу! — грустно протянула Аносова.

Она, видимо, что-то хотела сказать, но не решалась.

— Говорите, Аглая Петровна... Говорите... я все выслушаю...

— И раздражитесь еще более? А я не хочу вас раздражать...

— Ну, как угодно... Сегодня мы оба в дурном настроении, и я лучше уйду...

— Нет, не уходите, Василий Васильич... Не уходите... И я вам скажу, что хотела. Неужели вы, в самом деле, не взяли бы у меня денег на журнал, если бы захотели издавать сами?

— Конечно, нет! — резко ответил Невзгодин.

— Я даже такого доверия не заслужила? Или вы побоялись бы, что скажут?

— Писателю надо быть выше всяких подозрений... И наконец, я никогда бы не путал женщину в дела, которых она не понимает...

— Даже если б женщина была вашим добрым приятелем?

— Тем более...

— Я так и думала... Очень уж вы горды, Василий Васильич... Вот вас даже и пустой разговор раздражил... А про меня, по поводу вас, теперь и не то говорят, а я, как видите, ни сколько не смущаюсь... Пусть говорят!..

— По поводу меня? Что ж смеют говорить? — вызывающе кинул Невзгодин и весь вспыхнул.

— Ишь! Уже и загорелись!.. Говорят, что я... Аносова запнулась.

— Что вы? — нетерпеливо переспросил Невзгодин.

— Ваша любовница! — досказала Аносова и взглянула на Невзгодина.

Тот совсем опешил от изумления.

— Изумлены? — кинула Аносова.

— Еще бы! Сочинить такую... такую нелепость про вас, чья репутация безупречна... Как это глупо! — воскликнул Невзгодин.

— А между тем ведь это так правдоподобно... До сих пор я жила отшельницей и вдруг почти каждый вечер сажу глаз на глаз с молодым человеком... Ведь не всякий же знает то, что знаю я...

— То есть что?

— Что молодой человек исключительно с литературной целью навещает женщину, еще не старую, ну и...

— Замечательную красавицу? — досказал горячо Невзгодин.

— К которой он, впрочем, довольно равнодушен! — прибавила Аглая Петровна.

Невзгодин не принял вызова и воскликнул:

— И вы меня не выгнали до сих пор, несмотря на такие сплетни?

— Я? Вас?..

Опять Аносова так ласково, так нежно и вместе с тем удивленно посмотрела на Невзгодина, что тот снова смутился.

— Да разве мне не все равно, что говорят! Я ничьей любовницей не была и не буду! — гордо подчеркнула она, — но пусть болтают, что хотят! Я сама по себе! — усмехнулась Аносова.

Это пренебрежение общественным мнением такой рассудительной и степенной женщины, какую казалась Аглая Петровна, восхитило Невзгодина и, разумеется, приятно щекотало его самолюбие.

И он восторженно взглянул на красавицу вдову и благодарно стал целовать ее руку несколько дольше и горячее, чем следовало бы это в литературных интересах.

Но Аносова не отнимала своей горячей руки, и Невзгодин ее несколько раз принимался

целовать.

— И знаете ли, о чем еще на днях спрашивала меня сестра?

— О чем?

— Скоро ли я выхожу замуж?

— Вы? За кого?

— Да что вы за агнец, в самом деле! Разве не знаете?

— Клянусь честью, не знаю.

— Да за вас, разумеется!

— За меня?!

И Невзгодин искренне рассмеялся.

Аглая Петровна, по-видимому, недовольна была этим смехом и спросила:

— Чему вы смеетесь?

— Да уж это несравненно по своей глупости.

— Чем же так глупо?

— И вы еще спрашиваете? И вы охотница шутить! — с насмешливой улыбкой промолвил Невзгодин, несколько раздраженный.

— Я не шучу, Василий Васильич... Разве вы не видите или нарочно не хотите этого видеть? — значительно и серьезно промолвила Аглая Петровна.

— Вы... красавица, умная женщина, миллионерка, и вам сделать такой mesalliance!.. [27] Выйти замуж за такого богему, нищего писателя, человека таких взглядов, как я... и притом такого непривлекательного...

— А почему знать. За такого, и только за такого я бы вышла. Такого, может быть, я и полюбила бы и не променяла его ни на кого. Да и как еще полюбила! — порывисто прибавила Аносова...

Она как будто говорила шутя, но каждое слово ее дышало неподдельною страстью. И Невзгодин словно бы неожиданно прозрел и почувствовал, что эта женщина не шутит. И ему стало жутко.

Все еще как бы не доверяя этому, он заглянул в глаза Аносовой пытливым, вопросительным и слегка смеющимся взглядом.

— Теперь верите? — шепнула она, не сводя с него своих темных глаз, светившихся лаской, и стыдливо алела, словно бы виноватая, что не могла более таить чувства.

— Не верю, не верю, не верю! — вызывающе повторял Невзгодин.

А сам верил, изумленный, что его любит

эта властная, строгая красавица, и, весь охваченный трепетом молодой страсти, глядел на молодую женщину восторженно-благодарным взглядом.

— Так поверьте...

И Аносова вдруг порывисто обвила шею Невзгодина и прильнула своими губами к его губам в долгом страстном поцелуе.

Еще мгновение, и она оттолкнула его.

У Невзгодина была несчастная особенность, присущая многим писателям, не терять способности наблюдать и подчас ядовито смеяться над собою даже в самые, казалось бы, счастливые мгновения жизни, и это вносило отраву во все его увлечения. Казалось, он не мог непосредственно отдаваться впечатлениям, точно какой-то насмешливый бесенок сидел у него в голове и нашептывал ему смешные вещи.

Только раз в жизни, когда Невзгодин любил Маргариту Васильевну, он не анализировал, не потешался над собою, а просто любил до безумия.

И теперь, опьяневший от поцелуя, он словно бы был настороже и, более благодарный,

чем счастливый, слушал, как Аглая Петровна, счастливая и радостная, говорила, заглядывая ему в глаза:

— О, какой же вы глупый, несмотря на весь ваш ум... На аршин под землю видите, а не видели, что я люблю вас... Ужели не замечали?..

— Честное слово...

— Какой же вы скромный, и как это хорошо... Ну да... люблю. Вы — идол мой. Ведь ради вас я стала другая... Ради вас я изменила порядки на фабрике... Ради вас я строю этот дом для рабочих... А вы не поверили, что я с радостью пошла бы за вас замуж, чтобы вы были моим, только всегда и всегда моим! — властно прибавила она. — А я и все мои миллионы в вашем распоряжении... Теперь верите?.. А вы... Вы любите ли меня?.. или мне только это чудится в ваших глазах... Хотите быть моим?..

Невзгодина захватила эта порывистая, сильная страсть, и, признаться, эти миллионы на мгновение смутили его. Отчего не жениться? Она красива, умна... Она ему нравится, эта красавица... А на эти миллионы можно

сделать много хорошего...

Но в следующее же мгновение он уже пришел в ужас от мысли жениться на Аносовой.

Сидевший в голове его добрый бесенок высмеивал его добрые намерения благотворить чужими миллионами и ядовито докладывал, что Невзгодин просто женится, как первый прохвост, на миллионах, чтобы жить на чужие миллионы, утешая себя благотворительными подачками. И это писатель, автор «Тоски», проповедующий, что богатство развращает... Какой же, однако, писатель негодяй!.. На словах герой, а при первом же соблазне не устоял... И разве он любит великолепную вдову?.. Разве это любовь, а не одно только вождделение к красивому телу?.. Разве по духу она ему близка? И разве он хочет идти под ярмо и вечно быть в полной собственности миллионерши, вместо того чтобы быть свободным и независимым писателем?..

— Что ж вы молчите, Василий Васильевич? Или вы в самом деле ходили только изучать меня? — почти крикнула Аглая Петровна, увидавшая, как загорается насмешливый огонек в глазах Невзгодина.

— Я очень тронут вашим чувством... Вы мне нравитесь, Аглая Петровна, к чему лукавить, но я не думал связывать свою судьбу...

— С судьбой капиталистки? — ядовито перебила она Невзгодина. — Пошутить... отчего же?.. Говорить лукавые, вызывающие речи и... простите... «я изучил»... и отойти, если не удастся легкая интрижка... «Поднесут — пью, не поднесут — не пью», так, кажется, говорил вам какой-то остяк, этики которого вы придерживаетесь?.. А что за дело до тех, кого вы смущали лукавыми речами... На тех наплевать...

Аглая Петровна говорила, почти задыхаясь от гнева и оскорбленного самолюбия.

И вдруг она смолкла. Бледная как полотно и прекрасная в своем гневe, она порывисто встала с дивана.

Встал и Невзгодин.

Она смерила его злыми глазами и в бешенстве крикнула:

— Вон... И никогда не показывайтесь на мои глаза...

Но, как только Невзгодин направился к дверям, Аносова бросилась к нему и, схватив

за руку, прошептала:

— Простите... простите... Вы хороший... славный... Я люблю вас... Да хранит вас Христос!

Властным жестом приказала она Невзгодину нагнуться. Она трижды поцеловала его в губы, торжественно перекрестила его и сказала, говоря ему «ты»:

— Будь счастлив, родной, не поминай меня лихом!

В голосе ее слышны были рыдания.

— Вы не поминайте меня лихом! Прощайте, Аглая Петровна! — взволнованно проговорил Невзгодин, крепко пожимая ей руку.

— За тобой лиха нет... И ты прав: тебе пути не надо... Ты из орлиной породы... Спасибо за дружбу, за все спасибо, хороший мой!

Когда Невзгодин ушел, Аносова беспомощно опустилась на диван и горько-горько заплакала.

— Видно, и мне одинокой жить! — прошептала она.

На другой день она принялась за дела. Призванный зачем-то Артемий Захарыч обрадовался, увидав свою госпожу за счетами.

XXXV

На следующее утро Невзгодину не работалось.

Он был еще под сильным впечатлением того, что так неожиданно произошло вчера, и хотя жалел Аносову, но сам испытывал радостное чувство человека, избавившегося от опасности.

В самом деле, он чуть было не увлекся и... расхлебывай потом кашу.

Вошел коридорный Петр и подал телеграмму:

— Должно, от сродственников, Василий Васильич.

— Никого у меня нет сродственников, Петр...

— И родителей нет?

— Давно умерли. Один, как перст.

Невзгодин развернул телеграмму и прочел:

«Приходите завтра в час завтракать на Новоселье Никольский переулок дом Гнездова квартира 10. Где пропадаете Маргарита».

— Ай да молодец! Вырвалась на свободу. Не ожидал! — весело проговорил Невзгодин,

бросая телеграмму на стол.

— Чего изволите? — откликнулся Петр.

— Я не вам. Как сегодня на дворе?

— Весной оказывает, Василий Васильич.

Каплет.

— Весной? В самом деле, февраль на исходе.

— Скоро масленица.

— Скоро и я уеду.

— На новую квартиру?

— Из Москвы. Сперва в Петербург, а потом весну в Крым встречать, а дальше и сам не знаю...

— Вам все равно, где ни жить... Пиши себе знай.

— То-то и хорошо... Вот на днях получу деньги, и прощайте, Петр! — весело говорил Невзгодин, предвкушая, как истый бродяга, удовольствие путешествия.

— Одни поедете?

— А то с кем же?

Петр хихикнул.

— А с той барыней?

— С какой?

— Которая тогда к вам навещалась... Та-

кая фасонистая... Еще фрукты покупали...

— То моя жена.

— Же-на? — с меланхолическим изумлением протянул Петр. — Вы, значит, с супругой вроде как будто врозь?

— И совсем врозь! — засмеялся Невзгодин. — Что, не приходила она?

— То-то нет. Прикажете отказывать?

— Нет... зачем же.

Петр вышел и тотчас же вернулся.

— Легка на помине... Идут! — таинственно прошептал он и снова скрылся.

Через несколько секунд раздался троекратный стук в двери.

— Войдите!

— Я к вам на одну минуту, Невзгодин, — проговорила Марья Ивановна, пожимая мужу руку и брезгливо оглядывая комнату, — была около, поблизости, и зашла поздравить вас... Где тут сесть у вас?

— А вот сюда, Марья Ивановна! Стул чистый, — усмехнулся Невзгодин, подавая жене стул и оглядывая ее новую весеннюю жакетку... — А поздравить с чем пришли?

— Во-первых, с литературным успехом...

— А во-вторых?

— С женитьбой... Вы гораздо практичнее, чем я ожидала... Одобряю и поздравляю... Надеюсь, и за развод вы заплатите мне хорошо...

— С чего вы взяли?.. Я и не думаю, слава богу, жениться.

— А на Аносовой? На этой красавице миллионерке... Я об этом уж несколько раз слышала. Говорят, она влюбилась в вас, как кошка...

— И не думал... и не влюблена она... и все это сплетни! — с раздражением сказал Невзгодин.

— Но вы у нее каждый день бывали?

— Бывал.

— И кажется, сдружились с ней?

— Положим, и сдружился...

— Так ведь отчего и не жениться?.. Я наверное знаю, что она пошла бы за вас.

— И знайте. Я вот не женюсь и скоро уезжаю.

— Да что вы сердитесь?.. И глупо делаете, если упускаете такой случай... Впрочем, вы все такой же... Миллионами брезгаете... Ну, прощайте... А ко мне что же по воскресеньям

ни разу не заглянули?.. Или не хотите больше видеть? — улыбнулась Марья Ивановна.

— Некогда было...

— Знаю я эти ваши некогда... Или изучали миллионерку?

— Изучал.

— И кончили?

— Кончил... И знаете ли что?

— Что?

— Не пообедаем ли мы как-нибудь опять в «Эрмитаже»?

Марья Ивановна усмехнулась.

— Что ж... Пожалуй... Вы, видно, опять богаты?

— Миллионов нет, но сто рублей в кармане. Скоро еще четыреста получу... Чем не Крез?

— Миллионов у вас и помину не будет.

— То-то. Вы, кажется, меня немного знаете?

— А у меня капитал маленький будет. Наработаю практикой.

— Не сомневаюсь. Вам и миллионы позволительны. Так вам когда угодно обедать?

— Могу только в одно из воскресений.

Остальное время занята...

— Так в это воскресенье я заеду за вами, Марья Ивановна...

— Заезжайте. В котором часу?

— В четыре.

— Буду ждать. До свидания. И то сегодня полчаса лишних гуляю! А вы ничего... Не так скверно смотрите, как тогда... Верно, не сочиняете запоем? — бросила она на ходу и ушла.

«Вот с этой дамой никаких драм не может быть! Признает только науку и режим!» — усмехнулся про себя Невзгодин.

Скоро он вышел из дома.

XXXVI

В воздухе, действительно, пахло весной. Солнце грело с голубого неба, веселое и яркое. На улицах была грязь... Отовсюду капало.

Невзгодина еще сильнее потянуло из Москвы. Он заедет в Петербург, чтобы лично познакомиться с редактором, и оттуда — в Крым. Никогда он не бывал в Крыму, но слышал, что весной там особенно хорошо.

А в Москву он не вернется. Где он останется, он еще не решил. Если понравится Петербург, — в Петербурге. Если нет, — в другом го-

роде, но только не в Москве. Уж очень деньгами она пахнет, эта Москва, и очень уж болтовней занимаются москвичи. Он, слава богу, вольная птица... Ничем и никем не связан и может жить, где угодно. Литература прокормит. И не надо даже обращаться в ремесленника и писать слишком много. Потребности у него небольшие... Одна голова — не беда.

И он шел по улице, веселый и бодрый, мечтая о том, как хорошо будет ему работаться в Крыму, где-нибудь на берегу моря. Там он, быть может, напишет что-нибудь лучшее. И при одной этой мысли Невзгодин чувствовал в себе словно бы новый подъем сил.

Но воспоминание об Аглае Петровне нет-нет да и омрачало его настроение... Он не чувствовал себя виноватым перед ней — он не заигрывал с ней, а все-таки... И ему делалось стыдно, когда он припоминал эту позорную минуту решения жениться на ней. О, как стыдно! Он непременно ее опишет, эту минуту, правдиво, без утайки... И она осветит темный угол души человеческой... Эта минута ведь пережита! Но зато таких минут уж не может быть.

И хорош был бы он — супруг миллионерки да еще такой властной, как Аглая. Настоящий король Лир в юбке. И теперь, когда он только ходил к ней, уже черт знает что говорят, а тогда... Он, разумеется, не обвинит человека, который полюбит женщину богатую, но ведь он ее не любил. Но, во всяком случае, Аглая женщина оригинальная и сильная. Она не врет... Прямо призналась, что вся ее перемена из-за охватившего ее чувства. Пройдет чувство, и снова проявится наследственный кулак.

Невзгодин должен был сознаться, что он ее идеализировал в последнее время... под влиянием увлечения ее красотой. Но разве он думал, что она может влюбиться в него?

Было двенадцать часов. Невзгодин зашел в цветочный магазин, купил чайных роз и велел сделать букет. Когда он был готов, он направился к Заречной.

Дорога шла через Арбат. На Арбате он встретился с Сбруевым.

Оба радостно пожали друг другу руки и, как водится, пеняли друг другу, что давно не видались.

Невзгодин осведомился, как дела.

— По-прежнему! — кисло улыбнулся Сбруев.

— А что Найденов, остается здесь? Поправился?

— Он подал в отставку, и его увезли за границу. Плох, говорят.

— А дети с ним?

— Нет. Они в Петербурге. Славные, говорят. И у такого отца! Они-то его и доконали... Безумно любит их, а они тогда были на панихиде. Ужасно.

Они поболтали еще несколько минут и разошлись.

В исходе первого часа Невзгодин был у Заречной.

Маргарита Васильевна встретила его веселая, оживленная и похорошевшая, в большой комнате, убранной умелой женской рукой, уютной, светлой, посреди которой стоял стол, накрытый на два прибора.

— От души поздравляю вас, Маргарита Васильевна! — приветствовал ее Невзгодин, подавая букет чудных роз.

— Вот это мило, что побаловали. Узнаю вас. Что за прелесть!

Она положила цветы в вазу и вазу поставила на стол.

— Сейчас будем завтракать, а пока скажу вам, что ваша «Тоска» прелесть и что сами вы бессовестно забыли меня.

— Я не забываю друзей.

— Так как же не заглянуть?.. Впрочем... я не упрекаю... Не заходили, значит, не хотелось... Вы ведь изучали новый тип... Правда?

— Правда! — ответил Невзгодин, краснея.

— И про вас легенды ходят...

— Которым вы, надеюсь, не поверили?

— Не поверила. Я знаю вас и знаю цену московским легендам.

— А вы давно на новом положении?

— Сегодня ровно неделя. Устраивалась.

— И отлично устроились.

— Я довольна. У меня две комнаты: эта — приемная, кабинет и столовая, а рядом моя спальня. Нанимаю от жильцов. Тихо, спокойно, хорошо. Заработок есть. А для души... дом для рабочих... Аносова ведь дает деньги!..

— А главное: вы чувствуете себя свободной... Не надо компромиссов! Не правда ли?

— Именно. И как это приятно! Я только те-

перь это почувствовала вполне... И как я вам благодарна, Василий Васильич... Вы поступили как истинный друг! — горячо проговорила Маргарита Васильевна.

— Мне? За что?

— А за то, что вы тогда на юбилее, — помните? — говорили о позоре моего компромисса, когда я обвиняла за него мужа и других... Мне было больно, очень больно — вы ведь посыпали мою рану солью, — и я на вас сердилась... Но ваши слова... заставили меня глубже заглянуть в свою совесть.

— Вы и без меня в нее заглядывали.

— Заглядывала, но успокоивала себя софизмами, прикрывая зверя в себе... А у вас есть особенная способность: взбудоражить человека, заставить его не особенно восхищаться собственной персоной...

— И за это доставалось-таки мне... Помните, как на холере одна барынька раззнакомилась со мной... Сперва говорила: умный, а потом в дураки произвела.

— А я вас именно за это особенно и ценю. А ведь вы все не верили, что я перейду на новое положение?

— Не верил... Да и вы сами колебались. Зато как обрадовался я вашей телеграмме!

Завтрак прошел весело и душевно. Невзгодин отдал честь и пирогу, и рябчикам, и белому вину и расспрашивал Маргариту Васильевну об ее планах на будущее. Она весело сообщала, что переводная работа обеспечена у нее в одном журнале на полтора ста рублей в месяц. Кроме того, она рассчитывает и на компиляции. Этого заработка ей вполне достаточно; от помощи мужа она, конечно, отказалась. Время у нее будет строго распределено...

— Боитесь гостей?

— Боюсь и буду принимать раз в неделю и с большим разбором! — подчеркнула молодая женщина. — А то я предвижу, что ко мне теперь будут являться господа, которые прежде почти не бывали.

— Это почему?

— А как же?.. Жена в разводе. Интересный сюжет. Начнутся попытки ухаживанья... Я ведь знаю милых московских кавалеров... Уж у меня были с визитами на новоселье... и, конечно, одни мужчины... Вчера два профессора

являлись. Но я их скоро спровадила, и, верно, больше не появятся.

— А что?

— Уж очень были пошлы в своих любезностях и сочувствиях... И ведь все эти господа говорили, в сущности, одно и то же...

— Вы слишком требовательны, Маргарита Васильевна!

— Вы, кажется, тоже не из терпимых к глупости. Что делать! Признаюсь, брезглива и удивляюсь, как другие женщины малоразборчивы... Им все равно, кто бы за ними ни ухаживал, но только бы ухаживал... Я знаю одну профессоршу. Очень неглупая, чуткая женщина и образованная, а при ней — можете себе представить? — всегда стоит несколько кавалеров, как на подбор, один другого глупее...

— Несчастливая!.. — вставил Невзгодин.

— Нисколько. Она всех их, как говорит, жалует, всех принимает, со всеми любезна и каждому назначает соответственные роли. Один — поэлегантнее — ездит с супругами в театр, другой — в ученые заседания, третий — на выставки, четвертый — по магазинам. И каждый уверен, что общество его при-

ятно. Иначе ведь не ходили бы.

— Любопытный типик: коллекционерка балбесов. Теперь таких коллекционерок особенно много развелось от одури! — рассмеялся Невзгодин. — А вы, значит, не хотите собирать у себя такой коллекции?

— Спаси бог. Я лучше одна буду сидеть, чем видеть торчащего балбеса, и особенно влюбленного.

— Который косит на вас шалые глаза, молчит, вздыхает и вдруг выпалит, что такого дурака, как он, никто не понимает... Но что, если несколько таких балбесов соберутся вместе?.. Ведь это... ужасно!..

Невзгодин налил себе рюмку и, поднимая ее, сказал:

— Ваше здоровье, Маргарита Васильевна. Будьте счастливы, и да смилуется над вами судьба. Пусть в эту комнату не заглянет ни один балбес!

— Аминь!.. — ответила Маргарита Васильевна, чокаясь с Невзгодиным.

После завтрака Маргарита Васильевна пересела на диван, а Невзгодин на кресло. Невзгодин закурил папироску и спросил:

— А Николай Сергеич как перенес ваш уход?

— Он был к нему подготовлен... Я предупредила за два месяца...

— Но, согласитесь, если вы мне отрежете руку с предупреждением, то руки все-таки не будет...

— Он поступил как порядочный человек. Он покорился и не пугал меня... Скажи, что он застрелится, и я, конечно, от него не ушла бы... Но он успокоил меня насчет этого, и мы расстались дружелюбно... Конечно, ему тяжело...

— Он вас любит.

— Любит? Любовь — слово растяжимое, Василий Васильич... Конечно, любит, но как?.. С тех пор как я перестала быть его женой, он стал любить меня меньше. Мы, женщины, ведь это чувствуем... видим в глазах... А он именно любил во мне не человека, а женщину... Ведь иначе не женился бы, зная, что я его не люблю... А больше всего страдает его самолюбие. Как: «Жена его оставила!..»

— Ну, а все-таки вы теперь к мужу снисходительнее стали, Маргарита Васильевна? —

спросил Невзгодин.

— Еще бы! И он, в сущности, не дурной человек... Только любил фразу и разыгрывал героя на словах, когда он самый обыкновенный трус и человек двадцатого числа...

— Отчего вы в прошедшем времени употребляете глаголы?

— А потому, что он понял самого себя, и... ему сделалось неловко... И он теперь больше стал работать дома... Уж он не разрывается во всех учреждениях... Не гоняется за популярностью... Притих... Да и лучше, чем фразерствовать!

— А оратор он талантливый и профессор хороший. Это верно! — заметил Невзгодин. — И, при его мягкости и любезности, он долго еще будет одной из гордостей Москвы...

— Москва зато и не особенно требовательна... Ну, а вы, Василий Васильич, конечно, не женитесь на Аносовой, как говорят в Москве?

Невзгодин только рассмеялся.

Комментарии

Матроска*

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1895, №№ 166, 173, 178, 184, 187, 191, с подзаголовком «Из морских силуэтов прошлого».

...он не гнушался есть с матросами из одного бака и не считал их погаными. — Старобрядцы считали официальную — или, как они ее называли, никонианскую — церковь еретической, отступнической, а всех ее прихожан — оскверненными, «погаными».

Большие трехдечные корабли — парусные линейные корабли с числом орудий от 70 до 120, которые размещались на трех закрытых палубах-деках. Экипаж таких кораблей доходил до тысячи человек.

Одно мгновение*

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1896, № 356.

Примечания

Boy — по-английски — мальчик; кроме того, «бой» — общепринятое в английских колониях наименование вообще слуг.

[^^^]

2

Внимание (от фр. une attention).

[^^^]

3

Офицер, заведующий хозяйственной частью.
(Прим. автора.)

[^^^]

Мнимых (лат.).

[^^^]

5

Браслет без застежки (франц.).

[^^^]

6

Ревизор — офицер, заведующий хозяйственной частью. — Прим. автора.

[^^^]

Бак — передняя часть судна. (Примеч. автора.)

[^^^]

Дерево, подвешенное за середину к мачте и служащее для перевязывания паруса. (Примеч. автора.)

[^^^]

9

Взять рифы у паруса — значит уменьшить площадь паруса. (Примеч. автора.)

[^^^]

Паруса, которые ставят во время шторма.
(Примеч. автора.)

[^^^]

низшего (от фр. miserable).

[^^^]

12

уличных мальчишек (от фр. gamin).

[^^^]

13

невоспитанный, дурного тона (от фр. mauvais genre, буквально: дурного сорта).

[^^^]

гражданской, общественной (от лат. civilis).

[^^^]

браслета без застежки (фр.).

[^^^]

16

Всеисцеляющее средство (греч. ранакеіа).

[^^^]

напротив (фр.).

[^^^]

супружеское право (от лат. matrimonialis).

[^^^]

супружеское право (от лат. matrimonialis).

[^^^]

площадям, улицам (устар., книжн.).

[^^^]

угощение (фр. consommation).

[^^^]

И ты, Брут?.. (лат.)

[^^^]

новичка (от греч. neophitos, букв.: недавно насажденный).

[^^^]

Дисконтерша — занимающаяся учетом векселей (от англ. *discounter*).

[^^^]

следить за собой (фр.). Букв.: заботиться о животном.

[^^^]

знатной богачки (фр.).

[^^^]

неравный брак (фр.).

[^^^]